БК
15
В64
Вознесенский
экономичес-
кое развитие
т 1
П. 1924

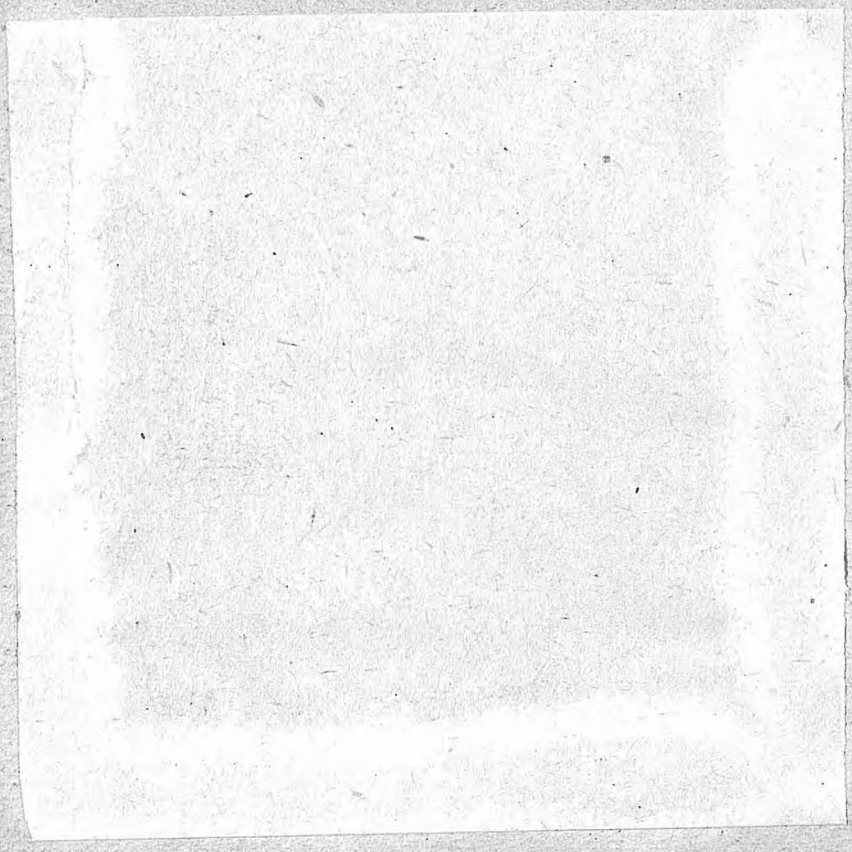
БК
15
В64
338
В-64

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ и КЛАССОВАЯ БОРЬБА В РОССИИ XIX и XX в.в.

ТОМ I.

СОСТАВИЛ С. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРИБОЙ ПЕТР. 1924.



БК
15
В64

338:9(47)
В-64

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА В РОССИИ XIX И XX В.В.

Том I

БИБЛИОТЕКА
Об'единен. Клуба
Г.Д.У.В. и М.В. и ПУР'а

Составил С. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

209/7

Рабочее Издательство - ПРИБОЙ - Петроград 1924

Государств. публичная историческая библиотека
625/55
Библиотека Института Красн. Профессуры
№ 5245 упд.

Петрооблит № 10932. Тираж 8000.

Госуд. типогр. имени тов. Зиновьева. Петроград, Социалистич., 14.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Выпускаемая в свет книга для чтения по истории России XIX и XX веков имеет в виду чисто практическую задачу—дать в руки учащимся на рабфаках, в партийных школах, на вечерних курсах и в проч. учебных заведениях пособие, более или менее приноровленное к потребностям и интересам взрослого учащегося. Вошедший в книгу материал распадается на две категории: он состоит, во-первых, из статей, заимствованных из научной, преимущественно марксистской, литературы, во-вторых, из статистических данных и выдержек из источников. Первого рода материал позволяет установить определенную точку зрения на изучаемые явления, а второго рода—дает ей фактическое обоснование.

Содержанием книги является экономическое развитие России на пространстве XIX и XX веков и порожденная им борьба классов в форме, как идеологических течений, так и активных общественных движений. Более или менее детально осветить другие стороны русского исторического процесса за указанный период или, тем более, отдельные события, не представлялось возможным ввиду размеров издания. Кроме того, такое расширение содержания неминуемо должно было-бы, если не затемнить, то во всяком случае осложнить основную задачу—помочь читателю исторически подойти к пониманию Великой Российской Революции, нащупать ее корни в условиях развития капитализма, углубления классового расчленения в нашем обществе, обострения антагонизма между отдельными классами.

Что касается принципа, на основании которого сделан выбор материала, вошедшего в книгу, то составитель руководствовался стремлением дать по каждой из затронутых тем, в первую очередь, отрывки из марксистских научных работ; только отсутствие последних по тому или другому вопросу заставляло иногда обращаться к трудам историков не-марксистов, взгляды которых, однако, не противоречили

точке зрения марксизма. Кроме того, выдержки из этих последних трудов содержат в себе, большею частью, простое изложение фактов. Таковой характер носят, напр., приведенные работы В. Сторожева о реформах начала Александровского царствования; Ч. Ветринского о славянофилах и западниках; В. И. Пичета о внешней и внутренней торговле в России; В. Я. Богучарского о дне 14 дек. 1825 г.

Книга, заключая в себе как статьи об'яснительного характера, так и фактический материал, может служить не столько учебником, сколько пособием для практических занятий.

С. Вознесенский.

I. Хозяйство, общество и государственная власть в России накануне XIX века.

(Из статей М. Н. Покровского: „Россия в конце XVIII в.“, „Павел Петрович“ и „Александр I“, помещенных в „Истории России XIX в.“. Изд. Гранат. Т. I).

I. Хозяйство. В первый год царствования Павла Петровича (указами 10 и 18 декабря 1796 г.) были отменены в России последние натуральные подати: до этого времени подушные часто вносились не деньгами, а хлебом. Даже остзейские крестьяне платили „провиантом и фуражом“, а крестьяне Западной России — мукою. Правительство отказывалось требовать от плательщиков, чтобы они непременно превращали хлеб в деньги: хлеб-товар еще не был вполне обыденным явлением. Около того же времени вся ценность нашего хлебного вывоза не превышала миллиона рублей; притом свободный вывоз был разрешен только в 1800 году по просьбе Петербургского купечества. Как остаток старины, все-таки была сохранена вывозная пошлина по 30 коп. с четверти. Внутреннюю торговлю один наблюдательный и вдумчивый современник характеризует так: „Империя есть такой пространности, что самый перевоз хлеба с'едает все барыши... а через самое сие в продаже своего произращения земледелец не много пользы получает“. Оттого на рынок сбывали только избытки,—но и те старались продать у себя дома, не вывозя никуда. „Доныне часто или по большой части благородные продают произведения своих деревень в самых тех деревнях, не утруждая их крестьян перевозом“. Покупателями являлись обыкновенно соседи, у которых хлеб не уродился, реже купцы. Благодаря слабому развитию внутренней торговли, еще в первой половине XIX века разница в ценах на хлеб для различных частей России доходила до 1000%: когда в Курской губернии четверть хлеба стоила полтора рубля, в Псковской она продавалась в то же время за 14—15 рублей.

Обмен предметами первой необходимости всегда служит лучшим показателем распространенности менового хозяйства вообще: Россия 1800 года, подобно средневековой Европе, знала правильную и постоянную торговлю лишь „предметами роскоши“,—тем, чего нельзя

достать всегда и всюду, или что нужно только тонкому верхнему слою населения. Покупали железо, соль, заграничные „колониальные“ товары, вина, фрукты, лучшие сорта материй. Масса старалась обходиться вовсе без обмена, довольствуясь рессурсами „натурального“ хозяйства. Средневековой торговле соответствовала и средневековая техника: ответы помещиков Вольному Экономическому Обществу (в 60-х г.г.). Болотов и Щербатов вполне сходятся на этот счет. Отдельная барская запашка была лишь исключением: в большинстве, барская и крестьянская земли лежали чересполосно и обрабатывались одинаково крестьянским инвентарем. Подобно средневековому рыцарю, наш помещик XVIII века своего хозяйства не вел, питаясь от крестьянского; мы увидим позднее, что это не единственная черта сходства с феодальной эпохой. Удобрение было новинкой, его всегда отмечают с похвалой, как теперь крестьянское травосеяние, напр. И оно почти так же мало распространено, как и отдельная барская запашка. Орудием обработки—крестьянской и помещичьей земли одинаково—служила соха. Только немногие помещики-англоманы, в роде Ростопчина, выписывали из-за границы усовершенствованные орудия, но с ними приходилось выписывать и заграничных работников, которые могли бы научить и барина, и его крестьян, как с этими орудиями обращаться.

Сельско-хозяйственное англоманство вовсе не было, однако, чудачеством отдельных помещиков: новое хозяйство уже стучалось в тысячи дверей. Чем ближе к началу XIX в., тем больше мы встречаем на однообразном средневековом фоне новых ярких пятен. Наряду с обычным типом имения, основательно защищенным чересполосицей и принудительным севооборотом от новых технических веяний, анкета Вольного Экономического Общества дает нам иногда и другой тип—с выделенной барской запашкой, с „рациональной“ эксплоатацией крестьянского труда, доходящей почти до размеров Николаевской эпохи. Характерно, что такие имения—уже настоящие сельско-хозяйственные предприятия—встречаются нам преимущественно по берегам больших судоходных рек: четырех-пятидневная барщина отмечена анкетой для Рязанской губернии, напр. Обмен шел по линии наименьшего сопротивления и тянул за собой сельско-хозяйственный капитализм.

Литература, более чуткая именно к новым явлениям, уже в конце восемнадцатого века отметила последний шаг, который могло сделать барщинное хозяйство на этом пути. Всем известен заинтересовавший Пушкина рассказ Радищева о помещике, отнявшем у крестьян все их достояние, так что у них не осталось ни клочка земли, ни коровы, ни даже курицы, а все свое „скудное пропитание“ получали они от помещика. На полях против этого места „Путешествия“ Екатерина II отметила, что это написано „для приведения в омерзение тех помещиков, кои пашни отнимают у крестьян“—ни одним словом не отвергая существования таких помещиков. И это полупризнание императрицы находит себе подтверждение в словах серьезного, вовсе не склонного к сатире агронома Рычкова: „Есть такие строгие помещики“,—говорит он,—„которые крестьянам своим и одного дня на себя работать не дают, а, давая всем их семействам месячный

провиант, употребляют их на господские работы повседневно". Плантационное хозяйство, превращение всей пашни имения в барскую запашку, а крестьян в механизм для ее обработки, вопреки Болтину, вовсе не было чуждо Екатерининской эпохе, по крайней мере, ее концу. Но это были еще только первые ласточки: настоящий расцвет помещика „плантатора" увидели 30-е и 40-е годы девятнадцатого века. „Интенсификация барщины" развивалась медленно. Во второй половине восемнадцатого века пашня в барщинном имении—там, где существовала отдельная барская запашка,—обыкновенно делилась между барином и крестьянами поровну, и соответственным образом распределялся крестьянский труд. Известный указ императора Павла о трехдневной барщине считается одним из первых шагов к упразднению крепостного права. Вероятно, это и было в намерениях Павла, так поняли дело и многие современники, напр., поэт Руссов, воспевший указ 1797 г. в таких выражениях: „Дал им (крестьянам) полну волю свободну в праздник быть от дел. Рассек на части их недели, чтоб три дня барину потели, а три дня жали свой загон". Но, кроме обязательного праздничного отдыха, который при сельских работах, стоящих в такой тесной зависимости от погоды, конечно, плохо соблюдался,—указ Павла не вносил ничего существенно нового. Рассекать на две равные части рабочую неделю крестьянина заставляло землевладельца равенство барской и крестьянской запашки.

Главным препятствием к капитализации крепостного хозяйства были, как мы видели, плохие пути сообщения—и, в результате, дороговизна перевозки. Более дорогие фабрикаты выгоднее перевозить, чем дешевое сырье. Многие помещики поэтому старались обработать сырье у себя на месте, и уже в таком обработанном виде пустить свои продукты на рынок. Хлеб перерабатывался, главным образом, в водку: какое значение имело винокурение в помещичьем хозяйстве, видно из того, что уже в половине восемнадцатого века дворянство домогалось сделать винокуренные заводы своей привилегией, чего и добилось при Петре III. В Комиссии для сочинения нового уложения (1767 г.) оно пошло дальше и устами ярославских дворян просило, чтобы к вину были присоединены все «изделия, сочиняющиеся из льна, пеньки и других земляных экономических произращений». Этого добиться не удалось, но и без привилегии полотняное ткачество росло быстро—с 1742 до 1767 г. количество полотняных мануфактур выросло с 20 до 88, и почти все новые были в руках дворян. С того же 1742 года число суконных фабрик поднялось с 18 до 76, и Щербатов отмечает, что именно в это время «дворяне начали в оные вступать». По ведомостям мануфактур коллегии за 1773 г. одна треть всех фабрикатов вырабатывалась на дворянских фабриках. Почти 50% всех суконных фабрик принадлежало в начале XIX в. дворянам, а в числе фабрикантов мы встречаем самые знатные фамилии—князей: Барятинского, Юсупова, Шаховского, Хованского, Урусова, Щербатова, Прозоровского, графа Разумовского, Безбородко, Салтыкова и др., всего более 50 титулованных и нетитулованных дворян и лишь 12 купцов. На фабриках, конечно, применялся тот же крепостной труд, что и в сельском хозяйстве—барщина в поле заменялась для крестьян барщиной на мануфактуре. Какова была эта барщина, видно из

отзыва одного современника: Крестьяне говорят: „в этой деревне фабрика“ с таким видом, как будто хотят сказать: „в этой деревне чума“. Фабричная барщина или, по крайней мере, ее распространение—была, нужно прибавить, дворянской привилегией: с 1762 года купцам было запрещено покупать крестьян к фабрикам, как это разрешил им Петр Великий.

Как велика была площадь, захваченная новым хозяйством к началу XIX века? У нас есть два указания на это,—одно довольно точное, но, к сожалению, очень косвенное, другое более прямое, но зато далеко не точное. Сельско-хозяйственному предпринимателю нужен капитал, как и всякому другому. Нечего и говорить, что дворяне и в этом случае были привилегированным сословием: в 1786 году Екатериной II был учрежден заемный банк для дворянства,—нуждавшимся капитал выдавала казна под залог имения. В 1800 году в этом банке было заложено 160.000 душ крестьян (как известно, имения в то время определялись количеством крестьян, а не земли). В России к 1800 году считалось 9 миллионов крепостных мужского пола: заложенные имения охватывали, таким образом, 1,77% общего числа крепостных крестьян. Но, во-первых, далеко не всегда дворянские займы шли на производительные цели; во-вторых, не все дворяне обращались за нужным им для хозяйства капиталом в заемный банк,—иные могли располагать для этой цели другими ресурсами. Как бы то ни было, с л а б о е распространение сельско-хозяйственного капитализма констатируется довольно определенно. Более прямые указания можно было бы извлечь из приблизительного подсчета барщинных имений, сделанного известным исследователем истории русского крестьянства, В. И. Семевским. Согласно этому подсчету, в 14 губерниях нечерноземной полосы (Костромская, Вологодская, Нижегородская Ярославская, Олонецкая, Калужская, Петербургская, Владимирская, Новгородская, Московская, Тверская, Смоленская и Псковская) 45% помещичьих крестьян были на барщине, а в черноземной полосе (губернии Тульская, Рязанская, Орловская, Курская, Тамбовская, Пензенская и Воронежская)—74%. Сразу видно преобладание барщинного хозяйства на юге, где имение нового типа, имение-предприятие, имело наиболее благоприятные условия роста, где земля наиболее щедро возвращала затраты. Но дальше этого общего наблюдения итти не приходится: в подсчете не выделены эти имения нового типа, с более или менее „рациональной“ эксплоатацией крестьянского труда, из массы имений с традиционной средневековой барщиной, т .е. таких, где часть земли пахалась крестьянами не для себя, а для барина, но где последний, собственно, не вел самостоятельного хозяйства, подчиняясь принудительному севообороту наравне со всеми крестьянами.

Зато вполне определенны параллельные цифры о б р о ч н ы х имений, приводимые тем же исследователем: 55% для северных и нечерноземных губерний и 26% для черноземной полосы. Речь здесь идет не о натуральном оброке, который нередко существовал вместе с барщиной, а о д е н е ж н о м. Капитализм проникал в русскую деревню конца XVIII века не только через помещика: крестьянин, может быть, еще чаще появлялся на рынке—то в качестве продавца своих продуктов, то как продавец своей рабочей силы. Последнее,

главным образом, имело место на севере, где отхожие промыслы давно отодвинули на второй план малодоходное здесь земледелие. Гораздо любопытнее оброк на черноземном юге: здесь всего вероятнее косвенная эксплоатация нового хозяйства помещиком, который предоставлял ведаться с рынком и рисковать крестьянам, регулярно учитывая в свою пользу львиную долю крестьянских барышей. Что доля была, действительно, львиная, в этом, сознательно и нечаянно, признаются нам сами помещики. Вот что писал в 1785 году один казанский помещик своему приказчику: „О крестьянах, что они неимущие и ходят по миру, отнюдь ко мне не пиши; мне это нож. Я хочу воров разорить и довести пуще прежнего,—так они милы мне; почти и я от них допущен ходить с кузовом по миру. Уповаю и надеюсь до тысячи рублей взыскать с них без всякого сумнительства и разорения. Мужик сер, но ум не чорт у него с'ел". Отец екатерининского фаворита Зубова сам признавался, что, „будучи из самых убогих помещиков", он „нажил себе немалое имение от сбора чересчур великих податей с мужиков своих".

Эксплоатация крестьянина тут уже часто становилась совершенно не «рациональной». Сплошь и рядом доходов крестьянина не хватало на уплату одновременно казенных и барских повинностей, и он должен был растрачивать свой капитал—земледельческие орудия, скот и т. д. Крепостные генерала Леонтьева в челобитной своему барину (60-е годы) жалуются, что они „продали последние из домишков своих, экипажишки (телеги) и скот", и то могут уплатить лишь часть оброка.

Это торопливое использование новых источников дохода указывает нам на ближайшую, непосредственную причину происходившего переворота: рост потребностей помещичьего класса. «Европеизация» внесла в обиход русского дворянина такие статьи расхода, которые были совсем неизвестны его деду времен императрицы Анны или Елизаветы. По запискам Болотова легко проследить это усложнение дворянской жизни—размеры оброка дают ему статистическую иллюстрацию: от 2 руб. в 60-х г.г. оброк доходит до 5 в 90-х, правильно повышаясь на 1 рубль в каждое десятилетие. Но помещик был бы чудотворцем, если бы по мере роста своих потребностей он выбивал рубль за рублем из стоявшего на одном месте крестьянского хозяйства. Очевидно, что помещик лишь пользовался—бессознательно—какими-то общими течениями, гнавшими хозяйство вперед независимо от поверхностной «европеизации» высшего класса. Одним из таких течений, подмывавших старые устои экономической жизни, всегда и всюду с неизменной правильностью является рост населения. Целый ряд фактов указывает нам, что во второй половине XVIII века центральная Россия уже перешла за тот предел плотности населения, при котором последнее могло прожить обычными для прежней поры приемами хозяйства. 80-е годы отмечены рядом голодовок, напомнивших одному новейшему исследователю 1891 год. Как и теперь, в высшем обществе с ужасом рассматривали черную клейкую массу, которой должно было питаться крестьянство под видом хлеба. В 1782 году четверть ржи стоила 1 р. 30 коп., а в 1786 г. цена дошла до 4 рублей; в 1783 г. четыре рубля стоила уже четверть лебеды. Голод 80-х г.г.

вполне оправдал те жалобы на малоземелье, какие в 60-х г.г. нам встречаются в ответах помещиков Вольному Экономическому Обществу и в 70-х у Щербатова. «По причине великого числа народа, населяющего сию губернию»,—говорит он о Московской (еще Петровского разделения) губернии,—«многие деревни так безземельны остаются, что ни с каким прилежанием не могут себе на пропитание хлеба достать».

Население центральной России (Петровской, не считая приобретений Екатерины II) с 1762 по 1798 год увеличилось на 50%,— с 19 миллионов до 29, а с 1722 по 1796 — на 105% (14 и 29 милл.). Эти цифры будут еще рельефнее, если мы припомним, что за предшествующий семнадцатый век численность населения России стояла почти на одном уровне 13—14 миллионов. К царствованию Екатерины сгладились, наконец, результаты тех опустошений, которые последовательно наносились Московской Руси смутой, войнами царя Алексея и Великой Северной войной, и русское народное хозяйство вновь начало поступательное движение—почти от того уровня, на каком оно стало при Грозном и Годунове.

Но, как всегда бывает на первых порах, отрицательные результаты «относительного перенаселения» сказываются сильнее положительных. Если население Московской и Нижегородской губерний, не будучи в состоянии «на пропитание себе хлеба достать» земледелием, «для того принуждено другими работами оный сыскивать», по словам Щербатова, так что здесь малоземелье давало толчок обрабатывающей промышленности, то в других местах люди просто голодали, молча или с бунтом, или же беде помогали самой простой паллиативной мерой—переселениями. При несвободе крестьян последние были в руках или помещиков, или правительства. К 90-м годам особенно учащается продажа крепостных на вывоз—для заселения пустых земель, главным образом, на юго-востоке. Интересно, что здесь анкета Вольн. Экон. Общ. отметила как раз новый тип имений — с большой барщиной и большой барской запашкой. Деятельность правительства выразилась, главным образом, в колонизации Новороссии, причем, как известно, сквозь пальцы смотрели и на беглых крепостных. Всеми этими средствами—с присоединением голодного тифа и других болезней, до чумы включительно — население разрежалось настолько, что старый способ хозяйничанья удовлетворял потребностям оставшихся, и можно было еще долго не ломать себе головы над придумыванием новых. Одно относительное перенаселение двигало бы хозяйственную эволюцию верным, но черепашьим шагом, и, если с первых лет XIX века дело пошло быстрее, то это потому, что теперь, как раз во время, вступил новый фактор развития. Мы уже упоминали, что в конце царствования Екатерины наш хлебный вывоз по ценности не превышал одного миллиона рублей: в 1802—4 г.г. он уже составлял 8.187.000 р., а в 1847—перешел за семьдесят миллионов. Около эпохи наполеоновских войн Россия становится «житницей Европы»—и прежде всего Англии: не даром Англия имела самого надежного союзника в Александре I. Заграничный рынок сразу определил и внешнюю политику русского государя и внутреннюю—русского помещика.

2. Общество. «Понятно всякому»,—говорил в Комиссии 1767 г. депутат курского дворянства Стромилов,—«что в обширной монархии

надо быть особливому роду, который имел бы обязанность служить государству и из среды своей замещать власти средние, поставленные между государем и народом, и который, будучи предназначен к тому природою, воспитывался бы в правилах и знаниях, привычных тому состоянию, какое он в государстве занимать будет, и предметом своего награждения ставил бы только честь и славу, оставляя из вида покой и обогащение. Род этот и есть дворянство».

Государь царствует, дворянство управляет... Несмотря на заимствованную у Монтескье терминологию («власти средние»)—здесь не было никакого политического западничества. То, что говорил Стромилов, нельзя было назвать даже идеологией, в собственном смысле этого слова: если исключить некоторые громкие фразы, мы имеем пред собой простую формулировку отношений, уже существовавших в наличности,—а отнюдь не изображение более или менее отдаленного идеала. Монтескье дал лишь очень удобную и «приличную» оболочку для чисто-русского явления, притом дал незадолго до того, как характерные черты явления стали стираться и бледнеть.

Посмотрим сначала на дворянина в его деревне. В XVII веке ответственный агент правительства с очень обширными полномочиями, в XVIII в. помещик является почти государем в миниатюре. Крестьяне так и называются сплошь и рядом его «подданными» и перестают быть подданными непосредственно государству. В 1741 году, при вступлении на престол Елизаветы Петровны, крепостных уже не приводят к присяге. Обращаясь к своему барину, крестьяне употребляют почти те же формулы, к каким прибегали в семнадцатом веке подавшие прошение на царское имя. Крепостные генерал-аншефа Леонтьева писали к нему в 1760 году так: «Государю нашему Николаю Михайловичу. Бьют челом и плачутся подмосковной вашей, Государь, Загарской волости, разных деревень крестьяне... Государь наш над нами, сиротами, смилуйся и учини милосердный указ».

Землевладелец и раньше имел очень широкое право наказания своих крестьян: оно составляло неотъемлемую часть патриархальной власти, которую помещик Московской Руси унаследовал от своего предшественника—боярина-вотчинника удельной эпохи. Но Московская Русь старалась держать в известных границах вотчинные права: в XVIII веке они расширяются. При Елизавете Петровне помещику предоставлялось ссылать крепостных в Сибирь, причем правительство отказывалось само спрашивать у помещика о мотивах такого распоряжения. Другими словами, он судил в этом случае безапелляционно.

При Екатерине II он получил право также безапелляционно ссылать своих крепостных даже на каторгу, т. е. налагать на них наиболее тяжелое уголовное взыскание, потому что смертная казнь тогда была отменена. Только в самом конце восемнадцатого века мы встречаем попытку суда вмешаться в одну помещичью расправу: графа Каменского суд запрашивает, за что именно он ссылает в Сибирь таких-то крестьян. И это обидело Каменского, как нечто совершенно необычное и неприличное. Но даже таких слабых ограничений мы не встречаем по отношению к телесным наказаниям. В XVIII веке закон не ставил пределов этому наказанию, но эти пределы знал обычай. Котошихин, которого трудно заподозрить в желании прикрасить русскую дей-

ствительность, рассказывает, что изувечивший своего человека барин подвергался наказанию, а пострадавший вознаграждался из барского имущества. За убийство крепостного человека полагалась даже смертная казнь. Сто лет спустя наши суды отказывались постановлять приговор по таким делам «за неимением точных указов». Немногие процессы, возникавшие по этому поводу, шли не обычным путем и кончались наказанием виновных только благодаря вмешательству верховной власти. Обычай, о котором говорит Котошихин, был совершенно забыт.

Не только право наказания расширилось — то же было и с областью применения помещичьего суда. В Московскую эпоху и землевладелец, под страхом строгой ответственности, не смел вмешиваться в губные дела, т. е. в дела о разбое, убийстве и воровстве, подлежавшие ведению губных учреждений. Уложение оговорило по имени только разбой: в восемнадцатом веке это толковали так, что и все вины кражи стали судиться помещиком. И еще свод законов, изданный при Николае I, предоставляет последнему право окончательного решения по всем делам, не влекущим за собой для виновного лишения всех прав состояния. Только в исключительных случаях, стало быть, правительственный суд мог вмешиваться в дело, возникшее в помещичьем имении. Но и тут за помещиком признавалось право, по крайней мере, произвести следствие. Помещик, подвергнувший своих людей пытке по подозрению в поджоге, не считался превысившим свою власть.

Широкие судебные полномочия должны были стеснять самих помещиков, особенно, когда они не жили в своих деревнях, и приходилось передавать свои полномочия управителю. В таких случаях являлась потребность точно формулировать способы применения своего права, чтобы не потерпеть убытков от жестокого или невежественного управляющего. Ответом на эту потребность были помещичьи судебники — одна из самых любопытных черт крепостного права XVIII века...

Так из судебной власти помещика сама собой вытекала и его законодательная власть. Судья и законодатель, он чувствовал себя настоящим государем, и жил, как прилично этому званию. У богатого барина позапрошлого века был свой двор с придворными званиями на немецкий лад. У К. Разумовского мы найдем кофешенков, мундшенков, келлермейстеров и даже полицмейстера. У Шереметева в Кускове было даже нечто в роде гвардии—12 гусар с «гусарским командиром». Для этого придворного штата существовал придворный этикет, иногда очень детально выработанный и закрепленный письменной «инструкцией».

Но двор—это часть представительная, внешняя: в вотчинном государстве были достаточно развиты и органы управления в тесном смысле этого слова. У богатого барина было и нечто в роде совета министров, носившего название «домовой канцелярии» или «обер-конторы». Заведывавшие ими были государственными людьми в миниатюре. «Они докладывали о деле вместе с своим проектом резолюции, подписанным ими единогласно, или с мнениями и представлениями, а граф (речь идет о В. Р. Орлове), по рассмотрении всего дела и

мнения конторы, возвращал их в контору со своим утверждением или измененным приказом»...

Как хороший государь заботится не только о материальном, но и о духовном благе своих подданных, так и барин хлопотал не только о водворении порядка между своими подданными, но и о спасении их души. Румянцев за нехождение в церковь по праздничным дням назначал штраф в 10 коп., а за непристойное поведение в церкви — 2 коп. Строго также следили помещики за православием своих крепостных, преследуя отпадение в раскол. Наряду с этой заботой о духовном благосостоянии крестьян по старому образцу, мы встречаем у господ и своего рода «просветительный абсолютизм». Уже самое устройство дворового управления требовало от служащих известного образования, по крайней мере, грамотности. Еще А. П. Волынский. в своей инструкции управителю (20-е годы XVIII в.), рекомендовал обучить грамоте 8 или 9 дворовых мальчиков, которые могли бы потом сделаться конторщиками; были помещики, которые обучали грамоте своих лакеев...

Итак, на всем почти пространстве России действовали одновременно две администрации: одна общегосударственная, ведавшая самих помещиков, затем всех «свободных», т. е. некрепостных людей и, кроме того, по некоторым вопросам, людей крепостных. Но в огромном большинстве случаев последние имели дело с администрацией барской, особой для имений каждого особаго владельца. Как ни странно это кажется, но, только убив или ограбив кого-нибудь, крестьянин приобретал полные гражданские права, ибо за эти преступления его судил общий суд, наравне со всеми свободными людьми. Во всех остальных проявлениях своей жизни, хороших и дурных, он не выходил из области барской юрисдикции, был прежде всего „подданным“ своего барина, а потом уже государства».

Мы говорили до сих пор о «государстве», противополагая его дворянскому управлению: но могло ли „государство“ сохранить свою самостоятельность по отношению к дворянской России? Для того, кто не видит в государстве метафизической сущности, носящейся над „обществом“, как дух божий носился над первобытным хаосом, покажется странной даже постановка такого вопроса. Государство есть организация классового господства, и господствующий класс должен был управлять всей Россией так же, как каждый отдельный его член управлял своими крестьянами. Но этот факт, несомненный для России XVIII века так же, как он несомненен для всех веков и народов, затушевывается своеобразными формами этого государства. Наша привычка к централизации заставляет нас искать одного «главного» учреждения, которое находилось бы в дворянских руках и влияло бы на жизнь всей страны сразу. Не найдя его, мы начинаем думать, что дворянство было лишено участия в самых важных делах, по крайней мере, участия постоянного, что оно было самостоятельно лишь в удовлетворении своих второстепенных нужд и интересов. Личная форма управления наводит нас, и довольно естественно, на мысль, что и его основной пружиной были личные же, а не классовые, интересы. Но уже современные наблюдатели прекрасно видели, что это только форма, и даже такие, которые больше всех

могли бы быть ослеплены этой формой. „Ты знаешь,—говорила Екатерина II своему статс-секретарю Попову,—с какой осторожностью поступаю я в издании своих узаконений. Я разбираю обстоятельства, изведываю мысли просвещенной части народа и по ним заключаю, какое действие указ мой произвести должен. Когда же наперед уверена я в общем одобрении, тогда выпускаю я мое повеление и имею удовольствие видеть то, что ты называешь слепым повиновением,— и вот основание власти неограниченной. Но будь уверен, что слепо не повинуются, когда приказание мое не приноровлено к обычаям и когда я следовала бы одной моей воле, не размышляя о следствиях". Сорок лет спустя, доказывая, что России не нужны никакие учреждения, а нужна лишь крепкая личная власть, Карамзин писал Александру I: «Правила, мысли народные лучше всех бренных форм удержат будущих государей в пределах законности. Чем? Страхом—возбудить всеобщую ненависть в случае противоположной системы царствования».

Мы нисколько не ошибемся, если под «просвещенной частью» народа Екатерины и всем «народом» Карамзина мы будем разуметь дворянство: Екатерина не решилась сделать ни одного шага по направлению к освобождению крестьян,—хотя искренно желала этого в начале царствования,—конечно потому, что не была уверена в «общем одобрении» такого шага со стороны тех, кому принадлежали крестьяне. А Карамзин и писал-то для Александра свою записку именно затем, чтобы тот не сделал чего-нибудь, что могло бы дать «мыслям» народной массы некоторое влияние на ход дел. Фразеология эпохи просвещения так же мало должна нас обманывать в этом случае...

Русский царь XVIII века мог управлять только с согласия своего дворянства. Анна Леопольдовна и Петр III были грозными примерами для тех, кто вздумал бы держаться «противоположной системы царствования». Павел Петрович не понял этого—и заплатил жизнью за свою ошибку. Реформы Александра I кончились ничем благодаря тому, что не отвечали интересам «первенствующего в империи сословия», а реформы Екатерины II были более удачны лишь потому, что только облекли в юридическую одежду заявленные этим сословием пожелания. Характерно, что пожелания не шли дальше м е с т н о г о управления. Ярославский наказ Комиссии 1767 года выражал желание, чтобы «все дела, яко малые ссоры в землях, в потравах, в порубке леса, в малых драках, в долгах крестьянских и прочие подобные, были суждены учрежденными на то выборными комиссарами о т д в о р я н с т в а». «Что принадлежит до судей по городам, то не бесполезно быть разсуждается выбирать того уезда д в о р я н а м из собратий своих». Оба требования, как известно, сполна были удовлетворены «реформами» 1770—80-х г.г. Положение о губерниях создало целый ряд местных судебных органов, вполне или отчасти пополнявшихся выборными от местного общества, и преимущественно от местного дворянства; а во главе уездной полиции был поставлен выбиравшийся дворянами капитан-исправник, с обязанностями даже несколько шире проектированных ярославским дворянством для своего «комиссара». Наконец, по жалованной грамоте 1785 г., дворяне

каждого уезда и губернии получили организацию, ведавшую их местные сословные интересы, что также отвечало требованиям наказов: «Учредить ежегодные собрания дворянства во всякой провинции». Эти собрания получили даже политическое право—право петиций,—подавать ходатайство прямо на высочайшее имя, единственное очень скромное политическое право, какое когда-либо имелось у подданных русского государя. Косвенно это давало дворянству возможность контроля над местной администрацией, на действия которой дворяне могли жаловаться непосредственно государю, но эти жалобы могли касаться лишь м е с т н ы х дел. В центральном управлении дворяне не были представлены,—и не добивались этого. Конституционные проекты Панина и кн. Щербатова или не находили отклика среди дворянства, или даже не выходили за пределы чистокабинетной работы. Центральная власть была еще так мало активна, так редко и спорадически вмешивалась в народную жизнь, что постоянное участие в ней не представляло еще большой цены в глазах дворянина XVIII века.

Помещики и их «подданные» почти исчерпывали собою тогдашнее общество. Не статистически, конечно. Крепостные крестьяне составляли не более 53% всего населения, дворяне едва ли более 1%. Но те и другие давали самые крупные, типические черты общественной физиономии. По типу их отношений строились все прочие. Самый многочисленный разряд населения после помещичьих крестьян составляли крестьяне казенные — разных наименований—государственные, экономические (бывшие монастырские), удельные—почти треть всего населения России. Для них «барином» теоретически было государство, а на практике—те чиновники, которые ими заведывали. По отношению к государству они, с их землей, были таким же об'ектом частной собственности, как крепостные по отношению к помещику. Подобно последним, они платили оброк, кроме податей государственнаго характера. Подобно крепостным, они не имели права совершать какие бы то ни было сделки, если на то не было согласия владельца, в данном случае, правительства. С их купчими землями казна обращалась совершенно так же, как помещик с землями своих крестьян; временами, когда это казалось выгодным, за государственными крестьянами признавалось право на такие земли. Временами же у крестьян без церемонии отбирались купчие, закладные, «поступные» и тому подобные документы, а земля поступала в казну. Сравнение государства с помещиком при таких порядках само собой навертывалось под перо самих тогдашних деятелей, распоряжавшихся судьбами казенного имущества. Один из секретарей императрицы Екатерины II писал ей в 1765 году: «В. И. В. не соизволите-ль высочайше указать тем черносошным и дворцовым крестьянам и в продаже и в закладе... земель учинить запрещение, а чтобы они оных земель своими родовыми, или прадедами и отцами их покупными не именовали—имеющиеся у них крепости отобрать и впредь не писать, а д е л и т ь и м з е м л и и раздавать в волостях недостаточным р а в н о м е р н о т а к, к а к и п о м е щ и к и с в о и х к р е с т ь я н п о ч и с л у л ю д е й, к т о ч т о с н е с т и м о ж е т, у р а в н и в а ю т». Совершенно естественно, что этим живым имуществом казна распо-

ряжалась так же, как и всяким другим: каждое вступление на престол, например, в числе других наград, сопровождалось и раздачей казенных крестьян в частную собственность. Таким путем при Павле Петровиче в один день 82 тысячи государственных крестьян сделались крепостными.

Не нарушал цельности этой средневековой картины и русский город XVIII века. Можно даже сказать, что город был более средневековым, чем деревня. Экономическая привилегированность помещика сказывалась и в том, что он легче и скорее переходил к новым формам хозяйства—снимал сливки с зарождавшегося капитализма. Прежде всего городское население составляло статистически ничтожный элемент общей массы. Абсолютная численность городского населения медленно росла за восемнадцатый век; точнее всего мы можем учесть число посадских людей, плательщиков налогов,—более или менее аккуратно отмечавшихся поэтому ревизиями. Вторая ревизия отметила посадских на 24 слишком тысяч больше, чем первая, третья—на 16 тысяч больше, чем вторая. Но если мы возьмем процентное отношение посадского населения ко всей совокупности податного населения России, то увидим, что последнее росло быстрее первого. По вычислению новейшего исследователя посадской общины XVIII века, это отношение составляло: для первой ревизии 3,2%, а для третьей (1762 года) лишь—3,1%. Состав этого маленького кусочка населения как нельзя более типичен для до-капиталистической эпохи. Мелкие хозяева, «ремесленники» разного рода, в нем решительно преобладали. В Москве 1760-х г.г., по одному официальному документу, тот же исследователь насчитал: мелких торговцев («торгуют в городе») 46,2%, (а с сидельцами и приказчиками 58,7%), ремесленников 14,4%, а «чернорабочих», даже с «дряхлыми и увечными вместе», всего 22,3%. В таком крупном промышленном центре, как Москва, представители наемного труда составляли не более 1/5 населения. Места, где их было больше, являются редким исключением,—притом, так как в этом числе мы встречаем очень мелкие посады, где едва ли можно предположить развитую промышленность, то не было бы ничего удивительного, если бы под «чернорабочими» этих посадов скрывались просто крестьяне, контрабандой занимавшиеся торговлей или ремеслами. Сама торговля носила типичный для средних веков мелко-ремесленный характер. Крупные состояния—до ста тысяч рублей и выше—были единичным исключением. В Нижнем-Новгороде в 1760-х г.г. самый крупный капитал купцов первой гильдии составлял 5.000 рублей, а самый мелкий—всего 150. В уездных городах торговля, разумеется, была еще мельче: в первой половине века самый богатый купец имел не выше 300 рублей собственного капитала. Не мудрено, что тогдашние «капиталисты», принявшись за промышленность, не могли выдерживать конкуренции даже с мелким ремеслом—и два или три раза во второй половине века московские «фабриканты» должны были взывать к помощи насаждавшего крупное производство начальства—против цеховой мастерской, хотя наша цеховая промышленность никогда даже приблизительно не достигала размеров западно-европейской позднего средневековья.

3. Государственная власть. «Ты да я, я да ты—мы одни будем все дела делать», говорил Павел Петрович одному из своих генерал-прокуроров. «Одно мое движение»—не без самодовольства говорила еще раньше Екатерина—«дает всему направление, куда итти должно». Если помещичья вотчина XVIII века была государством в миниатюре, то государство было лишь вотчиной в большом виде. Крепостное право имело свою логику: не отделяя хозяина от государя в самом себе, дворянин Екатерининской—и даже Александровской—эпохи не умел произвести такого разделения и в своем государе. Эта неумолимая логика крепостного права навязывала людям, даже затронутым «просвещением», едва понятные для нас политические взгляды. Очень звучное эхо этих взглядов мы находим опять-таки у Карамзина, знаменитая «записка» которого, по очень верному замечанию одного из новейших историков, была компиляцией из всех разговоров, какие автор слышал вокруг себя. Карамзин не представляет себе иного управления, кроме личного: лица для него—все, учреждения—ничто. Главное заблуждение Сперанского—«излишнее уважение к формам государственной деятельности». Формы сами по себе ничего не значат, следует «искать людей». «Сие искусство избирать людей и обходиться с ними есть первое для государя российского: без сего искусства тщетно будет искать народного блага в органических уставах». Все дело будет сделано, если удастся найти 50 хороших губернаторов; они обуздают корыстолюбие чиновников, укротят жестоких господ, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа...

Можно видеть здесь отголоски «просветительного» индивидуализма. По поводу губернатора—провидения можно припомнить вольтеровскую теорию государя—философа, тоже своего рода ходячего провидения для своих тупых и невежественных подданных, и практику Иосифа II, который тоже «один все делал», беспощадно ломая всякие «органические уставы». Но все это была бы лишь привычная западная одежда для явления вполне национального, как Монтескье для дворянских депутатов Комиссии 1767 года. Нужно прибавить, что Карамзин об этой одежде и не заботился. К его времени показной космополитизм русских вольтерьянцев успел уже смениться с таким же внешним и показным патриотизмом. Источник карамзинской идеологии был гораздо ближе к русскому дворянину начала прошлого века, чем Вольтер и Иосиф II. Стоит перечесть много раз воспроизводившуюся—уж очень она характерна,—переписку Карамзина со своим бурмистром, чтобы найти этот источник там, где ему и быть должно: в нравах и обычаях крепостной вотчины. Сравните грозный приказ «отца и судьи» своих подданных: «Кликушам об'явить моим господским именем, чтобы они унялись и перестали кликать», с указами императора Павла, воспрещавшими танцовать вальс и носить круглые шляпы,—и последние покажутся вам жалким подражанием первому.

История наших государственных учреждений восемнадцатого века показывает нам ту же картину, как и история помещичьей власти за то же время: сдержки, налагавшиеся традицией и обычаями, понемногу уступают,—чем дальше, тем быстрее—и оставляют место ничем не стесняемому личному усмотрению. Царь Московской Руси,

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

в обычном порядке, никогда не действовал без думы, без советников: самое большее, к чему он стремился, это заменить советников, навязанных ему судьбой людей «великой породы», попадавших в думу из-за своего происхождения, советниками по своему выбору. Задача была окончательно разрешена первыми Романовыми. Петру уже не приходилось бороться с аристократической думой: от нее осталось почти-что пустое место. Скоро это место было занято новым учреждением, члены которого были уже просто чиновники, назначаемые и сменяемые по произволу государя и перед ним ответственные. Но сенат Петра Великого все же, по старой памяти, был учреждением,—«местом государственным»,—он не был достаточно гибким орудием личной воли; и вот от учреждения очень скоро остается одна форма. При сенате,—а в сущности над сенатом—уже при Петре появляется генерал-прокурор, который, по словам такого знатока административных порядков, как Панин, «все мог и все делал», и на которого другой, не менее сведущий человек, Державин, жаловался, что он «присвоил себе всю власть самодержавную». Державину можно было бы на это возразить, что «злоупотребление» генерал-прокурора касается только официального носителя самодержавной власти: ни инструкция Петра, ни еще более выразительная в своей неофициальной форме инструкция Екатерины II кн. Вяземскому, не устанавливают для действий ген.-прокурора никакого другого критерия, кроме личной воли самодержца. «В чем вы будете сумнительны»,—писала Вяземскому Екатерина II—«спроситесь со мною и совершенно надейтесь на бога и на меня, а я, видя такое ваше угодное мне поведение, вас не выдам».

Все второстепенные отделы администрации мало-по-малу тоже сосредоточивались в руках личных агентов власти. Для эволюции учреждений XVIII века очень характерно, что как раз новые дела, незнакомые Московской Руси, поручались обыкновенно лицам, а не коллегиям: столичной полицией управлял генерал-полицеймейстер, почтами — генерал-почт-директор. Берг-коллегия — ведомство горных заводов—при Анне Ивановне тоже стала управляться бюрократически. Но положение генерал-прокурора в государстве ясно показывало, что все наиболее важные дела он возьмет в свои руки. Уже при Петре он, через своих прокуроров, стоял к коллегиям в таких же отношениях, как и к сенату. Коллегии были так запутаны, что, по подлинному выражению Екатерины II, «одну лишь форму канцелярскую исполняли, а думать не смели» «Раболепство персон, в сих местах находящихся—неописанное», прибавляет она, и винит в этом сенат; но для энергичного генерал-прокурора сенат был лишь формой, прикрывавшей его единоличную деятельность. Совершенно естественно, что в конце концов самостоятельное существование коллегий нашли излишним—в 70-х г.г. закрыли их, под тем предлогом, что они не подходят к новой системе губернских учреждений 1775 года. Остались только три коллегии: военная, адмиралтейская и иностранная. Войско, флот и дипломатия были в руках самостоятельных министров: все остальное управление было в руках генерал-прокурора. Вместо финансовых учреждений, созданных Петром, камер и штатс-коллегий, под начальством ген.-прокурора, при его канцелярии была устроена экспедиция государственных доходов из 4 отделений: доход-

ного, расходного, контрольного и для сбора недоимок. Через губернских прокуроров он держал под своим надзором все местное управление, а как надзиратель за высшей судебной инстанцией, сенатом, он держал в своих руках все тяжебные дела. В России, кроме фаворитов императрицы, не было человека, который бы от него не зависел. Даже такому фанатическому поклоннику личного управления, как император Павел, ничего не оставалось сюда прибавить: расширить власть своего первого министра на практике он не смог...

Записки двух секретарей императрицы Екатерины II, Храповицкого и Грибовского, дают очень наглядное изображение того, как применялась вся эта система на практике. Едва ли можно найти государство, где управление велось бы более «по домашнему», нежели Россия XVIII века. Правительство величайшей в мире империи помещалось в двух комнатах: одна из них была уборная государыни, другая—ее спальня. К десятому часу утра в первой из них собирались все высшие чиновники, имевшие дела для доклада. Дежурный камердинер стоял у дверей спальни и поочереди впускал туда докладчиков,—начиная всегда с обер-полицеймейстера города Петербурга. Вошедший находил государыню, сидящей на простом стуле, за небольшим письменным столиком; напротив стоял другой такой же столик для докладчика. Он отвешивал низкий поклон—Суворов кланялся в землю,—целовал руку, по данному знаку садился за столик против императрицы и докладывал. Беседа почти всегда происходила с глазу на глаз: присутствие третьего лица считалось знаком немилости и недоверия к докладчику. Императрица всем интересовалась и все желала знать: за небольшим «выгибным» столиком разрешались всевозможные дела, от самых важных вопросов внешней и внутренней политики до мелких дворцовых ссор. Распоряжения относительно спектакля в Эрмитаже сменялись разговором о предполагавшемся разделе Турции; потом выбиралась табакерка для придворного, которого нечем было больше пожаловать. Возникал вопрос, что делать с флотскими капитанами, которые убежали с поля битвы от шведов (дело происходит в 1789 году). Государыня жаловалась, что шведская война не дает ей покоя: у нее больше военных хлопот, чем у самого главнокомандующего. Закуплен ли хлеб для интендантства, сколько и по какой цене. Велено справиться обер-полицеймейстеру, сколько и где провианту зазимовало. Во Владимире при рекрутском наборе брали взятки: надо разобрать и это дело. Все эти военные мелочи тем досаднее, что они отнимают время у более важных вопросов. Генерал-прокурор не сошелся с государственным советом по вопросу о новом выпуске ассигнаций,—а деньги были нужны больше, чем когда-нибудь. «Каждый о своем думает,—сердилась императрица,—а я должна все решать». Но на каждом шагу она и сама навязывает себе хлопоты. Гвардейский солдат украл образ из дворцовой церкви: целый день Екатерины II ушел на разбор «околичностей» этого дела. Московский главнокомандующий пишет, что его полиция задержала какого-то странника, в железных веригах: велено снять вериги, потому что никто не должен сам себя изнурять, а дело тщательно исследовать—«очевидно это—фанатик».

Следя по запискам Храповицкого за этим ураганом самых разнообразных дел, ежедневно проносившихся через императорскую спальню, можно подумать, что дела отнимали у государыни все время и что ее существование было настоящей каторгой. Не тут-то было: там и сям в тех же записках вы увидите Екатерину и за русской историей, и за сочинением комедии, на прогулке или в театрах. Каждый вечер в ее покоях или в Эрмитаже собиралось все придворное общество, где императрица была, конечно, центром общего внимания и дирижером общей беседы: такой вечер должен был утомлять не меньше любого делового заседания. И между всем этим ежедневно находилось время для любимого занятия Екатерины II—работы над политическими проектами, без которых она, по собственным словам, не могла прожить дня и которых она не оставляла до последних лет жизни: в эти последние годы ее больше всего занимал проект преобразования сената. Первое чувство, которое выносишь из этого перечня повседневных занятий Екатерины,—удивление перед ее необычайной энергией. На этом чувстве обыкновенно историки и останавливаются. Но затем возникает простой житейский вопрос: ведь в сутках Екатерины были те же 24 часа, что и у обыкновенного смертного; сколько же из всех этих 24 часов уходило собственно на те разнообразные государственные дела, которые занимали ее внимание ежедневно. Всего на всего три часа: на доклады отводилось время от 9 до 12 часов утра. Тут удивление перед энергией императрицы может смениться или восторгом пред ее гениальностью, позволявшей ей в немного часов переработать такую массу материала, какого другому хватило бы на несколько дней, или это удивление может смениться совсем иным чувством...

Эта последняя смена настроения знакома не одним историкам Екатерины II,—ее случалось переживать и ее современникам. Державин в молодости был восхищен грандиозностью политических планов императрицы и долго находился под их обаянием—до тех пор, пока, в качестве постоянного докладчика, не увидел ее за работой. Тут его мало-по-малу постигло полное разочарование: он стал замечать, что великая преобразовательница просто-на-просто не понимает многих административных вопросов, о которых ей докладывают. С тактом светской женщины она обыкновенно очень ловко отделывалась от своего собеседника общими фразами,—и собеседник, с своей стороны, по большей части имел достаточно такта, чтобы не настаивать на категорическом ответе. У Державина не всегда доставало этого такта, и он, стараясь просветить свою государыню, начинал входить в деловые подробности. Екатерина сердилась и отвечала иногда наобум; он спорил и доказывал, что ее решение противоречит законам, которые она сама издала. Императрица окончательно выходила из себя, заявляла, что она самодержавна и слушать ничего не хочет. На этом спор, конечно, прекращался...

Державин был не совсем прав, досадуя за это на императрицу: овладеть всей массой мелочей, из которых состояла тогдашняя система управления, на это не хватило бы никаких способностей. Если непосредственные докладчики подмечали, случалось, грубые промахи у императрицы, то беспристрастные современные наблюдатели были

не лучшего мнения о самих докладчиках. Один из таких наблюдателей совершенно верно заметил, что всего лучше знали дела столоначальники; при таком режиме они и являлись истинными «государственными людьми» и вершителями судеб империи. К такому заключению и пришел впоследствии, как известно, Николай I...

Не трудно видеть, что между с у щ н о с т ь ю государственной власти, как она сложилась в России к концу восемнадцатого века, и ее ф о р м о й рано или поздно должно было возникнуть непримиримое противоречие. Власть должна была выражать интересы к л а с с а, но она была в руках л и ц а и по необходимости отражала вкусы, настроения и даже капризы этого лица. В феодальной монархии, опирающейся на замкнутое, «натуральное» хозяйство, этот личный фактор не опасен. Как бы тирански ни был настроен носитель власти, он может проявлять свое настроение только по отношению к отдельным лицам, которые имеют с ним дело непосредственно. Повлиять на судьбу целого класса он не в силах—экономическая независимость отдельных хозяйств делает неуязвимыми для центральной власти хозяев. Сама эта власть настолько зависит от личных услуг и натуральных приношений подданных, что она должна перед ними заискивать, а не они перед ней: без доброй воли подданных она почти моментально перестанет быть властью. По мере развития денежного, капиталистического хозяйства картина меняется: власть получает в свои руки прочные и постоянные источники дохода; личные услуги она может теперь покупать, а не выпрашивать; на место ненадежных в а с с а л о в, с которыми приходилось договариваться и спорить, индивидуальность которых приходилось уважать, становятся безличные и послушные ч и н о в н и к и. По мере развития обмена и централизации хозяйственной жизни страны район действия центральной власти расширяется: в область личного усмотрения попадают уже не только индивидуальные, но и общие интересы. От каприза властвующего лица начинает зависеть судьба не только лиц, но и целых общественных групп. Логическим выводом из новых хозяйственных условий была бы, конечно, замена личной власти общественными учреждениями. Но логика истории работает медленно. Чем богаче власть, тем больше личных существований и интересов с нею связано — тем больше у нее защитников, уже не из классовых побуждений, а просто из личной корысти. С другой стороны, наиболее в это время сознательная и лучше всех организованная общественная группа—крупные землевладельцы—теряет с каждым шагом экономического прогресса столько же, сколько выигрывает личная власть. Капиталистическое хозяйство разлагает крепостные отношения, почва под помещиком становится все более зыбкой, и он все чаще должен обращаться за помощью к той же личной власти. Скоро без этой помощи он уже не в состоянии вести хозяйство, и власть может не считаться больше с его оппозицией. Она то добродушно терпит его бессильное брюзжанье, то сразу кладет ему конец грозными окриками, когда оно начинает ей надоедать. А новые классы, создаваемые капитализмом, сначала слишком еще слабы и слишком мало сознательны: они тоже сплошь и рядом прибегают к помощи той же личной власти, не понимая, какой дорогой ценой покупают они минутную выгоду. При

таких же условиях агония личного абсолютизма может длиться десятки и даже сотни лет. Во Франции еще последним Валуа в XVI веке пришлось наткнуться на оппозицию в лице дворянства, но прошло ровно два столетия, пока в стране не оказалось ни одной общественной группы, которая смогла бы поддержать абсолютизм. В более молодых странах капиталистическое—а за ним и политическое—развитие идет быстрее; но и тут общественная логика далеко отстает от индивидуальной. На первых порах личные конфликты разрешаются личным же путем: нравы крепостной вотчины и здесь сохраняют всю свою силу. Убийство крепостными жестокого барина и убийство Павла I его придворными—два совершенно параллельные явления.

Фигура императора Павла—слишком благодарный литературный сюжет, чтобы не удостоиться целого ряда самых разнообразных «исторических характеристик», начиная от «сантиментального тигра» (Герцен) до «коронованного Гамлета» (г. Шильдер). Излишне говорить, что Павел не был ни тем, ни другим: это был просто очень ограниченный человек с развинченной нервной системой. В частной жизни он сошел бы в могилу с репутацией крайней сварливости и неспособности ни к какому серьезному делу. И только его высокое положение сделало эти далеко не поэтические свойства «исторической загадкой». Нервная неуравновешенность Павла была заметна даже людям столь мало интеллигентным, как его камердинер и премьер-министр Кутайсов: привыкнув, по своей обязанности цирюльника, пускать кровь и считая, в простоте души, это средство всеисцеляющим, Кутайсов высказывал сожаление, что он не пустил кровь Павлу в день восшествия последнего на престол. Именно этим своим медицинским недосмотром царский камердинер об'яснял некоторые акты управления своего государя...

Особенности первого русского императора XIX века сами по себе были достаточны, чтобы оттолкнуть от него даже мало требовательное общество. Но история, которой иногда доставляет удовольствие создавать классически законченные типы, позаботилась развить эти особенности в таком направлении, что они стали совершенно нестерпимы для любого сколько-нибудь культурного общежития. Русское светское общество времен Екатерины II сохранило в себе достаточно «патриархальности»: самой императрице, как известно, случалось бивать своих фрейлин по щекам. Но такие вещи делались у себя дома, в будничной обстановке—в публике старались подражать нравам парижского салона и очень гордились этим. Тем резче должно было быть впечатление от вступления на престол Павла. В своем гатчинском уединении он успел основательно отвыкнуть от общества «порядочных» людей. Его обычной компанией там были офицеры его гатчинской гвардии, трех захудалых баталионов, нехотя уступленных сыну Екатериной II и предназначенных служить началом русского «возрождения». Отчасти антипатичные черты характера самого Павла, отчасти всем известная антипатия императрицы к сыну, распространившаяся и на его войско (гатчинским мундирам было строго запрещено показываться на петербургских улицах), сделали полки наследника чем-то опальным,—туда шли только люди, не могшие рассчитывать на какую-либо карьеру в обычном порядке службы. Все, кого

выгнали из службы за пьянство, за неспособность, кто запятнал себя безнравственными поступками, собирались в Гатчину.

Так как милость Павла была для них единственным прибежищем, то они сносили от своего командира все,—самую грубую брань и даже побои. Какую форму должны были принять деспотические наклонности Павла при таких условиях, не трудно себе представить.

Как только, после смерти Екатерины II, Гатчина переехала в Петербург, нравы аристократического салона быстро сменились нравами гатчинской караулки. Началось с дворца, где все тотчас приняло новый вид: «загремели шпоры, тесаки, ботфорты и будто по завоевании города ворвались в покои везде военные люди с великим шумом» (Державин). Дворцовая публика должна была, ни минуты не медля, приспособиться к новым порядкам; каково ей это доставалось, показывает судьба самого Державина. Павел назначил его «правителем» преобразованного им государственного совета. Державину приказ показался очень неясным: он не мог понять, будет ли он заседать в совете наравне с прочими членами, или будет только его секретарем,—правителем дел. Он решился просить у императора раз'яснений. Павел совсем не привык видеть в своих гатчинцах такую щепетильность и страшно разгневался: „Глаза его, как молнии, засверкали, и он закричал стоящим перед кабинетом Архарову, Трощинскому и прочим:—«Слушайте, он почитает себя в совете лишним. Поди назад в сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу». Как ни был вышколен придворный стихотворец, но после такого приема он вышел из царского кабинета «в беспамятстве». Скоро все могли убедиться, что это не была случайная вспышка, а обычная манера императора выражать свое неудовольствие. Всего чаще приходилось ее испытывать на себе военным людям. Один заслуженный екатерининский полковник признавался, что, идя на смотр перед Павлом, он «ужасался более, нежели идя на штурм Праги».

Уже в своих военных распоряжениях Павел должен был сталкиваться с интересами не только отдельных лиц, но и целых групп,—в том числе и самой влиятельной группы, дворянства...

Отвращение дворянства (к режиму Павла), писал прусский посланник, «превосходит все, что можно сказать. Полная неуверенность в завтрашнем дне и беспрерывные нововведения доводят его до отчаяния. Только городское простонародье и крестьяне любят своего государя» ...

Павел, конечно, ни на минуту не думал о „классовых противоречиях“, когда издавал свои указы. Он руководился исключительно минутным капризом или инстинктивным отвращением ко всякому стеснению своей личной воли. На долю первого приходится отнести указ о трехдневной барщине, о котором говорилось выше несомненно имевший в виду облегчить положение помещичьих крестьян, но оставшийся мертвой буквой. На долю второго приходится громадное большинство распоряжений Павла. Вот как характеризовал его «систему» его старший сын, меньше, как через год после вступления отца на престол [1]): «Беспорядок, господствовавший в делах

[1]) Письмо Александра Павловича к Лагарпу от 27 сентября 1797 г. (Прим. М. Н. Покровского).

и без того в слишком сильной степени, лишь увеличивался еще более. Военные почти все свое время теряют исключительно на парадах. Во всем прочем решительно нет никакого строго определенного плана. Сегодня приказывают то, что через месяц будет отменено. Доводов никаких не допускается, разве тогда, когда все зло совершилось. Наконец, чтобы сказать одним словом, благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами: существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот на выворот». И тем не менее, помимо и даже против своей воли, все «перековеркав», Павел не мог изменить законов истории,—и, сделавшись врагом господствующего класса, стал воплощением надежд и чаяний классов угнетенных. В этом случае особенно характерна привязанность к Павлу солдат, тех самых гвардейских солдат, которых он так мучил своей шагистикой. 2 и 4 августа 1797 года в Павловске произошла тревога, потому, как сообщает в письме к Нелидовой императрица Мария Феодоровна, что войска думали, будто случилась «беда во дворце». «Их не нужно бы приучать к этой мысли, — прибавляет императрица, — что во дворце может случиться беда». Но 11 марта 1801 года все четыре года Павлова царствования носились в воздухе,—и не понравившаяся императрице мысль гвоздем сидела в головах солдат. 11 декабря тревога повторилась в Петербурге; солдаты опять говорили: «Беда сделалась во дворце». Павел поблагодарил войска за усердие. В роковую ночь офицерам только с большим трудом удалось помешать преображенским гренадерам броситься в царскую спальню и перебить заговорщиков. «Тираноубийство», которым начинается девятнадцатый век в русской истории, к сожалению, отнюдь не было делом возмущенной народной совести... Это была месть господствующего и привилегированного класса за попытку коснуться грубой рукой его интересов и привилегий.

«Система» первых лет царствования угрожала только юридическому обеспечению тех выгод, каким пользовалось дворянство. Но в жизни не каждый день приходится сталкиваться с формальным правом. Притом же императорские указы не могли изменить обычаев: суды, наполненные выборными от дворянства, продолжали покровительствовать своему сословию и после того, как дворянин был сравнен с «подлыми» людьми в области уголовной репрессии. Несмотря на указ 3 января, случаи применения телесного наказания к дворянам были редки и вызывали общую сенсацию, — когда прогнали сквозь строй капитана Кирпичникова или засекли полковника Грузинова, об этом говорила вся дворянская Россия, между тем, как крестьян или мещан такая участь постигала ежедневно, и на это никто не обращал внимания. Мы не знаем, применялся ли более строго закон, лишавший провинившихся дворян избирательных прав. Словом, пока деспотизм ограничивался областью права, с ним можно было мириться: он стал абсолютно невыносим, когда капризы императора коснулись экономических основ жизни дворянства. «Павел, — пишет со слов современников, декабрист фон-Визин,—сперва враг французской революции, готовый на все пожертвования для ее подавления, раздосадованный своими недавними союзниками, которым справедливо приписывал неудачи, испытанные его войсками после славной кампании

Суворова в Италии, вдруг совершенно изменяет свою политическую систему и не только мирится с первыми консулами французской республики, умевшими ловко польстить ему, но становится восторженным почитателем Наполеона Бонапарта и угрожает войною Англии. Разрыв с нею наносил неизъясненный вред нашей заграничной торговле. Англия снабжала нас произведениями—и мануфактурными, и колониальными—за сырые произведения нашей почвы. Эта торговля открывала единственные пути, которыми в России притекало все для нас необходимое.

Дворянство было обеспечено в верном получении доходов со своих поместий, отпуская за море хлеб, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, лен и проч. Разрыв с Англией, нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в нем ненависть к Павлу, и без того возбужденную его жестоким деспотизмом. Мысль, извести Павла каким бы то ни было способом, сделалась почти всеобщей».

Образовавшийся заговор был одним из самых элементарных, какие знает история. Принципиальная сторона в нем совершенно отсутствовала, говорило исключительно задетое шкурное чувство.

Техника заговора была также примитивна, как и его «идейное» содержание. О нем знал весь дворянский Петербург. 11-го марта у княгини Белосельской был званый вечер. За ужином один из гостей, вынув из кармана часы, сказал по-французски: «Ну, великому императору теперь плохо приходится». Все замолкли,—но никто не спросил об'яснения: всякий понимал в чем дело. Не приходилось скрываться даже от полиции, потому что главный начальник полиции, петербургский генерал-губернатор граф Пален, был в то же время и главою заговора...

Первая русская революция XIX века ничего не изменила в физиономии русского общества—потому что она и вызвана была нежеланием общественных перемен. Напротив, это была в высшей степени консервативная революция, как мы видели. Прогрессистом, хотя и бессознательным, хотя в дикой и нелепой форме, был Павел. Дворянство времен Екатерины II считало свою позицию на хребте русского крестьянства несокрушимой и неприступной. Четырехлетнее правление Павла было грозным предостережением. На другой день после смерти ненавистного императора дворяне спешат сильнее окопаться, еще поднять стены и углубить рвы, предупредить всякую возможность еще раз «все перековеркать»,—т. е. потрясти основы дворянского господства и благополучия.

Потребность гарантировать чем-нибудь права и преимущества «первенствующего в империи сословия» составляет исходную точку так называемого «общественного движения в первые годы царствования Александра I»...

Порядку, обеспечивавшему дворянство при Павле угрожало лицо. От нового императора ждали гарантий, прежде всего, против личного произвола. Александр оправдал ожидания очень быстро: 26 марта 1801 г., через две недели после вступления на престол, он упразднил «совет при императорском дворе», влачивший при Павле

самое жалкое существование: под конец он собирался только для цензуры иностранных книг, а когда их вовсе было запрещено привозить из-за границы, исчезло и это занятие. Столь дискредитированное в общественном мнении учреждение могло только мешать. Вместо него, указом 30-го марта был учрежден «Совет непременный из лиц доверенностью нашею и общею почтенных». Назначение Совета, говорил указ, состоит в том, чтобы «постановить силу и блаженство империи Всероссийской на незыблемом основании закона». «Оградив два первые состояния подданных наших непоколебимыми правами и преимуществами», продолжал указ, «мы призываем Совет к уважению последнего из них». Совет должен»... вдохнуть дух жизни и бодрости в нижние состояния людей». Дела из Совета вносятся на утверждение государя, когда большинством голосов будут уважены. Не имеющие сего уважения остаются без действия».

Итак, новые узаконения не будут больше продуктом личной воли: они будут пропускаться через фильтр «избранного сословия» (так называется «непременный Совет» в указе 30-го марта), и, отвергнутые большинством лиц, «доверенностью общею почтенных», они не могут получить обязательного для всех значения. Торжественно восстановленная Александром «жалованная грамота» дворянству (манифест 2-го апреля 1801 г.) находилась теперь под надежной охраной.

II. Экономическое развитие России в первой половине XIX века.

Из ст. Н. А. Рожкова, под тем же заглавием, помещенной в „Истории России в XIX в.“. Изд. Гранат. Т. 1.).

1.

Основным явлением хозяйственной истории России в первой половине XIX века или—вернее—до падения крепостного права надо, несомненно, признать гораздо более быстрое и широкое, чем прежде, развитие менового или денежного хозяйства. Денежное хозяйство начало заметно развиваться в России еще с половины XVI века, но сначала этот процесс совершался весьма медленно и захватывал сравнительно небольшие группы населения. Только в XIX веке начинается переход денежного хозяйства во вторую стадию развития, когда большая часть населения втягивается в торговый оборот, работает для рынка, а для удовлетворения собственных потребностей закупает продукты чужого труда, выносимые также на рынок в виде товара.

В ряду фактов, характеризующих это основное хозяйственное явление эпохи, прежде всего, обращают на себя внимание те, которые указывают на рост в н е ш н е й торговли. Накануне крестьянской реформы ценность русского вывоза, простиравшаяся в начале XIX века

до 75 миллионов рублей, поднялась до 230 миллионов; в то же время иностранных товаров ввозилось уже на 200 миллионов рублей, тогда как в начале столетия ввоз не превышал 52 миллионов. Важнейшими предметами русского вывоза были хлеб и вообще земледельческие продукты, скот и продукты скотоводства, лесной товар и прочее сырье. Как рос вывоз хлеба,—видно из следующих цифр: в период времени между 1800 и 1845 г. хлеб по ценности составлял 15—16% всего русского вывоза, в 1846—1860 г.г.—уже 30—35%; средний вывоз хлеба за 10 лет, предшествовавших 1846 году, не превышал 28 миллионов пудов, а за следующее затем десятилетие составлял уже 51 мил. пудов в год, так что наблюдается громадное повышение сравнительно с предшествующим десятилетием—на 88,2%. Это вполне понятно; передовые западно-европейские страны, чем ближе к половине XIX в., тем больше развивали у себя обрабатывающую промышленность и, следовательно, тем острее ощущали нужду в привозном русском хлебе, главным образом, в пшенице. Затем повышается экспорт льняного семени и хмеля. Ценность экспортируемых за границу лесных товаров в 1815 г. равнялась 1 миллиону 320 тысячам рублей серебром, а в 1850 г. дошла до 2 мил. 745 тыс. руб. сер. (повышение более 100%). Скота и продуктов скотоводства (сала, щетины, кож) вывозилось в 1825 г. на 15 мил. 885 тыс. руб., а в 1850 г. уже на 17 мил. руб. сер. Соответственные явления наблюдаются и по отношению к предметам заграничного ввоза. Вот наиболее яркие примеры, характеризующие, как нельзя лучше, движение в направлении к росту денежного хозяйства: в 1820 г. машин привозилось в Россию всего на 10 тыс. руб. сер., а в 1850 г.—на 2 мил. 221 тыс.; ценность ввозимых в страну заграничных шерстяных изделий повысилась с $1^1/_2$ тыс. руб. сер. в 1815 г. до 2 мил. 39 тыс. в 1850 году.

Наряду с этим и, даже, можно сказать, быстрее этого росла т о р г о в л я в н у т р е н н я я. Прежде не только в крестьянском, но и в дворянском обиходе довольствовались для удовлетворения своих потребностей продуктами исключительно—домашнего производства, не покупавшимся, а вырабатывавшимися трудом дворовых; употребляли, напр., грубое домашнее сукно и домотканное полотно. Но мало-по-малу эти примитивные ткани стали заменяться в потреблении п о к у п н ы м более тонким сукном, ситцем и миткалем. Уже в 1812 г. обороты внутренней торговли оценивались приблизительно в 260 мил. руб. сер. На нижегородской ярмарке в 1824 г. было продано товаров на $40^1/_2$ мил. руб., а в 1838 г. уже—на 129 мил. 200 тыс. Быстро растут купеческие капиталы: в 1822 г. в Московской губернии общая сумма этих капиталов доходила до 27 миллионов рублей, а 11 лет спустя, в 1833 г., она достигла уже 39 миллионов, что составляет около 45% повышения в такой короткий срок, как одно десятилетие. Улучшаются пути сообщения: начинается железнодорожное строительство, заводятся пароходства по Волге, Днепру и другим рекам. Но главное, что бросается в глаза и что особенно характерно для развития денежного хозяйства—это рост разделения труда между отдельными частями территории государства, неизбежно ведущий к обмену услуг, к торговому оживлению. Нечерноземная полоса России—север и центр—стали нуждаться в значительных количествах привозного хлеба, так

как своего не хватало уже для потребностей местного населения. Торговые сношения связывали между собою весьма отдаленные части страны: Харьковская, Полтавская, Екатеринославская и Херсонская губернии снабжали лошадьми большую часть России, Малороссия и Новороссия употребляли в 1854 г. на 80 мил. руб. сер. великороссийских товаров, привозимых на многочисленные малороссийские ярмарки, которых в одной Харьковской губ. было 425 в год, а в Полтавской—372; товары доставлялись в Малороссию из губерний Московской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Рязанской, Тульской, Нижегородской, Орловской, Калужской, затем с запада—из губерний Смоленской, Гродненской, Лифляндской, с юга—из Бессарабии, Крыма, Екатеринослава, и востока—с Дона и из Воронежск. губ. Словом, явственно обозначилось разделение России на среднюю и северную неземледельческую область и южную земледельческую и скотоводственную, причем та и другая подавали друг другу руки в хозяйственном отношении, не могли жить одна без другой, составили единое, связанное экономическое целое, столь необходимое для развития денежного хозяйства.

Оставляя область торговли и переходя к другим отраслям народного труда, мы и здесь должны констатировать поступательное движение, являющееся новым признаком развития денежного хозяйства в стране.

В 1838 г. издатель журнала „Русский Земледелец“ печатно заявил, что тогда как земледелие в России „стоит почти неподвижно“, обрабатывающая промышленность „достигла изумительного развития“. На самом деле обрабатывающая промышленность развивалась не изумительно, но довольно быстро, и в этом, конечно, ничего нет удивительного: ее рост является необходимой предпосылкой развития денежного хозяйства. В важнейшей из отраслей фабричной производительности—хлопчатобумажном производстве—количество перерабатываемого хлопка возросло за 50 первых лет века в 16 раз; выплавка чугуна за то же время поднялась с 8 до 16 миллионов пудов в год, быстрое поступательное развитие суконного производства засвидетельствовано тем фактом, что в 1850 г. в России считалось уже 492 суконных фабрики. В период времени между 1820 и 1830 годами число фабрик в России увеличилось с 3-х до 4-х тысяч, а количество занятых на них рабочих возросло с 170-ти до 240 тысяч человек. Первый русский свеклосахарный завод был основан в 1802 г.; в 1845 г. считалось уже 206 сахарных заводов с производством в 484 тысячи пудов, а три года спустя, в 1848 г., размеры производства достигли 900 тысяч пудов в год, количество же заводов дошло до 340. По словам современника, уже во второе десятилетие XIX в. многие деревни приняли вид городов, будучи заселены ремесленниками крестьянскими, которых считалось тогда во всей стране до 700 тысяч человек. Рост обрабатывающей промышленности сказывался даже на вывозной торговле. Нам уже приходилось указывать, что в русском вывозе по мере приближения к 50-м и особенно 60-м годам все более видную роль стали играть сельско-хозяйственные продукты, по преимуществу, зерновый хлеб. И все-таки, несмотря на это, увеличивался и вывоз произведений обрабатывающей промышленности. Так, в 1815 г., земле-

дельческих произведений было вывезено на 23 мил. 400 тыс. руб. сер., продуктов скотоводства на 17 мил. 800 тыс., продуктов добывающей промышленности—на 7 мил. 200 тыс., а обрабатывающей—на 10 мил. 800 тысяч; для 1850 года соответствующие цифры будут 44 мил. 700 тыс. руб. (земледелие), 23 мил. 500 тыс. (скотоводство), 7 мил. 300 тыс. (добывающая промышленность) и 11 мил. 300 тысяч (промышленность обрабатывающая).

2.

Рост денежного хозяйства сильно сказался, прежде всего, в формах землевладения. Россия до крестьянской реформы 1861 г. была страной с господством сословной дворянской полусвободной земельной собственности. Мы называем ее полусвободной именно по той причине, что она была сословной, т.-е. могла подвергаться свободному гражданскому обороту (купле-продаже, залогу, дарению, мене) только в пределах дворянского сословия. Без сомнения, такие юридические отношения лица к земле вытекали из тех экономических условий, в каких находилась страна в XVIII и начале XIX в.,—т.-е., главным образом, из слабости развития денежного хозяйства при подавляющем в то же время перевесе земледелия над другими отраслями производства: перевес земледелия делал землевладельческое дворянство определяющей, почти всецело господствующей общественной группой, замыкал его в самом себе, заставлял пренебрежительно и свысока относиться к иным экономическим и социальным явлениям.

Мы знаем однако, что русское земледельческое производство первой половины XIX века постепенно все более и более стало работать для рынка, неудержимо превращалось в товарное производство, втягивалось в денежно-хозяйственные отношения. Отсюда произошел целый ряд чрезвычайно важных и интересных новых явлений, проторявших постепенно дорогу новым свободным формам земельной собственности, уничтожению дворянской привилегии по владению землей.

Самым важным из этих новых явлений надо, несомненно, считать рост недворянского (купеческого, мещанского, крестьянского) землевладения в изучаемое время. К сожалению, мы не имеем точных и прямо указывающих на этот процесс цифр, но, хотя и косвенным, однако, несомненным подтверждением этого служит факт постепенного уменьшения крепостного населения не только относительного, но и абсолютного: с 1812 года абсолютное количество крепостных или не увеличивалось, или падало, а как шло на убыль их относительное количество,—видно из того, что между 1747 и 1837 годами крепостные составляли 45% всего населения России, а в конце 50-х годов процент этот понизился до 37½. Недворянское землевладение распространялось и в областях с многочисленным крепостным населением, но особенно быстро и сильно оно росло там, где крепостных было мало: так было на юге, юго-востоке и западе России. Рост недворянского землевладения важен в двух отношениях: во-первых, он сокращал количество дворянских полусвободных, сословных зе-

мель, потому что некоторые дворяне отпускали на волю или переводили в другие имения своих крепостных и потом продавали землю недворянам: земля делалась, таким образом, об'ектом свободного гражданского оборота; во-вторых, рост недворянской земельной собственности ярко подчеркивал тенденцию денежного капитала найти себе приложение в землевладении. В приобретении в собственность дворянской земли принимали деятельное участие и бывшие крепостные, вышедшие на волю по отдельным отпускным и по законам о свободных хлебопашцах 1803 г. и об обязанных крестьянах 1842 г. Правда, число освобождаемых отдельно и по этим законам не было велико: в свободные хлебопашцы было уволено всего немногим более 112 тысяч душ мужского пола, а в обязанные крестьяне—до 45 тысяч душ, но все-таки эти факты имеют большое симптоматическое значение.

Вторым важным признаком того, что общие экономические условия времени начали перерастать принцип полусвободной земельной собственности является сильная задолженность дворянского землевладения: в государственных кредитных установлениях накануне освобождения крестьян числилось в залоге дворянских имений на громадную сумму в 425½ миллионов рублей. Без сомнения, это указывает на то, что дворяне-землевладельцы под влиянием развития денежного хозяйства почувствовали особенно острую нужду в денежном капитале, и, конечно, эта потребность не замедлила бы выразиться в усиленной мобилизации дворянской земельной собственности в руки не-дворян, обладавших капиталами, если бы это не задерживалось стеснительными нормами закона, поддерживавшего принцип сословности в отношении к землевладению.

Развивающееся денежное хозяйство отразилось—далее—и на распределении земли между самими дворянами; расширение рынка сельско-хозяйственных продуктов содействовало капитализации сельско-хозяйственных предприятий, создавало условия, благоприятные для средних и крупных землевладельцев, и больно отражалось на мелкопоместных дворянах, не выдерживавших усилившейся конкуренции более значительных хозяйств. Отсюда довольно ясно выразившаяся тенденция к концентрации дворянского землевладения, особенно к увеличению абсолютного и относительного перевеса средних по размерам земельных владений (от 101 до 1000 душ мужского пола), что вполне соответствует степени расширения рынка, иначе—той стадии в развитии денежного хозяйства, какая переживалась страной. Следующие цифры наглядно подтверждают сказанное: по восьмой ревизии считалось мелкопоместных владельцев, имевших не более 20 душ м. п., 58.457 чел., что составляло 53,5% всех дворян-землевладельцев (общее число которых было 109.340); от 21 до 100 душ имели тогда 30.417 чел. или 27,8%; 101—500 душами владели 16.740, т.-е. 15,3%; имевших 501—1000 душ числилось 2.273 чел.—2%; наконец, свыше 1000 душ имели 1.453 чел. или 1,4%. По десятой ревизии, когда всего дворян-землевладельцев считалось 100.247, соответствующие цифры по всем этим пяти разрядам были таковы: мелкоместных—41.016 или 40,9%; от 21 до 100 душ—35.498 или 35,4%; от 101 до 500—19.930, т.-е. 19,8%; от 500 до 1000—2.421 или 2,4%; наконец, свыше 1000—

1.382 чел. или 1,5%. Сокращение числа мелкопоместных дворян дошло, таким образом, до 12,6%: 17.341 мелкопоместный дворянин исчез с арены хозяйственной борьбы.

Влияние новых хозяйственных условий на формы землевладения не ограничивалось всем этим: оно сказалось также в тех отношениях к земле, которые стали слагаться в среде крестьян—крепостных, государственных и удельных. Но соответственно степени развития денежного хозяйства, несравненно более низкой в крестьянской массе, чем среди дворян, здесь это влияние сказывается частичным и сравнительно незначительным, часто едва заметным, между тем как землевладельческие традиции, созданные предшествовавшим временем, были чрезвычайно сильны. Хорошо известно, в чем именно заключались эти традиции: и на государственной, и на удельной, и на владельческой земле появилась в XVIII и начале XIX века особая форма крестьянского землепользования.

Так как этот процесс закончился только в 30-х годах XIX столетия, то мы должны на нем не надолго остановиться. Вся земля, удобная для полевого хозяйства, которою владело государство, отдавалась в пользование государственным крестьянам; то же делалось и с большей частью земель удельных; наконец, и помещики обыкновенно отдавали в пользование своим крепостным за оброк или барщину известную часть имения, — в разных губерниях от 45 до 80% всей земли эксплоатировалось крестьянами на себя. Пока крестьяне были свободны, каждый из них садился на определенный подворный участок и обрабатывал его вне непосредственной, хозяйственной зависимости от своих односельчан. Так продолжалось и в первое время после установления крепостного права: землевладелец, — будь то дворянин или государство, все равно,—имел дело с каждым отдельным крестьянином в отношении хозяйственного обеспечения последнего, снабжения его землей в достаточном количестве. Но к половине XVIII века в центре России и к началу XIX столетия на севере плотность населения настолько увеличилась, что многие крестьяне стали ощущать недостаток земли, а у других в пользовании оставались очень крупные участки. Таким образом, начали выделяться два слоя среди крепостной крестьянской массы: во-первых, крестьяне богатые, вполне, иногда с избытком, обеспеченные землей; во-вторых, малоземельные бедняки, крепостной пролетариат. Само собой разумеется, что это расслоение не обошлось без влияния медленно, но неуклонно развивавшегося денежного хозяйства, создавшего имущественное неравенство, принижавшего одних и возвышавшего других. Малоземельное большинство, конечно, сильно страдало от недостатка земли, тем более, что подушная подать, введенная Петром Великим и налагавшаяся в равном размере на все мужское население без различия возраста и достатка, падала в такой же мере на бедных крестьян, как и на богатых. И вот бедняки, сначала на владельческих землях, а потом и на государственных и удельных, начинают всеми силами добиваться «земельного поравнения», передела всей земли, находившейся в крестьянском пользовании, по наличным душам мужского пола. Интересы крепостного пролетариата вполне совпадали с материальными выгодами землевладельцев и казны: и те и другая зорко следили за исправным посту-

плением оброков и подушного сбора, а для этого необходимо было, чтобы каждая крестьянская семья пользовалась таким количеством земли, которое приблизительно соответствовало бы размерам платежей, выпадавших на ее долю. Так как развитие крепостных отношений привело к торжеству взгляда на всю землю, как полную и безусловную собственность помещика, то последний приобрел возможность личным распоряжением установить уравнительно-душевой передел земли между крестьянами. Это и было сделано постепенно в XVIII веке на дворянских землях всей Великороссии и к 30-м годам XIX в. на государственных землях севера. Установленный однажды передел стал затем повторяться периодически, через определенные промежутки времени, по мере изменения количества душ мужского пола в отдельных семьях и в целом крестьянском обществе — или мире. Так положено было начало первому элементу земельной общины или мирского землепользования—периодическим переделам.

На этом дело не остановилось и не могло остановиться. Идея уравнительно-душевого передела включает в себе понятие о том, что на каждую наличную крестьянскую душу мужского пола должен приходиться земельный участок, совершенно равный другим таким же участкам. Между тем, никогда не бывает, чтобы вся земля, находящаяся в пользовании крестьян одной деревни, была одинакового качества: обыкновенно, часть ее хороша, плодородна, другая часть среднего достоинства, бывает и земля совсем худая. Стремясь соблюсти необходимое равенство между душевыми участками, мирской сход лишен поэтому возможности отводить всю землю на отдельную душу сплошь: приходится сначала разделить землю на «коны» или «ярусы», по степени ее плодородия, и затем на каждый душевой участок отделить по равной с другими полосе в каждом кону или ярусе. Вот второй элемент крепостной земельной общины—чересполосица.

Третий важный ее элемент — так называемый принудительный севооборот, т.-е. обязательность для каждого крестьянина обычных в общине приемов хозяйства, одной общей с другими крестьянами системы земледелия. Эта черта, помимо чересполосицы и периодических переделов, является непосредственным результатом господства трехпольной системы полевого хозяйства; трехпольная система ведет к уменьшению размеров выгонной земли и предполагает необходимость пастьбы скота на полях после снятия жатвы; для этого, очевидно, необходимо закончить уборку хлеба одновременно во всей деревне, иначе скот будет портить неубранный хлеб; а одновременное завершение полевых работ требует одинаковой их организации во всех однодеревенских хозяйствах, т. е. обязательного севооборота.

Крестьянская земельная община—это детище крепостной эпохи—господствовала в Великороссии в течение всего изучаемого времени. Но любопытно, что уже тогда кое-где приходили к сознанию необходимости поправок в ней и даже ее полного уничтожения. В 1822 году один калужский помещик находил в хозяйственном отношении весьма полезной отмену переделов в интересах поднятия личной хозяйственной энергии крестьянина. Профессор Московского университета Калиновский старался сделать переделы крестьянской земли в своем имении возможно более редкими. Денежно-хозяйственная система по-

вышала спрос на личную инициативу и личную энергию и впервые ставила на очередь жгучий впоследствии вопрос о крестьянской земельной общине.

3.

Углубляясь далее в изучение процесса развития явлений хозяйственной жизни России в первой половине прошлого века, мы должны констатировать наличность отмеченных уже нами общих тенденций и в сфере взаимных отношений между капиталом и трудом или, что то же, в формах хозяйства.

Так как земледелие продолжало оставаться главной отраслью народного труда, то первостепенное значение имеют, конечно, формы земледельческого производства. Здесь, как и везде, традиции прошлого, хозяйственная рутина играли очень большую роль. Характерны в этом отношении цифры, указывающие, с одной стороны, на относительную величину земли, находившейся в пользовании крестьян, и земли, эксплоатировавшейся помещиками на себя, с другой—на средние размеры крестьянских наделов. Что касается первого, то свыше 70% всей земли (от 71,4 до 80-ти) было в руках крестьян губерний: Нижегородской, Петербургской, Владимирской, Ярославской, Тверской, Калужской, Вологодской и Смоленской (всего 8 губерний), свыше 60% (от 65,6 до 68,2) считалось в трех губерниях — в Псковской, Новгородской и Олонецкой; в четырех губерниях—Пензенской, Рязанской, Тульской и Костромской — крестьяне сосредоточивали в своих руках от 50 до 57,3% всей земли; наконец, в их пользовании было менее половины (от 46 до 47,3%) земли также в четырех губерниях—Курской, Тамбовской, Орловской и Воронежской. В общем, следовательно, надо признать, что в черноземных губерниях барская земля преобладала над крестьянской, тогда как в нечерноземных отношение было обратное. Характерно, однако, то, что вообще во всей России крестьяне сосредоточивали в своих руках больше земли, чем владельцы крепостных душ, и что даже в той губернии, где у крестьян был наименьший процент земли—Воронежской—процент этот не понижался далее 46-ти, т. е. и здесь перевес размеров барской запашки над крестьянской не был значителен. Тем не менее, если сравнивать с XVIII веком, придется признать факт расширения размеров барской пашни: в XIX в. оброчные крестьяне владели $^4/_5$ всей удобной для земледелия земли, а барщинные менее, чем половиной, тогда как в XVIII оброчные владели всей землей, а у барщинных было $^2/_3$ ее. В этом нет ничего странного: мы знаем, что рост денежного хозяйства ускорился в первой половине XIX в. сравнительно с предшествующим столетием; отсюда произошло естественное расширение рынка сельско-хозяйственных продуктов, вызвавшее стремление помещиков увеличить размеры собственной запашки.

Что касается средних размеров удобной для сельского хозяйства земли на одну рабочую душу мужского пола (тут считается, конечно, только земля, находившаяся в пользовании крестьян), то свыше 6 десятин (от 5,4 до 8,7) на душу приходилось в губерниях: Вологодской, Новгородской, Олонецкой и Петербургской, от 4-х до 6-ти — в

Костромской, Смоленской, Псковской, Ярославской и Тверской губерниях, от 3-х до 4-х — в Нижегородской, Владимирской, Орловской, Калужской, Пензенской и Воронежской, и, наконец, ниже 3-х (но не меньше $2^1/_2$ дес.) считалось в губерниях Тульской, Тамбовской, Московской, Рязанской и Курской. В общем нельзя не признать, что крепостной земледелец немного своего хлеба мог предназначать для сбыта: ему большей частью хватало его только для собственного потребления. Ставились, очевидно, на очередь к концу изучаемого периода вопросы, во-первых, о обезземелении части населения, во-вторых, о расширении площади крестьянского землепользования (напр., путем аренды) и, в третьих, о под'еме земледельческой техники, которая могла бы повысить урожайность и дать возможность удовлетвориться небольшим наделом.

Стремления усилить барщину, уменьшить размеры крестьянского надела, увеличить барскую запашку,—имели своим основанием потребность сельских хозяев 40-х годов XIX в. приспособиться к меняющимся под влиянием роста денежного хозяйства условиям внутреннего и внешнего рынков. Этими именно новыми условиями и об'ясняется отмечаемое многими исследователями оживление крепостного, барщинного хозяйства в 40-х годах. Оживление это оказалось однако временным: попытка примениться к новым обстоятельствам при сохранении крепостного строя, путем напряженного развития его основных движущихся начал заранее была осуждена на неудачу, которая и не замедлила обнаружиться воочию. Дело в том, что крепостная барщина отличалась крайне слабой производительностью в силу несвободного своего характера, вследствие незаинтересованности крепостного рабочего в результатах его труда. Надзор же за крепостными рабочими было организовать трудно, да и как бы он ни был организован, он мало помогал делу. Помещики 40-х годов хотели заменить надзор управляющих, приказчиков и бурмистров собственным хозяйским глазом, чем и об'ясняется отмечаемое Гакстгаузеном и другими наблюдателями уменьшение землевладельческого абсентеизма, оседание дворян-помещиков в их имениях, но и это, при несвободном труде, мало приносило пользы. Необходимость освобождения труда подчеркивалась всем общим складом денежно-хозяйственных отношений, вызывалась той потребностью в росте личной инициативы, предприимчивости, энергии, которая составляет плоть от плоти и кость от кости слагающегося капиталистического строя.

Это обстоятельство всего ярче отразилось в обнаружившейся с очевидностью в половине XIX в. невыгодности крепостной крестьянской барщины или изделья — принудительного труда крепостных рабочих на господской пашне. О такой невыгодности свидетельствует целый ряд наблюдений. В Тульской губ. тягло, т. е. крепостные работник с работницей обходились в год в одном имении в 288 рублей; между тем наемный труд соответствующего количества и качества, считая и пропитание работника и работницы и содержание живого и мертвого сельско-хозяйственного инвентаря приводил к расходу всего в 170 руб. в год.

Невыгодность крепостной барщины приводила мало-по-малу к тому, что ее применение постепенно сокращалось, и крепостные

крестьяне все чаще переводились на оброк. Это видно из сравнения соответствующих цифр по большинству губерний, если пределами для сравнения взять, с одной стороны, 60-е годы XVIII в., с другой, половину XIX столетия, канун освобождения. В XVIII в. процент барщинных крестьян во Владимирской губ. доходил до 50-ти, а в XIX он понизился до 30-ти; в Ярославской г. с 22-х он упал до 12,6; в Костромской—с 15 до 12,5; соответствующие цифры для Олонецкой губ. будут 34 и 28, для Московской—64 и 32, для Вологодской 17 и 16, для Рязанской — 81 и 62, для Псковской — 79 и 77, для Тульской—92 и 75; наконец, в Курской губ. относительное число издельных крестьян уменьшилось с 92 (XVIII в.) до 75,5% (XIX ст.). Если, таким образом, в десяти губерниях понижение процента крепостных, обязанных барщиной, совершилось с полной несомненностью и иногда доходило до значительных размеров, то, в противоположность этому, большее распространение барщины сравнительно с оброком наблюдается в XIX в., если его сравнить с XVIII в., только в восьми губерниях.

Приведенные сейчас цифры знаменательны сами по себе, как показатель начавшегося упадка крепостного хозяйства. Но они еще более важны в этом смысле, если наряду с ними и в виде дополнений и поправок к ним принять во внимание целый ряд других данных, свидетельствующих о постепенном переходе к наемному труду.

К числу форм производства, переходных от крепостного труда к вольнонаемному, надо отнести такую организацию сельско-хозяйственных предприятий, при которой барщина не только не устраняется, но и не ограничивается в размерах, не уменьшается или мало уменьшается в своей напряженности, но вместе с тем увеличивается количество земли, отдаваемой в пользование крестьян, сокращается, следовательно, площадь барской запашки, и крестьяне, получив поощрение на лучший труд посредством именно этого дополнительного надела, работают лучше на господской пашне, поднимают ее урожайность, и, таким образом, не только уничтожают возможные от уменьшения запашки убытки помещика, но и повышают своим, более интенсивным, трудом его доход. Оставаясь, следовательно, по внешности своей крепостным, барщинным, хозяйство по существу воспринимает в себя некоторые черты вольнонаемной организации, потому что создается квалифицированное, повышенное вознаграждение за лучший труд; так вносится в процесс производства тот принцип поощрения и вознаграждения хозяйственной энергии, которого так недоставало крепостному хозяйству.

Другой переходной к вольнонаемному труду формой, надо считать образование группы арендаторов барских имений, заводивших способы ведения хозяйства, во многом напоминающее тот, который только что описан. Так, в конце 30-х годов, ярославский помещик Кушников сдал в аренду свое имение, деревню Перово, Ростовского уезда, своему же крепостному крестьянину Андрею Тимофеевичу за 7000 руб. в год. Арендатор поставил дело так: завел улучшенную систему хозяйства на собственной запашке, но обеспечил крестьян хорошим наделом, не напрягая чрезмерно барщины, и в результате получилась значительная выгода.

Третьей формой—еще более близкой к полному господству вольного найма—является наем барщинными крестьянами вместо себя для отправления изделья на господской пашне посторонних работников. Так, в подмосковном имении Жукова крестьяне в 40-годах обязаны были барщиной, но, так как они „надеялись не на хлебопашество, а на шелковую фабрику", то „для барщины и своих полевых работ нанимали работников".

Наконец, иногда помещики, имея в виду малую производительность крепостного труда и недостаточность рабочих сил барщинных крестьян, принанимали дополнительных рабочих. Так, например, поступал в 50-х годах Калиновский в своем имении селе Конюхове, Владимирской губернии. Такой способ ведения хозяйства особенного распространения достиг в черноземной полосе России. В этом отношении важное значение имеет свидетельство одного хозяина-практика того времени,—князя А. В. Мещерского. Он уже в 1873 году писал: „Хозяйственный переворот, произведенный освобождением крестьян, был несравненно менее чувствителен в степных, черноземных поместьях, где и при крепостном праве требовался постоянно для своевременной быстрой уборки хлебов и трав дополнительный вольнонаемный труд выходивших туда ежегодно на летние полевые работы крестьян из густонаселенных украинских губерний".

Но если допустить, что свидетельство кн. Мещерского относится ко всем южным и юго-восточным губерниям, то получится чрезвычайно любопытное заключение: окажется, что, несмотря на широкое применение барщины на юго-востоке, о чем свидетельствуют приведенные выше цифры, касающиеся относительного количества изделных крестьян в разных местах,—здесь хозяйство уже в очень значительной мере перестало быть крепостным, потому что рядом с крепостным трудом широко эксплоатировался вольнонаемный. Цифры, характеризующие распространение барщины на юге России в XIX веке, получают, таким образом, совершенно иной смысл. И у нас есть несомненные данные, которые заставляют предполагать, что вольнонаемный труд в помещичьих имениях первой половины XIX в.—особенно 50-х годов—был вообще значительно распространен. Так, в Нижегородской губернии вольнонаемный труд эксплоатировался для земледельческих целей в имении Чаадаева, в Рязанской губ.—в поместье Александрова; по свидетельству князя В. И. Васильчикова, в Тамбовской губернии перед крестьянской реформой существовал целый ряд помещичьих экономий, пользовавшихся для разработки помещичьей запашки вольнонаемным трудом местных крестьян. Есть любопытные наблюдения, касающиеся и Тульской губернии: так, по „Журналу ежедневных работ", по хуторам Богородицкого, Тульской губернии, имения графа А. П. Бобринского в 1859 и 1860 годах различались два вида работ: 1) «работы хуторскими рабочими», 2) «работы вольнонаемные». Но было бы ошибкой думать, что работы хуторскими рабочими производились не по найму: мы видим, что им выдавалась определенная денежная заработная плата; так, вычислено, что в течение годового периода с 1 апреля 1859 г. по 1 апреля 1860 г. хуторские рабочие были заняты возделыванием земли 3276½ рабочих дней, уборкой

свекловицы 552 дня, молотьбой и вейкой—548 дней, каждый день ценился в 23 коп., что в общем составляло сумму заработка в 1006 р. $59^1/_2$ коп. (753 р. $59^1/_2$ к. за возделывание земли, 126 р. 96 к. за уборку свекловицы и 126 р. 4 к. за молотьбу и вейку). Повидимому, хуторскими назывались крепостные графа Бобринского, а вольнонаемные чужие крестьяне, может быть, и пришлые со стороны, не местные. Что касается вольнонаемных работ, то они были в отношении к земледелию еще более напряженными, чем работы хуторских рабочих: наш документ свидетельствует, что на пахоту, бороньбу и возку хлеба вольнонаемные рабочие потратили 1848 конных дней, $806^1/_2$ пеших и $266^1/_2$ женских, всего на сумму 2061 р. 10 к., на уборку картофеля—108 женских дней на 10 руб. 80 коп., на уборку свекловицы—478 конных дней, $85^1/_2$ пеших, $17904^1/_2$ женских на 2265 р. 13 к., на молотьбу и вейку хлеба—$581^1/_2$ пеший день и 320 женских на 176 р. 30 к. Словом, все хозяйство графа Бобринского было в конце 50-х годов организовано исключительно на основе вольнонаемного труда.

Вообще почти каждый раз, как приходится рассматривать какой-либо документ, относящийся к помещичьему земледельческому хозяйству конца дореформенной эпохи, мы наталкиваемся на несомненные следы вольнонаемного труда или на переходные формы от крепостного к вольному труду. Таким образом, не подлежит никакому сомнению господствовавшая в первой половине XIX века под влиянием развития денежного хозяйства тенденция в сторону все большего применения свободного труда в сельско-хозяйственном производстве.

Едва ли еще не в большой мере эта тенденция проявляется в то же время в обрабатывающей промышленности, где одновременно с этим и под тем же влиянием производство делается все более крупным и капиталистическим.

Еще в древней России до-петровского времени существовали различные виды обрабатывающей промышленности,—домашнее производство для собственного потребления, мелкое кустарное производство с соответствующим ему городским ремеслом, рассчитанные на небольшой местный рынок, товарно-кустарное производство, в котором производство остается мелким, а сбыт организуется капиталистически, переходит в руки скупщиков, наконец, даже фабрики, где капитал захватывает не только сферу обмена, но и область производства хозяйственных благ.

С течением времени те из указанных сейчас видов обрабатывающей промышленности, которые отличались меньшей капитализацией и концентрацией производства, отступали на второй план сравнительно с более капиталистическим, в чем выражалось опять-таки, конечно, развитие денежного хозяйства. Вот почему домашнее производство, мелкое кустарничество и даже городское ремесло потеряли прежнее важное значение среди форм обрабатывающей промышленности, и на первый план выдвинулись товарно-кустарное производство и фабрика, причем и эта последняя становилась постепенно все более крупной. Вот несколько примеров роста товарно-кустарного производства: в XVIII еще веке в Московской губ. развились бумажное ткачество и шелко-ткацкая промышленность: в начале XIX века

там же появились патронная промышленность и шитье лайковых перчаток. В 1812 г. кустарная набойка и кустарное ткачество бумажных материй распространяется из Москвы в селе Иванове, Шуйского уезда, Владимирской губ. В конце 40-х годов бумажное ткачество захватывает первое место среди других крестьянских промыслов в губерниях Ярославской, Костромской, Рязанской, Калужской и других. В царствование Николая I наиболее пышного расцвета достигает в сфере обрабатывающей промышленности именно товарно-кустарное производство: к 40-м годам особенно выделяются в этом отношении такие центры, как Павлово, Ворсма, Кимры, Иваново-Вознесенск и т. д. Характерно при этом, что товарно-кустарное производство оказывалось до такой степени приспособленным к условиям той стадии развития денежного хозяйства, какую переживала тогда Россия, что одерживало сплошь и рядом победу в борьбе с фабрикой: так, из 141 тыс. человек, занятых в конце XIX в. товарно-кустарным производством в Московской губ., не менее 82 тыс. (т. е. до 59%) заняты были в производствах, образовавшихся путем разложения фабрик, 16% сложилось путем выхода рабочих из крупных мастерских в городах; из домашнего производства и мелкого кустарничества вышли только 25%. Фабрики конца XVIII и начала XIX в. разлагались на кустарные промыслы по той причине, что их технический уровень был низок: они были мануфактурами, работа на них производилась руками, так что не было у них никаких преимуществ перед кустарной избой. Городские мастерские поставляли кустарей в деревню отчасти под влиянием помещиков, посылавших туда учиться своих крепостных.

Концентрация производства на фабриках и заводах также засвидетельствована целым рядом фактов. Так, в 40-х годах наблюдается в России усиленный рост крупных бумагопрядилен. Вообще до 40-х годов во всех почти отраслях русского фабричного производства росли крупные предприятия, и только конкуренция расцветшей в это время кустарной промышленности на время задержала и ослабила этот процесс. Не надо, впрочем, забывать, что и эта задержка была в сущности мнимой: в таких кустарных центрах как Павлово или Иваново, масса кустарей фактически находилась в полной зависимости от фабрикантов.

Наконец, несомненна и тенденция в сторону освобождения фабричного труда, выразившаяся притом чрезвычайно ярко. XVIII век завещал XIX-му несвободную фабрику двух видов,—вотчинную-дворянскую и купеческую-посессионную. Вотчинной называлась фабрика, на которой вся работа производилась помещичьими крепостными. Посессионные фабрики—такие, на которых работали так называемые посессионные крестьяне, т. е. крестьяне, прикрепленные к фабрикам и заводам по закону Петра Великого в 1721 г.; их нельзя было отчуждать без фабрик и заводов и употреблять на иные работы, кроме фабричных. Этими фабриками владели не дворяне, обыкновенно купцы, потому что обладание крепостными, прикрепленными к личности владельца составляло привилегию дворянского сословия. К числу посессионных фабрик принадлежали еще так называемые обязанные фабрики, которые должны были поставлять в казну известное количе-

ство своих изделий. На некоторых вотчинных фабриках работа производилась так же, как и крепостная земледельческая барщина: работали брат на брата, т. е. одновременно половина рабочих исполняла работу, а другая оставалась дома, чтобы затем сменить первую; платы не полагалось. Характерно однако, что уже в начале XIX в. на большей части вотчинных фабрик полагалось вознаграждение натурой, иногда даже деньгами: это—первый признак перехода к наемному фабричному труду. Посессионная фабрика была в смысле организации производства едва ли не более несвободной, чем вотчинная: дело в том, что владелец посессионной фабрики не мог ни уменьшать ни увеличивать ее размеры, ни изменять характер производства, ни переводить рабочих на другую фабрику. И здесь изредка встречалась работа брат на брата, без денег, но почти всегда существовала денежная заработная плата. Однако, слабая производительность несвободного труда давала себя знать и ставила на очередь вопрос о его отмене. Это видно прежде всего из того, что постепенно уменьшалось число вотчинных фабрик: в 1825 г. крепостных рабочих на этих фабриках считалось еще 35% общего числа фабричных рабочих в России, но в 30-х годах XIX века дворянские фабрики составляли уже только 15% всех русских фабрик, а в 40-х годах процент их понизился до 5-ти. В 1816 г. прекращено было дальнейшее увеличение числа посессионных рабочих законом о запрещении покупать крестьян к фабрикам и заводам. В 1825 г. уже 54% всех фабричных рабочих работали по вольному найму. В 30-х годах фабриканты громко жалуются министру финансов на невыгодность посессионного труда. Под влиянием этого в 1840 году был издан закон, по которому фабриканты приобрели право освобождать посессионных рабочих, получая от казны по 36 руб. с души мужского пола, если они были приобретены покупкой у частных лиц или за деньги приписаны из казны; в противном случае освобождение должно было быть безденежным. Мало того: в случае приписки освобождаемых к государственным крестьянам (что зависело от их воли) бывший их владелец обязан был даже выдавать определенное денежное пособие. Таким образом, увольнение посессионных крестьян по закону 1840 г. не сулило их владельцам никаких материальных выгод и даже вовлекало их в расходы. Несмотря на это, закон настолько соответствовал вполне назревшей потребности, что им скоро воспользовались 103 фабрики: более половины посессионных фабрик перешли, таким образом, по желанию владельцев, к вольнонаемному труду. Параллельно росту вольнонаемного труда в русской фабричной промышленности наблюдается в первой половине XIX века еще один важный процесс,—процесс перехода главной части фабрик в руки крестьян, разбогатевших и выкупившихся на волю. Еще в конце XVIII века многочисленные фабриканты села Иванова и Морозовы в Зуеве вышли из числа крепостных графа Шереметева. В 1831 г. в селе Ваче, Муромского уезда, Владимирской губ. основал свой металлургический завод Кондратов, бывший крепостной кн. Голицына. В 1860 г. в селе Апатьеве, Коломенского уезда, Московской губ., небольшая полотняная фабрика была устроена на основе вольнонаемного труда крестьянином Калининым, вышедшим из числа крепостных помещика Львова.

Но торжество вольнонаемного труда на фабрике резко подчеркивало необходимость освобождения крестьян в интересах фабричной промышленности. Отсутствие гражданских прав свободной личности у вольнонаемного рабочего из отпущенных на оброк крепостных, несомненно понижало его работоспособность, потому что ставило его в зависимость от помещика и принуждало отдавать нередко львиную долю своего заработка тому же помещику. Сверх того, помещик мог нарушить и интересы фабриканта, досрочно или даже в срок отозвав с фабрики своего крепостного. Наконец, и рабочие могли не исполнять договоров, прикрываясь своей зависимостью от помещиков. Юридическое освобождение становилось, таким образом, неизбежным. Оно подготовлялось в данной сфере и законодательством: 24 мая 1835 г. был издан закон, по которому рабочий не имел права уходить до истечения срока найма и требовать досрочной прибавки платы, а помещики-владельцы наемных фабричных рабочих лишились права отзывать с фабрик своих крепостных раньше истечения срока отпускных свидетельств.

Чтобы закончить изучение форм хозяйства, нам остается сказать несколько слов о формах торговли. В этом отношении приходится отметить попрежнему преобладание ярмарочно-караванной торговли, достаточно характеризованное уже приведенными выше, при изучении относительного значения разных отраслей хозяйства, данными о росте и распространении ярмарок. Развитие товарно-кустарного производства, также уже отмеченное выше, свидетельствует еще об одном важном явлении в области торговли,—о том, что фундаментом для крупной ярмарочно-караванной торговли служила деятельность скупщиков в деревне. К этому можно прибавить, что такая деятельность захватывала не только кустарные промыслы, но и земледелие. Характерно в этом отношении, напр., свидетельство Жукова, автора изданного в 1848 г. «Руководства отчетливо, успешно и выгодно заниматься русским сельским хозяйством»: по его словам, моршанские купцы «раз'езжали осенью для закупки хлеба по помещикам окрестным и соседственных губерний». Понятно, в какой тесной связи все эти явления в области форм коммерческих предприятий находились с условиями той стадии развития денежного хозяйства, какую переживала Россия до 50-х и даже до 60-х годов XIX в. Только развитие парового транспорта, едва зарождавшегося в то время в России, могло поколебать те старые основы, на которых покоилась тогда русская торговля.

4.

Первому периоду в развитии денежного хозяйства, сопровождающемуся преобладанием земледелия, первоначальным ростом обрабатывающей промышленности в ее по преимуществу некапиталистических формах, нешироким и неглубоким развитием товарного обращения, господством несвободного, крепостного труда, соответствовал и определенный уровень хозяйственной техники или системы народного производства.

В области обрабатывающей промышленности такой характерной для крепостного хозяйства чертой хозяйственной техники является

ручной труд, не сопровождающийся сколько-нибудь широким применением более или менее сложных орудий, тем более машин. Известно, что в XVIII веке ручной труд господствовал не только среди деревенских кустарей и городских ремесленников, но и на фабриках и заводах. Соответственно этому на невысокой ступени развития стояла и система полевого хозяйства. Здесь незачем останавливать внимание читателя на крайне первобытных, экстенсивных системах земледелия на крайнем севере России, где, по условиям почвенным и климатическим, подсечная, огневая или лядинская система, состоящая в вырубке леса, корчевании и выжигании пней и затем годичных или двухгодичных посевах без удобрения, находила еще себе довольно широкое применение. Надо, однако, заметить, что уже здесь, наряду с подсеками, нередко встречалось и переложное хозяйство, при котором залежь или перелог все еще без удобрения, путем простого отдыха восстанавливают свои производительные силы, потому что возврат к обработке первоначально-запаханного участка производится еще через достаточно продолжительные промежутки времени. Более того: в некоторых местах севера—преимущественно по берегам Северной Двины — встречаем даже довольно рано переход к трехполью в разных стадиях его развития.

В общем можно сказать, что и в остальной России переложная и трехпольная системы преобладали в XVIII в., причем первая была более распространена по направлению к югу и востоку. Это во всей полноте может быть повторено и о XIX столетии, когда не только Новороссия, нижнее Поволжье, Оренбургская губерния были областями с господством переложного хозяйства, но даже в такой центральной губернии, как Калужская, в начале 20-х годов только треть всей земли унаваживалась. Однако, особенно типической для крепостного хозяйства системой земледелия является именно трехпольная, которую один из теоретиков сельского хозяйства, Бажанов, справедливо назвал в 1860 г. «системой барщинскою».

Перемены, совершившиеся, как мы видели, в первой половине XIX в. во взаимных отношениях разных отраслей хозяйства и в формах хозяйственной деятельности, отразились и на хозяйственной технике. В сфере земледельческого производства под их влиянием сказывается несомненная тенденция в сторону интенсификации, перехода от переложного хозяйства к недоразвитому трехполью, от недоразвитого трехполья к законченной трехпольной системе и, наконец, от этой последней к более интенсивной хозяйственной технике. Мы должны теперь, прежде всего, характеризовать фактами все эти важные новые явления.

Типическим примером перехода от переложного хозяйства к недоразвитому трехполью может служить хозяйство помещика Никольского, в селе Крутец, Балашовского уезда, Саратовской губ. во второй половине 30-х годов XIX века. Раньше здесь «землепашество было в состоянии полудиком», но в это время оно было усилено, заведено трехполье, и, наряду с употреблением плуга, сохи и деревянной бороны, введена была в хозяйственный обиход даже молотильная машина. В сельце Конюхове, Владимирской губ. в 40-х годах господствовало недоразвитое трехполье. «Обрабатывание пашни по общепринятой

здесь трехпольной зерновой системе производилось чрезвычайно небрежно. Почва бороздилась сохами на какой-нибудь вершок глубины и кое-как заделывалась самодельными, почти беззубыми, боронами». В 50-х годах новый владелец имения Калиновский улучшил систему полевого хозяйства, превратил ее в развитое законченное трехполье.

Без сомнения, уже иллюстрированные сейчас двумя типическими примерами, перемены в земледельческой технике были знаменательны для своего времени. Но на этом дело не остановилось и не могло остановиться. Подобно тому, как в области форм хозяйства крепостные отношения все сильнее подтачивались проникавшими в них новообразованиями в виде вольнонаемного труда и разных переходных к нему форм,—и в сфере техники земледелия совершались весьма крупные изменения, указывавшие на переход к более интенсивной системе, чем крепостное трехпольное хозяйство. Это выразилось и в деятельности ученых обществ того времени, и в агрономической литературе, и в усилиях правительства и, наконец, в работе самих хозяев-практиков.

Из ученых обществ в этом отношении особенно замечательно было императорское Вольное Экономическое Общество. Среди его членов, несомненно, довольно рано зародилась и укрепилась идея о том, что необходимо подвинуть вперед технику русского земледельческого хозяйства, что нельзя удовлетворяться традиционным паровым зерновым хозяйством с трехпольным севооборотом. И вот общество еще в 1790 году обещает денежную награду тому крестьянину, который посеет больше «ското-кормовых трав». В 1798 г. тем же Вольно-Экономическим Обществом издается трехтомное сочинение «Деревенское Зеркало», имевшее в виду также пропаганду среди крестьян системы посева кормовых трав. В 1804 г. Вольное Экономическое Общество обратилось ко всем губернаторам с просьбой сообщить ему, нет ли в управляемых ими губерниях дворян, которые «упражняются в опытах, относящихся к удобрению земледелия и садоводства»; имелось в виду привлечь таких лиц к участию в обществе. Губернаторы через предводителей дворянства обратились с запросами к дворянам. До какой степени однако дворяне того времени в массе своей чужды были идее усовершенствования земледельческого хозяйства, видно из того, что, напр., коломенские дворяне приняли запрос Вольного Экономического Общества за правительственное предписание лучше вести хозяйство и расписались на нем следующим образом: «1804 г. марта 19 дня мы, нижеподписавшиеся, отношение о требовании императорским Вольным Экономическим Обществом о лучшем своем управлении, относящемся к хозяйству, читали, и каждый о своем управлении об'ясняет под сим подпиской», и далее следуют самооправдания в дурном ведении хозяйства со ссылками на старость, на то, что «вновь изобретенным чем-либо успособить себя не успел» и т. д.

Если, таким образом, в конце XVIII в. и в самом начале XIX призывы к усовершенствованию хозяйства были редки и большею частью безуспешны, то это не помешало дальнейшей деятельности Общества: то же Вольное Экономическое Общество много сделало для практической разработки этого вопроса в своих «Трудах» и других изданиях, и в этом ему много содействовало Московское Общество сельского хозяйства, издававшее «Земледельческий Журнал». Это вво-

дит нас уже в работу специальной агрономической литературы, которая довольно рано выдвинула на очередь ту же задачу и все сильнее и сильнее ею занимались, что, несомненно, указывает на известный рост общественного настроения в определенном смысле, в пользу технических усовершенствований.

Общее движение захватило и некоторые органы правительственнов власти, попытавшиеся применить меры административного воздействия к делу усовершенствования русского сельского хозяйства. 20 февраля 1801 г. был издан закон об агрономической организации в России. По этому закону, заводились повсюду губернские агрономы или «наставники», губернские опытные поля и крестьянские хозяйства в удельных деревнях. Но, как и следовало ожидать, на практике значение этого закона свелось к нулю: был назначен всего один «наставник»—в Смоленскую губернию, да и ему администрация удельных имений ставила непреодолимые препятствия до тех пор, пока в 1803 г. самый институт «наставников» не был совершенно уничтожен. После этого правительство ограничивалось уже только рекомендацией разных руководств для улучшения сельского хозяйства,—так, напр., в 1835 г. было рекомендовано и разослано предводителям дворянства «Наставление о заведении четвертого или овощного поля»,— и выдачей премий за разные нововведения: в 1842 г. министр государственных имуществ предоставил в распоряжение Московского Общества сельского хозяйства на 3 года 9 премий для крестьян за успешное разведение картофеля: четыре премии по 15 руб. и пять—по 25 руб.

Но самым важным новым явлением в области земледельческой техники, чрезвычайно ярко отражавшим в себе влияние развивавшегося денежного хозяйства и распространявшихся новых форм хозяйственной деятельности, надо признать практическую прививку к русскому сельскому хозяйству улучшенных приемов обработки земли, расширения запашек, введения улучшенных семян и усовершенствованных орудий, переход во многих случаях к промышленному хозяйству, соединенному с переработкой продуктов сельско-хозяйственной производительности в другой вид в том же имении, наконец, развитие плодосмена и травосеяния.

Мы уже приводили выше данные, касающиеся роста русской свеклосахарной промышленности, русского сахароварения в первой половине XIX столетия, эти данные служат первым важным признаком перехода во многих местах к хозяйству промышленному. Другим признаком того же общего явления надо признать рост винокурения. В этом отношении особенно характерным являлось малороссийское сельское хозяйство: уже в 30-х годах в Малороссии хлебопашество повсюду соединялось с винокурением; не только весь хлеб местного производства перерабатывали на местных же винокуренных заводах, но с той же целью закупали хлеб в соседних великороссийских губерниях, особенно в Курской.

Переход к травосеянию, многополью и плодосмену со всеми последствиями его в области применения машин, улучшенных орудий и семян, восходит своими корнями еще к XVIII веку, именно, к концу его. Зародыши этих новых явлений в истории русской сельско-хозяйственной техники можно наблюдать еще у Болотова, в его каширском

имении, а также в посевах тимофеевки на подсеках Вологодской губернии. Но для этого раннего времени в особенности замечательны попытки Самборского, Бакунина и Бланкеннагеля.

В начале XIX в. плодосменное хозяйство английского типа не было уже особенно исключительною редкостью в помещичьих имениях центральной России: по указанию гр. Ростопчина в его брошюре „Плуг и соха" многие русские помещики вводили у себя английское земледелие; иностранцы-управляющие крупными имениями больших русских бар много содействовали таким нововведениям: таков, напр., был Роджерс в подмосковном имении гр. Румянцева Кагул в 1800—1815 г.г., огородники Царицинской и Нагатинской волостей заимствовали именно из этого имения то интенсивное хозяйство, которое существует у них в настоящее время.

Чем далее мы будем подвигаться к половине XIX в., тем чаще встретятся нам свидетельства о под'еме земледельческой техники. В 1807 году Левашев завел у своих крестьян четырехпольный севооборот с травосеянием. В 1819 г. ту же систему с чрезвычайным успехом применил в селе Иванове, Ярославского уезда, И. И. Самарин, причем заведенные им порядки сохранились без перерыва до нашего времени. Еще более смелые попытки были произведены в 20-х годах калужским помещиком Полторацким и тверским Шелеховым, причем неудачей кончились только опыты Шелехова, Полторацкий же хорошо справился со своей сложной задачей, и пример его создал целый ряд усердных подражателей. В авчуринском хозяйстве Полторацкого заведено было четырехполье, которого держались в то же время и многие другие помещики, напр., Фрибе, Апраксин, Муравьев.—Но некоторые шли дальше: так, Давыдов завел очень сложный девятипольный севооборот. В 30-х годах мы наблюдаем переходные от трехполья к плодосмену технические приемы в имениях Соковнина и Титова. Настоящий развитый плодосмен утвердился в то же время в дер. Перове, Ярославской губ., арендованной крестьянином Андреем Тимофеевичем у помещика Кушникова, и в имении Миклашевского, селе Белый Колодезь, Новозыбковского уезда, Черниговской губ., где, благодаря переходу от трехполья к плодосменной системе, с применением машин, урожайность возросла на 37%. В 40-х и 50-х годах, наконец, наблюдаются крупные усовершенствования в хозяйстве петербургского помещика Де-Ла-Гарде, усвоившего настоящий плодосмен, рязанского—Семенова, который завел систему более интенсивную, чем простое трехполье, тульского—Хрущева и тверского—Воробьева. Хрущев купил молотильную машину, веялку, сортировку и маслобойку. У Воробьева в 1857 г. было „убрано в большой сарай" 194 воза клевера и в малый сарай 42 воза. От 40-х годов сохранилось письмо к нему от одного помещика с просьбой продать ему 3 пуда клевера. В 1854 г. помещик Сонин благодарил того же Воробьева за снабжение его семенами ньюландской и пенсильванской ржи. По словам издателя журнала „Русский Земледелец" проф. Павлова, уже в 30-х годах помещичьи круги были заняты вопросами земледельческой техники: прежде стыдились о них говорить, теперь стыдятся не говорить.

Интенсификация системы производства стала проявляться и в обрабатывающей промышленности, причем, разумеется, главным полем

ее применения оказалась не кустарная изба, а фабрика. Раньше всего применены были машины в области хлопчато-бумажного производства, и в 40-х годах техника русской хлопчато-бумажной промышленности стояла уже высоко. Ниже стоял технический уровень суконной промышленности, и совсем слабо развивалась в смысле приемов обработки железоделательная промышленность. Зато в тех отраслях обрабатывающей промышленоости, которые тесно связаны с земледелием, мы наблюдаем в первой половине XIX века сильный под'ем техники: это надо сказать особенно о сахароварении и винокурении, где паровая сила нашла себе раннее и широкое применение.

Так в недрах старой, дореформенной России зарождались новые приемы хозяйственной деятельности, тесно связанные с условиями развивавшегося денежного хозяйства и со слагавшимися уже в жизни свободными формами хозяйственной деятельности.

5.

Каждая из отмеченных в предшествующем изложении особенностей хозяйственного развития России в первой половине XIX века и все эти особенности в их совокупности повлияли, наконец, и на распределение народного дохода между отдельными группами населения.

Развитие денежного хозяйства, как мы видели, быстро двинуло вперед обрабатывающую, особенно фабрично-заводскую, промышленность, создало в этой отрасли производства повышенную прибыль на капитал и, вместе, поставив на очередь вопрос о расширении свободного вольнонаемного труда в связи с улушением техники народного производства, повысило расценку труда, заработную плату фабричных рабочих. Рост прибыли на капитал, занятый в обрабатывающей промышленности, в достаточной мере характеризуется приведенными уже в свое время данными о развитии фабрики и увеличении торгового и промышленного капитала в стране. Не подлежит сомнению и рост заработной платы в фабричной промышленности. В начале века эта плата была очень низка: так, ткачи на суконных фабриках Московской губернии получали в среднем в 1803 г. по 4 р. 50 коп. в месяц (от 3 р. до 6 р. 60 к.), на шелковых фабриках от 3 р. 75 к. до 7 р. 80 к.; переводя эти цифры на деньги нашего времени, получаем в среднем реальную заработную плату в 6 р. 50 к. в месяц, что, несомненно, весьма мало. Несколько выше был заработок лишь на ситцевых и хлопчато-бумажных фабриках, где он доходил на наши деньги до 10—16 руб. в месяц. По мере приближения к половине века наблюдаются два явления: во-первых, уровень платы во всех отраслях фабричного производства становится одинаковым, во-вторых, плата вообще растет. Первое из этих явлений об'ясняется тем, что повышенная плата в хлопчато-бумажной промышленности начала века создавалась специальными выгодами этой отрасли производства, только что заводившейся в то время в России и пользовавшейся особенно дешевым тогда материалом; позднее эти выгоды сгладились. Как повышалась вообще заработная плата русских рабочих в 30-х, 40-х и 50-х годах видно из истории суконных и шелковых фабрик: здесь нередко заработок стал доходить до 20 и более рублей в месяц. В

отдельных случаях, особенно, тогда, когда фабрика была помещичьей, бывало, разумеется, гораздо хуже, но характерно, что и здесь предприниматели в 40-х годах и позднее вынуждались к уступкам, необходимость которых признавалась и местной администрацией и выборными органами дворянского сословия. Любопытен в этом отношении следующий, напр., факт. В 1841 г. в селе Жданском Голушеве, Бронницкого уезда, Московской губ., принадлежавшем помещику Окулову, была чулочная шелковая фабрика, сдававшаяся в аренду Казакову. Четверо лучших мастеров зарабатывали здесь до 20 р. в месяц, а прочие получали плату от 7 до 15 руб., причем земледелием занимались лишь те семьи, в которых были старики, все же прочие были исключительно фабричными рабочими. В результате—жалобы рабочих на скудную плату, о которых исправник сообщил местному предводителю дворянства, и последний уговорил Окулова и Казакова повысить плату.

Повышение заработной платы, хотя и гораздо меньшее, можно наблюдать в изучаемое время и в сельском хозяйстве, поскольку в нем применялся вольнонаемный труд. Так, в 1805 г. заработная плата сельско-хозяйственного рабочего не поднималась выше 30 коп. в день на своих харчах. В 40-х и 50-х годах 30—40 коп. и выше платилось на харчах хозяйских, и лишь своим крепостным при этом же условии помещики, как, напр., гр. Бобринский, понижали плату до 23 коп. в день.

В предшествующем изложении нам неоднократно приходилось наблюдать, как действительность в разных сферах хозяйственных отношений перерастала старые крепостные отношения, перестраивала, иногда прямо ломала их, во всяком случае, выставляла на вид постепенно с все большей ясностью устарелость и нелепость крепостного права. Нигде, однако, эта устарелость и нелепость не выступала с такой ясностью, как именно в распределении хозяйственных благ. Конечно, повышение спроса на продукты сельского хозяйства на внутреннем и внешнем рынках само по себе увеличивало земледельческий доход (ренту), но, помимо этого естественного роста, мы наблюдаем, как рента вздувалась искусственно именно вследствие возможности почти неограниченно эксплоатировать крепостные обязанные отношения. Естественный рост ренты проявляется в повышении цен на землю, особенно грандиозном на плодородных, недавно заселенных окраинах: так, в 70-х годах XVIII в. казна, раздавая для заселения свободные земли в Курской, Воронежской и Екатеринославской губерниях, получала не более $1^1/_2$ рублей за десятину, а в конце 30-х годов в XIX в. цена повысилась здесь уже до 100 и более рублей ассигнациями. При Павле и Александре I в Оренбургской и Саратовской губ. платили по 3—5 руб. за десятину, а спустя 30—40 лет цена десятины поднялась здесь уже до 30—40 руб.

Но в повышении уровня помещичьего оброка с крепостных крестьян нельзя уже видеть влияние одного только повышения земельной ренты: здесь с большой силой сказалось влияние крепостного права, открывавшее простор для чрезмерной эксплоатации народной массы владельцами крепостных душ. В конце XVIII в. обычный средний размер оброка был 5 руб. с души, что при переводе на деньги

50-х годов XIX в. составляет 7 руб. 50 коп. (рубль конца XVIII в.= 1½ рублям половины XIX-го). В половине XIX ст. размеры оброков чрезвычайно сильно увеличились: в пяти губерниях оброк был выше 20 р. с тягла (от 20 р. 3 к. до 27 р. 26 к.), в шести—свыше 19 р., в восьми—от 15 до 18 р., и только в одной Олонецкой он равнялся 12 р. 51 к. Современники, напр., Гакстгаузен, свидетельствуют, что уплачивать такие оброки крепостные крестьяне могли только благодаря подсобным промыслам и отходу на сторонние заработки, крестьянское же земледелие не могло вынести подобную тяготу. По вычислению одного хозяина-практика 40-х годов, в лучшем случае половина крестьянского дохода шла на оброки и подати, в большинстве же дело обстояло гораздо хуже. Выше было уже указано, как эксплоатировали помещики труд крепостных крестьян. Эта эксплоатация со стороны барина дополнялась деятельностью в том же направлении со стороны деревенских кулаков из своей же братии—крепостных: по словам одного помещика 20-х годов, везде богачи-кулаки „властвовали" над крестьянами, среди которых „редко видим уравнительное и общее благосостояние". Правительство неоднократно убеждалось, что помещичьи крестьяне не в состоянии платить налоги в тех размерах, в каких платили их крестьяне государственные. Мало того: казне приходилось постоянно делать значительные приплаты в виде пособий на прокормление голодающего крепостного населения, а голодовки были тогда обычным, нормальным явлением еще в большей степени, чем теперь. Правительство пыталось прийти на помощь населению в этой беде и с этой целью прибегало к разным паллиативам, неизменно кончавшимся полнейшей неудачей и иногда чрезвычайно курьезным. Так, в 1822 г. министерство внутренних дел разослало предводителям дворянства несколько тысяч экземпляров брошюр с описанием изобретения аптекарем Бранденбургом „средства печь хлеб с примесью исландского моха", причем в циркуляре министра графа Кочубея было сказано, что „хлеб таковой признан не только не вредным, но и выгодным к приуготовлению" и потому должен рассматриваться как „вспомогательное средство к прокормлению народа в случае неурожаев". Другое такое же „вспомогательное средство" рекомендовано было министерством в 1840 году: в это время некто Риттер, живший в Полтавской губ., нашел, что „выжатая на сахарном заводе свекловица и высушенная и вкусом и видом ближе всего подходит к ржаной муке, а спеченный из нее хлеб может быть употребляем с величайшею пользою".

Понятно, что крепостное население, пробавлявшееся за отсутствием ржи исландским мхом, выжатой сушеной свекловицей, лебедой и древесной корой, вымирало: известно, что рост числа помещичьих крестьян совершенно прекратился в последнее время существования крепостного права; число это даже пошло на убыль.

Рассматривая хозяйственное положение России в 50-х годах XIX века, мы можем, таким образом, сказать, что страна находилась в это время на пороге нового периода экономического развития; намечались и все основные черты этого нового периода; суммируя их, можно выразить сущность слагавшейся перемены одним коротким, но многозначительным словом: капитализм.

III. Промышленность в дореформенной России.

(Из книги М. И. Туган-Барановского: „Русская фабрика в прошлом и настоящем". Изд. 3. Спб., 1907 г. Гл. 1).

Русская промышленность не стояла неподвижно и со времени Петра сделала несомненные успехи. Но успехи эти были невелики; промышленность развивалась количественно, но техника производства совсем не прогрессировала, и главным потребителем продуктов крупного производства оставалось государство. Важнейшей отраслью фабричной промышленности в конце царствования Екатерины, как и при Петре, было суконное производство, работавшее почти исключительно для казны. Точно также горные заводы, железные, медные и др. преимущественно удовлетворяли спросу государства (многие из этих заводов и принадлежали казне). Большинство фабрик и заводов в XVIII веке основалось при прямой или косвенной помощи правительства; рабочие руки отчасти доставлялись также правительством. Хотя в конце XVIII столетия правительственная опека над частной фабрикой ослабевает, тем не менее частная фабрика продолжает пользоваться поддержкой казны в форме денежных ссуд и разного рода льгот и привилегий. Это ослабление правительственной опеки над промышленностью не только не задержало количественного роста последней, но скорее его усилило. В царствование Екатерины число фабрик значительно увеличивается, и вместе с тем развивается крестьянская промышленность. Петровские фабрики испытывали крайние затруднения в приискании рабочих рук. Мануфактурное производство требовало искусных рабочих, а таковых в России, вследствие ее промышленной отсталости, в это время не было. Но затруднения такого рода ослабевали по мере роста фабрик и распространения вольнонаемного труда. Рабочие обучались новым способам производства, промышленное искусство распространялось в народе; выгодами такого распространения пользовались как крупное, так и мелкое производство. Вновь возникавшие фабрики получили возможность находить рабочих, а крестьяне обучались новым промыслам, которые по своему техническому характеру с успехом могли быть усвоены мелким деревенским производителем.

Таким образом, наша промышленность понемногу освобождалась от непосредственной зависимости от государства. Фабрика, которая вначале была таким же чуждым (хотя и необходимым) элементом нашего хозяйственного строя, как были чужды Московскому политическому строю новые административные формы, созданные Петром, постепенно органически сростается с этим строем. Будучи обязана своим возникновением непосредственному воздействию государственной власти, крупная промышленность сама делается одним из факторов, направляющих государственную политику. Но, повторяю, в XVIII веке наша крупная промышленность еще едва вышла из пеленок; только в XIX веке она стала социальным фактором первой важности.

Если мы сравним развитие русской промышленности в XVIII веке и первой половине настоящего столетия, мы легко заметим между этими двумя эпохами следующее основное различие. В XVIII веке развивались преимущественно те отрасли промышленности, которые удовлетворяли спросу государства (суконное, парусно-полотняное, писчебумажное, горно-заводское производства). Напротив, в дореформенной России XIX века доминирующим фактом является поразительно быстрый рост производства, которое было вполне независимо от спроса государства, а, именно, хлопчато-бумажного.

Хлопчато-бумажная промышленность появилась у нас еще в XVIII веке... Но до начала XIX века обработка хлопка у нас, как и в других странах Европы, имела ничтожное значение.

Зато в XIX веке, наша хлопчато-бумажная промышленность стала расти чрезвычайно быстро. Вот соответствующие данные для первой половины этого века.

Средний ежегодный ввоз в Россию (в десятках тысяч пудов).

Годы.	Хлопка сырца.	Бумажн. пряжи.
1812—15	5	12
1816—20	5	19
1821—25	7	23
1826—30	10	43
1831—35	15	56
1836—40	32	59
1841—45	53	59
1846—50	112	35
1851—55	167	12
1856—60	262	21

За 50 лет количество перерабатываемого в России хлопка возросло более, чем в 50 раз. Раньше всего у нас развилась завершительная операция хлопчато-бумажного производства—ситцепечатание (ручная набойка), затем бумажное ткачество и только значительно позже бумагопряденье. Такая последовательность развития различных отраслей хлопчато-бумажной промышленности не заключает в себе ничего странного. Набойка по холсту была распространена у нас задолго до начала ситцепечатания, и переход к набойке по миткалю, ввозимому из-за границы, не представлял никаких трудностей. Ткачество миткаля было почти совершенно незнакомо Московской Руси; но так так ручное ткачество бумажной пряжи представляет собой операцию очень простую, которую можно свободно изучить в несколько месяцев, то неудивительно, что, по мере развития ситцепечатания, стало распространяться и бумаготкацкое производство. Бумагопряденье появилось у нас всего позже потому, что в конце XVIII и начале XIX века (когда бумажные ткани стали входить у нас в общее употребление) ручное пряденье было совершенно невыгодно вследствие крайней дешевизны английской машинной пряжи. Чтобы конкурировать с английской пряжей, нужно было изготовлять пряжу машинами, которые так сильно увеличили производительность труда английского прядильщика. Но устройство бумагопрядильной фаб-

БИБЛИОТЕКА
Об'единенного клуба
Г.Д.У. ...

рики требовало огромных затрат капитала; прядильные машины приходилось вывозить из-за границы, а это было тем затруднительнее, что вывоз машин из Англии до 1842 г. был запрещен. По этой причине, вплоть до 40-х годов, наше бумаготкацкое производство пользовалось преимущественно—заграничной (главным образом, английской) пряжей.

Ввоз иностранной пряжи в Россию растет до начала 40-х годов; с этого времени ввоз начинает падать. Из приведенных цифр видно, что быстрое расширение бумаготкацкой промышленности во второй половине 20-х годов основывалось, главным образом, на увеличении ввоза иностранной пряжи. Напротив, после 40-х годов рост нашей бумаготкацкой промышленности сопровождается еще более быстрым ростом бумагопрядильного производства в самой России, благодаря чему ввоз иностранной пряжи падает.

Чем же обусловливались успехи нашей хлопчатобумажной промышленности?

Основная причина развития хлопчатобумажной промышленности в XIX веке не только в России, но и во всех других цивилизованных странах, замечалась в том, что, благодаря применению машин к прядению и ткачеству хлопка, бумажные ткани сделались самым дешевым предметом одежды. Чем беднее в стране масса населения, тем большим распространением в ней должны пользоваться бумажные материи. Это достаточно известно. Но вот на что в русской литературе до сих пор было обращено слишком мало внимания. Во всех книгах, так или иначе затрагивающих вопрос о поразительном развитии нашего бумажного ткачества во второй четверти этого века, развитие это приводится в связь только с одной причиной—изданием в 1822 г. нового тарифа, составленного в духе крайнего протекционизма. Между тем, важнейшим фактором роста нашей бумаготкацкой промышленности в рассматриваемое время, как и раньше, был не тариф, а нечто совсем иное. Обратимся к ценам бумажной пряжи за этот период.

Продажные цены пуда английской бумажн. пряжи в г. Шуе.

Годы.		Годы.	
1822	106—112 р. ассигн.	1834	84—100 р. ассигн.
1823	110—118 » »	1835	92—113 » »
1824	112—125 » »	1836	87— 97 » »
1825	102—118 » »	1837	73— 79 » »
1826	105—110 » »	1838	72— 81 » »
1827	85— 90 » »	1839	72— 76 » »
1828	75— 85 » »	1840	62— 71 » »
1829	73— 84 » »	1841	62— 71 » »
1830	73— 86 » »	1842	68— 70 » »
1831	74— 80 » »	1843	63— 68 » »
1832	73— 82 » »	1844	64— 69 » »
1833	80— 87 » »	1845	63— 68 » »

Мы видим, что в 1827 г. цена бумажной пряжи в Шуе сразу упала почти на 20% и впоследствии уже не поднималась до прежней

высоты. Точно также значительное понижение цены пряжи мы замечаем в 1837 и 1840 г.г. Чем же оно было вызвано? Обратимся к ценам хлопчатобумажных фабрикатов на английском рынке. К сожалению, у меня нет под рукой цен пряжи, но так как пряжа является главной составной частью ценности бумажной ткани, то я приведу цены бумажной ткани в Манчестере.

Средняя ежегодная цена бумажной ткани.

Годы.		Годы.	
1822	14 шил. 6 пенс.	1836	10 шил. — пенс.
1823	14 » — »	1837	7 » 9 »
1824	14 » 6 »	1839	8 » 7 1/2 »
1825	16 » 3 »	1840	7 » 3 »
1826	10 » 6 »	1842	6 » 1/2 »
1827	10 » — »	1843	6 » 6 1/2 »
1835	10 » 2 »	1844	6 » 3 »

Таким образом, и в Англии цена бумажных фабрикатов сильно понизилась в 1826, 1837 и 1840—42 г.г., т. е. приблизительно в те же годы, как и в России. Дело в том, что 1825, 1836 и 1839—1840 г.г. были годами промышленных кризисов; а кризисы всегда были в Англии стимулами технического прогресса. После каждого кризиса фабриканты вводили усовершенствованные машины, для удешевления производства; по этой причине кризисы в Англии не только кратковременно понижали цены фабрикатов, но и вызывали падение обычной, нормальной цены последних.

Вот в этом-то удешевлении пряжи, следовавшем за английскими промышленными кризисами, следует искать основную причину быстрого роста нашего бумаготкацкого производства в 20-х, 30-х и 40-х годах. Несмотря на тариф 1822 г. цена пряжи в России быстро падала, параллельно этому падали цены миткаля и ситца, — спрос на бумажные ткани возрастал, и производство их расширялось. Основным фактором всего этого процесса являлся технический прогресс бумагопрядильного производства в Англии. Очень интересно, что цена английской пряжи в Шуе сильно понизилась в 40-х годах, — интересно потому, что как раз в 1841 году пошлина на привозную бумажную пряжу у нас была сильно повышена; но, несмотря на повышение пошлины, английская пряжа в первую половину 40-х годов стояла в Шуе на 15—20% ниже, чем в предшествовавшее пятилетие. А так как в 40-х годах русская пряжа очень энергично вытесняла английскую, то необходимо заключить, что и русская пряжа понизилась в цене и, без сомнения, понизилась по той же причине—вследствие улучшения техники производства, выписки из Англии улучшенных прядильных машин (вывоз которых, как сказано выше, был дозволен в 1842 г.).

Английский кризис конца 30-х и начала 40-х годов очень сильно отразился на русской хлопчатобумажной промышленности. В одном донесении министру финансов 10 декабря 1838 г. мы читаем, что «непомерное понижение в 1837 г. цен на бумажную пряжу и трудность сбыта оной, по причине большого привоза из Англии и Бухарии, значительной выпрядки домашних мануфактур и уменьшения,

по случаю упадка внутренней торговли, ткачества наших артикулов— имели последствием не только закрытие 18 бумагопрядильных заведений в Московской, Калужской и некоторых других губерниях, но и несостоятельность многих владельцев сих заведений... прочие бумагопрядильни, действующие менее, нежели 4.000 веретен, никак не избежат той же участи». В донесении 26-го ноября 1840 г. указывается, что «число торговых несостоятельностей увеличивается ежедневно. Отсрочки следуют за отсрочками и влекут за собой добровольные сделки... Если не примут вскоре меры к отвращению этого зла, то нет надежды на восстановление в Москве кредита». Из прошения, поданного московскими фабрикантами министру финансов 6 ноября 1840 г., видно, что русское бумагопрядильное производство переживало в это время несомненный кризис, который всей своей тяжестью обрушился на мелкие бумагопрядильни. Крупные заведения устояли, и потому последствием кризиса была (как и в Западной Европе) концентрация производства. А так как в бумагопряденье крупное производство обладает несомненными и огромными техническими преимуществами перед мелким (по словам Самойлова, главным преимуществом Англии перед Россией в области бумагопряденья было то, что в Англии бумагопрядильни отличались более крупными размерами,— бумагопрядильни в 25.000 веретен не считались там в 40-х годах крупными, а в России бумагопрядильни, работавшие на 10.000, 12.000 и 15.000 веретен, принадлежали к первостепенным заведениям) —то несомненно, что кризис конца 30-х годов должен был поднять наше бумагопряденье в техническом отношении. В этом и заключалась причина понижения цен пряжи и развития нашего бумагопрядильного и ткацкого производства в 40-х годах.

Итак, развитие нашей хлопчатобумажной промышленности об'ясняется прежде всего общими мировыми условиями промышленной эволюции. Россия была захвачена в круг капиталистического развития Англии и воспользовалась техническими успехами последней. Но, разумеется, это было возможно только благодаря существованию в России покровительственного тарифа: без него Англия ввозила бы в Россию не пряжу, а миткаль или ситец, и вместо производства бумажных материй у нас в еще больших размерах распространилось бы потребление этих материй, которые доставлялись бы Англией. Нельзя об'яснить рост нашего бумаготкацкого производства одним влиянием тарифа 1822 г., тем не менее, не подлежит сомнению, что без высоких пошлин эта промышленность не могла бы развиваться. Английское бумажное ткачество стояло в техническом отношении так высоко, что с ним не могло выдержать конкуренции даже индусское ткачество, хотя индусский ткач был артистом своего дела, а бумаготкацкое производство в Индии было старинною отраслью промышленности, к которой население привыкло за многие сотни лет. Тем невозможнее была конкуренция с английскими фабриками для русских бумажных изделий, производство которых было делом еще совершенно новым для русского населения.

Как сказано, бумаготкацкое производство развилось у нас гораздо раньше бумагопряденья, и притом развилось без непосредственной помощи государства (кроме, разумеется, поддержки в виде тамо-

женных пошлин). Что касается до бумагопрядильного производства, то оно появляется в России в начале этого столетия. В 1808 г. купцом Пантелеевым была устроена первая частная бумагопрядильная фабрика в Москве. Фабрика эта получила прядильные машины с образцовой прядильной и ткацкой правительственной фабрики — Александровской мануфактуры, которая была устроена со специальной целью распространить в России употребление прядильных и ткацких машин [1]). Континентальная система, затруднившая подвоз английской пряжи, вызвала устройство еще нескольких бумагопрядильных фабрик (в 1812 г. в Москве их было 11). Эти фабрики очень пострадали от разорения 1812 г. и прекратили производство. Вплоть до 20-х годов бумажная пряжа изготовлялась у нас только на Александровской мануфактуре. С конца 20-х годов начинают основываться частные бумагопрядильни, но только с 40-х годов бумагопрядильное производство в России устанавливается вполне прочно, получивши возможность пользоваться прядильными машинами, выписываемыми непосредственно из Англии (раньше на наших бумагопрядильнях употреблялись бельгийские и французские прядильные машины, далеко уступавшие по своим достоинствам английским).

О развитии в России бумагопрядильного производства можно судить по тому, что к началу 50-х годов Россия занимала по числу бумагопрядильных веретен (1.100 тысяч) 5-е место и уступала только Англии (20.977 тысяч), Франции (4.200 тысяч), Соединенным Штатам (2.500 тысяч) и Австрии (1.400 тысяч) и стояла впереди Германии, хотя германское бумаготкацкое производство значительно превосходило русское. Различие это всецело об'яснялось различием тарифной политики: в Австрии и России бумажная пряжа была обложена высокой пошлиной (после 1842 г. ввозная пошлина на пряжу в России достигла 50% ценности товара), между тем как германский тариф по отношению к бумажной пряже был крайне умеренным.

Быстрый рост хлопчатобумажной промышленности у нас, как и в других странах, вызвал тяжелый кризис в области обработки льна и пеньки. Этот старинный крестьянский промысел достиг значительного развития еще в Московской Руси; русский холст в XVII столетии в большом количестве вывозился за границу. В XVIII веке вывоз льняных и пеньковых фабричных изделий — парусных и фламских полотен, равендуков—возрастал. В XIX веке положение изменилось—вывоз начал падать. Так, в 1758 — 1762 г.г. — средний годовой вывоз за границу фламских, парусных полотен и равендуков равнялся 77 тысячам кусков, в 1793—95 г.г.—251 тысячам, в 1814—23 г.г.—203 тысячам, в 1834—43 г.г.—195 тысячам, а в 1844—46 г.г.—121 тысячам.

О значении заграничного рынка для русских полотняных и парусных фабрик начала этого века можно судить по тому, что, по официальным расчетам (конечно, очень неточным), около 1/3 всего ко-

---

[1]) Александровская мануфактура играла очень видную роль в истории нашей промышленности. На этой мануфактуре впервые было введено в России машинное прядение хлопка и льна. Она выделывала в огромных размерах льняные и пеньковые полотна на продажу. В 1828 г. на мануфактуре было 4.000 рабочих при 3 паровых машинах силою в 170 лошадей (Прим. М. Туган-Барановского).

личества фабричных полотен предназначалось для экспорта. Поэтому падение заграничного экспорта не могло не быть тяжелым ударом для наших полотняных фабрик; причины этого падения коренились, главным образом, в области техники: наше полотняное производство в техническом отношении совсем не прогрессировало, на Западе же техника льняного прядения и ткачества быстро шла вперед, и в то же время бумажная ткань своей дешевизной вытесняла полотно. Всего более пострадали при этом крупные фабрики, работавшие для экспорта, число которых за время 1804—61 г.г. понизилось с 285 до 100.

Между тем за 1762—1804 г.г. число полотняных фабрик возросло с 135 до 285. Таким образом, число полотняных фабрик изменяется так же, как и экспорт русского полотна за границу: до начала XIX века число фабрик растет, затем начинает падать. Об'ясняется это тем, что, как указано, экспорт за границу играл очень большую роль в нашем крупном полотняном производстве первой половины этого века. Полотняные фабрики были единственными фабриками в России, изделия которых, вследствие дешевизны сырого материала, завоевали в конце прошлого века заграничный рынок. Еще в 1818 г. Арсеньев называл полотняные фабрики «многочисленнейшими и прибыльнейшими в России». Особенно развилось у нас фабричное производство парусных полотен. Это производство концентрировалось, главным образом, в Калужской губернии и Серпуховском уезде Московск. губ.; парусное полотно экспортировалось преимущественно в Америку, и одна русская фирма (Брюзгиных) приобрела такую репутацию на заграничном рынке, что клеймо ее нередко подделывалось английскими фабрикантами.

Более $^2/_3$ всего паруснoткацкого производства Калужской губернии предназначалось для экспорта. Ткачество парусных полотен было исключительно фабричным производством. Начиная с 30-х годов, цены на парусные полотна на заграничных рынках стали быстро падать, еще более они упали в 40-х годах. Под влиянием этого, число парусных фабрик в Калужской губернии сократилось с 17 (1832) до 4 (1849 г.), число станков на них—с 3.500 до 696, а размер производства—с 50 тыс. кусков до 2 тысяч. Также пострадало и паруснoткацкое производство Серпуховского уезда. В начале 30-х годов на серпуховских фабриках выделывалось около 25 тыс. кусков ежегодно, а в 1849 г.—только 6 тыс. кусков.

Не в такой степени, как парусные фабрики, но все-таки сильно пострадали и полотняные фабрики, изготовлявшие льняные полотна. Цены льняных изделий понижались в течение всей второй четверти этого века. Правда, не менее сильно понизилась за то же время и цена бумажных тканей. Но последнее сопровождалось прогрессом техники—удешевлением производства. Производство же полотна в техническом отношении у нас не прогрессировало,—как пряжа, так и полотно продолжали изготовляться руками,—а потому понижение цены фабриката приводило к убыточности производства и сокращению последнего.

В начале этого столетия полотняное ткачество были преобладающей промышленностью во многих уездах Владимирской губ.—

напр., в Шуйском, Суздальском, Муромском. В Суздальском уезде крупные полотняные фабрики возникли вскоре после окончания войны 1812 г.; полотно с этих фабрик сбывалось преимущественно на внутренние рынки, главным образом, в Сибирь и Малороссию. К концу 30-х годов сбыт полотна стал затруднителен, и в 1851 г., из 6 крупных полотняных фабрик в городе Суздале, осталось только 2, и те сильно сократили производство. Причина уменьшения сбыта заключалась в распространении бумажных тканей. Украйна и Сибирь, покупавшие раньше льняную пестрядь и тики, стали покупать ткани из хлопчатой бумаги. В Суздальском уезде вместо полотняной фабрикации распространились ткачество и набивка миткаля. То же самое констатировалось и в Муромском и Шуйском уездах—полотняное ткачество замещалось бумажным. Но так как во Владимирской губернии бумаготкацкое производство развивалось очень быстро, а по характеру производства полотняные фабрики легко могли быть приспособлены к ткачеству бумажных материй, то фабриканты переходили к новому роду производства и не несли больших потерь.

Напротив, в Ярославской и Костромской губерниях, где в больших количествах выделывалось полотно для заграничного сбыта (фламские полотна и равендук), кризис имел более тяжелый характер. Бумаготкацкое производство слабо развивалось в тех уездах этих губерний, где раньше процветало полотняное ткачество. Это последнее производство было старинным промыслом крестьян, а фабричное ткачество полотна прочно водворилось в этих местах еще со времени Петра I. Фабриканты упорно держались привычного производства, но крайнее понижение цены всех родов полотна, вывозившегося за границу (в 1823 г. кусок фламского полотна продавался за 52 руб., равендука за 25 руб.; в сороковых годах полотно продавалось за 25 руб., равендук за 17 руб.), принудило большую часть фабрик Костромской и Ярославской губерний прекратить производство. В Костромской губернии в конце 20-х годов выделывалось до 70 тыс. кусков фламского полотна, в конце 40-х годов—только 20 тыс. кусков.

Кризис полотняного производства был тяжелее всего для фабрикантов-помещиков, изготовлявших тонкие полотна трудом собственных крепостных. В виду этого правительство проявило в данном случае особенную заботливость: в 40-х годах была образована особая комиссия из представителей министерств государственных имуществ и финансов для расследования дела и изыскания средств помочь падающему производству. Комиссия выяснила, что основная причина кризиса заключалась в технической отсталости нашего полотняного производства и в развитии ткачества бумажных материй, но, само собою разумеется, никаких практических мер помочь горю не придумала.

Экономисты 60-х годов фритредерского направления любили противопоставлять успехам хлопчатобумажной промышленности упадок нашего полотняного производства. Полотняное производство, как основанное на обработке туземного материала, признавалось ими «естественно» развившимся, а хлопчатобумажная промышленность—«искусственно» вызванным производством. Но если придерживаться ничего не выражающего разделения хозяйственных явлений на «есте-

ственные» и «искусственные», то нельзя не признать, что именно развитие хлопчатобумажной промышленности и упадок полотняного производства было вполне естественным и необходимым результатом хозяйственного положения России того времени. Наша промышленность должна была все более и более основываться на внутреннем рынке, так как в техническом отношении Россия слишком отставала от Западной Европы, чтобы с нею конкурировать. В связи с этим, только те отрасли промышленности могли широко развиваться, которые изготовляли дешевые изделия, доступные по цене такому бедному населению, как масса русского крестьянства. Бумажная ткань дешевле полотняной благодаря, главным образом, физическим свойствам хлопкового волокна, делающим его более пригодным для машинной обработки, чем льняное волокно, почему бумажные ткани должны были вытеснять полотняные из народного употребления. Если бы у нас не существовало покровительственнной системы, полотняное производство пострадало бы еще больше, так как английский миткаль и ситцы, по своей большей дешевизне, являлись еще более опасными конкурентами полотна, чем наши отечественные хлопчатобумажные фабрикаты.

Перейдем к другим отраслям текстильной промышленности и прежде всего к суконному производству. С самого своего возникновения суконное производство было излюбленным детищем русского правительства; правительство делало все возможное для его поддержания и развития, и тем не менее оно развивалось в течение XVIII столетия очень туго. Даже в начале этого столетия русские фабрики не могли удовлетворить потребности армии в сукнах, несмотря на все усилия правительства расширить суконное производство в России. Сукна выделывались крайне низкого качества и в недостаточном количестве, так что приходилось покупать иногда мундирное сукно за границей, чаще всего в Англии. Дальнейшие успехи нашего суконного производства в техническом отношении были невелики, но количественно оно развивалось и в 1822 г., в первый раз предложения фабрикантов превысили заявленную казною потребность в армейских сукнах.

Рост суконного производства вызвал и изменение правительственной политики по отношению к суконным фабрикам. В прошлом веке правительство видело в суконных фабриках учреждения государственной важности, почему, с одной стороны, всячески старалось поддержать и развить их, с другой—принимало понудительные меры к тому, чтобы фабрики удовлетворяли своим обязанностям по отношению к государству—доставляли требуемое количество сукна. Указами 25-го ноября 1790 г. и 20-го ноября 1791 г. был установлен ледующий порядок снабжения войск сукнами. Все суконные фарики разделены на 2 разряда: 1) получившие при своем учреждении акое-либо пособие от казны, а также имевшие купленных к фабрике рестьян, и 2) не получившие никакого пособия от казны и не имевшие окупных крестьян на фабрикантском праве. Между фабриками перого рода (обязанные фабрики) разверстывалось все количество сукна, ребуемого казною, фабрики 2-го рода могли продавать сукно совершенно свободно и в частные руки. Но обязанные суконные фабрики

поставляли сукно крайне неисправно, и за большинством их числились огромные недоимки, накоплявшиеся из года в год. В виду этого правительство было принуждено в 1797 году запретить не только обязанным, но и вольным фабрикантам продажу мундирного сукна в частные руки. В 1808 г. правительство подтвердило это запрещение и даже усилило строгость взыскания за непозволенную продажу сукна. Не только продавец, но и покупатель должен был платить штраф за каждый аршин проданного сукна (которое конфисковалось в пользу казны). Предписывалось окрашивать грубые сукна в определенные цвета, употребляемые в войсках, под угрозой секвестрации фабрики. Обязанные фабрики не имели права делать иных сукон, кроме солдатских.

Нечего и говорить до какой степени подобные меры были стеснительны для суконного производства, продукты которого правительство хотело монополизировать исключительно в свою пользу. Пока эта отрасль промышленности не получила свободы, до тех пор она и не могла развиваться, несмотря на все поощрения правительства. Поощрения же эти (кроме мер тарифной политики) выражались, главным образом, в щедрой раздаче казенных денег в ссуду для устройства новых суконных фабрик. В 1809 г. для таких ссуд был назначен особый капитал в 2 милл. руб. Всем, желавшим устроить новую суконную фабрику или расширить существующую, правительство предлагало определенную денежную ссуду на каждый стан. Охотников получать ссуды от казны находилось не мало, но суконное производство продолжало оставаться в застое, и казна терпела недостаток в сукнах.

В виду полной безуспешности таких мер правительство должно было от них отказаться, и уже в 1809 г., суконным фабрикантам была предоставлена, с некоторыми ограничениями, свобода продажи сукна в частные руки. Но только в 1816 г., обязанные суконные фабрики были избавлены от обязательства ставить сукно в казну и сравнены по своим правам с вольными фабриками. Только с этого времени суконное производство получило возможность развиваться. Государственное происхождение этой отрасли промышленности было главнейшей причиной медленности ее роста.

Освободившиеся от правительственной регламентации суконные фабрики стали быстро увеличиваться в числе. Как я говорил, в 1822 г. (т. е. до введения в действие запретительного тарифа) предложение солдатских сукон превысило спрос. За время 1814—1850 г.г. число суконных фабрик возросло с 235 до 492.

Во всеподданнейшей записке министра финансов в 1823 г. заявлялось, что наше сукноделие весьма медленно развивалось до 1916 г.; с этого же года «производство солдатских сукон столь умножилось во всей России, что при заключении торгов на снабжение армии и флота сукнами на 1823 г., министерство финансов имело в виду 2—3 миллиона аршин сверх требованной пропорции».

Как бы то ни было, нельзя сомневаться, что в количественном отношении наше суконное производство, освободившись от правительственной опеки, стало быстро прогрессировать.

Развитие это совершалось притом не за счет потребностей казны. Спрос на солдатские сукна увеличивался медленно и в 30—40-х годах

колебался около 4 милл. аршин. Весь этот спрос удовлетворялся старинными фабриками, поставлявшими и ранее сукно в казну. Новые фабрики работали исключительно для вольной продажи; сумма производства этих новых фабрик в 50-х годах превышала в 3—4 раза производство фабрик солдатского сукна. Таким образом, суконная промышленность, не достигавшая государственного спроса в XVIII веке, в первой половине XIX века значительно переросла этот спрос; суконное производство потеряло государственный характер—появились новые потребители, сравнительно с которыми государство отошло совершенно на задний план.

Что касается до технического прогресса, то он был в суконном производстве невелик. Жалобы на низкое качество сукна слышатся в течение всей дореформенной эпохи. Так, в официальном «Описании первой публичной выставки российских мануфактурных изделий» за 1829 г., в котором мы находим настоящий гимн успехам хлопчатобумажной промышленности, отзывы о суконном производстве совершенно иного, даже минорного тона: «Невозможно ожидать, чтобы наши фабриканты столь же хорошо вырабатывали сукна, как в Англии, Франции и Голландии. Недостаток механических и химических сведений и хороших машин много препятствует успехам по сей части» (стр. 121). Точно также в «Обозрении выставки различных мануфактурных изделий» в 1849 г. пространно говорится не об успехах, а о причинах технической отсталости нашего суконного производства и низкого качества сукон (см. стр. 98 и след.).

Общее представление о развитии фабричной промышленности в дореформенной России можно получить из нижеследующих данных.

Фабрики и заводы Российской империи (без царства Польского и Финляндии).

Годы	Число фабр.	Число раб.	На 1 фаб. раб.	Годы	Число фабр.	Число раб.	На 1 фаб. рабоч.
1815	4189	172.882	41	1819	4531	176.635	39
1816	4484	187.661	42	1820	4578	179.610	39
1817	4385	187.337	43	1825	5261	210.568	40
1818	4457	178.419	40	1826	5128	206.480	40
1827	5122	209.547	41	1844	7399	469.211	63
1828	5244	225.414	43	1845	8302	507.577	61
1829	5260	231.624	44	1846	8333	508.607	61
1830	5450	253.893	47	1847	9029	532.056	59
1831	5599	264.358	47	1848	8928	483.542	54
1832	5636	272.490	48	1849	9172	495.364	54
1833	5664	273.969	48	1850	9848	501.639	51
1836	6332	324.203	51	1851	10126	465.016	46
1837	6450	376.838	58	1852	10388	470.914	45
1838	6855	412.931	60	1853	10087	481.018	47
1839	6894	454.980	66	1854	9944	459.637	46
1840	6863	435.788	63	1856	11556	518.661	45
1841	6831	429.638	63	1857	10856	513.324	47
1842	6939	455.827	66	1858	12259	548.921	45
1843	6813	466.579	68	1861	14148	522.500	37

Легко заметить, что число фабричных рабочих почти до конца 40-х годов (1847 г.) быстро растет, затем начинает с колебаниями падать. Размер фабрики (среднее число рабочих на 1 фабрику) возрастает до начала 40-х годов (1843 г.), затем следует также падение. До 40-х годов фабричное производство энергично развивалось, и сами фабрики становились крупнее; с конца 40-х годов рост фабричного производства приостановился, и фабрики стали раздробляться.

Об'яснение всего этого следует искать в росте мелкой, кустарной промышленности, о чем я буду подробно говорить в одной из следующих глав. 40-е годы были временем наиболее энергичного развития кустарной промышленности. Кустарь стал по всем пунктам бить фабриканта—вот почему число рабочих на фабриках стало сокращаться и сами фабрики мельчать.

Остановимся теперь на производстве, являющемся лучшим показателем технического прогресса страны вообще—добыче железа, важнейшего материала машин, орудий и инструментов. В конце XVIII века, по расчетам Шторха, в России выплавлялось около 8 мил. пуд. чугуна. В течение всей первой половины XIX века чугуноплавильное производство оставалось в России почти стационарным и вплоть до 40-х годов не достигало 11 мил. пудов. Затем оно стало возрастать и к концу 50-х годов достигало 16 мил. пудов.

Если принять в соображение рост населения, то следует заключить, что в течение всей первой половины XIX века Россия не только не шла вперед в добыче железа, но даже регрессировала и через 50 лет стояла ниже, чем в конце прошлого столетия. Поразительный застой нашего чугуноплавильного дела особенно бросается в глаза, если сопоставить его с развитием этой отрасли промышленности в других странах, особенно в Англии, которая в конце прошлого века выплавляла столько же чугуна, сколько Россия (8 мил. пудов), а в 1859 г. довела свою выплавку до 234 мил. пудов.

Еще в 30-х годах Россия выплавила около 12% общей мировой добычи чугуна (90 мил. пуд.) и стояла впереди Бельгии, Пруссии и Соединенных Штатов. В 1859 г. на долю России приходилось лишь около 4% мировой выплавки чугуна (460 мил. пуд.).

В половине прошлого столетия железо было одним из главнейших предметов нашего отпуска. В 1760 г. было вывезено железа из России за границу 820 тысяч пудов, в 1793—95 г.г. ежегодный вывоз достигал уже 2.966 тысяч пудов. С этого времени вывоз железа начинает быстро падать (особенно со времени 40-х годов) и спускается к 1851—60 г.г. до 747 тысяч пудов ежегодно.

Отчего же зависело такое печальное положение нашей железоделательной промышленности? Во всяком случае, не от недостатка правительственной помощи и опеки. Железо было одним из наиболее необходимых продуктов для государства. Поэтому правительство не жалело средств для развития этой отрасли промышленности. Нечего и говорить, что привоз чугуна и железа был запрещен. Даже по самому либеральному русскому тарифу 1819 г. пошлина на железо и чугун была назначена в таком высоком размере, что была равносильна запрещению. По расчету В. Безобразова, частные горные заводы Уральского округа получили не менее 15 мил. деньгами в ссуду от

правительства. Кроме того, к этим заводам были приписаны огромные площади казенной земли и лесов, сотни тысяч крестьян—все это без малейшей платы владельцев заводов. Почему же добыча железа в России не только не возрастала, но, сравнительно с населением, даже падала?

А именно вследствие избытка правительственной опеки и поддержки. Вплоть до реформы 1861 г. горнозаводская промышленность всецело основывалась на принудительном труде. Главным центром чугуноплавильного производства был Уральский горный округ, Пермская и смежные с ней губернии. На Уральских горных заводах выплавлялось около $^4/_5$ всего русского железа. Главным контингентом рабочих на этих заводах были крестьяне и мастеровые, приписанные к заводам. Поссесионных заводов в Уральском горном округе было в 1844 г.—37, и к ним было приписано 178 тысяч крестьян м. п. На казенных заводах работы производились также не по вольному найму, а состоящими при заводах мастеровыми и крестьянами, которые набирались, в случае недостатка рабочих, из рекрутов и лиц, ссылаемых на каторжные работы.

Закрепощение за горными заводами сотен тысяч лиц было вызвано желанием правительства поддержать эти заводы и обеспечить им рабочие руки. И действительно, благодаря этой мере, наша железоделательная промышленность быстро развилась, и в конце XVIII века Россия не уступала в этом отношении Англии. Но та же самая причина, которая содействовала росту горнозаводской промышенности в XVIII веке, в XIX веке явилась самым большим тормозом ее развития. Писатели 50-х и 60-х годов, занимавшиеся вопросом о причинах застоя нашей железоделательной промышленности, приходили к одному заключению—что этот застой вызывался технической отсталостью чугуноплавильного дела, неупотреблением новых улучшенных приемов плавления чугуна и железа, благодаря которым железоделательная промышленность в Западной Европе сделала такие быстрые успехи.

Этим техническим застоем вызывалась неподвижность цен на железо в России, в то время как, напр., в Англии цена железа быстро падала. Так, пуд железа в С.-Петербурге в 1824—26 г.г. стоил 1 р. 26 к. сер., а в 1848—50 г.г.—1 р. 27 коп. В Англии же за это время цена железа понизилась на 60%.

За четверть столетия русское железо совсем не понизилось в цене, а английское упало, как сказано, на 60%. Понятно, что при таких условиях вывоз русского железа за границу дожен был сократиться, а внутри страны сбыт железа не возрастал.

Отчего же зависела техническая отсталось русской железоделательной промышленности? Не может быть сомнения, что основной причиной этой осталости была система принудительного труда. Это прекрасно сознавали многие современники. Заблоцкий-Десятовский, в своей известной записке 1841 г. «О крепостном состоянии в России», об'ясняет влиянием крепостного права «дороговизну нашего железа в сравнении, напр., с английским». Пока рабочий на железных заводах работал из-под палки, до тех пор и производительность его труда не могла прогрессировать. Никакие льготы не

могли заменить основного условия промышленного прогресса—свободы труда [1]).

Трудно поверить, до какой степени строго регламентирован был весь производственный механизм на уральских поссесионных заводах. Рабочий был, по замечанию В. Безобразова, в состоянии почти полного рабства. С самого детства рабочий поступал на попечение заводского начальства, бравшего на себя полное содержание рабочей семьи и зато требовавшего постоянной работы, исполнявшейся, естественно, крайне плохо. Весь процесс выплавки железа, начиная с рубки леса для доменных печей, перевозки материалов, добычи руды и кончая литьем железных и чугунных изделий, исполнялся рабочим под угрозой суровых наказаний, без всякой надежды на улучшение своего материального положения.

Отнюдь не простая случайность, что в той отрасли производства, которая так быстро развивалась в дореформенной России—в хлопчатобумажной, крепостной труд (как увидим ниже) почти отсутствовал. Именно, благодаря свободе труда, бумаготкацкое и ситцепечатное производства сделали в крепостной России, среди общего застоя, такие быстрые успехи.

Господство крепостного труда в нашей горнозаводской промышленности находилось в непосредственной связи с усиленными заботами о ней правительства. Признавая чугуноплавильное производство необходимым для государства, правительство щедро наделяло заводчиков даровыми рабочими руками, и в результате получился полный застой в производстве. То же самое мы видели и в суконном производстве. Пока правительство особенно усердно «поощряло» эту отрасль промышленности, она почти не прогрессировала в техническом отношении, и, только освободившись от правительственной опеки, начав работать не на государство, а на частных потребителей, суконное производство начало делать в России успехи, причем, как увидим ниже, успехи эти были прямо пропорциональны распределению в суконодели свободного труда.

Итак, изучение развития промышленности в дореформенной России приводит нас к следующим выводам.

В первой половине XVIII века важнейшим потребителем продуктов фабричного производства было государство; этим определялся и весь строй тогдашней крупной промышленности. Крупное производ-

---

[1]) Другой причиной технической отсталости нашей железной промышленности было монопольное положение уральских заводов. Для иностранного железа русский рынок был закрыт, а внутри страны конкуренция была совершенно ничтожна, по незначительному числу заводов. По расчетам П. Мельникова, в половине 40-х годов уральские заводчики, при всей примитивности своих приемов производства, выручали весьма крупные барыши. Так, средняя стоимость выделки пуда резного железа была приблизительно, 2 р. 40 к., а продавалось оно на Нижегородской ярмарке за 3 р. 45 к. (44% прибыли), шинного железа—2 р. 36 к., продавалось за 3 р. 47 к. (46% прибыли), листового—3 р. 97 к., продавалось за 7 р. 51 к. (89% прибыли). В этот расчет не включена стоимость доставки железа до Нижнего, но так как железо сплавлялось водой, то, по словам Мельникова, эта стоимость была ничтожна. Для чего же было уральским заводам улучшать приемы производства при таком положении дела?—П. Мельников. «Нижегородская ярмарка в 1843—4 г.г.», Нижний Новгород, 1846, стр. 43. (Прим. М. Туган-Барановского).

ство возникло при непосредственной поддержке правительства и первое время не могло обойтись без такой поддержки. Социальные условия того времени делали необходимым закрепление рабочих за фабриками и заводами, так как свободных рабочих, по вольному найму, неоткуда было взять. Принудительный труд был выгоднее свободного, вследствие низкого уровня техники. Поэтому те отрасли промышленности, в которых исключительно или преимущественно употреблялся труд несвободных рабочих, достигли в XVIII веке значительного развития и к концу века могли не только удовлетворять потребностям внутреннего рынка, но даже работать для заграничного сбыта. Обработанные изделия в это время играли значительно большую роль в нашем отпуске, чем когда-либо впоследствии.

	Общая ежегодная ценность русского экспорта (по европейской торговле).	В том числе обработанных и полуобработ. изделий.	В числе их железа.	Полотна и холст.
	В МИЛЛИОНАХ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМ.			
1790—92 г.г.	26,0	8,4	3,3	2,4

Таким образом, около $^1/_3$ отпуска приходилось на продукты русской обрабатывающей промышленности. Отпуск железа по ценности равнялся почти 13% всего русского экспорта.

В XIX веке положение меняется. Промышленность решительно перерастает государственный спрос. Возникает новая отрасль производства—хлопчатобумажная (без всякой поддержки правительства, кроме таможенного покровительства) и необыкновенно быстро завладевает внутренним русским рынком, вытесняя продукты старинной полотняной промышленности. В Западной Европе происходит глубокое изменение техники производства, и машина заменяет ручной труд. Крепостной труд, несовместимый с новыми техническими условиями, становится решительным тормозом промышленности. Те отрасли производства, в которых крепостной труд продолжает господствовать, перестают развиваться. Европа быстро перегоняет нас в техническом отношении; вывоз обработанных изделий из России абсолютно сокращается, а относительно нисходит до совершенно ничтожной величины.

	Ежегодн. ценность русск. вывоза (по европейск. торговле).	В том числе обработ. и полуобраб. изделий.	В числе их железа.	Полотна и холст.
	В МИЛЛИОНАХ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМ.			
1848—50 г.г.	80,8	7,4	0,8	1,4

Продукты обрабатывающей промышленности составляют около 9% общей ценности русского экспорта в 1848—50 г.г. Крепостное право стало действовать угнетающим образом на общее экономическое и, в частности, промышленное развитие страны—и было отменено.

IV. Сельско-хозяйственное предпринимательство в первой половине XIX века.

(Из книги П. И. Лященко: „Очерки аграрной эволюции России". Т. I. Спб. 1908 г.).

Известно то громадное оживление интереса к сельскому хозяйству и к нахождению прогрессивных форм и систем его, которое стало обнаруживаться в русских помещичьих кругах и в литературе первых десятилетий XIX столетия. Эта эпоха молодого увлечения «основой всех богатств» — земледельческой промышленностью, навеянного частью получившей в то время широкое распространение, физиократической доктриной, также быстро прошла, как и возникла, оставив в результате лишь довольно богатое литературное наследие, так что, до сих пор эти годы занимают, пожалуй, одну из наилучше исследованных страниц в истории русского сельского хозяйства.

Однако, по своей экономической сущности, эта попытка имела чрезвычайно глубокое значение. Это был первый опыт русского сельско-хозяйственного предпринимательства, в собственном смысле этого слова, первый опыт приложения производительного капитала в земледелии. Раз дворянство стало оседать на землю, то, естественно, оно стало стремиться заменить, хотя и более спокойную, но менее доходную, крепостную трудовую ренту, самостоятельным хозяйством. Отношение к земле и к крепостному крестьянству простого рантьера должно было замениться более сложным отношением предпринимателя.

Пойдя по этому пути и встретив на нем старые хозяйственные формы и отношения, приспособленные не к самостоятельному сельско-хозяйственному предпринимательству на более или менее рациональных началах, а к простой трудовой эксплоатации «дарового» крепостного труда, сельско-хозяйственное дворянство принуждено было стремиться к изменению этих отношений именно в этом направлении новой постановки хозяйства на предпринимательских началах.

Эти изменения должны были коснуться как технической стороны хозяйства—поднятия его производительности и рационализации его, так и организационной—замены оброка барщиной, так, наконец, и чисто общественно-экономических отношений крестьянина и помещика, как представителей двух противоположных экономических интересов. Все они сводились к стремлению увеличения доходности помещичьего хозяйства и к поднятию его производительности; в этом вопросе и вращались все хозяйственные попытки новых предпринимателей—попытки, впрочем, бывшие чаще всего безрезультатными до тех пор, пока не произошла коренная и окончательная ломка всех хозяйственных отношений.

Те образцы, по которым пытались строить свое новое хозяйство русские помещики, были заимствованы частью из западно-европейской жизни, частью из тех отраслей русской промышленной жизни, которые в своем развитии ушли дальше сельского хозяйства. Западно-

европейское сельское хозяйство давало, прежде всего, образцы технической постановки сельского хозяйства; оно же давало и организационные «рациональные» планы. Вместе с примером развивающейся русской обрабатывающей промышленности, оно наводило и на мысль нового отношения к сельскому хозяйству: это последнее должно быть не бытовой привилегией дворянства, не традиционной формой его быта и существования, а рационально поставленным производством, сельско-хозяйственной «фабрикой». И все то в постановке хозяйства, что шло навстречу такому новому взгляду на сельское хозяйство, должно быть в нем применено, хотя бы оно и противоречило прежнему взгляду на то же сельское хозяйство, как на сословную привилегированную форму дворянского быта и существования.

Таким образом, русским помещикам - новаторам начала XIX в. пришлось иметь дело, прежде всего, с техническим преобразованием своего хозяйства. В этом отношении тогдашняя западно-европейская научная агрономия давала им определенный ответ в смысле единственной рациональной плодосменной системы «плодопеременья». Все прогрессивное и рациональное в сельском хозяйстве совпадало с введением именно этой системы. Центр всех прогрессивных начинаний в русском сельском хозяйстве, вокруг которого группировались все наиболее передовые элементы русского помещичьего класса, Московское Общество сельского хозяйства, с его «Земледельческим Журналом», во вторую четверть XIX ст. был занят исключительно проповедью «плодопеременья», на основании как общих рассуждений, так и многочисленных опытов, удачно производимых в этом направлении его членами.

Впрочем, в бедном севере и экстенсивном юго-востоке распространение плодопеременного хозяйства и плодопеременных севооборотов большей частью или не выходило из рамок незначительных, по размерам, опытов, или представлялось убыточной и дорогой затеей богатых «просвещенных» помещиков. Но зато на юго-западе и частью в центре, в районах начинающего развиваться свеклосахарного производства, эта плодосменная система быстро встала действительно на хозяйственную почву и тот же центральный орган русских сельских хозяев; вместе с проповедью преимуществ плодопеременного хозяйства, особенное внимание обращает также и на развитие свеклосахарного производства.

Мы не имеем здесь возможности подробно останавливаться на этом периоде увлечения технической рациональностью плодопеременной системы и на его проявлениях. Для нас важным представляется лишь указать на то обстоятельство, что стремление к развитию производительности земледелия, к экономической его рациональности и доходности вылилось в то же время и даже прежде всего в стремление к новой технической постановке дела. Эта новая рациональная техника, впрочем, вскоре же и разбилась от неблагоприятствовавших ей общих экономических условий. То, что являлось очередным вопросом и выгодным для западно-европейского сельского хозяйства, оказалось совершенно неприменимым ни по экономическим, ни отчасти, по естественным условиям для русской жизни.

Техническое подражание западно-европейским образцам плодосменной системы — по крайней мере, поскольку это было простым подражанием, — быстро прошло: уже в 30 годах XIX ст. замечается разочарование и падение интереса к плодосменному хозяйству и реабилитация более подходящего к русским условиям зернового хозяйства. Не только хозяева-практики, ставившие вопрос на чисто-деловую почву увеличения доходности хозяйства, но и ученые агрономы приходят к тому заключению, что наиболее выгодным для русских условий хозяйством должно быть зерновое.

Зерновое хозяйство гораздо более соответствовало низкому уровню техники, традиционным сельско-хозяйственным обычаям, наконец, возможности непосредственного увеличения валового дохода путем простого расширения помещичьих запашек, чем более сложная и требующая более разработанных организационных планов плодосменная система полеводства. Как только после первых неудачных опытов интенсивной плодосменной системы помещичий класс становится на чисто коммерческую точку зрения в своем сельско-хозяйственном предпринимательстве, он тотчас же и оставляет свои увлечения «аглицким» хозяйством, не только не доставлявшие ему дохода, но, часто приносившие разорение, и обращается к «русскому» зерновому хозяйству. Вместе с этим разочарованием в плодосменной системе, запашки и площадь посева зерновых хлебов в 30-х годах, повидимому, сильно увеличились и, таким образом, распространение и долговечность увлечений этой системой были вообще незначительны.

Победа зерновой системы имела скорее значение моральной победы; она определила дальнейшее направление русского сельскохозяйственного производства в смысле расширения культуры именно зерновых хлебов. Это расширение шло, конечно, главным образом, за счет распашки новых земель и лугов, но частью и за счет падения плодосменной системы.

Об этом именно свидетельствуют частью показания современников, частью те данные дореформенной статистики, которым, конечно, доверять можно лишь относительно, но которые в грубых чертах все же могут свидетельствовать о тех или других переменах, происходивших в то время в народном хозяйстве.

Таковы именно данные о размерах площадей пахотной и луговой земли двух лучших дореформенных статистиков, относящиеся к двум различным периодам: данные Арсеньева, составленные на основании цифр генерального межевания, т. е. относящиеся к концу XVIII века, и данные Тенгоборского, составленные на основании административных сведений к средине XIX века.

Так, процентное отношение луговой земли к пахотной показывает уменьшение, т. е. вытеснение лугов пашней, в следующих губерниях:

Губернии:	% луговой земли по Арсеньеву:	% луговой земли по Тенгоборскому:
Харьковская	67,4	64,2
Пензенская	28,9	28,1
Воронежская	110,1	80,0
Тамбовская	74,9	66,0

Губернии:	% луговой земли по Арсеньеву:	% луговой земли по Тенгоборскому:
Курская	25,7	24,4
Рязанская	17,0	16,6
Казанская	25,0	23,8
Пермская	77,5	77,0
Оренбургская	277,6	108,2

Хотя в общем для России итоге площадь лугов, по расчету Тенгоборского, увеличилась за указанный период на 4,4 миллиона десятин, однако, вышеприведенные цифры все же ясно показывают именно то направление в распространении зерновой культуры на восток и юго-восток, которое отмечалось уже и раньше и которое составляет основную черту в переменах экономической географии России в дальнейшем...

Для главных земледельческих районов вопрос о новых технически-агрономических системах был решен, следовательно, в смысле ликвидации увлечения западно-европейскими образцами интенсивной культуры и возвращения к зерновому хозяйству, за исключением разве юго-западных и вообще западных губерний с более интенсивной, преимущественно свекло-сахарной культурой, да южных губерний, еще не тронутых плугом и долгое время сохранявших экстенсивное скотоводственное хозяйство.

Гораздо более трудно, чем вопрос о технической реорганизации хозяйства при существовавших условиях резрешался вопрос о реорганизации общей его экономической структуры. К разрешению этого вопроса и были направлены — в общем совершенно неудачно—все стремления помещичьего класса.

Прежде всего, раз принявшись за самостоятельное хозяйничанье, естественно было стремиться количественно расширить свое собственное помещичье, т. е. барщинное хозяйство, вытесняя крестьянское производство или сокращая его до таких размеров, в каких оно являлось экономической необходимостью. Поэтому-то, в действительности, с начала XIX столетия и замечается расширение помещичьих барщинных запашек за счет сокращения менее выгодного, при новых условиях, оброчного крестьянского хозяйства. Параллельно с этим количественным расширением барских запашек должно было итти и качественное усиление эксплоатации крестьянского труда, т. е. в наиболее грубой форме—простое увеличение числа барщинных дней и вообще увеличение барщинной тяготы.

Однако, только этим, конечно, невозможно было ограничиться. В общем для всего помещичьего хозяйства вопрос шел о более важном, чем о простом увеличении валового дохода; вопрос шел о развитии вообще производительных сил в сельском хозяйстве, о повышении производительности крепостного сельско-хозяйственного труда, а этого, конечно, нельзя было достичь простым усилием его эксплоатации. Наоборот, даже и тогда для всякого опытного хозяина было ясно, что помещичье хозяйство, его производительность и доходность зависят всецело от производительности и доходности крестьянского хозяйства, а чрезмерная эксплоатация этого последнего может только

привести к разорению и первое. Для экономически рациональной постановки хозяйства требовалось создание особой, новой хозяйственной организации. Создание такой наиболее подходящей для русских условий и экономически рациональной организации эксплоатация крепостного земледельческого труда и составляло долгое время для русских помещиков задачу, гораздо более трудную, чем выработка технической стороны хозяйства, которая, как мы видели, потребовала также большого труда и долгого времени.

Для постановки своего сельского хозяйства, как промышленного доходного предприятия, русский помещик имел пред собою два образца: один в организации земледельческого хозяйства на западноевропейский манер «аглицкого фермерства»; другой—в той организации, которая давала гораздо больший простор самостоятельному хозяйничанью помещика, которая основывалась на производительном употреблении капитала и уравнивала земледельческое хозяйство с «фабрикой», как наиболее типичным образцом капиталистического предприятия.

Естественно, что, вместе с подражанием западно-европейской агрономической технике, шло копирование западно-европейских образцов и в отношении организации хозяйства. «Английский фермер столь же начинает быть нужен многим русским дворянам, как французский эмигрант, итальянские в домах окна и скаковые лошади в запряжку», говорил не без сарказма еще в начале XIX столетия один анонимный автор, бичуя это нерациональное увлечение английскими организационными образцами, вопреки очевидной их убыточности. Это увлечение английским фермерством было, конечно, также эфемерно, как и увлечение английским «плодоперемением». Упомянутому анонимному автору и многим хозяевам, не слепым поклонникам английских систем, было ясно, что английское фермерское хозяйство, основанное на приложении в земледелии основного и оборотного денежного капитала фермера, не применимо в сельском хозяйстве России, именно вследствие отсутствия и самого такого фермера, и такого капитала. Этого капитала не было не только у фермера, его не было и у всего помещичьего класса, обладавшего лишь одним видом «капитала»—крепостными крестьянами. Там, где вся хозяйственная деятельность основывалась единственно на принудительной эксплоатации крепостного труда, не могло быть речи о производительном употреблении капитала для получения на него предпринимательской прибыли.

Экономические условия русского и английского сельского хозяйства были настолько несравнимы, что никакое примирение между ними, конечно, не было возможно. «Русское хозяйство,—говорит один из современных писателей,—несравненно труднее и многосложнее иностранного, в котором все приводится в движение денежным капиталом; земля, таким образом, оплодотворяется и возвращает своими произведениями капитал с процентами; в русском же—денежный капитал редко участвует, а главный, необходимый или, лучше сказать, неизбежный капитал есть крепостные крестьяне». «Сущая новость для русского сельского хозяйства—капиталы, говорит другой современный автор-хозяин: о них и слуха нет. Да где же их и отыскать,

когда у нас на улучшение хозяйства... никогда на это употребление в наличности денег не сберегается».

Но даже если эти деньги имелись, обстоятельства дела не менялись и не улучшались: собственно в сельское хозяйство эти деньги могли быть вложены в форме лишь одного вида крепостного помещичьего «капитала»—крепостных крестьян, действительно, и причислявшихся крепостной бухгалтерией—с своей точки зрения весьма последовательно—к «капиталу орудий». Этот «капитал орудий» представлял ту особенность, что он совершенно не подлежал техническому усовершенствованию, прогрессу, не носил в себе зачатков и возможности поднятия своей производительности и уравнивал технику всех помещичьих крепостных хозяйств, низводя ее к одному, весьма низкому уровню, не давая, с одной стороны, возможности его повышения, с другой,—ставя для сельского хозяйства обязательной и «неизбежно» именно эту форму приложения капитала, эту эксплоатацию крепостного труда.

Таким образом, для русского сельского хозяйства не было и не могло быть прогрессивной и производительной формы приложения капитала, кроме вложения его только в этот непроизводительный и инертный «капитал орудий». А если иногда и открывалась иная возможность, то это неизбежно вело к уклонению сельского хозяйства от чистого земледельческого производства в сторону его индустриализации, т. е. к переходу к винокуренному, свекло-сахарному и др. производствам. Эти отрасли давали, действительно, возможность более широкого и производительного применения капитала, повышения производительности труда, увеличения доходности сельского хозяйства—почему и являлись всегда целью практических стремлений прогрессивных богатых помещиков и предметов проповеди теоретиков и сельско-хозяйственных писателей.

«Индустриализация земледелия», соединение промышленности с земледелием ради более полного использования труда крепостных крестьян, другими словами, учреждение деревенских крепостных фабрик и заводов, на которых должны в зимнее, свободное от полевых работ время, работать крепостные крестьяне, составляет и в XIX ст. постоянное стремление аграриев, которое, как мы видели, и раньше находило себе выражение в Екатерининском законодательстве о развитии дворянского винокурения. Русское сельское хозяйство только тогда поднимется на надлежащую высоту, говорит один из авторов, сотрудник передового сельско-хозяйственного журнала, когда «во всяком селе, по крайней мере, на 6 у нас зимних месяцев заведется фабрика и те же фабриканты будут летом обращаться в хлебопашцев. Земледелие и рукоделия, одно без другого в совершенстве быть не могущие, тогда взаимно поддерживались бы и возрастали бы с ровной в местах отдаленных и близких от столиц удобностию... Бедность исчезла бы; всякие ремесла, художества, торговля и все прочее соразмерно водворились бы». «Что отечество наше бедно и что оно должно заниматься только земледелием—это мнение нелепо», говорит другой современный автор.

Этот рай, который обещали защитники развития деревенской промышленности русскому сельскому хозяйству—точнее, помещичьим

доходам—был, однако для большинства русских помещиков недоступен так же, как и «аглицкое фермерство» уже по одной той простой причине, что у них не имелось достаточного капитала для устройства всех этих сельско-хозяйственных фабрик и заводов. Да к тому же и производительность принудительного крепостного труда на этих фабриках значительно отставала от свободного наемного труда на непомещичьих фабриках. Наконец, сила общественного сопротивления нашей нарождавшейся промышленной буржуазии была в то время уже настолько значительна, что введение промышленных систем в русское сельское хозяйство, его индустриализация для большинства русских помещичьих хозяйств остались лишь предметом мечтаний.

Поэтому, как интенсификация и агрономическая рационализация систем полеводства, на манер западно-европейских образцов, введением плодосменной системы, как общие организационные планы хозяйства по образцу английского фермерства, так и соединение земледелия с индустрией для русского сельского хозяйства оказались неприменимыми. Приходилось изыскивать иные средства и иные формы, наиболее подходящие для правильной постановки и развития русского сельского хозяйства.

И вот, помимо тех, «истинно-русских» мнений, которые, смешивая следствие с причиной, видели источник всех бедствий сельского хозяйства в расшатывании основ «оригинального явления русского быта, не имеющего ничего общего с подобными же явлениями Западной Европы»—крепостного права—для всех русских сельских хозяев стоял неразрешимый вопрос: каким образом, сохраняя status quo крепостного хозяйства, крепостной труд, организовать его так, повысить его производительность на столько, чтобы ведение сельского хозяйства было бы действительно выгодным и экономически рациональным. К этому и сводились все многочисленные споры и проекты организации крепостного труда путем барщины, оброка, месячины и разных других «совершенно новых» способов, в выискивании которых русские крепостные помещики проявили, нужно признаться, большую изобретательность. Все они, за немногими случаями применения вольнонаемного труда, исходили, как из данного—из крепостного труда и пытались лишь так или иначе его организовать, чтобы повысить производительность его. В этом отношении все они были почти одинаково невыгодны, и уже в исходном своем пункте обрекали себя на безрезультатность.

Два наиболее крупных противоположных вида организации крепостного труда представляли, конечно, оброк и барщина. Рассмотрение выгодности той и другой системы является, пожалуй, наиболее частой темой крепостной сельско-хозяйственной литературы.

Низкая производительность барщинного труда и невозможность его повышения вызывала сильное осуждение этой системы со стороны многих хозяев. «Барщина,—говорит известный в крепостной литературе и публицистике пензенский помещик,—отнимающая возможность у бедного выйти из бедности, у зажиточного разбогатеть; у человека, одаренного каким-нибудь особенным талантом, развивать талант этот; у промышленника—заниматься своим промыслом,—действует на всех крестьян подобно медленному яду, убивающему тело и душу. Оброч-

ная система, как определявшая заранее долю прибавочного труда, присвояемого в той или другой форме помещиком, и затем предоставлявшая полную свободу предпринимательской хозяйственной деятельности самого крестьянина, должна была давать наиболее производительный труд. «Труд оброчного крестьянина, предоставленный собственному его произволу, не может быть употребляем вопреки умственных способностей и телесных сил работника... При произвольном труде всякому воздается по делам его, и трудолюбие... поведет самым ближайшим путем к совершенству», говорит другой современный опытный, и до некоторой степени передовой, хозяин-практик. Оброк, по его мнению, «устраняет беспечность, лень, дает возможность развития индивидуальных сил».

Но что и эта оброчная система не удовлетворяла многих, видно из того, что тот же автор, защитник оброчной системы, считал нужным завести в своем хозяйстве, «совершенно новый образ» организации труда и взимания повинностей. Этот способ был едва-ли так нов, как казался самому изобретателю его, и представлял в сущности принудительную натуральную аренду помещичьей земли: все дворовые и крестьяне в качестве «оброчных работников» переводились с барщины на оброк и принуждались этот оброк отрабатывать на помещичьей земле по определенным расценкам, с уплатой этого оброка хлебом натурою. Автор этим способом пытался добиться устранения главного, по его же словам, недостатка оброка—неисполнения оброчных повинностей крестьянами и возрастания недоимок.

Но в сущности это возрастание недоимок при оброке и свидетельствовало о той чрезвычайно низкой производительности труда, в крепостном хозяйстве, которая сохранялась и при оброчной, так же как и при барщинной организации труда. Несмотря на кажущуюся при оброке возможность для крестьянского хозяйства поднятия своих производительных сил, очевидно, вся общественно-экономическая атмосфера, в которой приходилось жить крепостному крестьянину, не могла создать условий, благоприятных такому повышению производительности.

Вот как, например, не без иронии описывает один из противников оброчной системы то положение, в которое попадало помещичье имение при оброчной организации труда, вследствие полной несостоятельности его в смысле производительности. «Управляющий почтительнейше доносит, что в имении все обстоит благополучно, только по неурожаю хлеба или по дешевизне он усердно будет стараться, чтобы недоимки было как можно меньше... Проходит год, недоимки остается более, чем мы думали, надеясь на усердие управляющего; а между тем, еще усерднее веселясь, надобно прибегнуть к доброжелательным людям—призанять денег. Весьма расчетлив тот, кто займет сумму поменьше его деревенской недоимки; но обыкновенно порядочные люди о недоимках не думают, озабоченные искусством хорошо жить. В течение другого года управляющий препочтительнейше доносит, что в имении все обстоит благополучно, только у некоторых крестьян скот поколел от заразы; у других, более ознакомясь с имением, заметил он наклонность к пьянству, мотовству, лености, беспечности; иные, имея хорошее состояние, уклоняются от платежа оброка и подговари-

вают к тому беднейших, дабы помещик, видя их всеобщую несостоятельность, уменьшил оброк, простил недоимку. Впрочем, обстоятельства ныне так тяжки, сельские произведения так дешевы, добавляет управляющий, что я удивляюсь, как крестьяне наши изворачиваются и уплачивают оброк».

Ничего удивительного, впрочем, в таких последствиях оброчной системы не было, так как оброк определялся в сущности совершенным и безграничным произволом помещика. Он не определялся какой либо нормой, для всех одинаковой, а большей частью соответствовал самому благосостоянию крестьянского оброчного двора: с помощью оброка помещик стремился всегда присвоить наибольшую, возможную при данных условиях, прибавочную стоимость, отнять от крестьянского хозяйства весь тот избыток продукта, который превышал existenz-minimum его крестьян. При оброке произвол помещика подлежал даже еще меньшему общественному или правительственному контролю, чем при барщине, и тяжесть оброков была для крестьян не меньше тяжести исполнения барщины. Барщина была, по крайней мере, определенна и хотя для помещичьего хозяйства была также непроизводительна, но давала возможность крестьянину повысить производительность труда на другой половине полей—в собственном своем хозяйстве. Впрочем, для помещичьего хозяйства, помимо низкой производительности барщинного труда, ведение барщинного хозяйства затруднялось, вследствие недостатка у помещиков капитала, необходимого для такой барщинной организации и для ведения самостоятельного хозяйства. Все орудия производства, скот, часто и помещения—весь этот капитал принадлежал большей частью крестьянам, и недостаток его часто указывался, как главная причина невозможности ведения барщинного хозяйства.

Все это и заставляло помещиков выискивать такие способы организации крепостного труда, основывающиеся большей частью на сочетании оброка и барщины, которые хоть отчасти могли устранить или смягчить недостатки того и другого. Наиболее распространенным видом организации труда является именно простое сочетание оброка и барщины. Сюда же относится и упомянутый выше «способ оброчных работников», как принудительной натуральной аренды; и «общественные или соединенные хозяйства», пропагандируемые некоторыми авторами и представляющие род «товарищества», помещика с крестьянами на основах испольной обработки земли и дележа урожая. То же самое поднятие производительности труда преследует образование «сводных семей» и «осмачных хозяйств», как наиболее крупных и более производительных и хозяйственных единиц и многие другие виды организации крепостного хозяйства.

Удовлетворяли-ли эти различные способы или по крайней мере некоторые из них поставленной им цели—достижения большей производительности крепостного труда?

Безусловно нет. Производительность крепостного труда, по общему отзыву всех современных писателей и хозяев, была чрезвычайно низка и почти совершенно не прогрессировала. Поэтому, при общем развитии жизни, развитии денежного хозяйства, при такой не прогрессирующей производительности народного труда, рост потребностей как

помещичьего, так и крестьянского хозяйства мог удовлетворяться лишь с помощью простого экстенсивного распространения земледельческой культуры: усиления эксплоатации крепостного труда, расширения запашек и т. п. Такое расширение культуры вело к абсолютному количественному увеличению валового продукта народного хозяйства и к относительному увеличению в нем доли прибавочного продукта, получаемого помещиком.

Но это количественное увеличение земледельческого производства при необходимости реализации земледельческих продуктов на рынке должно было привести земледельческое хозяйство к усложнению его отношений, к рынку, и к столкновению интересов его с этим рынком, к товарному перепроизводству. То однообразие зерновой культуры, к которой по необходимости пришло большинство помещичьих хозяйств, по крайней мере в центральных и восточных районах, особенно усилило это неблагоприятное отношение производства к рынку, привело к помещичьему «перепроизводству» и в форме настоящего, хотя и своеобразного кризиса, завело крепостное сельское хозяйство в тот тупик, из которого вывести его могла только полная ликвидация всего старого крепостного хозяйственного строя.

V. Внешняя и внутренняя торговля России в 1-ую половину XIX в.

(Из «Истории народного хозяйства в России XIX—XX в.в.», В. И. Пичета. М. 1922 г. Стр. 50—69).

I. Внешняя торговля.

Обороты по внешней торговле.—Обороты по азиатской торговле.—Обороты по торговле с Финляндией и Польшей.—Торговый баланс.—Морская и сухопутная торговля.—Преобладающее значение Балтийской торговли.—Торговля России с Англией, Францией и Германией.—Предметы вывоза и ввоза. Итоги.

С вступлением на престол Александра I и отменой всех экстравагантных указов Павла I торговля по всем границам производилась до 1807 г. без всяких препятствий, за исключением препон международного характера. В последний год царствования Павла I обороты по внешней торговле равнялись 107.445 т. руб. Но уже в течение 1801—1805 гг. обороты увеличились до 127.873 т. р. [1]).

Введение континентальной системы тяжело отразилось на торговых оборотах. В течение 1806—1808 гг. в среднем они равнялись только 75.988 т. руб. Отсутствие данных лишает возможности уста-

---

[1]) Ценность вывоза и ввоза выражена в рублях, равных $^1/_{15}$ империала.

новить полную цифру оборотов по внешней торговле, но, вероятно, они сократились еще более, если правительство считало нужным принимать радикальные меры для спасения государственного кредита. Благодаря тарифу 1810 г. обороты увеличились до 101.092 т. р. в период 1812—1815 г.г., несмотря на неблагоприятные в военном отношении годы. После войны 1812—1815 г.г. обороты по внешней торговле непрерывно растут. Либеральные тарифы 1816—1819 г.г. дали большой толчок для усиления товарообмена. Но после тарифа 1822 г. обороты несколько уменьшились. В течение Николаевского царствования товарообмен непрерывно увеличивался, хотя не в той мере, в какой это было бы желательно руководящим правительственным сферам. Так, ценность русского ввоза и привоза, равная в 1816—1818 г.г.— 161.711 т. р., поднялась до 431.460 т. р.

Внешняя торговля России производилась по двум границам: с Финляндией и Польшей. Но для русского товарообмена европейский рынок сохранял свое доминирующее значение. Торговля с Азией, Финляндией и Польшей имела второстепенное значение.

Так, ценность русского привоза и вывоза по финляндской границе в тысячах ассиг. рублях и кредитных билетах представляется в следующем виде:

Годы.	Вывоз.	Привоз.	Обороты.
1823	1061	370	1381
1825	2263	534	2797
1830	2643	614	3257
1835	3140	986	4126
1840	992	543	1435
1845	1349	833	2182
1850	1780	791	2571
1855	1645	272	1917
1860	2848	2288	5136

Товарообмен с Польшей до введения в действие тарифа 1850 г., положившего конец самостоятельному существованию Польши в таможенном отношении, представляется в следующем виде в т. ассигнаций и кредитных рублях.

Годы.	Вывоз.	Привоз.	Обороты.
1822	1416	2267	3683
1830	7953	8052	16005
1840	1914	859	2773
1850	2311	1276	3587

Азиатский товарообмен можно представить в следующем виде: (в тысяч. ассигн. и кредит. руб.).

Годы.	Вывоз.	Привоз.	Обороты.
1812	6017	9069	15186
1825	11854	19384	30238
1830	15792	24545	40337
1840	5902	9387	15289
1850	90894	15744	6638

Таможенная политика русского правительства преследовала прежде всего фискальные цели, следовательно, стремилась к тому, чтобы торговый баланс по внешней торговле был благоприятным для России. Если оставить годы 1809—1811 гг., о которых мы не располагаем точными данными, то в течение всей первой половины столетия торговый баланс складывался для России благоприятно, хотя его одного было недостаточно для поднятия вексельного курса и государственного кредита. Благоприятность торгового баланса можно установить при сравнении ценности вывоза и привоза в т. р.

Годы.	Вывоз.	Привоз.	Баланс.
1801—1805	75108	52765	22343
1806—1808	43169	31819	11350
1812—1815	61986	39106	22870
1816—1820	91712	70049	21663
1821—1825	81372	72250	9122
1826—1830	85715	79687	6028
1831—1835	94319	80999	13220
1836—1840	118435	101096	17329
1841—1845	132323	119864	12459
1846—1850	151757	131522	20235
1851—1855	133173	129962	3211

Торговля производилась по всем морям, омывавшим территорию, но доминирующее значение в течение всей первой половины века оставалось за Балтийским морем, хотя ее рост шел медленнее роста по другим морским границам.

Общее количество судов заграничного плавания, приходивших в порты четырех морей, представляется в следующем виде. Так, приходило судов:

Моря.	1802 г.	1850 г.
по Балтийскому морю	2768	3423
„ Черному и Азовскому	706	2590
„ Белому	236	547
„ Каспийскому	20	220

Такое распределение количества судов, приходивших по отдельным морям, ясно указывает на доминирующее значение Балтийского моря. Действительно, в начале века, отпуск товаров через Балтийское море составлял 85,5% всего отпуска, а на долю Черного моря приходилось только 5,4%, Белого—8,9%, Каспийского—0,2%. Точно также и по привозу первое место занимало Балтийское море—90,9%. Второе место по ценности занимало Черное море—5,8 /о. Привоз через Белое и Каспийское моря был незначителен—1,6% и 1,7%.

К половине века отношение между морями относительно ценности вывоза и ввоза оставалось прежним, но все-таки незаметно Балтийское море теряло свое первенствующее значение. С ним вступало в конкуренцию Черное море. Так, в течение 1846—1850 гг. ценность отпуска по Балтийскому морю составляла 60,6% общей ценности.

По Черному и Азовскому составляла . . . 33,1%
„ Каспийскому 5,6%
„ Белому 0,5%

Что же касается привоза, то Балтийское море пока твердо сохраняеет свое первенство.

Так, в 1846—1850 гг. по Балтийскому морю привозилось 82,7% общ. ц.
„ „ „ Черному и Азовскому . . . . . 13,5% „ „
„ „ „ Каспийскому . . . . . 2,3% „ „
„ „ „ Белому . . . . . 0,5% „ „

В течение первой половины века английский рынок был потребителем русского сырья и поставщиком фабрикатов в Россию. Разрыв торговых связей с Англией должен бы губительным образом отразиться на оборотах внешней торговли и разорить тех, кто вложил свои капиталы в международную торговлю или приступил в интересах усиления производительности сельского хозяйства к мелиорации земель и переходу к более интенсивным формам ведения хозяйства. Неудивительно, что союз с Францией вызывал большое раздражение в крупно-поместном дворянстве, главным образом, пострадавшем от введения континентальной системы. Последняя прекратила свое действие в 1810 году. Торговые сношения возобновились сызнова. Англия сохранила свое первенствующее значение в течение всей первой половины века. В течение 1845—1848 г.г. обороты Англии по торговле с Россией составляли 96,5 милл. руб. причем вывоз товаров преобладал над привозом (59,3 милл. руб. и 37,2 милл. руб.). Второе место занимала Германия. Ее обороты достигали 32,8 милл. руб., при этом привоз значительно доминировал над вывозом (20,0 и 12,8 милл. руб.). Торговые связи России и Франции не были налажены к началу XIX века, хотя французское правительство стремилось всеми мерами увеличить товарообмен и принять меры к вытеснению Англии с русского рынка. Французская революция и вызванные ею правительственные мероприятия фактически прекратили торговлю с Францией, и только отмена всяких ограничительных мероприятий дала толчок к возобновлению товарообмена Франции с Россией. Привоз и вывоз товаров представляется в следующем виде:

Десятилетия.	Привоз из России во Францию.	Вывоз из Франции в Россию.
1821 — 1830	6,25 мил. руб.	2,8 мил. руб.
1831 — 1840	7, 7 » »	7,1 » »
1841 — 1850	16, 2 » »	12,6 » »

Среди иностранных держав, заинтересованных в поддержании торговли с Россией — Франция занимала третье место. Далее шли Китай, Голландия, Дания, Пруссия, Италия, Австрия, Соединенные Штаты, Испания и Португалия, Швеция и Норвегия.

Что же касается состава ввоза и вывоза, то характер их не изменялся в сравнении с предыдущим столетием. В вывозе доминировали жизненные припасы, сырье и полуобработанные фабрикаты, животные и, отчасти, изделия, но к половине века несколько изменилось соот-

ношение между отдельными составными частями вывоза, именно, по мере роста промышленности уменьшался отпуск сырых и полуобработанных материалов и значительно увеличивался вывоз жизненных припасов. К половине века значительно увеличился ввоз полуобработанных и сырых материалов, и немного сократился ввоз готовых фабричных изделий.

Если взять главнейшие статьи отпуска в отдельности, то в течение первой половины XIX века их ценность в заграничном отпуске значительно изменилась. Начнем с хлеба. Ценность хлеба, вывозимого заграницу в начале XIX века, составляла 11,8 мил. руб. ассигнациями, а в 1840 году она достигла 55,7 мил. руб. ассигнациями. Таким образом, отпуск хлеба увеличился на 33,9 мил. руб. ассигнациями. По отношению же к ценности всего вывоза ценность хлебного экспорта в среднем составляла 15% и только в течение 1816—1820 г.г. она увеличилась до 31,2%. Таким образом, экспорт хлеба значительно увеличился в первой половине XIX века, но доминирующего значения пока не имел. Он составлял только видную статью заграничного отпуска. В течение 1801—1806 г.г. из России вывозилось хлеба: пшеницы в среднем 1.064.584 четв., ячменя, ржи, овса—1.153.323 четв. В период 1806—1810 г.г. ежегодный средний отпуск пшеницы упал до 176.819 четв., а остальные виды хлеба до 419.034 четв. Только с 1816 г. начинается усиленный вывоз хлеба. В течение 1816—1820 г.г. в среднем пшеницы ежегодно вывозилось 1.730.044 четв., а ржи, ячменя и овса—1.529.258 четв. Изменение таможенной политики в Англии, рост ее индустрии и торжество идей свободной торговли, повлекшие за собой отмену хлебных законов, дав доступ русскому хлебу на английский рынок, в значительной степени увеличили цены на хлеб, сделав отпуск хлеба для предпринимательского сельского хозяйства очень выгодной доходной статьей. Вывозя в среднем до 1842 г. 25 мил. пудов четырех главных хлебов, Россия уже в 1845 г. вывезла 33 мил. пудов, в 1846 г. 51 милл. пуд., а в 1847 г.—96 милл. пудов. Во всяком случае, для крепостного помещичьего хозяйства отпускная торговля имела большое значение, а европейский рынок не мог обходиться без потребления ржаного хлеба, спрос на который отражался на технике крепостного хозяйства. Ржаной хлеб поступал в Италию, Францию, Турцию, Австрию, Пруссию, Голландию, Грецию.

В составе отпуска в начале XIX в. по ценности сало говяжье и пенька занимали весьма видное место, доминирующее с 1812 г., в виду развития в Западной Европе салотопенной заводской промышленности. В 1802 г. отпуск сала равнялся 1.770 т. п., а в 1830—1840 г.г. ежегодный средний отпуск достиг 4.242 т. п. Затем вывоз сала сократился. В течение 1854—1855 г.г. ежегодный отпуск равнялся только 2.135 т. п. Сокращение вывоза об'яснялось индустриализацией России и крайней нуждой в сале для собственной салотопенной заводской промышленности. В начале XIX века пенька вывозилась в среднем 3.444 т. п. пуд., но в половине XIX века вывоз упал до 2.349 т. пуд. Зато увеличился вывоз льна с 1.698 т. пуд. начала века до 9.516 т. пуд. в течение 1850—1851 г.г. Сначала лен шел исключительно в Англию, но появление в Австрии и Пруссии льнопрядильных машин увеличил спрос на русский лен, к тому же, русская льняная

промышленность находилась в мало развитом состоянии. В течение всей половины века главным покупщиком русского льна была Англия. Рядом с вывозом льна отпускались заграницу и льняные изделия, спрос на некоторые виды которых был значителен уже в XVIII веке. За границу шли по преимуществу канаты и веревки. Еще в XVIII веке Россия вывозила разные виды льняных изделий, как то: фламские, парусные полотна, равендук. В первой четверти века вывоз льняных изделий обнаруживал тенденцию постоянного сокращения, что следует об'яснить технической отсталостью русской льняной промышленности. Так, в течение 1793—1796 г.г. ежегодный вывоз равнялся 251 т. кускам, а в течение 1810—1813 только 212 т. кускам. К 30-м годам вывоз уменьшился еще более. Сокращение вывоза повлекло за собой закрытие весьма большого количества парусино-полотняных фабрик. Ежегодный средний вывоз равнялся в течение 1846—1850 г.г.—398 т. пуд. В сравнении с началом века вывоз увеличился более чем вдвое. Что же касается льняной пряжи, то вывоз ее был незначителен. Несколько значительней был вывоз пеньковой пряжи. В течение 1851—1855 г.г. ежегодный вывоз уже достигал 89 т. пуд., главным образом, поступавший на английский рынок. Вместе с тем за границу шло льняное и конопляное семя. Вывоз последнего в 1855 году в среднем достигал 10.377 т. пуд., тогда как в 20-х годах средний ежегодный вывоз составлял всего—574 т. пуд. Почти единственным потребителем льняного семени являлась Англия. На конопляное семя был меньший спрос, но все-таки увеличение его вывоза весьма заметно. В течение того же промежутка времени его средний вывоз с 60 т. пуд. поднялся до 149 т. пуд. Впрочем, отпуск конопляного семени подвергался большим колебаниям. Так, в течение 1841—1845 г.г. средний ежегодный вывоз достигал 843 т. пуд., а в следующее пятилетие резко понизился до 244 т. пуд. Конопляное семя, главным образом, шло во Францию. В отпуске начала XIX века и лес по ценности составлял видную его статью. Уже в конце XVIII века ежегодный вывоз равнялся 1.794 т. руб. Лесной товар потреблялся, преимущественно, Англией. Во время континентальной системы русский лес не мог быть доставляем на английский рынок. Англия стала покупать канадский лес, а русский лес был обложен высокой пошлиной.

Кроме Англии, в Пруссии был значительный спрос на русский лес, обложенный незначительной пошлиной. Пруссия покупала лес не столько для своего потребления, сколько для продажи, с большей выгодой для себя и несомненной убыточностью для русской экспортной торговли. В течение 1824—1834 г.г. ежегодный средний вывоз равнялся 8.424 т. руб. и обнаружил тенденцию непрерывного увеличения. Вывоз мягкой рухляди составлял значительную составную часть отпуска. Звероловный промысел на Дальнем Востоке, в Беринговом море и на прилежащих островах, находился в руках Российско-Американской компании, которая в течение 1807—1830 г.г. добыла мехов на сумму 9,4 милл. руб. сер., или в среднем 448 т. руб. серебр.

В период 1843—1847 г.г. ценность составляла в год только 194 т. руб. сер. За границу шли морские киты, соболя, морские и обыкновенные бобры, лисицы черные, серые, бурые, лисицы синие и белые. Кроме того, сибирская добыча мехов была значительна. Здесь

добывали шкуры медведей, волков, зайцев, диких оленей. Какое количество их шло за границу—остается невыясненным.

Небольшое значение в нашем вывозе имел рогатый скот и свинина, но зато обнаруживал тенденцию постоянного увеличения. Так, в течение 1802—1805 г.г. вывоз равнялся 1.229 т. руб., а в 1816—1820 г.г. 4.410 т. руб. ассигнац. Затем вывоз значительно сократился, и только в 1836—1840 г.г. он достиг суммы 3.107 т. руб. асс. После этих годов, вплоть до конца половины столетия вывоз скота и свинины непрерывно увеличивался. Так, в период 1841—1845 г.г. ценность вывоза равнялась 981 т. руб., а в 1851—1855 г.г. она поднялась до 1.169 т. руб. кред. Главным покупщиком скота являлись Австрия и Пруссия. Кроме того, рогатый скот ежегодно вывозился в Польшу. Помимо этого, Россия вела торговлю лошадьми с Киргиз-Кайсацкими степями, которая до 1867 г. рассматривалась, как заграничная. В 1813—1815 г.г. вывоз составлял в среднем 2.4 т. голов, а в 1846—1859 г.г. он увеличился до 10.1 т. гол. Затем вывоз падает. В 1851—1855 г. он равнялся только 5.7 т. гол., а в период 1861—1867 г.г. он упал до 2.6 т. гол.

Весьма видную отпускную статью, и притом постоянно увеличивающуюся, составляла щетина, очень ценимая на заграничном рынке, благодаря своим высоким качествам. Вывоз щетины в 1792 г. по количеству составлял 32 т. пуд., а в 1841—1850 г.г. он поднялся в среднем до 79 т. пуд., причем главными покупщиками щетины были Англия и Германия, при этом вывоз щетины в Германию постепенно увеличивался за счет вывоза ее в Англию. В период 1827—1831 г.г. вывоз в Англию составлял в среднем 48 т. пуд., а в Германию только 3 т. п. В 1851—1855 г.г. английский вывоз упал до 31 т. п., а немецкий поднялся до 21 т. п. Германия явно стремилась отнять у Англии первенство по вывозу щетины. Остальные державы—Австрия, Франция, Соед. Штаты потребляли незначительное количество пудов русской щетины. Точно также и вывоз конского волоса в течение половины века непрерывно увеличивался по ценности, но по количеству увеличение сопровождалось значительными колебаниями то в сторону сокращения вывоза, то его увеличения. Так, в начале века ценность вывоза волоса равнялась 56 т. р. ассигн., а в период 1836—1840 г.г.—784 т. р. асс. Количество волоса, вывозимого в 1816 г., равнялось 13 т. пуд., а в период 1851—1855 г.г.—38 т. п.

Главным покупщиком конского волоса были Англия, Германия, Австрия. Видное место в отпуске составляли кожи, как выделанные, так и не выделанные. Ценность среднего годового вывоза кожи в 1802—1805 г.г. определялась в 2.019 т. р. асс., а в 1831—1835 г.г. она поднялась до 12.712 т. р. асс. Затем в период 1831—1840 г.г. происходит сокращение вывоза до 9.476 т. р. асс. Это сокращение непрерывно продолжалось и в период 1851—1855 г.г., когда ценность ежегодного среднего привоза определялась в 1.739 т. р. кред. Что же касается ценности выделанных кож и ценности сырых, то ценность первых в начале века составляла только 6%, а вторых—94%. В период 1846—1855 г.г. % первых увеличился до 35%, а ценность вторых составляла только 65%. Вывоз кож, выделанных систематически, увеличивался.

Весьма важную статью отпуска составляла медь. Количество добываемой меди не только удовлетворяло спрос на внутреннем рынке, но являлась возможность и экспортирования меди из России. До 1839 г. экспорт меди непрерывно увеличивался: с 42 тыс. пуд. начала века он поднялся до 182 тыс. пуд. Затем вывоз упал до 103 т. п. В период 1851—1855 г.г. экспорт опять увеличился до 216 т. п., но во второй половине века по всей линии происходит стремительное падение экспорта. В таком же положении находится и экспорт железа. В конце XVIII века вывоз последнего достигал 3.885 т. п., но в первой половине XIX века экспорт железа падает. До 1814 г. в среднем отпускалось 1772 т. п. ежегодно, в 1814—1824 гг. 1.252 т. п., а в 1839 отпуск железа не превышает 1 мил. п. К концу первой половины столетия вывоз сократился еще более. К видным статьям отпуска надо еще отнести поташ. В XVIII веке поташ составлял видную часть экспорта. В 1802—1805 г.г. в среднем вывозилось 303 т. п., а в 1826—1830 гг. вывоз увеличился до 552 т. п. Затем начинается медленное сокращение вывоза. К концу первой половины столетия вывоз поташа упал до 350 т. п. Небольшое значение имел в составе нашего отпуска вывоз смолы и дегтя. В пятилетие 1802—1806 г.г. вывоз равнялся 893 т. п. Затем до 1825 г. идет медленное сокращение отпуска. С 1826 г. экспорт снова увеличивается и в пятилетие 1846—1850 г.г. достигает 1.108 т. п. Таковы были главные статьи отпуска.

И в привозе в течение всей половины века были значительные колебания, что, в значительной степени, зависело как от таможенной политики, так и от потребностей народного хозяйства и отдельного потребителя. В Россию ввозились жизненные припасы, которых не было внутри, но потребление которых с течением времени все более и более увеличивалось, не столько в среде сельского населения, сколько в массе городского населения. Многие из этих продуктов, жизненной не первостепенной важности, потреблялись только более состоятельными классами и рассматривались не столько, как предметы первой необходимости, сколько как предметы роскоши. Среди таких предметов не первой необходимости, импорт чая сначала занимал совсем не видное место. Это зависело, как от высокого таможенного обложения, так и от запрещения вывозить за границу золото и серебро в слитках и монету русского чекана, без которых торговля чаем не могла быть производима. До 1822 г. в Россию мог поступать только китайский чай. Ввоз европейского чая был совершенно запрещен. Незначительный ввоз чая заставлял правительство понижать пошлины тем более, что на западной границе была значительно развита контрабанда чаем. Понижение пошлин с 1845 г. и разрешение променивать на чай серебряные изделия (1854) весьма оживили нашу торговлю чаем. В 1828—1831 г.г. ввоз колебался между 153 т. п. и 142 т. п. В 1841 г. ввоз поднялся до 175.254 п., а в 1848 г. до 384 т. пуд. С изданием указа 1854 г. привоз чая непрерывно увеличивался, и в составе экспорта занимал весьма видное место во второй половине XIX века. Ограниченный круг потребления не мог содействовать значительному ввозу, но все же экспорт кофе, в течение полувека, увеличился почти вдвое. В 1812—15 г.г. ввоз кофе составлял 111 т. п., а в 1846—50 г.г.—206 т. п. И кофе занимало прочное место на рус-

ском рынке. В таком же положении находился и ввоз риса, спрос на который все увеличивался. В течение 1812—17 г.г. ввоз риса равнялся 50 т. п., а в 1846—1850 г.г.—132 т. п. Увеличение произошло в $2^1/_2$ раза. К предметам роскоши следует отнести привоз фруктов, ягод, орехов, миндалю и рожков. В 1812—1815 г.г. ценность привоза фруктов равнялась 4.163 т. р. асс., а в 1836 — 1839 г.г. она увеличилась до 6.839 т. р. асс. Такова была ценность привоза по европейской границе. В таком же положении находился ввоз фруктов и по азиатской границе, его ценность увеличилась с 44 т. р. асс. до 607 т. р. асс. в тот же промежуток времени. Увеличивался также и ввоз пряностей: перца, ванили и шафрана. В 1802—1807 г.г. ценность ввоза пряностей не превышла 2.181 т. р. асс., а в период 1836—1845 г. ценность ввоза равнялась 377 т. р. кред., а в следующее пятилетие поднялась до 464 т. р. кредит. Ввоз пряностей производился по преимуществу на европейской границе. Увеличивается спрос и на табак, главным образом, на дорогие сорта. В 1802—1805 г.г. ввоз табаку равнялся только 19 т. п. Общая ценность 228 т. р. асс. В пятилетие 1846—1850 г.г. ввоз определялся до 157 т. п. Общая ценность в кредитных рублях уже выражалась в сумме 2.523 т. Предметом роскоши считался и сахар. В XVIII веке весь сахар поступал из-за границы. В 1790—1792 г.г. привоз сахару достиг 409.846 п. В сравнении с срединой века он увеличился более, чем в 5 раз. В начале нового столетия привоз упал до 228 т. п., но с 1812 г. его привоз в течение всей первой и второй четверти XIX столетия непрерывно увеличивается. Уже в течение 1812—1815 г.г. ввоз сахару достиг 651 т. п., а в 1846—1850 г.г. последний увеличился до 1.942 т. п. Однако, несмотря на такое увеличение ввоза, сахар являлся предметом роскоши и потреблялся по премуществу только самостоятельными классами. При 65 мил. населения на 1 душу приходилось $1^2/_3$ фунта, а в Англии и Соединенных Штатах—20 фунтов. К предметам роскоши, привозимым в Россию, следует отнести также крепкие напитки: арак, ром, ликер и водку, впрочем, ценность ввоза и количество их остается невыясненным. Затем в Россию ввозились иностранные вина, портер, мед. К числу предметов первой необходимости, привозимых в Россию в первой половине века в довольно значительном количестве, надо отнести соль. Средний годичный привоз соли в 1812—1815 г.г. составлял 2.871 т. п., а в 1846—1850 г.г. он увеличился до 4.984 т. п. Доставка соли в центральные части России из места ее нахождения на юге, на востоке и северо-востоке была весьма затруднительна, что и вызывало большой спрос на иностранную соль.

Ввоз сырых продуктов вызывался крайней необходимостью в сыром материале для развивающейся обрабатывающей промышленности. Для текстильной промышленности был необходим хлопок-сырец. В начале XIX века привоз хлопка был весьма незначителен. В течение 1808—1812 г.г. он возрос до сотен тысяч пудов. После 1811 г. вплоть до 1822 года ввоз хлопка ежегодно сокращается, и только в 1821—1825 г.г. привоз хлопка составлял 70 т. п. Разрешение свободного беспошлинного ввоза хлопка сразу увеличило ежегодный привоз. В период 1836—1840 г.г. было ввезено 800 т. п. В 1841 г. на хлопок-сырец была наложена пошлина 25 коп. с пуда, но это обложение не

уменьшило ввоза хлопка, который был необходим нарождавшейся хлопчато-бумажной промышленности. В 1846—1850 г.г. ежегодный привоз хлопка возрос до 1.115 т. п. Параллельно увеличения ввоза хлопка-сырца в Россию направлялась в большом количестве бумажная пряжа, спрос на которую постепенно увеличивался, благодаря развитию хлопчато-бумажной промышленности. В начале века привоз бумажной пряжи равнялся только 28 т. п., а в 1806 г. он поднялся до 109 т. п. Благодаря континентальной системе в 1808 г. привоз уменьшается до 36 т. п. После фактической отмены континентальной системы, привоз бумажной пряжи увеличивается, несмотря на то, что по тарифу 1822 г. бумажная пряжа была обложена пошлиной. Привоз бумажной пряжи в период 1821—1825 г.г. в среднем ежегодно равнялся 236 т. п. После 1825 г. привоз непрерывно увеличивается. В течение 1840—1845 г.г. привоз достиг 590 т. п., но уже в пятилетие 1846—1850 г.г. привоз упал до 351 т. пуд, а затем идет постепенное падение привоза, за исключением некоторых пятилетий, дающих увеличение привоза бумажной пряжи. Сокращение привоза вызвано расширением приготовления бумажной пряжи фабричным способом. Спрос на хлопчато-бумажные изделия весьма старинного происхождения. Уже в начале XIX века привоз хлопчато-бумажных изделий достиг 4.958 т. р. асс. а в пятилетие 1826 — 1830 г.г. он увеличился до 12.424 т. р. асс. После некоторого понижения в следующее пятилетие, привоз снова увеличивается. В период 1835—1840 г.г. он достигает суммы 13.989 т. р. асс. Вообще до 40-х годов привоз хлопчато-бумажных изделий весьма значителен, а в годы действия тарифа 1819 г. привоз достиг максимальной суммы 16.161 т. р. Повышение пошлин на изделия по тарифу 1841 г. и рост отечественной хлопчато-бумажной промышленности уменьшил привоз хлопчато-бумажных фабрикатов. В 1841—1845 г.г. ценность привоза равнялась 3.963 т. р., а в следующее пятилетие он упал до 3.882 т. р. кред. Развитие суконной промышленности вызывало потребность в привозе особых сортов шерсти, но в общем ее привоз был незначителен, особенно в сравнении с ее вывозом, достигавшим в период 1846—1850 г.г.—496 т. п. а между тем привоз составлял только 25 т. пудов. В сравнении с началом века произошло некоторое увеличение. Суконная промышленность в первой половине XIX века могла обходиться без привозной шерсти. Да к тому же, высокая пошлина по тарифу 1841 г. должна была в известной степени стеснить привоз шерсти. Точно также был не велик и привоз пряденой шерсти. В период 1846—1850 г.г. он равнялся 43 т. п., тогда как в период 1812—1815 г.г. привоз был совершенно ничтожный—0,4 т. п. Несмотря на относительное развитие суконной и вообще шерстяной промышленности, Россия потребляла значительное количество привозных шерстяных изделий.

Привоз шерстяных изделий сопровождался большими изменениями в ценности привоза, что зависело от колебаний таможенной политики. Привоз шерстяных фабрикатов непрерывно увеличивался до 1822 г., благодаря либеральным тарифам 1816—1819 г.г. Обложение упомянутых фабрикатов пошлиной сократило ввоз. К тому же некоторые шерстяные ткани были запрещены к ввозу. Тариф 1841 г. повышением пошлин еще более сократил привоз, а повышение пошлин

в 1846 г. на сукно и лучшие шерстяные изделия еще значительно сократил ввоз. Падение привоза возмещалось широко развитой контрабандой. В период 1802—1807 г.г. шерстяных изделий было привезено на сумму 5.555 т. р. асс., а в период 1820—1828 г.г. ежегодный привоз достигает 11.138 т. р. асс., а в 1836—1850 г.г. ценность привоза определилась в 2.549 т. р. кред. Шелковая промышленность создавала потребность в шелке-сырье. Последний привозился и по европейской и по азиатской границам. Успехи отечественного шелководства значительно уменьшили количество привозного шелка. Так в период 1846—1850 г.г. ежегодный привоз понизился до 1,2 т. п. Таков привоз по европейской границе. По азиатской границе в тот же промежуток времени привоз с 4,9 т. п., с колебаниями в сторону повышения и понижения, упал до 4,1 т. п.

По обеим границам привоз шелка-сырца в течение полустолетия уменьшился вдвое. Зато увеличился несколько ввоз шелка крученого. В период 1812 — 1815 г.г. привоз шелка достиг 2,6 т. п., а в течение 1846 — 1850 г.г. ежегодный привоз увеличился до 9,6 т. п., несмотря на довольно высокое таможенное обложение. Зато непрерывно увеличивался привоз шелковых изделий всех видов. Если в течение 1802—1807 г.г. ценность привоза достигала только 710 п. р. асс., то в период 1816 — 1820 г.г. она поднялась до 5.729 т. р. асс. В пятилетие 1836 — 1840 г.г. ценность привоза уже поднялась до 12.538 т. р. асс. Тариф 1841 г. обложил шелковые изделия высокой пошлиной, но это не повлияло на ввоз. Последний не обнаруживал тенденций к сокращению, так как русская шелковая фабрикация была не особенно высокого качества и не могла удовлетворить потребности аристократических кругов, бывших по преимуществу потребителями шелковых фабрикатов. Особое покровительство металлургической промышленности и достаточная производительность для внутреннего потребления русских фабрик и заводов не допускала привоза в большом количестве металлических изделий и соответствующего сырья, так как тариф только 1857 г. разрешил ввоз железа и чугуна. Потребности сельского хозяйства вызвали приток разного рода необходимых сельско-хозяйственных орудий. В период 1836 — 1840 г.г. ежегодный привоз достиг 2.270 т. р. ас. В сравнении с пятилетием 1812 — 1815 г.г. ввоз по ценности увеличился вдвое.

Параллельно этому увеличился и привоз разного рода инструментов для ремесел, художеств, фабрик и заводов. В течение тех же промежутков времени привоз с 275 т. р. асс. поднялся до 1.367 т. р. асс. Ежегодный привоз в период 1840 — 1844 г.г. в количестве 373 т. р. кред. в следующее пятилетие поднялся до 506 т. р. кред. Сельское хозяйство и фабрично-заводская промышленность вызывали привоз разного рода машин, так как отечественных заводов было мало, и производительность их в общем была незначительна. Ценность привезенных машин в течение 1816—1817 г.г. определялась в 66 т. р. асс., а ежегодный привоз в пятилетие 1836—1840 г.г. увеличился до 1.752 т. р. асс. В пятилетие 1841—1845 г.г. ежегодный привоз машин в кредитных рублях равнялся 668 т., а в следующее пятилетие увеличился почти в 2 раза, на сумму до 1.681 р. кред. Химические продукты привозились из-за границы. Ежегодный привоз серы в первое пятилетие

достигал 24 т. р. асс. В 1836—1840 г.г. ценность привоза увеличилась до 419 т. р. асс. Равным образом, в период полустолетия увеличился привоз москательных и аптекарских товаров. Ценность привоза первых в период 1802—1807 г.г. определялась в 322 т. р. асс., а в пятилетие 1836 — 1840 г.г. она увеличилась до 2.669 т. р. асс. В те же промежутки ценность привоза аптекарских товаров поднялась с 409 т. р. асс. до 2.125 т. р. асс.

Развитие фабрично-заводской промышленности вызвало прилив разных красильных веществ, как то: крепы, марены, индиго, кошениля, сандала и разного рода иных красок. Ежегодный привоз в 1802—1807 г.г. определялся в сумму 2.418 т. р. асс., а в 1836—1840 г.г. он увеличился до 18.193 т. р. асс. Увеличение произошло почти в 8 раз ввиду слабой производительности и недостаточности количества отечественных химических заводов.

Из других предметов, ввозимых в Россию, необходимо отметить кожаные изделия и мыло. Грубые кожаные изделия производились дома, в России. Более тонкие и изящные поступали из-за границы. Привоз их непрерывно увеличивался. Ценность их привоза в 1815 г. составляла 3,3 т. р. асс., а 1836 — 1840 г.г. ежегодный привоз достиг 334 т. р. асс. С переходом к кредитному рублю ценность привоза в 1846 — 1850 г.г. в среднем равнялась 218 т. р. кред. Несмотря на довольно значительное развитие мыловаренного производства, привоз мыла был довольно велик. Большею частью привозились дорогие сорта мыла. В 1812 — 1810 г.г. привоз в среднем составлял 23,4 т. р. асс., а в 1836—1840 г.г. он увеличился до 187,2 т. р. асс., и это несмотря на высокие пошлины, принятые тарифом 1822 г. Таковы главные статьи заграничного привоза. Остальные статьи по своей ценности пока имели второстепенное значение в составе привоза.

Русская внешняя торговля развивалась под флагом запретительных или покровительственных тарифов. Благодаря этому торговый баланс был в пользу России, если не считать времени континентальной системы. Одним из последствий благоприятного торгового баланса был прилив в страну драгоценных металлов, в которых так нуждалась страна для поднятия курса падавшего ассигнационного рубля. Особенно был значителен приток золота в сороковых годах, когда увеличился вывоз русского хлеба за границу, главным образом, в Англию.

Подводя итоги русской внешней торговли за половину XIX века, можно констатировать увеличение оборотов по внешней торговле почти в $2^1/_2$ раза. В 1800 г. обороты по внешней торговле равнялись 107 милл. руб. в валюте до-военного времени, а в 1850 г. они поднялись до 284 милл. руб. В сравнении с торговыми оборотами других стран, обороты России были ничтожны. Обороты всемирного рынка в 1800 г. определялись в 2.859 милл. руб., а в 1850 г. в 28.707 милл. руб.

Первое место на всемирном рынке занимала Англия. На ее долю приходилось в начале века 22,3% и в средине столетия 20,3% всего международного товарообмена. На долю России всего приходилось 3,6% всех оборотов по внешней торговле. На всемирном рынке Россия занимала лишь шестое место. Места выше ее занимали Германия, Франция, Соединенные Штаты, Голландия и Бельгия. Россия в первой половине XIX века была связана крепкими нитями с Западной

Европой и ее рынками. Ни одна из держав не могла обойтись без России, так как была заинтересована либо в вывозе из нее, либо в ввозе в Россию тех или иных продуктов. Но более всех была заинтересована Англия. Она фактически занимала первое место. Последнее она уже заняла в начале века. Она же сохранила первенство и в половине столетия. Второе место занимала Германия, третье—Франция, Соединенные штаты занимали лишь десятое место на русском рынке. Общий торговый оборот по торговле Англии с Россией определялся в 96,5 милл. руб. при резком преобладании вывоза над ввозом. Обороты Германии достигали всего лишь 32,8 милл. руб. при доминировании привоза над ввозом. Французские обороты не превышали 28,3 милл. руб., а Соединенные Штаты делали обороты с Россией всего лишь на сумму 8,9 милл. р., причем американский привоз значительно преобладал над русским вывозом (6,3 и 2,6 милл. р.). Связанная неразрывными узами с хозяйственными условиями З. Европы Россия должна будет испытывать на себе все колебания и изменения в развитии народно-хозяйственной жизни последней. Самое народное хозяйство во второй половине XIX века будет развиваться под непосредственным влиянием и давлением более развитой в экономическом отношении Западно-Европейской жизни.

2. Внутренняя торговля.

Районы торговли. Условия развития внутренней торговли. Купечество и свобода внутренней торговли. Посредники. Ярмарки.—Финансы.—Банковый кредит.

Рост оборотов по внешней торговле, а также индустриализация России весьма существенно отразились на внутренней торговле. Последняя должна была оживиться, стать интенсивнее в виду увеличившегося спроса на сельско-хозяйственное сырье, а также благодаря возникновению в промышленном районе потребительского рынка большой емкости. Присоединение к России больших территорий, как то: Польши, Финляндии и Кавказа, было также одним из факторов, оживлявших внутренний рынок вследствие спроса на русское сырье и русские фабрикаты в названных выше территориях. Благодаря присоединению новых территорий и естественному приросту, население в половине века увеличилось вдвое в сравнении с началом века.

Все это были, конечно, факторы положительные, но параллельно последним продолжали оказывать весьма существенное влияние и условия отрицательные, которые в значительной степени мешали развитию внутреннего товаро-обмена и проникновению капитала в крепостную деревню. Территория России была громадной площадью, в общем мало заселенной: местности нечерноземной полосы оказывались более населенными в сравнении с южным, восточным и юго-восточным черноземом, благодаря чему богатства последнего не могли быть продуктивно использованы и выпущены на внутренний, а потом на внешний рынок. Затем крепостное право было фактором, весьма тормозившим развитие внутреннего рынка. Деревня сама почти ничего не покупала. Ее строй оставался натурально-хозяйственным. Она не получала городских продуктов и довольствовалась предметами соб-

ственного производства. Но в то же время и деревня медленно втягивалась в круг внутреннего товаро-обмена, принужденная и покупать на рынке и продавать свой товар для обмена на деньги, для уплаты оброков и повинностей.

Верхние слои деревни, поземельное дворянство, благодаря радикальным переменам в быту дворянства, были постоянными потребителями на внутреннем рынке. Дворянин второй части XIX века уже не довольствовался изделиями домашней промышленности, продуктами домашнего приготовления. Дворянин покупал продукты иностранного и отечественного производства. Для этого ему были нужны деньги, что достигалось или увеличением оброка или усилением барщины в целях увеличения производительности и доходности имения. С другой стороны, и деревня стала поставщицей разного сырья и покупщицей разных сельско-хозяйственных орудий, проникавших и в крестьянскую среду. Благодаря делению России на две полосы: нечерноземную и черноземную, между последними установился правильный обмен продуктами.

Нечерноземный район стал внутренним рынком большей емкости для южной сельско-хозяйственной производительности. Промышленный район покупал хлеб и скот. Черноземный юг потреблял промышленные изделия северной и центральной полос России. Однако, естественный обмен между севером и югом предметами своего производства сильно тормозился огромными расстояниями и отсутствием хороших дорог. Железнодорожное строительство пока еще только начиналось. Постройка Варшаво-Венской ж. д. (1848 г.) и открытие пассажирского движения между Петербургом и Москвой (1851 г.) не отвечали пока хозяйственным целям. Сухопутные дороги, за исключением шоссейных дорог северо-западного и юго-западного края, находились в ужасном состоянии, становясь непроезжими весной и осенью. Да и в смысле безопасности они заставляли желать много лучшего. Благодаря отсутствию дорог, многие из местностей черноземной полосы (Поволжье, Приуральский край, Новороссия) совсем не были втянуты в орбиту внешней торговли. Правда, правительство обратило внимание на водные пути и решило их использовать. С этой целью составлялись проекты соединения каналами З. Двины и Днепра, и производились соответствующие исследования. Один из проектов соединения З. Двины с Днепром, т. н. Огинский канал, был задуман еще при Павле I. Затем был построен Днепро-Бугский канал, соединяющий Днепр и З. Буг, Тихвинский, между Мологой и Ладожским озером. Кроме того, каналом герцога Виртембергского Волга была соединена с Северной Двиной. Открытие по Волге правильного пассажирского и товарного движения (1843 г.) оживило торговое движение по Волге, дало возможность отправлять с меньшими затратами разного рода продукты на Урал, Сибирь, а также вниз по Волге, в Каспийское море и далее в среднюю Азию. Впрочем, зарождавшееся пароходство пока не оказало существенного влияния на развитие внутреннего товаро-обмена.

Развивавшаяся внутренняя торговля требовала полной свободы, предоставления всем и каждому заниматься торговлей. Между тем, при отсутствии внутренних преград, внешняя торговля составляла

монополию купеческого сословия, зорко следившего, чтобы на рынках не появлялось нежелательных для них торговых конкурентов. Уже в XVII в. московское купечество подняло вопрос о борьбе с незаконной торговлей. В начале XIX века им снова был поднят тот же вопрос, дабы не записанные и не имеющие права на торговлю не производили торговлю, ездя по улицам, всякими товарами. Однако, организация контроля не достигала своих целей. Торговцы из крестьян наполняли Москву и производили торговлю в развоз. Московское купечество также настаивало на запрещении производства торговли иностранным и иногородным купцам, если последние не внесут соответствующих повинностей, ибо от этого страдают и интересы государства, а также мещанства и купечества. Впрочем, указание на уменьшение государственных доходов совершенно лишнее. Опекуны доходов казны опекали сами себя, стремились держать рынок исключительно в своих руках. 8 октября 1810 г. Московское Купеческое Общество нашло возможным даже обратиться с ходатайством в Управу Благочиния, дабы побудить всех торгующих в Москве иногородных и иностранных купцов явиться в надлежащие места за получением видов на право торговли, до тех пор воспретить им производство какой бы то ни было торговли.

Равным образом, московское купечество опасалось и конкуренции со стороны евреев, которые, приезжая будто бы за покупкой товаров, продают иностранные товары иногородным купцам и торговым крестьянам, минуя московское купечество, что конечно служит „к явному сих последних подрыву торговли“ (1822 г.) Московский военный генерал-губернатор стал на сторону московских купцов и сделал соответствующее представление министру внутренних дел, и еврейский комитет в заседании 7 ноября 1826 г. всецело стал на сторону предложения и московского купечества, и генерал-губернатора. Административные меры значительно сократили еврейскую торговлю в столицах. Московско-купеческий антисемитизм всецело хозяйственного происхождения. Захватом внутренней торговли первостатейным купечеством выдвигался на очередь вопрос о раскрепощении внутреннего рынка от купеческого засилия.

С этою целью были понижены третье-гильдейские повинности по уездным городам. Мещане попрежнему сохранили за собой право производства торгов молочными товарами без всякого свидетельства. Дворянству было разрешено записываться во вторую и третью гильдию, разумеется с уплатой пошлин. Но купцы добились запрещения торговли иностранцам без записи в гильдии (1826 г.). Все эти правительственные распоряжения, однако, мало изменили состав торгового класса. Дворянство записывалось в гильдии очень редко, торговля внутри государства требовала капиталов, и притом больших. Вся торговля фактически оставалась в руках первостатейного купечества, и притом весьма далекого от населения, и не заинтересованного в оживлении и удешевлении внутреннего товаро-обмена. Товары попадали в распоряжение населения через посредников, получавших за это изрядную прибыль, что, естественно, влекло за собой вздорожание товаров.

В XVIII веке купцы всех трех гильдий вносили в казну 1% с об'явленного капитала, и это давало им право заниматься торговлей. В 1825 г. гильдейская подать вместо процентного сбора с капитала была превращена в постоянный оклад, взимаемый за право торговли. Развивавшийся внешний и внутренний товарообмен побуждал многих лиц записываться в купечество и приобретать право на торговлю уплатой гильдейской подати. Сборы, поступавшие в казну, отчасти могут служить показателем все увеличившегося товарообмена. Гильдейские сборы в 1812 г. достигали 1.346 т. р., а в период 1813—1820 г.г. они в среднем поднялись до 3.161 т. р. Но в течение 1820 — 1830 г.г. они упали до 2.680 т. р. Десятилетие 1831—1840 г.г. вызвало новое сокращение, правда, незначительное. Гильдейские сборы составляли в общем только 2.637 т. р., но в следующее десятилетие они поднялись до 3.437 т. р. Если даже руководствоваться этими данными, то следует признать значительное увеличение оборотов во внутренней торговле. В сравнении с 1812 г. они в половине столетия увеличились почти в $2^1/_2$ раза. Увеличение гильдейских сборов к концу первой половины столетия—факт чрезвычайно показательный, в особенности если принять во внимание два десятилетия 1821—1820 г.г., когда уменьшение гильдейских сборов было довольно резкое, что, в свою очередь, указывало на какое-то неустройство внутреннего рынка, на сокращение его емкости. И только в последнее десятилетие внутренний рынок стал устойчивым. Это и вызвало увеличение, и притом довольно значительное, гильдейских поступлений.

Внутренняя торговля, благодаря вышеуказанным причинам, не могла развиваться планомерно. Они не ставили производителей и потребителей товаров в прямую связь с рынком, но отдавали население в руки жадных посредников, оставлявших в своем кармане значительную сумму денег, постоянно увеличивающуюся, что позволило впоследствии многим посредникам вложить свои капиталы в промышленность и значительно изменить и форму получения прибыли и способы дальнейшего накопления капиталов. Для внутренней торговли большое значение имели прасольство и офенство. Прасолы ездили по селам и деревням, скупали товары непосредственоо от производителей, чтобы потом направлять определенные товары в промышленные пункты. Офени ездили также по деревням, но с товарами, предлагая их населению, и при отсутствии дорог офени были незаменимыми для деревни посредниками в торговле, дававшим возможность ей покупать необходимые товары.

Те же условия создали потребность в широко развитой ярмарочной торговле, когда на целый год скупались товары и потом развозились для продажи по разным уголкам. В каждой местности, можно сказать, в каждой деревне были свои ярмарки. Они одинаково были распространены и в Великороссии, и в Белоруссии и на Украине.

В последних двух организация ярмарочной торговли—старинного происхождения. Она восходит к глубокой старине XIV века. Точно также и ярмарочная торговля России была давнего происхождения. Ярмарки устанавливались обыкновенно в праздничные дни, когда происходило большое скопление народа. Обыкновенно, это бывало в дни храмовых праздников. Кроме местных ярмарок были ярмарки, имеющие всерос-

сийское значение. Такими были Нижегородская и Ирбитская ярмарки для Великороссии и Сибири, Троицкая, Успенская, Покровская и Крещенская, Маргаритинская в Архангельске. Нижегородская ярмарка в первой половине XIX в. имела огромное значение для народно-хозяйственной жизни России. Торговые обороты по продаже товаров постепенно увеличивались. Привоз товара также непрерывно увеличивался. В десятилетие 1840 — 1850 в среднем было привезено товаров на 52.712 т. р., а продано на 44.504 т. р. Рост ярмарочных оборотов служил мерилом структуры народно-хозяйственной жизни, указывая на ее отсталость и в то же время совершенно отчетливо говоря о вовлечении всей Великороссии в сферу оживленного товарообмена, производимого пока в одном месте, откуда те же товары расходились по всей стране. Для Приволжья и Сибири имела огромное экономическое значение Ирбитская ярмарка, возникшая еще в 1643 г. На ярмарку привозились русские и европейские фабричные изделия: хлопчато-бумажные изделия, суконные, шерстяные, льняные и пеньковые ткани, кожаные изделия, шелковые ткани, галантерейный товар, химические продукты. Эти товары предназначались для Сибири. Последняя поставляла на ярмарку всякого рода пушнину, а также сырые кожи. Обороты ее непрерывно увеличивались. В десятилетие 1841—1850 г.г. было привезено товаров на 23.300 т. р., а продано на 18.100 т. руб. По сделкам на пушнину Ирбитская ярмарка имела в первой половине XIX века уже мировое значение, так как купленная пушнина в своей большей части отправлялась за границу, где обрабатывалась, а потом уже в обработанном виде предлагалась русскому и европейскому потребителю. Четыре Харьковских ярмарки имели большое значение для юга: Слободской Украины, Новороссии, Левобережной и Правобережной Украины. Главными ярмарками были Крещенская и Успенская. На эти ярмарки приезжали купцы из Москвы, а также из Подольской и Волынской губерний. Торговля производилась оптом. На ярмарках предлагались: разные иностранные товары, медь, железо, чугун, хрустальная и стеклянная посуда, рыба, икра, соль, кожи, овчины, мягкая рухлядь, овечья шерсть, сермяжное сукно, шерстяные ковры, воск, мед, вино, французская водка, деревянная утварь, холст, конопляное масло, деготь, лошади, рогатый и мелкий скот. На Троицкую и Покровскую ярмарки привозились русские изделия, отчасти иностранные. Кроме того, торговали и скотом. После введения таможенного тарифа 1822 г. ярмарки стали центром для сбыта товаров, производимых в промышленных округах: Московской, Владимирской и Костромской губерний. Иностранные товары потеряли свое доминирующее значение. Их вытесняет русское фабричное производство.

Обороты харьковских ярмарок представляются в следующем виде:

Привоз товаров.

Ярмарки:	1844.	1850.
Крещенская . . .	11.163.315 р.	12.191.910 р.
Троицкая	768.986 »	1.601.364 »
Успенская	6.039.305 »	5.370.785 »
Покровская	2.130.312 »	3.292.289 »

Продажа товаров.

Ярмарки:	1844.	1850.
Крещенская	5.785.620 р.	7.527.684 р.
Троицкая.	754.751 »	1.594.425 »
Успенская	201.600 »	1.976.613 »
Покровская	984.984 »	1.581.020 »

Для всего юго-западного края имела большое значение так называемая Контрактовая ярмарка в Киеве, в феврале месяце. Сюда с'езжались помещики и промышленники со всего юго-западного края и совершались сделки на товары по образцам и записям с обязательством представить их к определенному сроку. Сахар, хлеб, спирт, шерсть, соль, лесной материал составляли главные предметы ярмарочных сделок. Ярмарочные с'езды бывали очень большими, что не всегда говорило о значительности торговых сделок, так как ярмарочное время было временем с'езда промышленной и земледельческой аристократии для разного рода городских развлечений. На севере крупных ярмарок нет. На местных ярмарках торговали мануфактурой и галантереей и другим товаром, рыбой и местами дичью, отчасти пушниной, но преимущественно оленьими шкурами. Местная постоянная торговля производилась в лавках, предлагавших покупателям товары, закупаемые оптом на ярмарках или поступавшие непосредственно с фабрики. Постоянным продуктом продажи был хлеб, приобретавший огромное значение в промышленном районе, где без привозного хлеба уже обойтись были не в состоянии.

VI. Статистические данные, характеризующие социально-экономическую эволюцию России в крепостническую эпоху.

1. Население России по 1, 3, 5, 7 и 9 ревизиям.

(Из I-ой ч. „Очерков по истории русской культуры“ П. Н. Милюкова, стр. 24, 25 и 27).

1724 г.	13 милл. обоего пола	13 мил.
1762 „	19 „ „ „	19 „
1796 „	27 + 7 „ „	36 „
1815 „	$30^1/_2 + 14^1/_2$ „ „	45 „
1851 „	39 + 28 „ „	67 „

Примечание 1. Во время Петра и его ближайших преемников русское население составляло от $^1/_{10}$ до $^1/_8$ части всего населения Европы (насчитывавшей в средине XVIII -в. около 130 милл. жителей). В начале века эта пропорция стала уже вдвое выгоднее для России. Считая в России в 1801 г. от 36 до 40 миллионов населения, а в Европе от 170 до 175 милл., мы

получим на долю России от 1/5 до 1/4 всего европейского населения"...

Примечание 2. В приведенной таблице общий итог русского населения, начиная с 1796 г., разделен на два слагаемых. Первое слагаемое обозначает возростание населения России в тех пределах, какие имела Россия при Петре. Второе слагаемое означает население областей, присоединенных или заселенных после Петра. В цифре 7 милл., присоединенной к итогу 1796 г., включено население местностей, приобретенных по трем польским разделам, а также население Новороссии. Такая же цифра присоединилась к населению империи при Александре I (Царство Польское, Финляндия и Бессарабия) и при Николае I.

Примечание 3. Абсолютная цифра населения сама по себе говорит очень мало. Чтобы дать этой цифре серьезное значение, надо найти ее отношение к занятой населением площади. Другими словами, надо определить плотность или густоту населения. Заселенная часть площади петровской России занимала около трех милл. квадр. верст (а вместе с Сибирью около 14 милл. кв. верст). Разделив на эту цифру количество петровского населения, мы получим вывод, что при Петре в европейской России жило средним числом всего по 3,7 человека на кв. километр (4,3 на кв. версту), т. е. примерно столько, сколько в конце XIX в. жило в Архангельской или Вологодской губ.

Примечание 4. Разбив территорию Петровской России на районы, П. Н. Милюков получил след. таблицу их населенности в конце царствования Петра и в начале царствования Александра III (Стр. 31).

Петровские губернии:	1724 г. жителей на квадратную версту.	1858 г.
Центр (Московская губ.)	29,4	39,4
Юго-Запад (Киевская губ)	11,2	40,8
Запад (Смоленская губ.)	7,6	26,0
Северо-Запад (Ингерманландская губ.)	5,2	14,7
Юг (Азовская губ.)	3,9	32,1
Юго-Восток (Казанская губ.)	2,6	19,8
Восток (Сибирская губ.)	1,9	8,0
Север (Архангельская губ.)	0,7	1,7

II. Рост городского населения.

(Из 1-ой ч. «Очерков по истории русской культуры» П. Н. Милюкова, стр. 82).

Годы:	% отношение ко всему населению.	Абсолютное количество.
1724	3	328,000
1796	4,1	1,301,000
1812	4,4	1,653,000
1835	5,8	3,025,000
1851	7,8	3,482,000

III. Население земного шара в I-й половине XIX в.

(Из книги С. О. Гулишамбарова: «Всемирная торговля в XIX в. и участие в ней России». СПБ. 1898 г. Стр. 21).

	1810 г.	1828 г.	1845 г.
Европа	180 милл. душ.	214	245
Азия	380 „ „	481	620
Африка	99 „ „	109	90
Америка	21 „ „	40	50
Австралия	2 „ „	3	4

IV. Количество казенных и крепостных крестьян по 3, 8 и 9 ревизиям.

(Из книг В. И. Семевского: „Крестьяне в царствование Екатерины II“, и В. И. Пичета: „История народного хозяйства в России XIX—XX в.в.“).

По 3-й ревизии (1763—66 гг.) числилось всего крестьян в Великороссии и Сибири 7,153,890 душ мужского пола, в том числе:

Государственных крестьян	1,815,051 д. м. п.	или 25,4%
Экономических	931,761 „ „ „ „	13,8
Крестьян дворц. ведомства	494,358 „ „ „ „	6,9
Посессионных	47,647 „ „ „ „	0,7
Крепостных	3,805,073 „ „ „ „	53,2

	По 8-й ревизии. (1825 г.).	По 9-й ревизии. (1851 г.).
Государственных крестьян было	42,06%	44,66%
Удельных	3,54	3,97
Фабрично-заводских крестьян и общественных учреждений	2,4	2,07
Крепостных помещичьих	51,84	49,3

Примечание. Всего, таким образом, было казенных крестьян по 8-й ревизии 45,6%, по 9-й — 48,63%; крепостных по 8-й ревизии—54,4%, по 9-й—51,37. Данные этих ревизий указывают на преобладание крепостных в составе сельского населения и в то же время отмечают внутренний процесс, совершавшийся в среде крепостного крестьянства и приводивший к уменьшению его численности.

V. Движение количества крепостных м. п. по 5—10 ревизиям.

(Из книги И. И. Игнатович: „Помещичьи крестьяне накануне освобождения“. М. 1910, Стр. 287).

По 5 ревизии	(1794—96 гг.) в Евр. Рос., Сиб. и Остз. крае было	9,889,680 д. м. п.
„ 6 „	(1811 г.)	10,416,813 „ „ „

По 8 ревизии (1835 г.) (освобождены в Остз. крае 416,013 д.)	10,872,229	д. м. п.
„ 9 „ (1851 г.)	10,708,856	„ „ „
„ 10 „ (1858 г.)	10,699,136	„ „ „

VI. Движение количества разных категорий крепостных крестьян мужского и женского пола по 8, 9 и 10 ревизиям.

(Из брошюры А. Тройницкого: „Крепостное население России по 10-й народной переписи". СПБ. 1861 г. Стр. 54).

	По 8-й ревизии 1836 г.	По 9-й ревизии 1851 г.	По 10-й ревизии 1858 г.
Помещичьих { на общем праве	22,077,623	21,612,153	21,625,609
Помещичьих { на условном [1])	228,375	233,609	354,324
Итого	22,305,998	21,845,762	21,979,933
Разных ведомств	376,521	86,933	40,554
Заводских и фабричных	95,571	435,021	542,599
Итого	22,778,090	22,367,716	22,563,086

Примечание 1. В 1858 г. в России на 100 мужчин приходилось около 101 женщины, тогда как в отношении крепостных на 100 мужч.—105,16 женщ.

Примечание 2. За 22 года (от 8-й до 10-й ревизии) количество крепостных уменьшилось на 250,000 душ обоего пола или на 1,1 процента; общее же количество населения страны, напротив, возросло с 53,600,000 до 62,600,000 душ обоего пола (без Сибири, где было по 10-й ревизии 4,239,534 д.), т. е. увеличилось на 9 милл. или на $16^{8}/_{10}$ процента (В этот подсчет не вошли Царство Польское, Финляндия, регулярные войска и киргизы Оренбургского ведомства).

Примечание 3. Цифра заводских и фабричных крестьян по 8-й ревизии возбуждает большие сомнения. По сведениям акад. Кеппена, число их должно простираться, по 8-й ревизии, до 406,494 д.

Примечание 4. %-ное отношение крепостных крестьян и дворовых в период 8—10-й ревизий было таково:

	8 ревизия.	9 ревизия.	10 ревизия.
Крестьяне	95,86%	95,21%	93,21%
Дворовые	4,14%	4,79%	6,79%

(См. „Помещичьи крестьяне накануне освобождения", И. Игнатович, стр. 211).

[1]) Под крестьянами на условном праве разумелись некоторые категории крестьян бывших Королевства Польского и Великого Княжества Литовского (владельческие, ординацкие, поиезуитские, ленные и т. д.), а также обязанные крестьяне.

VII. Рост количества дворовых перед волей.

(Из книг: Н. П. Огановского: „Наделение землей помещичьих крестьян“ М. 1913, А. Тройницкого: „Крепостное население“, Спб., 1861, и А. Лосицкого: „Хозяйственное отношение накануне падения крепостного права“, в № 11 „Образования“ за 1911 г.).

А. Движение общего числа дворовых перед волей.

Годы.	Число дворовых.
1836 г.	914,529
1851 „	1,035,924
1858 „	1,467,378

Б. Процент общего числа дворовых к крепостному населению:

Районы:	По 8-й ревизии.	По 10-й ревизии.
Северный	3,3	3,8
Северо-Западный	6,9	5,6
Московско-Промышленный	7,1	5,2
Центрально-Земледельческий	8,1	11,8
Средне-Волжский	4,6	5,7
Северо-Восточный	4,7	4,8

В. На 100 душ дворовых 9-ой ревизии прибыло:

Губернии:	%
Херсонская	328
Черниговская	319
Екатеринославская	267
Харьковская	230
Полтавская	220
Воронежская	58
Курская	56
Пензенская	40
Орловская	30

Г. Всего дворовые в отношении крестьян составляли: по 8-й ревизии—4,14%, по 9-й—4,79%, по 10-й—6,79%. Но в Новорос., Малорос. и центр. черноземных губерниях этот процент значительно выше, напр., в губерниях:

Херсонской	24%	Воронежской	15%
Курской	24%	Полтавской	14%
Харьковской	24%	Орловской	14%
Екатеринославской	21%	Тамбовской	12%
Таврической	15%	Черниговской	11%

Примечание 1. За годы 1836—58 количество дворовых увеличилось на 60% с лишним.

Примечание 2. В промышленных районах число дворовых сокращалось, в земледельческих росло.

Примечание 3. Дворовых в земледельческих районах использовывали, гл. образом, на барской запашке и, они являлись, по свидетельству Кошелева, настоящими «месячниками».

VIII. Распределение крепостных между разными категориями помещиков по 8-й и 10-й ревизиям.

(Из книг: И. И. Игнатович: „Помещичьи крестьяне накануне освобождения". М. 1910, стр. 62. и В. И. Пичета: „История народного хозяйства России XIX—XX вв.". М. 1922, стр. 103).

По 8-й ревизии:

Категории помещиков.	Количество владельцев.	% их.	У них крепостных.	% их.	На одного владельца крепостных.
1. Беспоместные	17,763	14,0	62,183	0,6	3
2. Имеющие до 20 душ . . .	58,475	45,9	450,037	4,1	8
3. Имеющие от 21 до 100 д.	30,417	24,0	1,500,357	13,9	49
4. „ „ 101 „ 500 „	16,740	13,2	3,634,194	33,9	217
5. „ „ 501 „ 1000 „	2,273	1,8	1,562,831	14,5	688
6. Имеющие более 1000 д. . .	1,453	1,1	3,556,959	33,0	2,448

По 10-й ревизии:

1. Беспоместные	3,633	3,5	12,045	0,1	3
2. Имеющие до 20 душ . . .	41,016	39,5	327,534	3,1	8
3. Имеющие от 21 до 100 д.	35,498	34,2	1,666,073	15,8	47
4. „ „ 101 „ 500 „	19,930	19,2	3,925,102	37,1	197
5. „ „ 501 „ 1000 „	2,421	2,3	1,569,888	14,9	648
6. Имеющие более 1000 д. . .	1,382	1,3	3,050,540	29,0	2207

Примечание 1. На сокращение количества беспоместных и мелкопоместных дворян могли повлиять меры, предпринятые правительством к предоставлению им земель в многоземельных губерниях (см. И. И. Игнатович, стр. 62—63). Что же касается сокращения числа крепостных у беспоместных дворян, то оно, повидимому, вызвано запрещением в 1841 г. таким дворянам приобретать крестьян, а также и продавать последних без земли (см. А. Тройницкий «Крепостное население России по 10-й переписи» стр. 67).

Примечание 2. Как видим, за 20 лет часть крепостных у мелкопоместных и крупных землевладельцев перешла к средним, среднее землевладение оказывалось наиболее жизнеспособным.

Примечание 3. По данным 8-й ревизии в дворянстве преобладали беспоместные или дворянская мелкота, составляя 59,9% всего дворянства, но владея лишь 4,7% крепостных. Среднепоместная масса составляла 24% и в ее руках находилось 13,9% всех крепостных. Остальные помещики, владевшие крестьянами

свыше 100 душ, составляли 15,1% и имели в своем распоряжении 81,4% крепостных, причем на долю крупных землевладельцев, владевших крестьянами свыше 500 душ, приходилось 39,1% крепостных. Таким образом, при преобладающем численно дворянском пролетариате, Россия 8-й ревизии была страной по преимуществу крупного рабовладения. В пользовании 29% дворян было до 47,5% всех крепостных. Данные 10-й ревизии вносят в эту картину лишь незначительные изменения. Уменьшается беспоместное и мелкопоместное дворянство с 59,9% до 43 и в то же время в их руках остается лишь 3,2% крепостных вместо 4,7%. Значит, около 16% этих дворян вынуждены были ликвидировать свои имения. Среднепоместное дворянство значительно увеличивается в количественном отношении с 24% до 34%, но % крепостного крестьянства возрастает у него лишь на 1,9%, что показывает на раздробление средне-дворянского землевладения. Крупно-поместное дворянство также увеличилось с 2,9% до 3,6%, причем количество крепостных у него стало меньше—вместо 47,5% только 43,9%. Это последнее свидетельствует о начавшемся процессе распыления крупной поземельной дворянской собственности феодального типа, но все же и накануне реформы 61 г. эта собственность имела еще преобладающее значение.

Примечание 4. Для конца XVIII в. имеются след. данные относительно экономического расслоения в землевладельческом дворянстве (В. И. Пичета: «История народного хоз. в России в XIX—XX в.в.», стр. 35):

Владельцы, имевшие			до	10	душ	составляли	32,0%
„	„	от	10 „	30	„	„	30,7%
„	„	„	30 „	60	„	„	13,4%
„	„	„	60 „	100	„	„	7,7%
„	„	„	100 и более		душ	„	16,2%

IX. %-ное отношение числа оброчных и барщинных крестьян в 40 губерниях Евр. России и Области Войска Донского накануне воли.

(Из книги И. И. Игнатович: „Помещичьи крестьяне накануне освобождения“. Изд. 2. М. 1910 г., стр. 53).

Губернии.	% оброчных.	% барщинных.
Великороссийские:		
а) Астраханская	87,0	13
б) нечерноземные	58,9	41,1
в) черноземные	28,8	71,2
г) поволжские	26,7	73,3
д) вост.-степные	17,0	83,0
е) сев.-приуральские	9,8	90,2
Северо-западные	7,6	92,4
Земля В. Донского	2,8	97,2

Губернии.	% оброчных.	% барщинных.
Малороссия:		
а) правобережная	2,6	97,4
б) левобережная	0,7	99,3
Новоросс.-степные	0,1	99,9
Итого	28,1	71,9

Примечание:

	XVIII век.		XIX век.			
	% оброчных крестьян.	% барщинных крестьян.	В имениях более 100 душ. % обр.	% барщ.	В имениях менее 100 душ % обр.	% барщ.
В 12 нечерноземных губерниях	55	45	69,47	30,33	58,9	41,1
В 7 черноземных губерниях	46,3	53,7	53,83	46,17	47,6	52,4

(См. В. И. Семевский: «Крестьяне в царств. Ек. II». Т. I, и И. И. Игнатович: Op. cit., стр. 49).

X. Географическое распределение крупного землевладения накануне реформы 61 г.

(Из „Истории народн. хоз. в России XIX—XX вв.“, В. И. Пичета, стр. 103—104).

Районы	%-ное отношение крупного землевладения:
Северо-вост. горнозаводский	80%
Подольск., Волын. и Киев. губ.	64,84
Среднее Поволжье	53,5
Литов. и Белорус. губ.	48,6
Центр.-землед. полоса	43,9
Левобереж. Украина	43,0
Моск.-промышл. район	40,7
Северо-запад. губ.	28,1
Черноземные губ. и Новороссия	23,5
Северные губернии	23,0

XI. Преобладание на юге России в крепостную эпоху крупного землевладения.

(Из „Военно-статистич. Сборника“, стр. 188).

В среднем на одного помещика приходилось десятин в губерниях:

Таврической	3,563	Харьковской	429
Ставропольской	1,386	Орловской	298
Херсонской	1,255	Тульской	248
Екатеринославской	1,114	Рязанской	191
Полтавской	814	Курской	171

XII. % отнятой помещиками у крепостных крестьян земли за последние 60 лет крепостного права.

(Из брошюр Н. П. Огановского: „Наделение землею помещичьих крестьян". М. 1913 г., стр. 31 и 33, и „Откуда пошла крестьянская земельная нужда", стр. 32 и 33).

		Земли у помещиков.	Земли у крестьян.
В 8 губерниях нечерноземных	в конце XVIII в. (пашня)	14%	86%
	в половине XIX в. (без леса) . . .	25	75
В 6 губерниях черноземных	в конце XVIII в. .	18	72
	в половине XIX в.	49	51

Примечание 1. В итоге всех этих отрезок крестьянское землепользование убывало с каждым новым десятилетием все сильнее, и крестьяне, хозяйничавшие при московских царях безвозбранно почти на всей помещичьей земле, — перед волей сохранили за собой только третью часть этой земли: из 105,201 тысячи десятин помещичьих владений в конце 1850-х годов в пользовании помещиков оказалось 69,304 тысячи, в пользовании крестьян только 35,697 тысяч.

Примечание 2. Чем плодороднее была земля, чем гуще население, тем сильнее возвышалась ценность земли, и тем больше помещики отрезали ее у крестьян.

Примечание 3. Помещики старались отрезать себе лучшие земли. Перед волей особенно распространился перевод крестьян на юге с ровного чернозема на пески, бугры и овраги. Во Владимирской губ. предводитель дворянства Кошанский переселил крестьян на другое место, а затем за ослушание сослал всю деревню в Сибирь, разобрав их избы и засеяв место под деревней хлебом.

XIII. Средняя величина наделов (считая всю удобную и неудобную землю) крепостных крестьян в 1858 г.

(„Из брошюры Н. П. Огановского; „Наделение землею помещичьих крестьян" М. 1913 г., стр. 37—38").

1) В нечерноземной полосе:

а) Север и северо-восток	5,5	десятин	на	ревиз	душу.
б) Промышл. области	4,3	»	»	»	»
в) Литва и Белоруссия	3,9	»	»	»	»
В среднем:	4,3	»	»	»	»

2) В черноземной полосе:

а) Новороссия и юго-восток (степи) . .	4,3	десятин на ревиз душу.
б) Среднее Поволжье	3,9	» » » »
в) Средне-черноземные	3,1	» » » »
г) Малороссия	2,6	» » » »
В среднем:	3,2	» » » »

Примечание. В конце XVIII в. у оброчников было до 13½ десятин на душу, а барщинников в нечерноземной полосе 8, а в черноземной 7 десятин (См. В. И. Семевский: «Крестьяне в царств. Ек. II». Т. I, стр. 34—36).

XIV. Величина оброка крепостных крестьян.

(Из брошюры Н. П. Огановского: „Наделение землей помещичьих крестьян", стр. 21—22).

В начале XVIII в. оброк доходил от 40 к. до	1	р.	с ревизской души				
В середине XVIII в.	»	»	»	»	2	»	»
В конце XVIII в.	»	»	»	»	5	»	»
В половине XIX в.	»	»	»	»	20 и 24	р.	»

Примечание. За это время четверть ржи, стоившая в 1760-х годах 1 р. 26 к., в 1790-х годах поднялась до 3 р. 82 к., а в течение первой половины XIX в. до 6 р.

Таким образом рост оброка значительно обогнал рост цен на хлеб. К этому надо прибавить, что помимо оброка, оброчные крестьяне несли также и ряд натуральных повинностей. (См. И. И. Игнатович: «Помещичьи крестьяне накануне освобождения». М. 1910 г. гл. III).

XV. Преобладание помещичьей земли над крестьянской накануне воли.

(Из вып. IV «Военно-Статист. Сборника» и книги И. И. Игнатович: «Помещичьи крестьяне накануне освобождения», стр. 66).

Губернии:	% всей удобной земли без леса у крестьян	у помещиков.
Таврическая	9,10%	90,90%
Херсонская	13,40	86,60
Екатеринославская	18,43	81,57
Полтавская	31,37	68,63
Харьковская	31,82	68,18
Воронежская	46,05	53,95
Орловская	46,67	53,33
Тамбовская	47,20	52,80
Тульская	52,00	48,00
Рязанская	52,60	47,40

Примечание. Чем плодороднее была губерния, тем меньшее количество земли находилось в пользовании крестьян.

XVI. Ценность населенных и ненаселенных имений.

(Из статьи А. Лосицкого: «Хозяйств. отношения накануне падения крепостного права», в № 11 «Образования» за 1906 г.).

А. Губернии:	%	Б. Губернии:	%
Смоленская	28	Курская	5
Тверская	29	Воронежская	6
Московская	29	Тульская	11
Нижегородская	35	Орловская	12
Владимирская	43	Рязанская	12
Ярославская	48	Тамбовская	20
Костромская	52		

Примечание. Губернии под рубрикою А—промышленные, с преобладанием оброка; в них «душа» крепостного, зарабатывавшего помещику оброк путем кустарных или отхожих промыслов, ценилась гораздо выше, чем в губерниях под рубрикою Б, черноземных, где была развита барщина; в них для дворянства большую ценность представлял чернозем, чем крепостной.

XVII. Стоимость крепостного тягла и вольного и их доходность.

(Из книги А. П. Заблоцкого-Десятовского: «Граф П. Д. Киселев и его время». Т. IV. Прилож., стр. 281, 283 и 284).

В Тульской губернии у помещика А—ва дается на каждое тягло по 2 дес. в каждом поле, 1 дес. покосу и 1 дес. под усадьбу; всего 8 десятин. В том же имении свободная земля отдается в наем по 19,20 и даже 22 руб. за десятину. Положим еще менее, 18 руб. за дес.,—каждое тягло стоит помещику 144 руб. Следовательно, годовой работник с работницею будет стоить 288 руб. (так как тягло дает три рабочих дня в неделю).

В тех же местах хорошего работника и работницу можно нанять за	60 руб.
Пища им	40 »
Процент издержки на лошадь, сбрую, орудия, наконец, на помещение сих людей, могут быть оценены не свыше	70 »
Итого	170 руб.

Следовательно, менее против крестьянского тягла 118 руб.

Г. Якоб пишет, что один благоразумный и проницательный владелец в Московск. уезде, обрабатывал одну часть своей земли крепостными, а другую наемными работниками. По его расчислению, переведенному на рожь, оказалось:

Тягло крепостное стоило помещику	21	четв. ржи
Вольнонаемные мужчины и женщины	$20^1/_2$	» »

Доходу помещик получил:

От крепостного тягла . . . . . 15½ четв. ржи
От вольнонаемных работников и работниц . . . . . 43 » »

В имении князей К—в при самой усиленной барщине (на помещика обрабатывается вдвое более, нежели на крестьян), ежегодная запашка на одного работника простирается не свыше 5 дес. В хозяйстве же купца Рекка, работавшего с помощью вольнонаемного труда, на каждого работника приходилось более 9 дес. запашки.

XVIII. Ежегодный урожай хлеба в России в 40-х и 50-х г.г. XIX в.

(Из книги П. Б. Струве: «Крепостное хозяйство». М. 1913 г., стр. 124).

По расчетам статистиков нашего дореформенного земледелия ежегодный урожай разного хлеба в 40-х и 50-х года в России составлял 250 мил четв. Из них обращалось:

На продовольствие земледельческого населения . . . 132 мил. четв.
» » городск. населения и войска . . . 18 » »
На винокурение . . . . . 10 » »
На обсеменение . . . . . 60 » »

Итого . . 220 мил. четв.

Остаток, таким образом, простирается до 30 милл. четв. Между тем в 1845—53 гг. за границу средним числом отпускалось около 5½ милл. четв. или 1/6 всего среднего производимого излишка. Отсюда вытекает, что производство обогнало рынок, что значение внутреннего рынка было в 4½—5 раз больше значения внешнего рынка. И в то же время внешний рынок расширялся быстрее внутреннего, а между тем для хлебородного центра первый был при тогдашних условиях транспорта мало доступен. Расширение внешнего рынка шло на пользу производившего пшеницу юга. Соответственно этому экспорт южных портов развивался гораздо быстрее экспорта портов балтийских—с 1824 по 1848 г. отпускная торговля через южные порты увеличилась на 44%, тогда как в балтийских приращение не превышало 12%.

XIX. Превращение помещичьего хозяйства в хлебную фабрику.

(Из „Очерков аграрной эволюции в России“, П. Лященко, т. I, стр. 178).

Процентное отношение луговой земли к пахотной в конце XVIII в. (данные Арсеньева) и в пол. XIX в. (данные Тенгоборского).

Губернии:	Луга в конце XVIII в.	Луга в половине XIX в.
Харьковская	67,4%	64,2%
Воронежская	110,1	80,0
Тамбовская	74,9	66,0

Губернии.	Луга в конце XVIII в.	Луга в половине XIX в.
Курская	25,7	24,4
Рязанская	17,0	16,6
Казанская	25,0	23,8
Оренбургская	277,6	108,2

Примечание. Данные эти показывают, как росла площадь пахотной земли в губерниях с хорошей почвой и обеспеченным сбытом хлеба.

XX. % отношение хлебного вывоза к валовому сбору хлеба в России.

(Из „Истории русской торговли“ И. М. Кулишера. Птр. 1923 г., стр. 279).

Годы:	Средний вывоз в милл. четв.	Валовой сбор хлеба.	Средний вывоз в процентах к валовому сбору.
1802—1808	1,8 мил. четв.	165 мил. чет.	1% с небольшим
1834—1841	2,5 „ „	180 „ „	1% „ „
1851—1855			2,7
1856—1860			5,1

XXI. Вывоз хлеба из России и хлебные цены на берлинском рынке.

(Из „Очерка истории русской культуры“ М. Н. Покровского. Ч. I, М. 1915, стр. 136).

Вывоз хлеба в пудах.				Цены хлеба на берлинском рынке в марках за центнер.	
Годы:	Пшеница.	Рожь.	Десятилетия.	Пшеница.	Рожь.
1820	13,873	3,924	1821—30	6,07	4,46
1830	25,506	8,669	1831—40	6,91	5,16
1840	18,091	1,409	4841—50	8,38	6,30
1850	26,166	5,572	1851—60	10,57	8,48
1860	41,911	20,247	1861—70	10,21	7,93

XXII. Цены на главнейшие хлеба в Великобритании за квартер в шиллингах.

(Из книги С. О. Гулишамбарова: „Всемирная торговля в XIX в. и участие в ней России“. СПБ. 1898 г., стр. 42).

	Годы:					
	1801—10	1811—20	1821—30	1831—40	1841—50	1851—60
Пшеница	74,0	87,5	59,3	56,9	53,3	54,6
Ячмень	41,8	45,2	32,5	32,8	31,5	34,5
Овес	28,1	30,4	23,5	22,7	21,0	23,6

Примечание 1. Так как главным потребителем хлеба являлась Англия, то ее цены на хлеб определяли цены мирового рынка.

Примечание 2. Цена пшеницы в Черноморских портах в 1822 г. 5 р. 46 к. сер. за четверть, в 1828 г.—2 р. 57 к. Цена ржи в Петербурге в 1817 г.—23 р. за четверть, в 1825—26 г.г.—14—15 р. В Воронеже куль ржаной муки в 1821 г. 16 р. 26 к., в 1823 г. 7 р. 28 к., в 1824—25—26 г.г.—13 р. 11 к. (Из статьи Колокольникова в сб. „Война 1812 г. и русское общество“).

XXIII. Вывоз всего хлеба из России в 1802—1860 г.г.

(Из «Истории русской торговли», И. М. Кулишера. Птр. 1923 г., стр. 274).

Годы:	Ценность всего вывоза.	Ценность хлебного вывоза.	% отношение хлебного вывоза.
	В миллионах руб. ассигнациями.		
1802—07	63,0	11,8	18,7
1812—15	171,3	18,0	10,5
1816—20	237,7	74,2	31,2
1821—25	207,2	17,5	8,4
1826—30	226,8	35,6	15,7
1831—35	222,0	34,1	15,4
1836—40	308,3	35,7	14,8
	В миллионах кредитных руб. [1])		
1841—45	88,4	14,5	16,4
1846—50	106,5	33,3	31,3
1851—55	92,9	27,6	29,1
1856—60	165,6	58,1	35,1

XIV. Вывоз отдельных хлебов за тот же период в среднем за год в тысячах пудов.

(Оттуда же, стр. 275 и 276).

Годы:	По четырем хлебам вместе.	Пшеница.	Рожь.	Ячмень.	Овес.
1801—05	19,873	10,646	—	—	—
1806—10	5,120	1,768	—	—	—
1811—15	9,089	5,122	—	—	—
1816—20	29,655	17,300	8,267	1,702	2,386
1821—25	10,071	8,418	729	722	202
1826—30	23,950	13,558	6,421	1,696	2,275
1831—35	18,469	10,728	5,425	1,232	1,084
1836—40	28,831	20,934	4,900	1,453	1,544
1841—45	27,205	21,556	3,434	1,315	900
1846—50	51,211	35,066	10,629	1,848	3,668
1851—55	45,596	31,810	8,937	1,957	2,692
1856—60	69,254	38,130	14,335	5,979	10,410

[1]) Для сравнения кредит. рубля с ассигнационными нужно первый увеличить приблизительно в $3^1/_2$ раза.

Примечание 1. Застой в хлебном вывозе за 1821—1845 г.г. об'ясняется, главным образом, низкими ценами на хлеб на международном рынке. Колебания вывоза зависели также от войн (Отечественной, Крымской) и урожаев. Много способствовала росту вывоза отмена в 1846 г. в Англии хлебных пошлин.

Примечание 2. Из 44 мил. четвертей пшеницы, вывезенных из России за 1824—47 гг., 39 было отпущено чрез южные порты, причем 23 мил. чрез одну Одессу; на их долю приходилось 90% всего экспорта пшеницы, тогда как из портов Балтийского моря отправлено всего 6%. Напротив, южные порты вывезли за это время всего 12% ржи, балтийские же—54%. Точно также $^3/_4$ всего ячменя вывозилось Балтийским морем, а 42% овса из Архангельска. Но так как вывоз овса и ячменя за эту четверть века составлял всего 10 мил. четвертей, вывоз ржи—14 мил., напротив, вывоз пшеницы 44 мил., то получилось, что южные порты экспортировали 62% всего отправляемого за границу хлеба.

Примечание 3. В XVIII в. хлебный вывоз, сам по себе незначительный, быстро возрастал. Так было вывезено в

1758—60 г.г.	70000 четв.
1778—80	400000 „
1802	2832000 „

(См. в Энц. Словаре Брокг. и Эфрона, ст. „Россия“).

XXV. Выкурка спирта в откупную эпоху [1]).

(Из „Сборника свед. по истории и статистике внешней торговли России“, В. И. Покровского. Т. I, стр. 99).

Годы:	Всего выкурено вина в 40% крепостью в тыс. ведер.
1754	3,962
1819	18,546
1825	11,957
1851	39,500
1858	51,412
1859	59,945
1860	60,435

Примечание 1. Число действовавших винокуренных заводов составляло в 1859 г.—4,624. Каждый завод в среднем выкуривал 5,400 ведер, что показывает, что винокуренная промышленность при откупной системе не носила крупно-капиталистического характера, а представляла собой чисто сельско-хозяйственные предприятия.

Примечание 2. Принимая, что из 9 пудов муки выкуривалось не более $7^1/_2$ ведер полугара, найдем, что количество хлеба,

[1]) Откупная система была уничтожена в 1861 г.

употреблявшегося на винокурение, составляло около 25 мил. пудов.

Примечание 3. Падение выкурки вина с 1825 г. находится в связи с временным переходом к казенной продаже водки. Полное восстановление откупной системы сейчас же увеличило винокурение.

XXVI. Сахарная промышленность в России.

(Из „Сборника В. И. Покровского. Т. I, стр. 91).

В 1719 г. был устроен первый сахарно-рафинадный завод в Петербурге, а в 1723 г. в Москве.

В 1776 г. считалось в России 5 заводов, а в 1804 г.—7.

Первый русский свеклосахарный завод был основан в Тульск. губ. в 1802 г.

От соперничества тростникового сахара русские заводы были ограждены с 1816 г. высокой пошлиной (1 р. 50 к. с пуда); в 1841 г. сухопутный привоз колониального сахара был вовсе запрещен, а с песка, привозимого морем, пошлина поднята до 3 р. 80 к. сер. с пуда.

В 1844—45 число заводов дошло до 206, с производством в 484,176 пуд., для получения которых перерабатывалось 11,625 тыс. пуд. свекловицы; с берковца свекловицы получалось 16,7 фунта сахара или 4,17%.

В 1848 г. число заводов превышало 340, и на них вырабатывалось уже 900.000 пудов сахарного песка, т. е. около половины всего потребного для страны количества.

На заводах господствовал исключительно крепостной труд.

XXVII. Привоз заграничного сахара.

(Из „Сборника" В. И. Покровского, стр. 92).

Периоды.	Количество в пудах.
1749 г.	47
1758—60	71
1778—80	192
1778—92	410
1800—05	228
1812—15	561
1821—25	1038
1846—50	1942
1851—55	1521
1856—60	1312

Примечание 1. В пол. XVIII в. на одного жителя потреблялось сахару всего 0,11. Если к привозу 1846—50 гг. присо-

единить внутреннее производство (до 800 тыс. пудов) и вычесть вывоз (по азиатск. границе до 4 т. пуд.), то окажется, что в полов. XIX. в. потреблялось сахара в России одним жителем до $1^1/_3$ ф. в год, тогда как в Италии и Австрии — $2^1/_2$ ф., в Швеции, Норвегии и Дании — $4^3/_4$ ф., во Франции — $7^1/_2$ ф., в Великобритании и С.-Америк. Штатах — 20 ф.

Примечание 2. Падение привоза сахара в первые годы XIX в. (до 1812 г.) об'ясняется его вздорожанием, а падение привоза с 1851 г.—расширением внутреннего производства.

XXVIII. Крестьянские волнения в 1762—1861 г.г.

Со времени издания манифеста о вольности дворян при Петре III крестьяне, ожидая выхода вольной грамоты и для себя, волновались при начале почти каждого нового царствования. Общей почвой для этих волнений, принимавших постепенно все более грозный характер, служило усиление экономической и юродической кабалы, шедшее рука об руку с все бо́льшим проникновением в сельское хозяйство товарно-капиталистических отношений.

В первые 7 лет царствования Екатерины II (1762—69 гг.) известно до 40 крестьянских волнений.

В 1773—75 гг. восстали горнозаводские и помещичьи крестьяне на Урале и в Поволжье (Пугачевщина).

В последующие годы екатерининского царствования известно до 20 волнений, причем особенно сильное произошло в Новгород. губ. в 1779 г. (См. В. И. Семевский: „Крестьяне в царств. Ек. II". 2 т.т., и Н. Н. Фирсов: „Пугачевщина").

В начале царствования Павла I в 1796—97 гг. зарегистрировано 278 волнений, в 1799 г.—1 и в 1800 г.—1. (См. Е. П. Трифильев: „Очерки из истории крепостн. права в России". Харьк. 1904 г., и рец. на эту книгу Н. П. Павлова-Сильванского в № 1 „Журн. Мин. Нар. Просв." за 1905 г.).

В царствование Александра I известно, сравнительно, меньше волнений. Можно ожидать, что изучение архивного материала, как показывает это ст. Юл. Гессена в 1-й книге „Архива Ист. Труда в Рос." (Птр. 1921 г.), познакомит нас с массою новых случаев. Особенно значительные волнения происходили в эпоху Отечественной войны и в 1818—20 г.г., опять-таки под влиянием распространившихся слухов о предстоящем освобождении (См. П. Н. Милюкова: „Крестьяне" в „Энц. Словаре" Брокгауза, 1-е изд., и В. И. Семевский: „Крестьянский вопрос". Т. II.). В это же время заметный характер стали носить и волнения поссессионных рабочих (См. М. И. Туган-Барановский: „Русская фабрика", 4-я гл. в I части).

Сплошная же волна крестьянских движений поднимается при Николае I.

С	1826	по	1829 г.	было	85 волнений
»	1830	»	1834 »	»	60 »
»	1835	»	1839 »	»	78 »

С 1840 по 1844 г. было 138 волнений
» 1845 » 1849 » » 207 »
» 1850 » 1854 » » 141 »

Другими словами, за 29 лет произошло 709 волнений, что дает 24 волнения на год. При этом, из 261 волнения—112 были подавлены с помощью военной силы.

Крымская война вызвала новый взрыв волнений, которые приняли в 1854—56 гг. массовый характер.

Ополчения, составленные из крестьян, вместо того, чтобы итти на внешнего врага, шли на исправников и своих господ. Немудрено, что в одну только Киевскую губ. пришлось выслать 16 эскадронов кавалерии, 2 роты сапер, резервный батальон и один дивизион.

В это время, на ряду с массовыми волнениями, увеличились покушения на убийство и убийства помещиков. В 1836—1854 гг. известны 75 случаев покушений или в среднем по 4 в год и 144 убийства помещиков или в среднем по 28 ежегодно.

Необычайно увеличились также и массовые побеги крестьян. В Курск. губ. готовились уйти до 20,000 крестьян из 46 имений; из Могилев. и Витеб. губ. до 90,000!

Нисколько не успокоились крестьяне и с воцарением Александра II. В 1857 г. произошло 40 волнений, причем военные команды были введены в 24 имения, а в 16 „порядок“ был восстановлен силами местной полиции. В 1858 г. в министерство вн. дел были доставлены сведения о волнениях более чем в 170 имениях. В 1859 г., по официальным сведениям, было 70 волнений, в 1860 г. до сведения царя доведено о 100 случаях неповиновения. Наконец, в 1861 г. до марта месяца, т. е. до об'явления воли, известно более 10 волнений (См. И. И. Игнатович: Крестьян. волнения, в III-м т. „Великой Реформы“, и ее же книжку: „Помещичьи крестьяне“. Гл. VIII.

„Призрак пугачевщины, — говорит В. И. Семевский во II т. Крестьян. вопроса“ (стр. 571),—вечно стоял в глазах нашего дворянства и как грозное memento mori, напоминал о необходимости покончить с крепостным правом в интересах самих помещиков“.

Недаром, приступая к освобождению, сам Александр II больше всего опасался крестьянского восстания. И он был прав: по об'явлении „воли“ обманувшиеся в своих ожиданиях крестьяне устроили свыше 2000 бунтов! (См. М. Н. Покровский: „Очерк. истории рус. культ., т. I.).

XXIX. Распространение отхожих промыслов по количеству выданных паспортов.

(Из книги М. И. Туган-Барановского: „Русская фабрика“. Т. I., стр. 47 и 48).

В Ярослав. губ. было взято паспортов в:

1778	г.	53656
1788	»	70144
1798	»	73663
1802	»	69539

Примечание. Так как по 5-й ревизии (1796 г.) в Яросл. губ. было 385,008 мужчин, то значит, около 20% их уходило на заработки на сторону.

В Московск. губ. было взято паспортов в

1799 г.	48,932
1803 »	52,922

Примечание. Для Москов. губ. процент уходивших на заработки был немного более 10. Всего там по 5-й ревизии насчитывалось 434,—441 мужчин.

XXX. Выплавка чугуна в России.

(Из „Сборника" В. И. Покровского. Т. I, стр. 232).

Годы.	Чугун в тысячах пудов.	Годы.	Чугун в тысячах пудов.
1718 (на Урале)	6641 т. пуд.	1850	13,892
1767	9622	1853	14,518
1806	12212	1855	16,400
1822	9334	1856	17,000
1831	11006	1858	19,000
1849	11556	1860	20,468

Примечание 1. В Англии в 1740 г. было выплавлено всего около 1 мил. пуд. чугуна. С 1790 г. в Англии для выплавки чугуна стал применяться каменный уголь, а к началу XIX в. она догнала Россию и в 1850 г. превысила ее более чем в 10 раз.

Примечание 2. Русская металлообрабатывающая промышленность, работая на казну и будучи защищена высокими тарифными ставками, в XIX в. остановилась в своем развитии. Некоторое оживление замечается лишь с 1850 г., когда начал быстро увеличиваться спрос на железо, благодаря постройке железных дорог. Оно совпало также с переходом от запретительного тарифа к охранительному, причем, и ввоз железа в Россию (в переводе на чугун) поднялся с $^1/_2$ мил. пуд. в 1850 г. до 5 мил. пудов в 1860 г.

XXXI. Отпуск железа из России.

(Из „Сборника" В. И. Покровского. Т. I, стр. 235).

Годы.	Железо в тысячах пудов.	Годы.	Железо в тысячах пудов.
1762	1158 т. пуд.	1824—34	1386
1766	2335	1839	1000
1773	2774	1851—55	1200
1779	3055	1856—60	1700
1782	3840		
1794	3885		
1800—14 в среднем	1772		
1814—24	1252		

XXXII. Производство в России и вывоз из нее меди.

(Из „Сборника“ В. И. Покровского. Т. I, стр. 240—241).

В конце XVIII в. добывалось меди до 200 т. пудов, в 50-х гг. до 350.

В 1850 г. добыто в	Чили	887 т. пуд.
	Великобритании	732
	России	394
	Соед. Штатах .	167
	Австралии . .	148
	Германии . . .	102

Примечание. В 1-ю половину XIX в. Россия, удовлетворяя внутренние потребности, занимала одно из главных мест на европейских рынках как главный поставщик меди.

Вывезено из России в	1821—25 гг. . .	292 т. пуд.
	1840—45 . .	102
	1851—55 . .	216
	1856—60 . .	101

XXXIII. Развитие русской промышленности.

(Из книг М. И. Туган-Барановского: „Русская фабрика“ и П. Н. Милюкова: „Очерки истории русской культуры“. Ч. I, стр. 92).

Годы.	Число фабрик.	Число рабочих.	Сумма годового производства в милл. руб.
1765	262	87263	3,5
1796	984	48000	5,0
1804	2423	95000	25,0
1825	5261	210568	46,5
1850	9843	517679	166,0

XXXIV. Подневольный труд на фабриках в 1825 г.

(Из „Русской фабрики“, М. И. Туган-Барановского, стр. 106).

Главнейшие роды производства.	Число всех рабочих.	Число крепостных.	Число посессионных.
Суконное	63.603	38.583	13.315
Писчебумажное	8.272	3.350	2.903
Стекольное, игольное, чугунное	22.440	14.820	2.650
Полотняное	26.832	1.483	6.629
Шелковое	10.204	658	1.065
Хлопчатобумажное . . .	47.021	247	2.239
Канатное	2.503	107	33
Кожевенное	8.001	539	2
На всех фабриках . . .	210.568	66.725	29.328

XXXV. Процент вольнонаемных рабочих в различных производствах за 1804 и 1825 г.г.

(Из „Русской фабрики" М. И. Туган-Барановского, т. I, стр. 85—86 и 89).

В 1804 г. 2423 фабрики 95.202 рабочих 45.625 вольнонаемных.
В 1825 г. 5261 „ 210.568 „ 11.115 „

Годы.	Число фабрик.	Число всех рабочих.	Число вольнонаемных.
Железоделательное производство.			
1804	26	4.121	1.144
1825	170	22.440	4.970
Писчебумажное производство.			
1804	64	6.957	1.533
1825	87	8.272	2.019
Суконное и шерстяное производство.			
1804	155	28.689	2.788
1825	324	63.603	11.705
Стеклянное и хрустальное производство.			
1804	114	3.937	1.685
1825			
Полотняное производство.			
1804	285	23.711	14.327
1825	196	26.832	18.720
Шелковое производство.			
1804	328	8.953	6.625
1825	184	10.204	8.481
Кожевенное производство.			
1804	850	6.304	6.115
1825	1784	8.001	7.460
Канатное производство.			
1804	58	1.520	1.295
1825	98	2.503	2.303
Хлопчатобумажное производство.			
1804	199	6.566	5.436
1825	484	47.021	44.535

Примечание. Сравнительно с 1804 г. общее число фабричных рабочих возросло более чем вдвое, но распределение их изменилось сравнительно немного: в 1804 г. вольнонаемные составляли 48% всех рабочих, в 1825 г.—54%. В дальнейшем число несвободных рабочих на фабриках быстро падало. Цифровых данных о числе вольнонаемных рабочих после 1825 г. нет, но об его увеличении свидетель-

ствуют следующие факты: 1) в 30—50 г.г. особенно развилась та отрасль производства, где вольный труд с самого начала преобладал—хлопчатобумажная промышленность: число занятых в ней рабочих составляло в 1836 г. 105.878 при общей цифре всех фабричных рабочих в 324.203; в 1804 на хлопчатобумажных фабриках было занято 7%, в 1825—21%, а в 1836 г.—32% всего числа фабричных рабочих; а вместе с ростом хлопчатобумажного производства должно было увеличиться и число вольнонаемных рабочих; 2) в суконной промышленности, где крепостной труд ранее преобладая, в 30-х и 40-х годах усилилась выработка тонких и средних сукон. В 40-х годах для вольного рынка изготовлялось до 9 мил. арш. сукна, а для казны—около 4 мил. арш.; крепостной же труд употреблялся исключительно на фабриках, выделывавших солдатское сукно; 3) увеличение количества вольнонаемных рабочих доказывается и падением числа дворянских фабрик, где был распространен крепостной труд: таких фабрик в 1832 г. было 862 из общего числа 5599, т.-е. 15%, а в конце 40-х годов только 500 из 10000, т.-е. всего лишь 5%.

XXXVI. Значение тарифа 1819 г. для русской промышленности.

(Из книги А. Семенова: „Изучение историч. сведений о росте внешн. торговли и промышленности“, СПБ., 1859 г. Т. III, стр. 265).

Тариф 1819 г., допустивший свободный привоз иностранных, изделий с отменой бывшей до того охранительно системы, имел вредное влияние на тогдашнее развитие отечественной нашей промышленности; это видно из сравнения вольнонаемных рабочих на русских фабриках.

В 1820	г.	всего	было	рабочих	179,610	чел.,	из	них	наемных 104,865 ч.
„ 1821	„	„	„	„	185,354	„	„	„	„ 95,902 „
„ 1822	„	„	„	„	172,757	„	„	„	„ 90,734 „

Таким образом,в два года уменьшилось более, чем на 14000 наемных, т. е. слишком $^1/_7$ часть числа вольных рабочих на наших фабриках, т. е. таких, которые производят лучше, и следовательно, уменьшение их было вредно для мануфактурной промышленности. Издание в 1822 г. охранительного тарифа, постоянное покровительство нашим мануфактурам содействовали оживлению фабричного производства.

XXXVII. Конкуренция с фабрикой кустарной избы в исходе 40-х и начале 50-х годов.

(Из книги М. И. Туган-Барановского: „Русская фабрика“, стр. 231 и 235).

О вытеснении фабрики кустарничеством или наемной системой домашней промышленности говорят данные, относящиеся к бумаготкацкому производству.

Годы.	Число рабочих на бумаготк. фабр.	Ввоз в Россию хлопка и бум. произв. в тысяч. пуд.
1836	94,751	865
1852	81,454	1,960
1857	75,517	2,765

Примечание. В то время, как размеры бумаготкацкого производства возросли в России более чем в 3 раза, число рабочих на ткацких фабриках уменьшилось более, чем на 20%. Так как техника ткачества в это время не прогрессировала значительно (переход от ручного к машинному ткачеству совершился позже), то сокращение числа рабочих на фабриках, несомненно, доказывает раздробление производства, терявшего фабричный характер и переходившего в кустарную избу и светелку.

О степени разложения прежней фабрики можно судить по тому, что в 1832 г. на всех полотняных и полотно-пестрядинных фабриках Владимир. губ. работало 2977 рабочих, а по деревням на тех же фабриках работало 8579 рабочих.

XXXVIII. Производство шерстяных тканей и пряжи в России.

(Из „Сборника" В. И. Покровского. Т. I, стр. 293—294).

Первая суконная фабрика была устроена фон-Сведеном в 1650 г., но она скоро погибла от конкуренции с лучшим заграничным сукном. Первая фабрика армейского сукна возникла при Петре I в 1698 г. К началу царствования Екатерины II число таких фабрик дошло до 120, а к началу XIX в.—до 155. Все эти фабрики были незначительных размеров: в 1802 г. на 10 московских фабриках имелось всего 104 станка, при 1300 рабочих, и вырабатывалось изделий в год на сумму до 200 т. руб. Лишь в 1822 г. наши суконные фабрики оказались в состоянии доставить в казну все потребное ей количество сукна, а именно до 4 мил. арш. С этого времени начинается рост этих фабрик. В 1828 г. число их дошло до 400. В 1823 г. в Херсоне появилось и первое шерстомойное и шерстосортировальное заведение, а затем и первые самостоятельные шерстопрядильни. В 1856 — 60 г.г. производство шерстяных тканей приняло след. размеры:

	Шерстопрядильное производство.			Суконное производство.			Производство безворсных шерст. и полушерст. тканей.		
Годы.	Число фабрик.	Число рабочих в тыс.	Сумма производства в тыс. руб.	Число фабрик.	Число рабочих в тыс.	Сумма производства в тыс. руб.	Число фабрик.	Число рабочих в тыс.	Сумма производства в тыс. руб.
1856	12	0,93	386	435	95	26,009	78	11	5,928
1860	12	0,81	450	432	95	26,024	159	18	8,737

XXXIX. Полотняное производство.

(Из „Сборника“ В. И. Покровского. Т. I, стр. 986).

А. Количество фабрик.

Годы.	Число фабрик.	Годы.	Число фабрик.
1762	135	1841	188
1804	285	1845	156
1825	196	1861	100
1830	190		

Б. Ежегодный средний вывоз фламских, парусных полотен и равендука.

Периоды.	В тысячах кусков.
1758—62	77
1793—95	251
1800—13	212

XL. Вывоз и ввоз шерсти.

(Из „Сборника“ В. И. Покровского. Т. I, стр. 291, 292, 293).

Периоды.	Вывоз. Количество в тыс. пудов.	Вывоз. На сумму в тыс. рублей.	Ввоз. Количество в тыс. пудов.	Ввоз. На сумму в тыс. рублей.
1802—07	—	33 ассигн.	—	—
1816—20	—	868 »	3,6	67 ассигн.
1836—40	365	12.309 »	16	594 »
1841—45	660	6.380 кред.	21	151 кред.
1856—60	955	12.363 »	64	276 »

XLI. Вывоз и ввоз шерстяных изделий.

(Из „Сборника“ В. И. Покровского. Т. I, стр. 296 и 297).

Годы.	Вывоз на сумму в тыс. руб.	Привоз на сумму в тыс. руб.
1802— 7	76 т. р. ассигн.	5.555 т. р. ассигн.
1816—20	1107 » » »	15.945 » » »
1831—35	2165 » » »	10.205 » » »
1841—45	3106 т. р. кредитн.	3.515 т. р. кредитн.
1856—60	2569 » » »	1.363[1]) » » »

[1]) Понижение вывоза в это пятилетие об'ясняется тем, что тогда Польша была включена в общую таможенную черту.

XLII. Производство хлопчатобумажных материй.

(Из „Сборника“ В. И. Покровского. Т. I, стр. 275—276 и 277).

1) В 1805—1840 г.г.

Годы.	с л о ф а б р и к.		
	магопрядильни.	Ситцевые и миткалевые.	Бумаготкацкие.	Красильные.
1805	—	55	4	5
1809	1	96	6	15
1812	11	13	9	3
1814	?	99	12	14
1825	?	200		8
1831	6	225		79
1840	20	224		85

Слабое возрастание бумагопрядильного производства сравнительно с бумаготкацким обусловливалось почти исключительно тем, что английское правительство не допускало вывоза бумагопрядильных машин до 1842 г. Русским фабрикантам приходилось довольствоваться плохими и устаревшими французскими и бельгийскими машинами, и потому они не могли конкурировать с английской пряжей.

2) В 1850—60 гг.

Годы.	Число фабрик.	Сумма производства в тысячах руб.	Число рабочих в тысячах.
	Бумагопрядильные.		
1850	50	15,877 т. р.	30,8
1860	57	28,670 » »	41,9
	Бумаготкацкие.		
1850	480	12,771 » »	79,0
1860	659	19,343 » »	77,8
	Ситценаб., красильн. и отделочные.		
1850	?	16,224 » »	?
1860	?	23,104 » »	?

С сороковых годов ввоз бумажной пряжи начинает падать, по мере роста производства ее внутри России. В 1856—60 гг. в среднем вырабатывалось ее в России на 24,797 т. руб., а привозилось всего на 4,101 т. руб., тогда как еще в 1845 г. первая сумма равнялась 8,229 т. р., а вторая в 1841—45 г. в среднем—8,814 т. р.

XLIII. Привоз в Россию хлопчатобумажных изделий.

(Из „Сборника“ В. И. Покровского. Т. I, стр. 279 и 280).

Периоды.	На сумму.
1802—1807	4,958 т. р. ассигн.
1812—1815	7,031 » » »
1816—1820	16,161 » » »

С. Вознесенский.

Периоды.	На сумму.
1821—1825	12,151 т. р. ассигн.
1826—1830	12,442 » » »
1831—1835	10,190 » » »
1836—1840	13,989 » » »
1841—1845	3,966 т. р. кредитн.
1846—1850	3,882 » » »
1851—1855	3,647 » » »
1856—1860	7,170 » » »

Примечание. На уменьшение ввоза хлопчатобумажных тканей в 40-х годах повлияли успехи нашей бумаготкацкой и бумагопрядильной промышленности. Скачок ввоза в конце 50-х годов объясняется тем, что тариф 1857 г. устанавливал пошлины лишь на такие сорта тканей, которые производились в России, и облегчал привоз таких сортов, преимущественно высшего качества, производство которых в России еще не развилось.

XLIV. Механические заводы в России.

(Из „Сборника“ В. И. Покровского. Т. I, стр. 266—667).

Первый опыт постройки машин в России был сделан Петром I на Олонецких казенных заводах, изготовлявших оружие и военные снаряды.

В 1790 г. под руководством шотландца Бекойна построена первая паровая машина в России по типу Уатта.

В 1790 г. основан первый частный механический завод Берда, занявшийся впоследствии постройкою пароходов и получивший на эти работы привилегию в 1817 г.

В 1802 г. основан англичанином Вильсоном в Москве завод сельскохозяйственных машин и орудий.

В 1825 г. возникло еще 3 частных механических завода.

В 1850 г. действовало 26 механических заводов с 1,475 рабочими и годовым производством менее полумиллиона рублей.

В 1854 г. имелось 29 механических заводов с 4000 рабочих и производством в 2 милл. руб.

XLV. Привоз в Россию разных инструментов.

(Из «Сборника» В. И. Покровского. Т. I, стр. 265).

Периоды.	На сумму тысяч руб. ассигн.	Тысячи пудов.
1812—14	275	—
1815—19	589	—
1820—24	766	—
1830—34	891	—
1835—39	1367	—

Периоды.	На сумму тыс. руб. кред. бил.	Тысячи пудов.
1840—44	373	—
1845—50	506	—
1851—55	412	38
1856—60	859	83

Примечание 1. Сведений о количестве привезенных инструментов до 1851 г. не имеется.

Примечание 2. Особенно сильное возрастание замечается в 30-е годы и в конце 50-х годов.

XLVI. Привоз в Россию машин.

(Из «Сборника» В. И. Покровского. Т. I, стр. 266).

Периоды.	Ценность годового привоза в тыс. руб. ассигнациями.
1816—17	66 т. р.
1819—20	120
1826—30	138
1831—35	618
1836—40	1752
	кредитн. билетами:
1841—45	668
1846—50	1681
1851—55	2103
1856—1860	7513 [1]).

XLVII. Осуществление указов 1801 г., 1840 г., 1842 г. 1847 г.

(Из книги И. И. Игнатович: «Помещичьи крестьяне», стр. 283, и М. И. Туган-Барановского: «Русские фабрики», стр. 133).

На основании указа 1801 г. о вольных хлебопашцах было освобождено в течение 1804—58 гг. . . . 107,796 д. об. п.
На основании указа 1842 г. об обязанных крестьянах 59,998 „ „ „
На основании указа 1847 г. о разрешении крепостным выкупаться при продаже имений с публ. торга . 964 д. м. п.
На основании указа 1840 г., разрешавшего владельцам посессионых фабрик увольнять своих рабочих в вольное состояние [2]) . . . . . до 20,000 д. м. п. [3])

[1]) Для сравнения отметим, что в первое пятилетие по освобождении крестьян в 1861—65 гг. ценность привоза машин и аппаратов не возрасла: она равнялась 7,488 т. р. Увеличение началось лишь со второго пятилетия, в 1865—70 гг., когда привоз достиг 18.141 т. р.

[2]) Указ этот не вошел ни в Свод Зак. 18 2 г., ни в Полное Соб. Зак., в виду изв. „буйности“ фабричных, по вполне верному предположению М. Туган-Барановского.

[3]) Другими словами, до $^2/_3$ общего числа посессионных рабочих. Успех закона 1840 г., говорит М. Туган-Барановский,—служит „лучшим доказательством наступления в 40-х годах новой промышленной эпохи для России“.

XLVIII. Обороты по внешней торговле в XVIII в.

(Из «Сборника» В. И. Покровского. Т. I., стр. XXVI—XXVII и XXIX).

Периоды.	Вывоз.	Ввоз.
1726 [1]).	4238 т. р.	2126 т. р.
1742—1745	4993,4	3917,6
1756—1760	8868,0	7893,8
1762	12762,5	8162,2
1776—1780	19,2 мил. р.	14,0 мил. р.
1791—1795	43,5 „ „	34,0 „ „
1796	67,7 „ „	41,9 „ „
1800	61,5 „ „	46,5 „ „

XLIX. Обороты по внешней торговле в 1-й пол. XIX в.

(Из «Сборника» В. И. Покровского. Т. I, стр. XXXIV).

Периоды.	Вывоз.	Ввоз.	Общий оборот.
	в тысячах рублях, равных 1/15 империала.		
1801—05 [2]).	75108	52765	127873
1806—08	43169	31819	74988
1812—15	61986	39106	101092
1816—20	91712	70049	161761
1821—25	81372	72250	153622
1826—30	85715	79687	165402
1831—35	94319	80999	175318
1836—40	118435	101096	219531
1841—45	132323	119864	252187
1846—50	151757	131522	283279
1851—55	133173	129962	263135
1856—60	225594	205866	431460

Примечание 1. Сравнивая начальное и конечное пятилетия, получим увеличение оборотов за промежуточный период почти в 3½ раза—вывоза в три раза, привоза в 4.

Примечание 2. В XVIII в. товарообмен совершался почти исключительно морем: в конце века сухопутная торговля составляла всего 6% всего оборота. В половине XIX в. роль ее увеличивается: сухопутный вывоз достигает 27%, а сухопутный ввоз 37% всего оборота. Морская торговля, пользовавшаяся в XVII в. Белым морем, в XVIII в. сосредоточивается на балтийском море. К началу XIX века 85% привоза и 91% вывоза приходится на Балтийские порты. Но к половине XIX в.

[1]) Цифры за 1726 г. взяты у П. Н. Милюкова: «Очерки», ч. I, стр. 111—112.

[2]) За 1806—11 г.г. офиц. сведения о внешней торговле России не были обнародованы.

участие Балтийского моря в экспорте падает до 61%, ибо 1/3 всего экспорта—это в особенности экспорт хлеба—переходит к Азовскому и Черному морям, тогда как в импорте на долю Балтики и теперь приходится 84% (См. «Историю рус. торг.» И. М. Кулишера, стр. 267 и след.).

L. Обороты внешней торговли главных государств Европы и Америки.

(Из «Статист. обозрения внешней торговли России» Г. Небольсина. Ч. II, стр. 473—474).

	Средние суммы:			
	Привоза.	Отпуска.	Всего.	
1. Великобритания (1845—48 гг.)	574.565.000	402.600.000	976.565.000	руб.
2. Германский таможенный союз (1844—46 гг.)	266.370.000	227.120.000	493.490.000	„
3. Гамбург (1846—1848 гг.)	129.800.000	123.570.000	253.370.000	„
4. Бремен (1847—1848 гг.)	32.575.000	28.663.000	61.240.000	„
5. Франция (1845—1847 гг.)	315.560.000	294.750.000	600.310.000	„
6. Голландия (1846—48 гг.)	135.830.000	107.400.000	243.230.000	„
7. Бельгия (1844—1846 гг.)	83.850.000	74.400.000	158.250.000	„
8. Австрийская империя (1844—46 гг.)	74.460.000	69.980.000	144.440.000	„
9. Россия (1844—1846 гг.)	81.000.000	92.687.000	173.687.000	„
10. Соединенные Штаты (1844-45—1846-47 гг.)	178.470.000	179.000.000	357.470.000	„

Примечание. По числовым выводам о внешней торговле главнейших государств находим, что Россия занимает между ними шестое место. После Великобритании, первенствующей обширностью своей внешней торговли, следует Германский таможенный союз, с Гамбургом и Бременом, потом Франция, Соединенные Штаты, Голландия, и наконец Россия, Бельгия и Австрийская империя. Во всех этих государствах, кроме России, привоз превышает отпуск, потому что в общей сумме привозных товаров заключаются поступившие как на внутреннее потребление, так и для вывоза в другие страны. Великобритания, Франция, Голландия, Бельгия, Гамбург, Бремен, Триест (в Австрийской империи), пользуясь выгодным для внешней торговли географическим положением своим, производят обширный торг иностранными товарами. Напротив того, в России эти товары привозятся почти исключительно во внутренее потребление и через нее идет транзитный путь только для азиатской торговли, но этот транзит весьма незначителен.

Главные статьи ввоза и вывоза за 1653—1853 г.г.

(Из „Очерков по истории русской культуры", П. Н. Милюкова Ч. I. Изд. 5-е, стр. 114—115).

В ы в о з.

Г о д ы:	Жизн. припасы.	Материалы для обработки.	Изделия.	Проч. товары.
1653	30%	65%	2½%	2%
1726	1½	43	52	3
1749	½	50	40	8½
1778—80	8	63	20	9
1802—04	20	66	10	4
1851—53	36	58	2½	3

В в о з.

Г о д ы:	Жизн. припасы.	Материал для обработки.	Изделия.	Проч. товары.
1653	21%	27%	51%	1%
1749	25	22	44	8
1778—80	30	19	44	7
1802—04	40	23	32	5
1851—53	30	50	16	4

Примечание 1. Из первой таблицы видно, что жизненные припасы в XVIII в. почти не требовались в Запад. Европе и наоборот стали играть все большую и большую роль в отпуске за 1-ю половину XIX в.; вывоз материалов для обработки рос, но очень медленно; потребность же в русских изделиях (преимущественно льняных и пеньковых) на заграничном рынке быстро уменьшается уже к концу XVIII в.

Примечание 2. Вторая таблица, между прочим, говорит, что вместо готовых изделий, преобладавших среди предметов ввоза в XVIII в., в XIX в. безусловный перевес получили материалы, необходимые для русского производства. Из жизненных же припасов к предметам первой необходимости принадлежали таким образом лишь сельди. Кроме них, преимущественно ввозились вина и колониальные товары.

Примечание 3. В XVII и XVIII в.в. из изделий много вывозилось, главным образом, в Англию, полотен, грубых сукон и канатов. Парусный холст и канаты служили тогда для английского флота своего рода каменным углем. С введением машин в английской промышленности эти товары потеряли всякое значение для заграницы. В 1-й пол. XIX в. русские изделия—ткани, металлические изделия, юфть, посуда—нашли зато некоторый сбыт на Востоке. Так что,—говорит Небольсин,—„в своей отпускной торговле Россия является земледельческим государством в отношении к Западу и мануфактурным в отношении к Востоку" („Статистическое обозрение внешней торговли России", ч. II, стр. 471).

LII. Предметы ввоза и вывоза за 1726 г.

(Из «Сборника» В. Н. Покровского. Т. I, стр. XXIV).

	Из Петербурга.	Из Архангельска.	Из обоих портов.
Отпущено:			
Пеньки	494.362 пуда	—	494.362 пуда.
Льна	58.616 „	808 пуд.	59.424 „
Сала	25.094 „	24.051 „	49.145 „
Железа	55.147 „	—	55.149 „
Юфти	169.137 „	2.872 „	172.009 „
Льняных тканей	9.600.307 аршин	718.985 арш.	10.319.293 арш.
Парусины	7.747 кусков	—	7.747 кус.
Всего на сумму	2.403.423 р. сер.	285.387 р. сер.	2.688.810 р. сер.
Привезено:			
	В Петербург.	В Архангельск.	По двум портам.
Напитков	на 137.175 р. с.	4028 р. с.	141.203 р. с.
Сахара	11.289 пуд.	50 пуд.	11.339 пуд.
Кофе	474 „	20 „	494 „
Шелка	$3^1/_2$	—	$3^1/_2$
Красильных веществ	268.280 р. с.	7381 р. с.	275.661 р. с.
Шелковых товаров	15.372 „ „	92 „ „	15.464 „ „
Шерстяных материй.	662.492 „ „	464 „ „	662.956 „ „
Бумажных	23.632 „ „	—	21·632 „ „
Льняных	691 „ „	249 „ „	940 „ „
Всего на сумму	1.549.697 р. с.	35.846 р. с.	1.585.543 р. с.

Примечание. Если прибавить еще ввоз в сумме 1.550 тыс. руб. и вывоз в сумме 540 тыс. руб. чрез Ригу, то получим, что всего в 1726 г. было вывезено товаров на 4.238 тыс. руб., а привезено—на 2,126 тыс. руб.

LIII. Предметы годового ввоза и вывоза за 1793—95 г.г.

(Оттуда же, стр. XXXIII).

Статьи вывоза.	Количество в тысячах.	Ценность в тыс. руб.	Статьи ввоза.	Количество в тысячах.	Ценность в тыс. руб.
Пеньки и пакли	3062 т. п.	8474 т. р.	Сахара	431 т. п.	5595 т. р.
Льна и пакли	1261 „ „	5270 „ „	Сукна и шерст. изд.		3978 „ „
Железа	2966 „ „	5015 „ „	Хлопчатобумажн. изд.		2607 „ „
Льняных и пеньковых тканей	14615 т. арш.	4285 „ „	Крас. вещ.	155 „ „	2404 „ „
Хлебов	403 т. ч.	2878 „ „	Шелк. товар.		1822 „ „
Юфти и кожи	—	2865 „ „	Кофе.	75 „ „	1315 „ „

Статьи вывоза.	Количество в тысячах.	Ценность в тыс. руб.	Статьи ввоза.	Количество в тысячах.	Ценность в тыс. руб.
Лесного товара . .	—	1539 т. р.	Вин и др. спиртн. нап.		1137 т. р.
Семени льнян., конопл. и др. . . .	192 т. п.	1415 „ „	Фруктов.		903 „ „
Грубых полот. . .	22 т. ш. 896 т. арш.	999 „ „	Соли.		593 „ „
			Деревян. масла	42 „ „	444 „ „
Масла льнян. и конопл	231 т. п.	702 „ „	Сельдей.	67 т. боч.	416 „ „
Канатов и веревок.	144 шт.	459 „ „	Мягкой рухляди.	46 т. шт.	413 „ „
Щетины	21 т. п.	448 „ „			
Жира рыбьего . .	6,4 „ „	421 „ „	Пива и портера.	7,3 „ „	387 „ „
Поташа	121 „ „	388 „ „	Пряностей.	6,1 т. п.	285 „ „
Мягкой рухляди .	—	355 „ „	Москотельн. товара.	41	
Воска	17 „ „	346 „ „			
			Олова.	15 т. л.	250 „ „
			Кос.	727 т. шт.	219 „ „

Примечание 1. На сумму менее 300.000 в год отпускалось мыла, смолы и дегтя, икры, свечей сальных, рогож, масла коровьего, ворвани.

Ежегодная сумма отпуска в среднем составляла за 1793—95 гг.—43.266.000 руб.

Примечание 2. В числе товаров, привоз которых не превышал 200.000 руб., были: хлопок, полотно, свинец, цинк, железо листовое, иглы, инструменты для ремесл, галантерейный товар, тесьмы, чулки, писчая бумага, фаянсовые и фарфоровые изделия, аптекарский товар, сыр, лошади. Всего привозилось за 1793—95 гг. в среднем ежегодно на 27.866.000 руб.

LIV. Эволюция русского вывоза и ввоза в первой половине XIX в.

(Из «Истории русской торговли», И. М. Кулишера, стр. 300—301).

В ы в о з.

В начале XIX в.		В половине XIX в.	
Хлеб	18% всего вывоза.	Хлеб	19%
Сало	15	Сало	12
Пенька	15	Лен	11
Лен	9	Льняное семя . . .	8,5
Медь, железо, сталь . .	7,5	Пенька	7,5
Льнян. и пеньк. изд. .	5,5	Шерсть	3,5
Меха	4	Лес	3,5

Примечание. Основные статьи вывоза: хлеб, животное сало, лен и пенька занимают первые места в оба периода, охватывая половину и более всего экспорта. Второстепенные товары

зато постигла значительная перемена: вывоз металлов и льняных материй потерял свое прежнее значение; вывоз мехов сократился с 4 до $2^1/_2$%; усилился же вывоз шерсти и леса.

ВВОЗ.

В начале XIX в.		В середине XIX в.	
Хлопчато-бум. тк.	$16^1/_2$% привоза	Бумаж. произв.	10
Шерстяные тк.	$16^1/_2$ » »	Сахар	10
Сахар	$12^1/_2$ » »	Чай	8
Краски и крас. вещ.	$6^1/_2$ » »	Вина виногр. и водки	$6^1/_2$
Вина виногр. и водки	$6^1/_2$ » »	Краски	6
Шелк	6 » »	Бумажн. ткани	$4^1/_2$
Чай	4 » »	Шелк. ткани	$4^1/_2$
Соль	4 » »	Хлопок	$4^1/_2$
		Шерст. ткани	$3^1/_2$
		Шелк	3
		Фрукты	3
		Соль	$2^1/_2$

Примечание 1. В области привоза разница между началом и серединой XIX в. небольшая. Только шерст. и бумажн. ткани, составлявшие $^1/_3$ всего привоза, сократились вчетверо: их стали вырабатывать у себя дома, пользуясь привозным хлопком и бумажной пряжей.

Примечание 2. Успешный рост импорта хлопка обусловливался тем, что с 1822 г. привоз его был освобожден от пошлин (хотя в 40-х годах и была вновь установлена небольшая пошлина), тогда как на фабрикаты были наложены высокие пошлины и даже запрещения. И в том и другом выразилось стремление водворить у нас собственную хлопчатобумажную промышленность. Как можно усмотреть из привоза бумажной пряжи, эта цель была действительно достигнута. Пряжа привозилась к нам уже с конца XVIII ст. из Англии и привоз ее возрастал до 30 годов. Единственным поставщиком ее являлась вплоть до середины столетия Англия, которая одна только и могла снабжать своей машинной пряжей другие страны и широко это делала и в Европе и за океаном, тогда как прочие государства производили ее почти исключительно для собственного употребления. Этот привоз, стал однако, с 40-годов усиленно и беспрерывно падать в то время, как выработка у нас собственной пряжи росла. В 1846—50 г.г. привезенная пряжа составляла 40 проц. произведенной в России, а в следующее пятилетие всего 16 проц. и 10. „В настоящее время—говорил Тенгоборский в 1858 г.—иностранная пряжа входит не более, как на 7 проц. в бумажные ткани“. Потребность населения в бумажных тканях растет, крестьянин одевается в русский ситец—ему теперь выгоднее продавать лен и покупать дешевые ситцы, чем приготовлять из того же льна домашние холсты. Это выражается и в росте производства бумаготкацких фабрик (в 1850 г. 12,8 мил., в 1860 г. 19,3 мил. руб.) и ситценабивных и отделочных (16,2 и 23,1 мил.), тогда как привоз тканей составлял в 1851—55 г.г. всего 3,7 милл. руб.

LV. Привоз и вывоз текстильных изделий за 1802—1860 г.г.

(Из «Истории русск. торговли», И. М. Куляшера, стр. 291).

ГОДЫ.	ПРИВОЗ.		ПРИВОЗ.	ВЫВОЗ.	ВЫВОЗ.		Вывоз.	ВЫВОЗ.	ПРИВОЗ.	ВЫВОЗ.	ПРИВОЗ.
	Хлопка.	Бумажн. пряжи.	Хлопчато-бумажных изделий.		Пряжи. Льнян.	Пряжи. Пеньки.	Канатн. верев.	Льняных пеньковых тканей.	Льняных изделий.	Шерстяных изделий.	
	В тыс. пуд.		В тысячах руб.		В тыс. пуд.		В т. п.	В тыс. руб.	В тыс. руб.	В тысячах руб.	
1802—07	—	—	4.958 ас.	—	—	—	—	3.701 ас.	219 ас.	76 ас.	5.555
1812—15	—	—	7.031	705	—	—	200	7.767	—	785	404
1816—20	—	—	16.161	899	0,2	4,9	147	8.040	642	1.107	15.945
1821—25	70	236	12.151	2.256	36	4,3	216	10.740	808	859	16.638
1826—30	103	432	12.424	6.348	25	2,7	294	10.142	847	1.733	16.683
1831—35	149	560	10.190	4.967	13	2,4	367	10.493	849	2.165	10.285
1836—40	320	589	13.989	4.461	7,7	2,8	273	10.766	1.301	3.576	10.870
1841—45	527	590	3.960 кр.	1.953 кр.	--	2,0	286	2.320 кр.	358 кр.	3.106 кр.	3.515 кр.
1846—50	1.115	351	3.882	2.373	1,4	4,7	398	1.713	492	2.917	2.549
1851—55	1.533	118	3.647	2.679	40	8,9	331	844	940 [1]	2.636	1.363
1856—60	2.421	217	7.170	3.399	1,3	22,3	516	1.254	2.069 [1]	2.559	3.599

[1]) Льняных, пеньковых и джутовых.

LVI. Общий вывоз из России и вывоз в Англию, в 1842—46 г.г.

(Из „Истории русск. торговли» И. М. Кулишера, стр. 269).

	Вывоз вообще:	В том числе в Англию.
Лен	3120 т. пуд.	2418
Пенька	2649 „ „	1852
Шерсть	709 „ „	232
Сало	3364 „ „	3018
Кожи	145 „ „	53
Щетина	74 „ „	45
Льняное семя	1097 т. четв.	530
Лес	2939 т. руб.	1353

Примечание 1. В 1756 г. английский импорт составлял меньше $^1/_3$ всего привоза Петербурга (963 т. р. 3,3 мил. руб.), тогда как вывозили англичане 70% всего вывоза. В 1794—1800 г.г. английский импорт, по Вирсту, равнялся в среднем 29% всего нашего привоза, вывоз же—64% всего вывоза. За первые 80 лет XVIII в. Англия уплатила России, по Зомбарту, 25 мил. фунт. стерл. звонкой монетой (см. у И. М. Кулишера, стр. 191 и 192).

Примечание 2. В 1-й половине XIX в. Англия сохранила в вывозе прежнее место: по Г. П. Небольсину, в вывозе (кроме хлеба) доля Англии в 1842—46 г.г. достигла 48%; кроме того, значительная часть товаров, вывозимых в прусские порты, направлялась затем, через Мемель, Кенигсберг и Данциг, в Великобританию; наконец, туда же попадал и русский хлеб, шедший чрез Данциг, Штетин, Геную и Константинополь (Там же, стр. 268 и 277).

LVII. Вывоз из России льна, пеньки, пакли, веревок и канатов в тысячах пудов, в I-ю пол. XIX в.

(Из книги С. О. Гулишамбарова: „Всемирная торговля в XIX в. и участие в ней России“. СПБ. 1898 г., стр. 21).

Годы.	Лен.	Пенька.	Пакля.	Канаты и веревка.
1801	1244	3395	341	343
1810	1240	2515	115	199
1820	1440	2429	186	148
1830	2309	2197	536	263
1840	2711	3073	709	290
1850	4308	2744	739	518
1860	3972	3147	646	645

Примечание 1. Слабое увеличение вывоза льна и канатов и остановка в вывозе пеньки и пакли об'ясняется как кон-

куренцией хлопка и металлич. канатов, так и появлением на мировом рынке новых аналогичных материалов растительного происхождения.

Примечание 2. В XVIII в. вывоз пеньки и льна вместе составлял в 1758—62 гг. 2,214,956 пуд. ежегодно
» » 1763—67 » 2,490,588 » »
» » 1793—95 » 3,062,387 » »

(М. Н. Покровский «Русская История» Т. III, стр. 140).

В отдельности вывоз льна в 1758—62 г.г. составлял в среднем 671 тыс. пуд., а пеньки уже в пол. XVIII в.—2 мил. пуд. (И. М. Кулишер: «История русской торговли». Птр. 1923 г., стр. 281).

LVIII. Преобладающая роль иностранцев во внешней торговле России.

(Из „Статистич. обозрения внешней торговли России", Г. П. Небольсина. Ч. II, СПБ. 1850 г., стр. 463—4).

Коренные русские купцы ведут свои коммерческие дела большей частью с портовыми комиссионными конторами, не производя заграничного торга на собственный счет. Они продают свои товары на эти конторы, чрез их посредство выписывают иностранные произведения, весьма немногие имеют прямые сношения с заграничными торговыми домами. Портовое купечество, состоящее большей частью из иностранцев, записавшихся в число русских подданных, и иностранных гостей, ограничивает круг своих действий преимущественно комиссионными делами, исполнением приказов заграничных домов на покупку русских товаров и выпиской иностранных произведений для русских купцов. При таком ходе нашей внешней торговли, она остается в зависимости от иностранцев.

«Виды Торговли» за 1847 год, отличавшийся необыкновенным вывозом хлеба из России, показывают, что от коренных русских купцов отправлено товаров заграницу в этом году только на три миллиона руб., тогда как весь отпуск по нашей европейской торговле простирался на 134 мил. руб. и что из иностранных товаров, коих привезено на 72 мил. руб., только девятая доля выписана коренными русскими купцами. В списке купцов, производивших торг при С.-Петербургском порте на сумму свыше 50.000 р. сер., находится не более двадцати русских фирм, чрез которые в этом году привезено и отпущено товаров на восемь милл. руб., а чрез английские, немецкие и другие иностранные фирмы на 94 мил. р. сер. В Риге и других остзейских портах хотя находятся также иностранные (большей частью английские) конторы, однако и местное купечество принимает немаловажное участие во внешней торговле. Напротив того, в Одессе, Таганроге и

других портах южной России, где купечество состоит большей частью из греков и итальянцев, нет ни одного коренного русского торгового дома, который имел бы прямые сношения с заграничными местами.

В руках русского купечества исключительно находится только меновая торговля с китайцами, к которой иностранцы не допускаются. Кяхтинский меновой торг составляет главнейшую отрасль нашей азиатской торговли, которой на других пунктах русские купцы мало занимаются, предоставляя ее армянам и татарам, равно как бухарцам, персиянам и другим азиатам, пользующимся у нас правом свободной торговли на главнейших ярмарках.

LIX. Развитие русского и иностранного судоходства в наших портах за 1802—1853 гг.

(Из книги И. Семенова: „Изучение историч. свед. о росс. внешн. торговле и промышленности", ч. III).

Годы.	Число судов.	Их вместимость в тысяч. ластов.	В том числе русс. судов.	Их вместимость в тысяч. ластов.
1802—04	7530	576	697	54
1814—15	7558	584	1866	158
1820—21	8023	637	1379	118
1824—26	7415	607	1199	82
1848—50	13202	1209	2110	193
1851—53	17752	1560	2202	178

Примечание. Число всех судов за полвека увеличилось в $2^1/_2$ раза, а тоннаж их в 3 раза; число же русских судов—лишь с $^1/_{11}$ до $^1/_8$, а их тоннаж с 9 до 11%, причем это явилось результатом присоединения финляндского торгового флота.

LX. Рост торговых оборотов в портах Балтийского моря, Черного с Азовским и Белого.

(Из «Сборника» В. И. Покровского, Т. I. стр. XXXV).

По росту вместимости судов заграничн. плавания:

	1802 г.	1850 г.
По Балт. м.	100%	152
Черн. и Азов.	100%	665
Бел.	100%	187

По числу судов:

	1802 г.	1850 г.
По Балт. м. . .	2768	3423
Черн. с Азов	706	2590
Белому . . .	236	547
	3710	6560

По вместимости судов в тоннах:

	1802 г.	1850 г.
По Балтийскому м.	418092	634002
Черному с Азовск. .	73204	487244
Белому	59976	112104
	551972	1.233.350

LXI. Таблица государственных доходов за 1680—1850 г.г.

(Из „Очерков по истории рус. культуры" П. Н. Милюкова, В. I, стр. 172).

Годы.	Прямые. Подворные, подушные.	Прямые. Промысловые.	Косвенные.	Регалии.	Госуд. имущ.	Пошлины.	Др. суммы.	ВСЕГО.
1680	0,494 (33,7%)	0,073 (5%)	0,650 (44,4%)	0,040 (2,7%)	0,073 (5%)	0,033 (2,3%)	0,100 (6,8%)	1462 тр.
1701	0,501 (11,3%)	0,065 (7,2%)	1.196 (40 4%)	0,791	0,065 (2.2%)	6,118 (4%)	0,135 (4,6%)	2955
1724	4.731 (53 5%)	0,255 (3%)	2,791 (32,7%)	0 233 (2,7%)	0,219 (2%)	0,150 (1,88%)	1.47 (2.7%)	8526 »
1764	9.121 (47%)	0,152 (0,8%)	8,182 (42,2%)	0,158 (0 8%)	0,152 (0,8%)	0 015 (0,08%)	1,624 (8%)	19408 »
1794	15.859 (30,6%	0,436 (1,1%)	19,014 (47,3%)	1,627 (4%)	0,604 (1.5%)		2,528 (6,3%)	
1825	32,604 (29%)	5,363 (4,7%)	22.596 (46,5%)	4.457 (3,9%)	2,712 (2,4%)	6,108 (5,4%)	9,204 (8,1%)	113044 »
1850	46,770 (23,7%)	3,789 (1,9%)	103,325 (5,6%)	14,039 (7,1%)	5,409 (2,7%)	13,628 (6,8%)	13.006 (6,5%)	193258 »

Примечание 1. Весь доходный бюджет крепостнической эпохи носил ярко выраженный феодальный характер. Он покоился в значительной своей части на подушной подати и косвенных налогах, падавших первый исключительно, а вторые преимущественно на плечи малоимущих народных масс.

Примечание 2. Цифровые данные приводятся в миллионах металлических рублей, кредитные, ассигнационные и золотые рубли переведены на серебряные по курсу соответствующего года: 1794 г. 1 р. ас.—71 к., 1801 г.—70 к., 1825 г.—70 к., 1825 г.—27 к. 1860 г. 1 р. кред.—98,8 к. Покупная или рыночная стоимость прежнего рубля сравнительно с нынешним не принята во внимание.

LXII. Таблица главных статей госуд. расхода по бюджетам 1680—1850 г.г.

(Из „Очерков по истории рус. культуры“ П. Н. Милюкова, В. I. изд. 5-е, стр. 152).

Годы.	Общ. итоги расходов.	Армия и флот.	Госуд. долг.	Двор.	Фин. и госуд. хоз.	Админ. и суд.	Нар. образ.
1680	1,5 м. р.	ок. 0,75 м. р. (50%)	—	0,22 (15%)	0,067 (4,5%)	0,02 (1,3%)	— —
1701	2,5	1,96 (78%)	—	0,11 (4%)	?	0,05 (2%)	0,004 (0,14%)
1725	9,1	5,97 (65%)	—	0,33 (3,7%)	0,89 (9,7%)	0,20 (2,2%)	0,027 (0,3%)
1764	19,4	8,72 (45%)	—	1,67 (9%)	4,96 (25,6%)	2,31 (12%)	0,029 (0,15%)
1794	49,1	22,65 (46%)	2,03 (4,5%)	4,27 (9%)	9,80 (20%)	5,53 (12%)	0,629 (1,28%)
1801	64,2	32,35 (50%)	6,74 (10,5%)	5,53 (10%)	ок. 27 (24%)	6,11 (9%)	0,739 (1,15%
1825	111,6	48,44 (43%)	15,32 (13,7%)	5,48 (5%)	ок. 27 (24%)	ок. 10 (7%)	0,522 (0,45%)
1850	284,5	119,50 (42%)	42,16 (15%)	ок. 10,75 (3,9%)	ок. 35,4 (12,4%)	— —	2,765 (1%)

LXIII. Дефициты в госуд. бюджете России за XVIII и первую половину XIX в.

Уже в течение XVIII века дефициты стали неизменным явлением в нашем государственном бюджете. Особенно они усилились при Екатерине II. За ее царствование (1762—96) всего доходов поступило до 1.415,000.000 руб.; истрачено же было до 1.615,000.000 р. Излишек расходов над доходами, достигавший 200 000.000 р., был покрыт выпуском ассигнаций в количестве 156.683.000 р. займами, из которых внешние достигли к 1796 г. суммы 33 073 000 р., а кроме того оставалось внутри государства разных неоплаченных долгов на 15.570.000 р. (См. Н. Д. Чечулин: „Очерки по истории финансов в царств. Ек. II“. СПБ., 1906 г., стр., 319).

При Павле I (1796—1801) ассигнаций прибавилось на 56.237.000 р., был заключен внешний голландский заем на сумму 88.300 000 гульденов, делались позаимствования из банков, так что к 1801 г. вся сумма внешних и внутренних долгов вместе с ассигнациями составляла около 408.394.000 р. (См. И. С. Блиох: „Финансы России XIX ст.“ СПБ., 1822 г., т. I, стр. 59), что равнялось более чем пятигодовому бюджету наших тогдашних доходов.

В конце царствования Александра I государственный долг состоял из следующих сумм: 1) ассигнаций в обращении находилось на

595.776.310 р.; 2) срочный внешний голл. долг составлял 46.600.000 гульд.; 3) срочные займы из различных учреждений достигли 17.255.617 р. сер.; 4) бессрочных долгов в 6 и 5% облигациях имелось на 146.539.211 р. с. (См. И. С. Блиох, op. cit, т. I, стр. 151). Это, при сумме государственных доходов в 1823 г. в 126 м. р., уже было почти полное банкротство, но об этом публика не знала: в отчетах мин. фин. Гурьева фигурировали иногда и „чистые остатки".

При Николае I дефицит продолжал неуклонно расти. В 1823-42 г.г. он определялся в 147 м. р., в 1843-52—в 405 м. р., наконец 1853-55 г.г. т. е. в эпоху Крымской войны,—уже в 538 м. р. Помимо повышения налогов приходилось снова обращаться к внешним займам, и так как заграница продолжала не особенно верить русскому правительству, к позаимствованиям из казенных банков и других учреждений, выпуску кредитных билетов и т. д. На 1-е янв. 1856 г. сумма всех долгов, внешних и внутренних, составила 533.273.782 р., да кредитн. билетов было выпущено в 1854 г.—58.964.276 р. и в 1855 г.—215.101.501 р. И это — при доходах в 1855 г. в 261.504 тыс. руб. (См. И. С. Блиох, op. cit, Т. II, стр. 20—21).

LXIV. Выпуски ассигнаций.

(Из «Истории росписей государственных доходов и расходов с 1844 по 1864 г.», Я. Н. Печерина. СПБ. 1898 г. стр. 236—7).

Годы:	Выпуск ассигнаций.	Сумма всех ассигнаций.	С.-Петербургский биржевой курс ассигнационного рубля на серебро.
1769	2.619.975	2.619.975	99 к.
1787	53.780.750	100.000.000	97
1796	7.703.640	157.703.640	79
1798	31.356.765	194.931.605	$62^1/_2$
1800	2.689.335	212.689.335	$66^1/_4$
1801	8.799.090	221.488.335	$71^2/_3$
1802	8.976.090	230.464.425	80
1803	19.535.575	250.000.000	$79^1/_3$
1804	10.658.550	260.648.550	77
1805	31.540.560	292.199.110	73
1806	27.040.850	319.239.960	$67^1/_2$
1807	63.089.545	382.329.505	$53^3/_4$
1808	95.039.075	477.368.580	$44^2/_3$
1809	55.832.720	533.291.300	$33^1/_3$
1810	46.172.580	579.373.880	$25^2/_5$
1811	2.020.520	581.394.400	$26^2/_5$
1812	64.500.000	645.894.400	$25^1/_5$
1813	103.440.000	749.334.400	$25^1/_5$
1814	48.791.500	798.125.900	20
1815	27.697.800	825.823.700	20
1816	5.600.000	831.423.700	$25^1/_3$
1817	4.576.300	836.000.000	$25^1/_6$

Примечание. С 1818 г. выпуск ассигнаций был прекращен и начато их постепенное уничтожение, продолжавшееся до 1823 г., в результате полученная сумма их сократилась до

595.776.310 руб., а курс в 1833 г. дошел до $27^1/_4$ к. В 1843 г. было приступлено к обмену ассигнаций, а также депозитных билетов и кредитных билетов сохранен казенных и заемного банка на государственные кредитные билеты в сумме 226.418.227 р.

В следующем году кредитные билеты выпускались лишь взамен поступавшего в Государственный банк золота и серебра, каковых поступило с 1843 г. до 1 января 1853 г. на сумму в 84.957.354 р. сер. Таким образом, к 1853 г. состояло в обращении кредитных билетов на сумму в 311.375.581 р., обеспеченную металлическим фондом в 146.794.898 р. сер., что составляло свыше 47% всей суммы обращавшихся кредитных билетов.

Крымская война вызвала новые колоссальные выпуски кредитных билетов. Так, в 1853 г. их было выпущено на 10 мил. р., в 1854 г.—почти на 59, в 1855 г.—на 215 и т. д., вследствие чего общая сумма их дошла к 1858 г. до 735 мил. р., обеспеченных всего лишь $141^1/_2$ мил. р. металлич. фонда. Понятно, что такие выпуски сопровождались новым падением курса бумажных денег. В 1851 г. кредитный рубль стоил $90^1/_2$ к. В 1861 г. сумма находившихся в обращении кредитных билетов несколько упала—до 713.596.178 р.,—но зато значительно уменьшился и металл. фонд, дойдя до 97.378.186 р. (И. И. Кауфман: „Из истории бумажных денег в России". СПБ. 1909 г., стр. 141—166).

LXV. Сумма таможенного дохода главных государств Европы и Америки.

(Из „Статистического обозрения внешней торговли России", Г. П. Небольсина. Ч. II, стр. 475—476).

	Пошлинный сбор р. сер.	На каждого жителя р. с.	к. с.
Великобритания (в 1845—47 г.) . .	131.280.000	ок. 4	
Соединенные Штаты (1844—45 г.) .	41.856.000	2	
Франция (1844—46 г.)	40.060.000	1	
Россия (1846—48 г.)	31.200.000		50
Германский таможенный союз (1846—47 г.)	25.230.000		90
Австрийская империя (1845—46 г.)	10.835.000		30
Испания	6.000.000		40
Дания	3.860.000	1	75
Швеция и Норвегия	3.450.000		75
Голландия	2.800.000		90
Португалия	2.700.000		80
Бельгия	2.670.000		60

Примечание. Должно заметить, впрочем, что многие иностранные товары, при высоких пошлинах, коими они были обложены, потреблялись у нас большей частью только городским населением, и поэтому пропорция налога, в виде таможенной

пошлины, платимого действительным потребителем, должна быть на самом деле гораздо выше той, какая показана на нашей таблице. Это замечение в меньшей мере относится к другим странам, где потребление иностранных товаров более распространено во всех слоях населения.

VII. Александр I и русский правительственный либерализм начала XIX века.

(Из статьи В. Сторожева, с тем же названием, помещенной в V т. сборника: „Три Века". М. 1912 г.).

Царствование императора Александра I началось событиями ночи с 11 на 12 марта 1801 г. и закончилось пушечной пальбой 14 декабря 1825 г. Между смертью Павла I и расстрелом декабристов есть глубокая внутренняя связь; но социальная подкладка явлений была глубоко различна: в XVIII в. только революция лиц; в XIX в. имеются налицо признаки революционности настроений. Еще современники мрачной ночи с 11 на 12 марта 1801 г. и даже непосредственные участники драмы в Михайловском замке открыто указывали на «безрассудность разрыва с Англией, благодаря которому нарушаются жизненные интересы страны и ее экономическое благосостояние». Во мраке упомянутой ночи впервые выдвинулась на политическую сцену фигура царя Александра, а на утренней заре появились обманчивые признаки либеральных надежд...

Начало XIX столетия является на европейском континенте ареной крупных событий. То было время, когда в разных формах пытались подвести итоги Великой революции, оперируя в значительной степени старыми средствами в изменившейся социально-экономической обстановке. Продолжая стоять так или иначе на политических основаниях, стремились двинуть в ту или другую сторону разрешение совершенно новых назревавших или назревших социально-экономических вопросов. И писатели, и правительство, которые вели политическую игру, все-таки не переставали вращаться в области последних, а тем или другим их решением, или обсуждением вступали в характерные течения, получившие прозвания реакции и либерализма. Именно с этого времени начинается та бесконечная и шумная игра терминами—реакция и либерализм,—игра, которая в конечном счете немало содействовала потемнению общественного сознания, прежде чем последнему удалось расстаться с ними и заговорить открытым и выразительно-ясным языком борьбы классовых интересов,— борьбы за социальное равенство и экономическую свободу. Либерализм сам по себе, как течение в сторону политической и религиозной свободы, как течение, преисполненное фразами о правде и законном порядке и порицаниями бесправия и произвола, везде равно был бессилен сам в себе и нигде не мог сделаться лозунгом народных масс, для кото-

рых хлеб всегда был и будет дороже самой блестящей по красоте либеральных идей фразы о народной свободе в тусклом освещени так называемого правового порядка. Учебник всеобщей истории, трактующий новое время, начинает изображение девятнадцатого столетия с заголовка—реакция и либерализм, связывая с этими терминами неоправдываемое в действительности решающее значение и различая их на самом деле формально, а не по существу. Между тем, эти термины настолько сбивчивы в своем различии, что не могут быть мерой оценки действительных явлений. Это замечание надо признать настолько бесспорным, насколько осязательно то, что в одном и том же лице могут мирно уживаться оба эти течения, и притом одновременно. В этом случае чрезвычайно ценным об'ектом для исторических наблюдений является российский либерализм начала XIX в.

В романтические дни первых мгновений царствования Александра к нему обратился с длинным и трескучим посланием дворянин В. Н. Каразин. Послание Каразина было найдено царем 22 марта 1801 г. на его рабочем столе в кабинете. Оставляя в стороне лирическую сторону послания, вылавливаем сущность Каразинского либерализма. Автор глубоко верит в творческую силу правительства: что оно захочет, то и сделает из нас. «Народы всегда будут то, чем угодно правительству, чтоб они были. Царь Иван Васильевич хотел иметь безответных рабов, с ним подлых, между собой жестокосердных: он имел их. Петр Первый желал видеть нас слепыми подражателями иностранным: к несчастью, мы с излишеством таковыми стали. Премудрая Екатерина начала образовывать россиян. Александр, любимец народа, довершит великое сие дело». Так как правительство все может, а Александр хочет благотворить отечество, то последнее безусловно верит, что царь продолжит и завершит образование россиян из сорока миллионов человек, «искони привыкших беспредельно чтить власть, вне которой они не могут представить себе блаженства; одного взора их помазанников часто довольно, чтоб разлить повсеместную радость, и, конечно, одного веления, чтоб устроить счастье, каковым только человек на земле наслаждаться может». Царь, конечно, окружает себя «сонмом мужей мудрых», но так как он единственный источник всего, единственная надежда, то автор не мог не «подвергнуть» этого послания перед царем, как «лепту вдовы в сокровищницу». Итак, царь раскроет напоследок великую ту книгу судьбы нашей и наших потомков, которую лишь указал перст Екатерины». Далее Каразин спешит раскрыть перед царем эту книгу судьбы нашей, которую нельзя здесь представить иначе, как в подлинных словах самого автора послания: всякий пересказ смыл бы колорит и краски эпохи. Александр, пишет Каразин, «даст нам непреложные законы, клятвою многочисленных племен своих подданных утвердит он их в роды родов, он скажет России: ее предел самодержавия моего и моих наследников, нерушимый вовеки... И Россия войдет, наконец, в число держав монархических, и железный своенравия скипетр не возможет сокрушить скрижалей ее завета». Столь сложное политическое преобразование, как смена самодержавной деспотии монархией, не может произойти сразу; медленность должна обусловиться тем, что царь «вопросит совета у мужей мудрых, счастливой для нас судьбой по-

ставленных близ его, и других, которых глас из отдаленнейших краев его государства истину поведать ему станет»... «Он положит единожды твердое основание государственному достоянию, изочтет богатства своих обширных владений, определит возможности и повинности подданных всякого состояния и скажет: «сим обязаны вы взаимно между собой, сим обязаны казне, сим обязаны престолу моему—ни более, ни менее, кроме чрезвычайных нужд государства». Не средства к новым на народ налогам велит он изобретать для бесконечного умножения доходов, но с благоволением примет те, кои клониться будут к уменьшению расходов...»

Политическая программа Каразина изложена здесь темно по внешности, но определенно и ясно по существу. Символически рисует автор образ конституционной монархии и не замечает, как резко впадает он в противоречие с самим собой: он исповедует абсолютную веру в абсолютное правительство и в то же время умоляет отставить самодержавие...

По вопросу социальному Каразин менее ясен: и своем послании царю он не идет далее смены рабовладения крепостным правом, отражая этим воззрения большого круга лиц, не исключая либерально-настроенных. Царь, пишет Каразин, „обеспечит существование помещичьих крестьян, поставив пределы их зависимости, и сим даст им средства вкушать иногда, в воздаяние трудов своих, сладость жизни, не прибегая к своеволию, питьям, оглушающим чувства, и другим приемам, свойственным отчаянию и неключимому рабству“. В области экономической политики Каразин рекомендует покровительственные приемы правительства, применительно к земледелию и промышленности...

Такова была дворянская программа Каразина. Либеральный царь, еще прежде чем прочитать эту программу, открыл целый поток указов и повелений, о которых, подобно Екатерине II в 1762 г., Александр I в 1801 г. мог бы сказать, что они единственно склонялись „к восстановлению всего того, что в государстве по сие время противу доброго порядка вкоренилося“. С исторической точки зрения прямо ценно перечислить все эти плоды либеральничанья тогдашнего правительства „по желанию всех наших верноподанных, а наипаче лейб-гвардии полков“, как выразилась бы чистосердечно императрица Елизавета. Вот этот характерный поток правительственных распоряжений:

14 марта 1801 г. снятие запрещения на вывоз разных продуктов и товаров из России.

15 марта: восстановление дворянских выборов и амнистия беглецам, укрывшимся в заграничных местах, с преданием забвению всех их вин, кроме смертоубийства.

16 марта: снятие запрещения на привоз в Россию разных товаров из чужих краев.

17 марта: отмена в губернских городах ратгаузов, а в уездных ордонансгаузов.

19 марта: предписание, чтобы полицейские чиновники отнюдь из границ своей должности не выходили, а „тем не менее не дерзали причинять никому никаких обид и притеснений“.

22 марта: о свободном пропуске едущих в Россию и от'езжающих из нее.

24 марта: отмена запрещения на вывоз за границу хлеба и вина.

31 марта: отмена запрещения ввозить из-за границы книги и музыкальные ноты; повеление распечатать частные типографии, закрытые указом 5 июня 1800 г., и дозволение им печатать книги и журналы.

2 апреля: распубликовано пять манифестов: о восстановлении жалованной грамоты дворянству; о восстановлении жалованной грамоты городам; о свободном пропуске российских произведений за границу и об оставлении сбора пошлин с них на прежнем основании; об улучшении участи преступников и о сложении казенных взысканий до 1000 руб.; об уничтожении Тайной экспедиции и о ведении дел, в ней производившихся, в Сенате, ибо в благоустроенном государстве «все преступления должны быть об'емлемы, судимы и наказуемы общей силой закона». В манифесте об уничтожении Тайной экспедиции сказано, что в благоустроенном государстве «все преступления должны быть об'емлемы, судимы и наказуемы общей силой закона». Надлежит поручить «единому действию закона охранение имени нашего и государственной целости от всех прикосновений невежества и злобы».

8 апреля: уничтожение виселиц, поставленных в городах при публичных местах, чтобы прибивать к ним имена провинившихся лиц.

22 мая: «священников и диаконов, в уголовные преступления впадших и судом обличенных, от телесного наказания освободить».

18 мая: генерал-прокурор А. А. Беклешов сообщил президенту Академии Наук указ, дабы «об'явление о продаже людей без земли ни от кого для припечатания в ведомостях принимаемо не было».

18 января 1802 г.: Военной коллегии об'явлено, чтобы «отныне впредь употребляемую комиссиями военных судов в некоторых приговорах речь, нещадно, касательно наказания, в приговорах не употреблять».

Приведенный перечень требует некоторых пояснений. В нем нет ни одной сколько-нибудь серьезной политической меры по существу. Все это меры, предпринятые в интересах дворянского хозяйственного и частью культурного благополучия. Дворянство устремилось, сколь можно шире, воспользоваться первыми днями Александровского царствования, пока еще не исчез тяжелый призрак ночи с 11 на 12 марта 1801 г. Для народа в ближайшем смысле этого слова, конечно, ничего не было сделано, да и не могло быть что-нибудь сделано при тогдашних условиях. Для дворянства и городов было восстановлено действие екатерининских грамот 1785 г. Рабовладение не могло лишиться своих ужасов только благодаря тому, что в академической газете не стали принимать об'явлений о продаже крестьян без земли; полиция не могла изменить своих традиционных отношений к обывателю только потому, что какой-то указ, забытый в день его распубликования, рекомендовал никому не причинять никаких обид и притеснений; неприкосновенность личности не получила реального бытия оттого, что теперь стало дозволительным выписать из-за границы ноты нового романса; уничтожение Тайной канцелярии было одним лицемерием,

ибо скоро (5 сентября 1805 г.) появился особый «Комитет для совещания по делам, относящимся к высшей полиции», который должен был иметь попечение «о сохранении общественного спокойствия и тишины», получать «немедленно и исправно сведения» о подозрительных людях и собраниях, о «разглашаемых в городе слухах и известиях, опасение и тревогу наводящих», а также «чрез сношения с дирекцией почт получать немедленные и верные сведения о подозрительных переписках». Комитет этот был учрежден совершенно секретно и по инструкции должен был действовать так, чтобы никто и не подозревал об его существовании. «Я желаю—сказал император Александр в 1805 г.,—чтоб учреждена была la haute police, которой мы еще не имеем и которая необходима в теперешних обстоятельствах». Указом Сенату от 13 января 1807 г. учреждение это было преобразовано в постоянный «Комитет охраны общей безопасности», в состав которого вошли князь П. В. Лопухин, П. Н. Новосильцев и А. С. Макаров, который был когда-то преемником Шешковского по Тайной экспедиции. Н. Н. Новосильцев был как раз сочинителем записки, положенной в основу учреждения, ведавшего политическую полицию. Комитет между прочим, должен был ведать такие дела:

1) О лицах, подозреваемых в переписке с неприятелем и зловредных разглашениях.

2) О разглашаемых слухах относительно восстановления Польши.

3) Возбуждение народа слухами о вольности крестьян.

4) О распространяющих в народе ложные и вредные слухи по поводу военных событий (иначе говоря, запрещалось интересоваться подробностями Аустерлицкого боя).

5) Составление и распространение возмутительных воззваний, вредных сочинений и проч.

6) О тайных обществах и запрещенных сходбищах.

7) О различных представляемых правительству проектах победы над неприятелем, расширения владений, открытия людей злонамеренных и проч.

8) О вредных книгах...

В те же романтические дни первых мгновений своего царствования Александр немедленно приступил к административным мероприятиям, излагая их языком, в котором чувствовался своего рода либерализм момента. Указом 30 марта 1801 г. был учрежден Непременный совет «для рассмотрения и уважения государственных дел и постановлений»; согласно наказу 5 апреля ему принадлежала одна только «сила соображения». Царь присутствовал в нем только один раз, 16 мая 1801 г., при рассуждениях о непродаже крепостных людей без земли. Уже Сперанский отметил, что «установление сие не достигло предположенной цели» и не стало своего рода источником законности. 5 июня того же года последовал новый указ: Сенату велено представить особый доклад о своих правах и обязанностях для утверждения оных силой закона на незыблемом основании, как государственный закон. Сенат должен был собрать и в докладе царю представить «все то, что составляет существенную должность, права и обязанность его, с отвержением всего того, что в отмену или ослабление оных доселе введено было»...

Печать не осталась глухой к словесно-либеральному акту 5 июня, и Шторх в периодическом сборнике, «Russland unter Alexander dem Ersten» рассказал о сильном впечатлении, произведенном этим актом на общественные верхушки. «Если,—писал Шторх,—нужно было достигнуть порядка в делах, правильности в действиях судов, если нужно было достигнуть законности в понятиях и представлениях народа, то первым условием для этого было именно смягчение самодержавия и приближение его к законно-монархической форме правления». И вот, по словам Шторха, Сенат вместо того, чтобы «ограничиться историческими об'яснениями о том, чем был до сих пор Сенат по существующим постановлениям и законам, это почтенное сословие, напротив, собрало политические мнения своих членов о том, чем Сенат мог быть собственно при новом порядке вещей, и в числе этих мнений находилось много таких, которые были весьма свободно высказаны и довольно близко подходили к основному источнику всех политических зол в России».

Иностранные наблюдатели (напр. Дюмон) открыто признавали, что в России нет людей для неуклонного проведения политической реформы, и от их взора порой ускользало прежде всего то, что сам Александр никогда не был способен на серьезную политическую реформу. Вигель не даром дал в своих записках такую характеристику Александра: «Родившись в России и никогда дотоле ее не покидавши, напитанный русским воздухом самодержавия, Александр любил свободу, как забаву ума. В этом отношении был он совершенно русский человек: в жилах его вместе с кровью текло властолюбие, умеряемое только леностью и беспечностью». «Император любил наружные формы свободы подобно тому, как увлекаются зрелищами; ему нравился призрак свободного правительства, и он хвастался им; но он домогался одних форм и наружного вида, не допуская обращения их в действительность,—одним словом, он охотно даровал бы свободу всему миру при том условии, чтобы все добровольно подчинились исключительно его воле». Тогдашние критики момента совершенно не понимали того, что в России начала XIX столетия совершенно не было почвы для каких-либо политических реформ, ибо не существовало класса, на который они могли бы опереться. Под либеральными фразами дельцов начала XIX века и англоманскими вкусами часто скрывалось не более тех истинных желаний, которыми пропитано было боярство, посадившее на московский престол князя Василия Шуйского, или попытки создать аристократию, скрытую от взоров нации верховной властью царя. 8 сентября 1802 г. было издано два указа, из коих одним учреждались восемь министерств и в сущности комитет министров, а другим устанавливалось расширение прав Сената. Говоря, что «власть Сената ограничивается единой властью императорского величества, иной же высшей власти он над собой не имеет», указ в особой статье представляет ему право ремонстрации, т. е. в данном случае право предоставлять царю о таких указах, которые в исполнении сопряжены с великими неудобствами, или несогласны с прочими узаконениями, или же неясны. «Введение в указ 8 сентября этой статьи, утвержденной не без некоторого колебания,—пишет Н. К. Шильдер,—имело в виду ограничить произвол министров,

имевших возможность испрашивать высочайшие повеления помимо Сената, нисколько не сообразуясь с существовавшими законами. Однако при всей скромности содержания этой статьи, она, на первых же порах, оказалась мертвой буквой. Александр, к удивлению ближайших своих сотрудников, не замедлил обнаружить полную нетерпимость к самому умеренному и законному проявлению самостоятельности взглядов этого верховного места в империи». Сенат в начале 1803 г. сделал попытку применить на практике указанную статью закона 8 сентября 1802 г., чем привел Александра в настоящую ярость, и статья погибла навсегда. Поступая, быть может, правильно с точки зрения общей политики, Александр в то же время попирал законы, им же самим установленные: указ 5—12 декабря 1801 г. появлялся вопреки манифесту 2 апреля 1801 г., по докладу министра, а осуществление права ремонстрации Сената произошло вопреки закону 8 сентября 1802 г. Тем не менее, самодержец не в силах был провести на практике указ 5—12 декабря 1801 г., встретив громкую оппозицию со стороны дворянства. Среди преувеличенно пышных фраз по адресу дворянства и Сената в указе 21 марта 1803 г. Сенату ставилось на вид, что он вмешался не в свое дело, и что известная статья указа 8 сентября 1802 г. могла бы касаться лишь законов, изданных до появления на свет означенного указа. Таков финал либерального закона. Равным образом министры в силу порядка своего назначения и положения при государе очень скоро сбросили с себя всякий верховный надзор Сената. 14 мая 1803 г. Александр призвал А. А. Аракчеева и назначил его инспектором всей артиллерии и командиром лейб-гвардии артиллерийского баталиона. Шильдер, военный генерал, историк эпохи Александра, с нескрываемым отрицанием отнесся к этому возвращению Аракчеева, усмотрев в нем окончательное поражение всех благих начинаний. За ним сравнительно скоро утвердилась «слава самоотверженного служения на более безопасном кровавом поле—на поле военных экзекуций». Безусловное презрение Александра к общественному мнению, быстро сдавшему в своей либеральной смелости, развертывалось во всю: 13 января 1808 г. граф Аракчеев был назначен военным министром. Это был решительно брошенный вызов армии и дворянству. Позднее, пишет Вигель, «на распростертый перед ним народ взглянул он (т. е. Александр) с досадным презрением, и не было слова его потом, не было действия, которое бы его не выражало». Об Аракчееве в обществе говорили, как о «людоеде». «Сначала,—продолжает Вигель,—был он употреблен им (т. е. Александром), как исправительная мера для артиллерии, потом как наказание всей армии, и под конец, как мщение всему русскому народу.

Подтверждение завоеванной у Швеции Финляндии ее конституции не примиряло общественного мнения с призрачностью либеральных начинаний Александра. Внутри государства продолжали жить одними надеждами, поток казавшихся либеральными указов не освежил страны, и дым пушечных выстрелов, возвещавших Петербургу Фридрихсгамский мир, сумел навсегда затмить попытку конституционной реформы по плану Сперанского... В октябре 1809 г. на столе императора Александра лежал этот п л а н в с е о б щ е г о г о с у д а р-

ственного образования, в котором автор писал: «Российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей и крайности обстоятельств, но благодетельному вдохновению верховной власти, которая, устроив политическое бытие своего народа, может и имеет все способы дать ему самые правильные формы». Сперанский с его проектами политической реформы, лишенной надлежащего социального подспорья, может быть назван правительственным либералом начала XIX века. «Гениальный секретарь» и «великий бюрократ» в течение всей своей политической карьеры превосходно отражал в своих писаниях все этапы, все интимные модуляции, через которые прошел тогда в России процесс правительственного либерализма. Если прочитать начальные строки так называемого пермского письма Сперанского императору Александру, то нетрудно будет признать их точно выражающими смысл падения Сперанского, осложненного чем-то чересчур личным в отношениях большого барина и слуги. «В самом начале царствования, — пишет Сперанский, — ваше императорское величество постановили себе правилом после толиких колебаний нашего правительства составить, наконец, твердое и на законах основанное положение, сообразное духу времени и степени просвещения, и следовать ему неуклонно. От сего единого начала постепенно возникали все главные учреждения ваши, — учреждения, кои по важности и пространству своему могли бы прославить самое долголетнее и деятельное царствование, если бы или люди были справедливее, или обстоятельства счастливее. Исполнители, коих ваше величество употребляли в сем деле, каждый попеременно, в свою очередь, были предметом зависти, клеветы и злословия в большей или меньшей степени. Сему и быть надлежало, когда ваше величество и сами нередко встречались с так называемым общим мнением,—коего привычка и страсти не терпели перемен в настоящем и страшились их еще в будущем. Не взирая на сие, через 12 лет ваше величество постоянно следовали сим путем. Менялись люди, изменялись планы; но главная мысль и намерение оставались непременными. До 1808 г. я был почти только зрителем и удаленным исполнителем сих преобразований; но мысли мои и сердце всегда следовали за ними. Когда в 1808 г. вашему величеству угодно было поручить мне через графа Кочубея, в начальстве коего я тогда служил, составить план преобразования судебных и правительственных мест в империи, я принял сие поручение с радостью и исполнил его с усердием. В конце 1808 г. после разных частных дел, ваше величество начали занимать меня постояннее предметами высшего управления, теснее знакомить с образом ваших мыслей, доставляя мне бумаги прежде к вам вошедшие, и нередко удостоивая провождать со мною целые вечера в чтении разных сочинений, к сему относящихся. Из всех сих упражнений, из стократных, может быть разговоров и рассуждений вашего величества надлежало, наконец, составить одно целое. Отсюда произошел план всеобщего государственного образования. В существе своем он не содержал ничего нового, но идеям, с 1801 г. занимавшим ваше внимание, дано в нем систематическое расположение. Весь разум сего плана состоял в том, чтобы посредством законов и установлений утвердить власть правительства на началах постоянных

и тем самым сообщить действию сея власти более правильности, достоинства и истинной силы. В течение слишком двух месяцев занимаясь почти ежедневно рассмотрением его, после многих перемен дополнений и исправлений, ваше величество положили, наконец, приводить его в действие. Блистательнее, может-быть, было бы все установления сего плана приготовить вдруг, открыть единовременно: тогда они явились бы все в своем размере и стройности и не произвели бы никакого в делах смешения. Но ваше величество предпочли твердость сему блеску и признали лучшим терпеть на время укоризну некоторого смешения, нежели все вокруг переменить, основавшись на одной теории. Сколько предусмотрение сие ни было основательно, но впоследствии оно сделалось источником ложных страхов и неправильных понятий. Не зная плана правительства, судили намерения его по отрывкам, порицали то, чего еще не знали, и, не видя точной цели и конца перемен, устрашились вредных уновлений». Из дальнейшей части письма видно, что император Александр, ссылая Сперанского, лично ставил ему в вину три пункта: 1) что финансовыми делами он старался расстроить государство, 2) привести налогами в ненависть правительство и 3) отзывы о правительстве. Справедливо не придавая значения этим пунктам обвинения, Сперанский с горестью пишет, что «сие жестокое предубеждение о связях моих с Францией, быв поддержано эпохой моего удаления (а паче в Пермь), составляет теперь самое важное и, могу сказать, единственное пятно моего в народе обвинения». Клевета и донос— вот орудия, путем которых, по мнению самого пострадавшего, он был низвергнут и брошен императором Александром. Но «отчего, спросят, доходили от разных лиц одни вести. Оттого, что сии разные лица составляли одно тело, а душа сего тела был тот самый, кто всему казался и теперь кажется посторонним». Чуть ли не это единственное место в письме Сперанского обратило на себя особенное внимание Александра I, позднее отославшего это письмо графу Аракчееву. Оправдательное письмо Сперанского превращалось под его острым пером в обвинительный акт императора Александра, который должен был теперь почувствовать правоту обвинений, а в свое время сожалеть, что нашел в Сперанском чересчур ревностного исполнителя своих пожеланий, предназначенных лишь для бойкой дворцовой беседы. Царь охотно прислушивался к тому, что было противно предначертаниям Сперанского. По словам Шильдера, царю нашептывали, что Сперанский хитро подкопался под самодержавие, и государь, в свою очередь, начал говорить, что он обязан самодержавие всецело передать своим наследникам, что учреждение министерства есть ошибка; он высказывал даже сожаление, что согласился на учреждение государственного совета и вообще стал как бы забывать, что Сперанский в своих преобразовательных проектах подчинялся самому царю.

Политическая роль Сперанского открылась «запиской об устройстве судебных и правительственных учреждений в России» в 1803 г., когда чрез министра внутренних дел Кочубея император Александр, немало мечтавший о приведении в порядок с формальной стороны устройства и управления империи, дал поручение Сперанскому составить соответственный проект. Проект был составлен, дошел до нас,

практического значения не имел никакого и, кажется, даже не был прочитан Александром. „Записка“ Сперанского интересна не тем, что она предлагает, а что она отражает. По ней легко можно судить о хаосе воззрений, которые приходилось об'единять Сперанскому; из нее видно, что тогда уже говорилось в сферах о конституции, но как будто были убеждены в том, что и без конституции можно привести в порядок империю, для чего надо сделать то-то в сфере полиции, то-то в сфере юстиции, да посравнить с иными порядками, которые зовутся конституционными. „Составив себе сей отвлеченный образец монархического управления,—пишет Сперанский,—надлежало определить, можно ли ввести его в России“. „Для сего должно было исследовать: 1) настоящий образ правления в России и ее конституцию; 2) показать несходство ее с образцом правления монархическим и невозможность его ввести; 3) установить свойства, какие должно иметь управление в России, чтобы оно было сколь можно близко к монархическим и невозможность; 4) установить свойства, какие должно иметь управление в России, чтобы оно было сколь можно близко к монархическому и не разрушало бы, однакоже, настоящего порядка“...

План 1809 года написан более резко и смело, чем записка 1803 г.; видно, что автор его чувствовал под своими ногами крепкую почву, а потому и осмелился писать вещи, которые могли причинить и в конце, а не только что в начале XIX века, весьма крупные неприятности. Пермское письмо Сперанского очень выразительно вскрывает именно эту сторону Плана и категорически подтверждает абсолютную „неблагонадежность“ последнего, возлагая вину за это исключительно на волю и повеления императора Александра...

Записка 1803 г. выражала глубокое убеждение в том, что Россия непременно придет к конституционно-монархическому строю, но что в настоящее время, т. е. в 1803 г., нет наличности реальных условий для политической реформы, а, стало быть, и без таковой возможно упорядочить управление и суд. Иначе смотрит на дело План 1809 г., оперируя теми же логическими и отвлеченными приемами. Автор исходит из понятия о благоустроенном государстве вообще: „во всяком благоустроенном государстве должны быть начала законодательства положительные, постоянные, неподвижные, с коими бы все другие законы могли быть соображаемы. Сии положительные начала суть коренные государственные законы. Три силы движут и управляют государством: сила законодательная, исполнительная и судная. Начало и источник сих сил в народе, ибо они ни что другое суть, как нравственные и физические силы в отношении к общежитию. Соединенное действие сих сил составляет державную власть“. Россия не есть государство благоустроенное; это—деспотия, в которой все подданные представляются рабами государя, а часть населения (крестьяне), и притом очень значительная, не имеет свободы располагать своей личностью, не имеет собственности, составляя рабов помещиков-дворян. Россия, как государство, представляет собой аномалию...

В 1803 г. полагали, что политическая реформа была бы неблаговременной; в 1809 г. утверждали, что такое время настало. В 1803 г. приводились свои мотивы в пользу несвоевременности; в 1809 г. подобраны были мотивы в пользу благовременности политической реформы,

которая должна направиться в сторону конституционной монархии. Ныне, т. е., в 1809 году, Россия „имеет прямое направление к свободе“, ряд признаков дает несомненное к тому показание. Сперанский, во-первых, усматривает перемену в предметах народного уважения. Правительство действовало когда-то на народное воображение при посредстве чинов и почестей. „Доколе сила воображения поддерживает их в надлежащей высоте, дотоле они сопровождаются уважением. Но как скоро по стечению обстоятельств сила сия их оставит, так скоро и уважение исчезает. Чины и почести в сем положении могут быть еще лестны, но в одном только том отношении, что они служат знаками доверия или милости; внутренняя же их очаровательная сила, впечатление на народ, мало-по-малу изглаждается и пропадает“, ибо „когда разум начинает распознавать цену свободы, он отметает с небрежением все детские, так сказать, игрушки, коими забавлялся он в своем младенчестве“. Второй признак Сперанский усматривает в ослаблении власти. „Если физическая власть, по его словам, осталась в прежнем положении, то моральная, без сомнения, весьма ослабела... С горестью, но с достоверностью можно сказать, что в настоящем положении все меры правительства, требующие не физического, но морального повиновения, не могут иметь действия... Образ мыслей настоящего времени в совершенной противоположности с образом правления“. Указания Сперанского на другие два признака еще характернее; он прибегает здесь к приему, который очень эффектно использован в Записке 1803 г., но для доказательства противоположного. Никакие частные исправления в старой системе теперь не признаются уже возможными. Так дальше жить нельзя, хочет сказать Сперанский... „Все жалуются на запутанность и смешение гражданских наших законов. Но каким образом можно исправить и установить их без твердых законов государственных. К чему законы, распределяющие собственность между частными людьми, когда собственность сия ни в каком предположении не имеет твердого основания. Жалуются на запутанность финансов. Но как устроить финансы там, где нет общего доверия, где нет публичного установления, порядок их охраняющего. Жалуются на медленность успехов просвещения и разных частей промышленности. Но где начало, их животворящее? К чему послужит народу просвещение? К тому только, чтобы яснее обозрел он всю горесть своего положения“. Что русская жизнь представляла собой тогда сплошную жалобу на все и на всех, в этом Сперанский, конечно, прав, но выводы, которые он отсюда делает, никуда не годятся. Всего яснее эта отвлеченность суждения и это классическое непонимание роли социально-экономической стороны сказываются при формулировке четвертого признака своевременности политической реформы,—реформы в том смысле, чтобы „правление, доселе самодержавное, постановить и учредить на непременяемом законе“. О какой конституционной монархии может итти речь, можно было бы спросить автора Плана, раз не поставлен ребром вопрос о немедленном крестьянском освобождении. Автор не замечал этих тисков дворянства и бюрократии, в которых была сжата верховная власть.

Почему Сперанский так яростно расписался в Плане на тему о своевременности для России политического освобождения и почти вовсе замолчал о необходимости уничтожить ныне же крестьянское рабовладение? Первое было приказано написать, о втором сам самодержец должен был молчать, и есть основание предположить, что Сперанский сознавал нелепость проектировать конституцию без крестьянского освобождения, а, стало-быть, лично он был ближе к формулировке 1803 года, вращаясь в заколдованном кругу; без крестьянской свободы не может быть конституции, без конституции не может быть упорядочения правления,—и он проектировал реформу правления без конституции и конституцию без крестьянского освобождения. План 1809 г. должен был отразить дворянско-помещичью Россию; поместное дворянство, достаточно обюрокраченное, безраздельно царит в Плане, который другие классы только терпит, как неизбежное зло. Социальный элемент плана 1809 г., представляя большой исторический интерес, превосходно отражает как пустоту тогдашнего политического либерализма, так и явственный деспотизм правящего класса. Как смотрит План на дворянство, видно из одного очень ценного замечания Сперанского, что „каждый дворянин, в существе своего состояния, представляет потомство тех родов, кои некогда обладали частию народа самодержавно и зависели от великих князей более словом, нежели делом". Сперанский конечно, прав, когда говорит о феодализме московской Руси, но понимание этого термина ему слабо дается, он забывает старое верстанье в дворяне из холопов и мужиков, он забывает возведение в потомственное дворянство любого под' ячего, или, как говорили когда-то, представителя крапивного семени, согласно Петровской табели о рангах. Происхождение дворянства он представляет себе неправильно, так же как и происхождение крестьянской крепости: для него это все разные оттенки юридической терминологии, не больше. „Крепостные люди, читаем в Плане 1809 г., вначале имели некоторую степень гражданских прав. Они могли иметь собственность и право перехода с одних земель на другие. Но впоследствии, по мере того, как от удельных владельцев права политические переходили и присоединялись ко власти державной, права гражданские сего последнего класса, как бы в вознаграждение первых, переходили к их помещикам и, наконец, разными обстоятельствами, особенно же системой составления военных наших сил, быв укреплены к земле, потеряли как личную, так и вещественную свободу". Что касается общественного класса купцов, мещан и проч., то, говорит Сперанский, он „основался переходом и постепенным освобождением из третьего". Едва ли следует говорить о фантастичности социальных построений Сперанского, это понятно само собой, но их необходимо подчеркнуть, так как его справки в области русской социальной истории всегда идут в дело при обрисовке проекта государственного преобразования. Рабы всегда и везде существовали и, по мнению Сперанского, в „самых республиках число их почти равнялось числу граждан, а участь их там была еще горше, нежели в монархиях". Итак, отчего же и не быть рабам в проектируемой конституционной монархии на восточно-европейской равнине. Возможность этого рабства тем более ясна Сперанскому, что он и не предполагает,

и даже не понимает равенства состояний, демократического равенства всех граждан; напротив, в его Плане 1809 г. намечен строго сословный строй с коренным различием людей в их правах и обязанностях. Рабство можно и должно потерпеть, хотя, снисходительно замечает План, не надо думать, чтобы „рабство гражданское было необходимо“ и „чтобы в России не могло оно уничтожиться, если приняты будут к тому действительные меры, но чтобы меры сии были действительны, они должны быть постепенны“. В Плане 1809 г. по вопросу о реформе социально-экономической видим ту же проповедь постепеновщины, какую видели по вопросу о реформе политической в записке 1803 г. Исторически вполне понятно, что легче установить призрак политической свободы, чем пробить брешь в стене социально-экономического рабства. План 1809 г., напротив, старательно занят тем, чтобы всячески оградить твердыню социально-экономического рабства от покушений бедняка. Это значило, что План выработал разнообразные конституционные детали в системе представительства и выборов, охраняя земельных собственников и поддерживая командующее значение этого класса. У Сперанского выходит все это и красиво и либерально. Он начинает с довольно спорных истин: „закон составляется в защиту лица и собственности... самое приобретение собственности в обыкновенном порядке предполагает разум и трудолюбие... в общем исчислении человек, имеющий собственность, по уважению собственных своих польз, более приемлет участия в доброте закона и более соединяет вероятностей к правильному его усмотрению, нежели человек без собственности или бобыль“. На этих спорных, но ходячих истинах построен вывод, что только собственники должны быть допущены к участию в правах политических. Беднота, в которой предполагается отсутствие разума и трудолюбия, не может иметь политических прав. План 1809 г. идет и дальше, он говорит: „сверх сего, есть в обществе положения, кои по образу жизни и воспитания не заставляют предполагать ни довольно разума, ни столько любочестия, чтобы допустить людей, их занимающих, к участию в составлении закона. Таковы суть состояния домашних слуг, ремесленных и рабочих людей и поденщиков, хотя бы они и имели собственность, в капиталах состоящую“. Тенденция понятна—первая роль в государстве должна принадлежать поместному дворянству: ведь у него только и могут быть и разум, и трудолюбие, и любочестие. По проекту Сперанского дворянство превращается в своего рода касту. Потомственному дворянину становится легче превратиться в личного дворянина, чем личному стать потомственным: личное дворянство не превращается в потомственное одним совершением службы; такое превращение может состояться лишь по особому пожалованию императора при условии особенных заслуг. Стоит какому-нибудь захудалому потомственному дворянину поступить в лакеи или дворецкие графа М. М. Сперанского, и он тем самым теряет принадлежность к дворянству вообще, ибо одна из статей Плана прямо говорит, что „вообще дворянство теряется вступлением в класс людей рабочих“. Любопытно, что План 1809 г. давал поместному дворянству все то, чего оно страстно домогалось, еще в половине XVIII в. План, подтверждая в пользу дворянства „особенное право приобретать недвижимые имения населенные“, говорил, что

„все свободные промыслы, дозволенные законом, открыты дворянству; оно может вступать в купечество и другие звания, не теряя своего состояния“ (кроме упомянутого выше случая вступления в класс людей рабочих). Статья Петровской табели о рангах, предоставлявшая права потомственного дворянства за выслугу, косвенно отменялась, взамен чего на дворянство возлагалась обязанность „непременно отправлять службу в гражданском или воинском звании не менее десяти лет по своему выбору, но без перехода, исключая случаев, особенным законом определенных“. В связи с указанной обязанностью в проект были введены особые статьи, которыми определялось, что „дети дворянина потомственного до совершения положенных лет службы суть дворяне личные“ и что „дети личных дворян суть люди среднего состояния“. Указанная черта проекта Сперанского обращает на себя, несомненно, значительное внимание, и она не могла не вызвать дворянской оппозиции, ибо дворянство очень дорожило своей так называемой „вольностью“, т. е. правом не служить и жить исключительно даровым трудом своих рабов. За этот принцип временно обязательной дворянской службы император Александр держался очень цепко, но провести его в действительную жизнь не смог. Включая в состав среднего состояния купцов, мещан, однодворцев и всех поселян, имеющих недвижимую собственность в известном количестве, План не предоставлял купцам права владеть населенными имениями,—права, которого купцы очень домогались в 1767—8 годах. Что касается „народа рабочего“, то о нем (потомственный дворянин, попадая в него, как видно из предыдущего, лишался всяких дворянских прав абсолютно) говорится в Плане 1809 г. только следующее:

1) Народ рабочий имеет общие права гражданские, но не имеет прав политических.

2) Переход из сего класса в следующий всеотверст, кто приобрел недвижимую собственность в известном количестве и исполнил повинности, коими обязан был по прежнему состоянию.

3) К классу рабочего народа причисляются все поместные крестьяне, мастеровые, их работники и домашние слуги. Проект предоставляет народу рабочему скромно желать политических прав и „надеяться от труда и промышленности“. Рабочих в собственном смысле План 1809 г. не упоминает, их и приходится косвенно включить в упомянутое третье состояние,—и весь либерализм Плана сводится к тому, что народу рабочему разрешается вообще только желать про себя, скромно ждать и надеяться. При этом Сперанский спешит освятить свои предложения авторитетом Запада: никто же в самом деле и на Западе не признавал, чтобы у рабочих были разум и трудолюбие. Любопытно, что о духовенстве, как особом состоянии, нет никакого упоминания в проекте Сперанского. План 1809 г. возвел прежде всего твердую и прочную стену государственного устройства из дворянства и бюрократии, бросив небольшую кость крупному капиталисту и оградившись от напора бедноты, рабов и рабочих лишением их всяких политических прав. Оставалось увенчать здание постоянством „органических коренных законов“, которыми были бы определены четыре установления: совет, законодательное сословие, сенат и

министерства с верховной властью императора во главе. Автор Плана 1809 г. признает, что „установления законодательные по существу своему требуют содействия многих лиц в суждении и единства в утверждении“ и что введение нового политического порядка требует и нового разделения империи, сообразуясь с расположением государственных сил. Предполагалось разделить империю на губернии и пять областей, которые, как отдельные части, по пространству и населению своему не могут войти в общий распорядок управления. Вот эти пять областей с особенным устройством: 1) Сибирь, 2) Астрахань и Кавказ с Грузией, 3) Оренбургский край, 4) Область войска Донского и 5) Новороссия. Вся остальная часть империи делится на губернии, каждая губерния—на округи, а округ—на волости. В непосредственной связи с этим делением и находится организация знаменитой государственной думы Плана Сперанского, долго стоявшей вне круга предметов, доступных для изучения ученому русскому историку. Обращаясь к государственной думе Сперанского, необходимо прежде всего припомнить основные принципы, какими он руководился в своем проекте, а именно: „Законодательное сословие должно быть так устроено, чтобы оно не могло совершать своих положений без державной власти, но чтобы мнения его были свободны и выражали бы собой мнение народное.—Сословие с у д е б н о е должно быть так образовано, чтобы в бытии своем оно зависело от свободного выбора, и один только надзор форм судебных и охранение общей безопасности принадлежали правительству.—Власть и с п о л н и т е л ь н а я должна быть вся исключительно вверена правительству; но поелику власть сия распоряжениями своими под видом исполнения законов не только могла бы обезобразить их, но и совсем уничтожить, то и должно поставить ее в ответственности власти законодательной“. Эти принципы, при неуклонном их применении, могли бы создать определенные конституционные формы. План 1809 г. предполагает, что государственная дума собирается „по коренному закону и б е з в с я к о г о с о з ы в а ежегодно в сентябре месяце“ и обсуждает дела по предложению „от имени державной власти одним из министров или членов государственного совета“, причем из сего исключаются: 1) представления о государственных нуждах, 2) представления об уклонениях от ответственности и 3) представления о мерах, нарушающих государственные коренные законы. Что касается так называемого роспуска государственной думы, то он производится актом державной власти в государственном совете. Этот акт мог или отсрочить заседания думы до следующего сентября, или уволить всех членов думы; в последнем случае тот же акт должен был означить новых членов, назначенных последними выборами губернских дум. Не входя в излишние подробности, остается показать, как выбирались депутаты в государственную думу. Процесс этих выборов является до чрезвычайности сложным и составляет весьма слабое место в Плане 1809 г. Необходимо прежде всего припомнить проект указанного выше разделения империи, тогда только этот сложный процесс может представиться несколько ясным.

1. „В каждом волостном городе или в главном волостном селении каждые три года из всех владельцев недвижимой собственности составляется собрание, под названием в о л о с т н о й д у м ы“. Волостная

дума выбирает депутатов в окружную думу (в количестве не больше двух третей всего числа землевладельцев) и составляет „список двадцати отличнейших обывателей, волость населяющих, хотя бы некоторые из них были в отсутствии".

II. „Из депутатов волостных дум каждые три года в окружном городе составляется собрание под именем думы окружной". Окружная дума выбирает депутатов в губернскую думу (в количестве, не превышающем двух третей окружной думы) и из списков, представленных от волостных дум, составляет список двадцати отличнейших обывателей округа, причем отсутствующие не исключаются.

III. „Из депутатов окружных дум составляется в губернском городе каждые три года собрание под именем губернской думы". Губернская дума выбирает членов в государственную думу из обоих состояний, политические права имеющих. Не следует при этом забывать, что все члены губернской думы непременно землевладельцы. Число членов, выбираемых в государственную думу, по каждой губернии назначается законом. Губернская дума также составляет список двадцати отличнейших в губернии обывателей по спискам окружным, не исключая и отсутствующих. Любопытно, что План называет членов думы не гражданами, а обывателями. Каждая из предшествующих дум последовательно представляет о местных общественных нуждах. Председатель губернской думы представляет на имя канцлера государственной думы, т. е. председателя государственной думы, списки членов, избранных в законодательное сословие, и отличнейших губернии обывателей вместе с представлением об общественных нуждах губернии.

Изложенный выше План 1809 г. никогда не был осуществлен в действительности, да и не мог быть осуществленным без коренной переработки, так как на многие необходимые вопросы он не давал никакого ответа. В его основаниях покоится, конечно, не мало заимствований из западно-европейского конституционного и литературного материала...

План 1809 г. в связи с целым рядом тогдашних условий подготовил падение Сперанского 17 марта 1812 г., когда он внезапно, после продолжительной беседы с императором Александром, был отправлен в ссылку и 23 сентября того же года прибыл в Пермь в сопровождении частного пристава. Если План 1809 г., с одной стороны, являлся превосходной уликой в политической неблагонадежности Сперанского, то, с другой,—он готовил ему положительную ненависть дворянства и духовенства. Последнее осталось вне политических прав, ибо План умолчал о самом его существовании. Первое, подобно Александру, могло бы сказать, что он хитро подкопался под самое его существование. Помимо обещания в отдаленном будущем отнять у него даровой труд рабов, План 1809 г. всех дворянских сыновей превращал в личных дворян, раз они не прошли устанавливаемой теперь десятилетней службы, вопреки жалованной грамоте 1785 г., а дети этих последних становились уже людьми среднего состояния. Это было логическим развитием мысли Александра I, но дворянство не простило бы Сперанскому подобного новшества...

Непрочность Сперанского, как лица, изображавшего в своих Записках и Планах словесные предначертания тогдашнего правительства, является не только результатом печальных свойств личности императора Александра, но прежде всего неустойчивости настроений правительства, его неподготовленности к реформам и полного отсутствия социальной среды, которая могла бы вынести на своих плечах политическую реформу...

Изложенным исчерпывается вопрос о правительственном либерализме начала XIX в., поскольку царь Александр и его сотрудники являлись выразителями этого либерализма. Ни по своей природе, ни по существу своих воззрений царь Александр никогда не был сколько-нибудь либералом в старом смысле этого слова, но, когда надо, он в совершенстве владел всей шумихой либеральных фраз в целях общественного гипноза. Будучи убежденным самодержцем, совершенно не понимая и принципиально отрицая роль конституционного монарха, он тяготился ролью дворянского царя, вследствие чего и не был сторонником исключительного развития дворянских прав, и если бы мог, резко сузил бы таковые. Мистицизм Александра I и противоречия всех его воззрений после 1812—1815 г.г. могут быть понятны только на этой почве его преклонения пред идеей величия самодержавия, для которого только и должны дышать не только страна и народ, но и вообще все страны и все народы.

VIII. Манифест Александра I от 30 августа 1814 г. по случаю окончания «войны за освобождение Европы».

(Из II т. «Записон» адм. Шишкова. Берлин).

Возвратное путешествие мое в Россию было без всяких особенных приключений. В Веймаре, где ожидали скорого прибытия государя, зашел я на короткое время к великой княгине Марии Павловне, и видел тут известного [1]) немецкого писателя Гете. Через несколько дней государь император на дороге обогнал меня; остановился и отдал мне для хранения некоторые бумаги. Потом приехал и я за ним в Петербург [2]). Вскоре по прибытии моем приказано мне было написать милостивый манифест, который изложил я следующим образом:

«Божией милостию, мы Александр Первый, и проч., об'являем всенародно:

«Долговременное отсутствие из отечественной страны наводило сердцу нашему тяжелую скорбь, которая при всех успехах и благополучных делах не переставала нам сопутствовать. Единое то служило нам утешением, что мы многотрудное и громоносное оружие свое не для тщетной славы толь далеко от пределов земли нашея несли, но как для ее собственной чести и безопасности, так и для спокойствия

[1]) В печатных записках, вместо известного стоит знаменитого.
[2]) Государь возвратился в Петербург 13-го июля.

всей Европы. Бог неизреченной своей милостию вознаградил наше терпение и труды. Он сокрушающуюся о чадах своих Россию обрадовал возвращением их в недра ее с миром и славой. Никогда не чувствовали мы толь великого блаженства, как при вступлении в пределы благословенной области нашей, куда несли мы сердце, исполненное любовью к достойному оной народу нашему, и где встречены были всеобщим усердием и радостью. Ныне хотя постановление и устроение дел в Европе для общего всех народов успокоения и требует отбытия нашего из России, но сие отбытие, уповаем на милость Божескую, будет уже не долговременное [1]) и с полным окончанием внешних дел возвратит нас к беспрепятственному попечению о внутреннем государства нашего благе. Между тем в ознаменование всех взаимных чувствований, на любви, благодарности и благополучии основанных, которые мы днесь вкушаем, и в сохранение памяти беспримерного единодушия и ревности, увенчанных от руки всевышнего столь знаменитыми происшествиями, возжелали мы учредить и постановить следующее:

«I. Для принесения всемогущему богу теплых и усердных молитв за избавление державы нашей от лютого и сильного врага, и в прославление в роды родов сего совершившегося над нами промысла и милости божией, постановляем мы ежегодное празднование в день Рождества Христова: о чем с подробнейшими об'яснениями дан будет святейшему синоду особый указ.

«II. Священнейшее духовенство наше, призывавшее пред алтарем всевышнего теплыми молитвами своими благословение божие на всероссийское оружие и воинство, и примерами благочестия ободрявшее народ к единодушию и твердости, в знак благоговения к вере и любви к отечеству, да носит на персях своих, начиная от верховного пастыря включительно до священника, нарочно учрежденный для сего крест с подписью 1812 года».

«III. Победоносное воинство наше, которого храбрость и прежде, даже и в самые отдаленнейшие времена, всему свету была известна, и которое ныне новыми подвигами не токмо отечество свое, но и всю Европу спасло, и удивило, да вкусит сладкую награду в душе и совести своей. Всякое иное возмездие не сравнится с делами его и доблестью. Но мы однакож, в знак памяти содеянного им великого происшествия, желаем ознаменовать оное особой учрежденной для него медалью с изображением на оной года и числа вступления в Париж. Також надеемся, что продолжение мира и тишины подаст нам способ не токмо содержание воинов привесть в лучшее и обильнейшее прежнего, но даже дать им оседлость и присоединить к ним их семейства» [2]).

---

[1]) Государь выехал в Вену на конгресс 1-го сентября 1814 и, вследствие неожиданно вновь возгоревшейся борьбы с Наполеоном, только 1-го декабря следующего года возвратился в свою столицу.

[2]) Под сим обещанием, несколько раз поправляемым, и наконец по точным словам государя императора написанным, разумелось военное поселение, тогда еще только в мыслях предначертываемое, и потом уже приведенное в исполнение. (Учредителем и первым главным начальником военных поселений был, как известно, гр. Аракчеев). Некто довольно долго живший здесь француз, в сочиненной им

«IV. Благородное дворянство наше, верная и крепкая ограда престола, ум и душа народа, издревле благочестивое, издревле храброе, издревле многократными опытами доказавшее ничем ненарушимую преданность и любовь к царю и отечеству, наипаче же ныне изявившее беспримерную ревность щедрым пожертвованием не токмо имуществ, но и самой крови и жизни своей да украсится бронзовою на владимирской ленте медалью с тем самым изображением, каковое находится уже на медали учрежденной на 1812 год. Сию бронзовую, крепости духа их сообразную медаль, да возложат на себя отцы или старейшины семейств, в которых, по смерти носивших оную, остается она в сохранении у потомков их, яко знак оказанных в сем году предками их незабвенных заслуг отечеству. Впрочем мы несомненно уверены, что хотя дворянство в необычайную нынешнюю войну сильно пострадало и претерпело великие убытки, но приобретенная им истинная и неувядаемая слава исцелит раны его, утешит в скорби, умножит еще более должную и справедливую гордость быть россиянином, и увеличит заботу и попечение его о благосостоянии вверенных ему богом и законами достойных любви его домочадцев; воздержность от роскоши, матери пороков, и хозяйственное домостроительство, источник изобилия, спокойствия и чистоты нравов, вознаградит сторицей все претерпенные расстройства и убытки.

«V. Именитое купечество, принимавшее во всеобщей ревности и рвении знатное участие, да приимет из уст наших благоволение и благодарность. В ознаменование же тех из них, которые принесли отличные и важные заслуги, повелим мы рассмотреть оные, и по представлении вознаградим их той же бронзовой, о каковой выше упомянуто, медалью на ленте ордена св. Анны.

«VI. Почтенное мещанство и крестьяне, которые трудолюбием своим извлекают из земли первоначальную для всех пищу, из среды коих исходит воин на защиту отечества, и которые в самое грозное время самолютейшей войны показали дух православия, верности и мужества, едва ли когда имевший пример в бытописаниях,—крестьяне, верный наш народ, да получит мзду свою от бога. Мы же, в отраду понесенных ими трудов и претерпений, извещаем, что как войски наши из запасов достаточно пополнены, так что состоит ныне в сугубом против того числе людей, в каком состояли при начале войны, то не только на нынешний год, но уповательно и на предбудущий, или более, останутся они без набора рекрут [1]). Между тем мы предполагаем и ожидаем несомненно, что они в наставшее после жестокой брани мирное и спокойное время, пребывая верны долгу и званию своему, умножат прилежание свое к сельским трудам и ремесленным промыслам, и тем исправят нанесенные неприятелем ра-

---

книге (L'Hermite en Russie), говорит о сем поселении следующее: «Rien ne me parait plus dissonannt que le mélange du bruit des armes et de la paix des champs. Labourer le matin et faire l'exercice le soir, passer subitement de l'etable au corps—de garde apprendre en même temps l'art de nourrir les hommes et l'art de les tuer. Voila de ces alliances que le coeur et la raison semblent repousser également. Je ne voudrais pas jurer que de tant d'efforts il ne resultât ni bons soldats ni braves laboureurs». Чуть не походило ли это на правду.

[1]) Но обстоятельства изменились, и, 12-го октября 1815 г., государь подписал в Париже указ о рекрутском наборе, по одному человеку с 500.

зорения. Господи, молю тя, да сбудутся с ними словеса пророка твоего Давида: бразды твоя упоятся и жита твоя умножатся; поля твоя исполнятся туна; овцы будут многоплодни и волове твои толсти; удолия умножат пшеницу, пустыни возвеселятся и холмы радостью препояшутся. Тако да взыщет их милость твоя. Со стороны же человеческого попечения и в удовлетворение всякой нужде и недостатку их, правительство о казенных крестьянах приложит старание доставлять им всевозможные пособия; чтож принадлежит до помещичьих крестьян, то мы уверены, что забота наша о их благосостоянии предупредится попечением о них господ их. Существующая издавна между ими, на обоюдной пользе основанная [1]) русским нравам и добродетелям свойственная связь, прежде и ныне многими опытами взаимного их друг к другу усердия и общей к отечеству любви ознаменованная, не оставляет в нас ни малого сомнения, что, с одной стороны, помещики отеческой о них, яко о чадах своих, заботой, а с другой, они, яко усердные домочадцы, исполнением сыновних обязанностей и долга, приведут себя в то счастливое состояние, в каком процветают добронравные и благополучные семейства.

«VII. Наконец, сколь ни велики были в толь огромную и тяжкую войну государствен. расходы, однакож мы при толико радостном и благополучном окончании дел не можем удержаться от поспешения изъявить народу нашему не исходящую никогда из мыслей наших готовность ко всевозможному тягостей его облегчению; почему и даруем ему разные льготы и милости в нижеследующих статьях состоящие» и проч. [2]).

(На подлинном подписано: Александр. Дан в С.-Петербурге, августа 30 дня 1814 года).

---

[1]) Слова сии были выпущены из манифеста, чему причину скажем мы ниже сего.

[2]) Мы не выписываем здесь сих статей, состоящих в числе осьмнадцати. Последняя из них заключается в следующих словах:

«Напоследок в главнейшем и почти всецелом числе верноподданных нам народов, к сожалению, находим мы некоторое, но к утешению весьма малое число заблудших людей, из которых иные от страха и угроз неприятельских, иные от соблазна и обольщений, иные же от развратных правов и худости сердца, забыв священный долг любви к отечеству и вообще к добродетели, пристали к неправой, богу и людям ненавистной стороне злонамеренного врага; сих, по мере вины их, правосудие долженствовало бы наказать; но мы, при толь благополучном и радостном всего света торжестве, уступая гласу вопиющего в нас милосердия, даруем им без всякого изъятия всеобщее прощение, вследствие которого повелеваем во всем пространстве области нашей всех по сим обстоятельствам взятых, сосланных, или иным каким образом задержанных, освободить; також имения или имущества их по сему случаю конфискованные или иным каким образом под надзор взятые и по сие время удерживаемые, попрежнему владельцам их возвратить, и все следствия над ними пресечь и никаких притязаний к ним не делать; словом, поставить их в то состояние, в каком находились они прежде, до впадения в сию вину, которую мы всемилостивейше прощаем и предаем забвению, в надежде, что сие преобеждение милосердия нашего над правосудием приведет их в полезное для них раскаяние, и что они впредь беспорочностью жизни своей изгладят из памяти людской те свои поступки, которые лишали их драгоценнейшего для человека преимущества, уважения благомыслящих людей».

По написании сего манифеста, неоднократно читал я оный государю, и всегда в присутствии графа Аракчеева, чего при прежних чтениях писанных мною бумаг никогда не бывало. При первом чтении, государь с некоторой суровостью спросил у меня: для чего дворянство поставил я выше воинства (ибо так сперва у меня было). Я отвечал, что дворянство есть первое государственное сословие, снабжающее войско из среды себя полководцами, военачальниками, ратниками, и словом всеми потребными силами; а потому яко целое, долженствует преимуществовать пред частью самого себя.—«Вот» сказал мне с насмешкой государь, «стану я равнять такого-то с таким-то» (Он назвал здесь два лица по именам).—На это отвечал я:—«Государь, сравнение двух частных лиц не дает справедливого заключения о двух сословиях, происходящих одно от другого».—Я хотел продолжать еще далее мои доводы, но государь, не слушая меня, повелительным голосом приказал мне статью о воинстве поставить выше статьи о дворянстве, и я, в первый раз увидя его гневного, принужден был замолчать. На другой день переписав бумагу, принес я к нему оную для подписания. Прочитал еще раз. Он взял перо, но вдруг остановился, оттолкнул от себя бумагу и сказал:—«Я не могу подписать того, что противно моей совести, и с чем я нимало не согласен».—Я с удивлением взглянул на него и, увидя, что он от досады весь покраснел, сказал ему с твердостью.—«Государь, вы нигде при чтениях моих не изволили сделать замечания вашего, и потому я не знаю, какое место или слова мои противны мнению и воле вашего величества».—Он указал мне на статью о помещиках и крестьянах, где о существующей между ими связи сказано: «на обоюдной пользе основанная». Выражение сие находил с мнением своим несогласным и несправедливым. Я хотел об'яснить ему, что всякая связь между людьми, из которых одни повелевают, а другие повинуются, на сем токмо основании нравственна и благотворна; что самая вера и законы предписывают сие правило, и что помещики, не наблюдающие оного, лишаются власти управлять своими подчиненными; но он, не допустив меня ни до каких об'яснений, вычернил одно только сие выражение, оставя все прочее, тож самое подтверждающее, и отдал мне назад бумагу для переписания [1]). По выходе моем от него, не мог я удержаться, чтоб графу Аракчееву, соблюдавшему во все сии споры

По приезде моем в Петербург, граф Аракчеев, между прочими бумагами, содержащими в себе сии статьи для внесения их в милостивый манифест, отдал мне особую бумагу, написанную, как он сказывал, Чарторижским, о всепрощении тех, кои в бывших польских провинциях, изменяя нам, предались Наполеону. Аракчеев отдал мне оную с тем, чтоб я поднес ее для подписания государю, сказывая, что он уже утвердил ее, и только не успел подписать. Бумага сия показалась мне слишком милостивой, или лучше сказать потакающей преступникам, без всяких должных укоризн и увещаний, и даже доставляющей им некоторые выгоды, каких они прежде не имели. Я не поднес сей особой бумаги к подписанию и только доложил государю, что она при сей общей статье уже более не нужна.

[1]) Сие несчастное в государе предубеждение, против крепостного в России права, против дворянства, и против всего прежнего устройства и порядка, внушено в него было находившимся при нем французом Лагарпом и другими окружавшими его молодыми людьми, воспитанниками французов, отвращающих глаза и сердце свое от одежды, от языка, от нравов, и словом от всего русского.

глубокое молчание, не сказать:—«Я думаю, ваше сиятельство находите меня правы, и если бы государю угодно было выслушать меня без гнева, то я уверен, что и он согласился бы со мной».—На это граф ни слова не отвечал мне, и мы расстались без всяких других об'яснений.

IX. Декабристы.

(Из III т. „Русской Истории", М. Н. Покровского).

Падение Сперанского означало, казалось, крушение всех «либеральных» проектов Александра Павловича. А так как проекты шли сверху, общество, исключая придворные круги, о них почти не знало — и уже поэтому должно было относиться к ним безразлично, то, казалось бы, и «общественному движению» должен был наступить конец. На самом деле именно 1812 год явился исходным моментом настоящего общественного движения, отнюдь не вызванного поощрением сверху — и даже по отношению к этому верху все более и более враждебного. Масса среднего дворянства, которую Строганов так презирал, а Сперанский собирался использовать в качестве политических статистов, вдруг выступила на сцену с явной претензией — играть на этой сцене одну из первых ролей. Якушкин с этой даты начинает свои записки. «Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ попрежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства, жители при приближении французов, удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не, по распоряжению начальства, выступило все народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге, направо и налево, поле было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла». В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле». Дело, конечно, не в об'ективной верности этой характеристики двенадцатого года. Более детальные рассказы о войне, идущие даже от самих декабристов, совершенно разрушают романтическую картину — народа, как один человек поднявшегося на защиту своей родины. Когда Александр Павлович спросил вернувшегося из-под сожженной Москвы Волконского, как ведет себя дворянство, тот класс, из рядов которого вышли и Якушкин, и Волконский, и все их товарищи, — будущий декабрист должен был ответить: «Государь, стыжусь, что я принадлежу к нему: было много слов, а на деле ничего». Он пробовал утешить Александра настроением крестьян: но даже из такого архишовинистического источника, как растопчинские афишки, можно узнать; что крестьяне занятых неприятелем уездов, вместо французов, сводили нередко счеты со своими господами, пользуясь тем, что ни полиции, ни

войск для «усмирения» у последних не было теперь под руками. Что Москва была сожжена не жителями, действовавшими в припадке патриотического усердия, а полицией, исполнявшей приказание того же Растопчина, что французская армия пала жертвой не народного восстания, а недостатков собственной организации — и поскольку она не была дезорганизована (так именно было с императорской гвардией), к ней до конца не смели подойти не только партизаны, но и регулярные русские войска: все это факты слишком элементарные и слишком хорошо известные, чтобы о них стоило здесь распространяться. Но повторяем, для нас важна не об'ективная, а суб'ективная сторона дела: так именно чувствовали будущие декабристы — и если мы хотим понять их настроение, мы не можем обойти двенадцатого года. Якушкин вовсе не какое-нибудь исключение. Ал. Бестужев (Марлинский) писал императору Николаю из крепости: «Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России. Правительство само произнесло слова: свобода, освобождение. Само рассевало сочинения о злоупотреблении неограниченной власти Наполеона». Нужно прибавить, что декабристы не принадлежали к людям, которые задним числом говорят патриотические фразы: они делали то, о чем говорили. Редкий из них не был сам одним из участников похода. Никита Муравьев, будущий автор конституции, которому мать не позволяла поступить в военную службу, тайком бежал из родительского дома и пешком отправился отыскивать армию; его арестовали и едва не расстреляли, как шпиона — его спасло вмешательство Растопчина, знавшего семью. Муравьеву было тогда 16 лет. Декабрист Штейнгель уже совсем не юношей с семьей приехал в Петербург искать места — и очутился офицером петербургского ополчения, с которым и сделал заграничный поход, вместо того, чтобы служить по министерству внутренних дел, как собирался сначала.

Национализм не в одной России явился первичной, зачаточной формой политического сознания: почти всюду в Европе — исключая Франции и Англии — дело начиналось с того же. В Германии, особенно в Италии и Испании, носителями либеральных идей являлись бывшие участники «освободительной» войны: и первые революционные движения 20-х годов почти всюду принимали форму военного востания, как наше 14 декабря. На этой профессиональной стороне движения (вторая общая черта декабристов и «Русских рыцарей», которые все были из военной среды) стоит немного остановиться — она мало, обыкновенно, обращала на себя внимания, а между тем политическое значение ее было большое. Прежде всего, ею об'ясняются организационные особенности русских тайных обществ. Современному читателю, представляющему себе военное восстание, как часть демократической революции, оно рисуется, прежде всего, в образе восстания солдат — без офицеров и даже, в случае надобности, против офицеров. Это — точка зрения демократически совершенно правильная и понятная, но вовсе не военная: для военного армия есть прежде всего офицерство; солдаты без офицеров — толпа, а не армия, — скажет вам всякий военный. «Общество имело желание как можно больше начальников в войсках

обратить к своей цели и принять в свой союз, особенно полковых командиров», говорит в своих показаниях Пестель, «предоставляя каждому из них действовать в своем полку, как сам наилучше найдет; желало также и прочих начальников в общество приобрести: генералов, штаб-офицеров, ротных командиров». Неудачу дела на Сенатской площади многие участники приписывали тому, что там не было «густых эполет»: и неспособный князь Трубецкой сделался «диктатором» главным образом потому, что он был в военной иерархии старшим из наличных в Петербурге членов общества. Затем, на программе декабристов влияние профессиональных интересов тоже сказалось достаточно сильно. Из пятнадцати пунктов, намеченных Трубецким для манифеста 14 декабря — записку Трубецкого приходится считать как бы за равнодействующую всех отдельных мнений, за тот минимум, на котором все сходились, — три прямо касаются армии и два косвенно. В воспоминаниях отдельных участников заговора военные преобразования еще более выступают на передний план. В программе «Союза Благоденствия», как ее запомнил Александр Муравьев (брат Никиты, автора конституции) [1]), из 10 пунктов армии посвящена почти половина; сравнивая эти пункты с запиской Трубецкого, можно заметить, как эволюционировали в этом вопросе взгляды декабристов: в проекте «манифеста» имеется уже уничтожение рекрутчины и всеобщая воинская повинность, — муравьевские пункты не идут дальше сокращения срока военной службы и неопределенного «улучшения участи защитников отечества». Но обе программы твердо стоят на одной подробности: уничтожении военных поселений. И это как раз вопрос, где, с одной стороны, профессиональная сторона тайных обществ выступает особенно ярко, а с другой — дело чисто военное приобретает крупное политическое значение. Военные поселения, как известно, официально были попыткой заменить рекрутчину натуральной воинской повинностью известного разряда населения: часть государственных крестьян должна была отбывать военную службу совершенно на тех же началах, на каких господские крестьяне отбывали барщину. При этом «военные поселяне» не переставали быть крестьянами: оставались в своих деревнях и обрабатывали землю — совершенно опять-таки так же, как прокармливали себя своим трудом барщинные мужики. Это перенесение в военную область модного среди тогдашних помещиков увлечения барщиной само по себе чрезвычайно характерно, — тем более, что оно сопровождалось попытками «организовать» хозяйство военных поселян с тою точностью регламентации, какою проникнуты проекты Удолова, Швиткова и других прожекторов конца XVIII и начала XIX веков, труды которых печатались в записках Вольного Экономического Общества. Но у дела была и другая сторона, еще более характерная, но уже политически. Военные поселения возникают в очень любопытный момент александровского царствования: в 1810 году, когда, с одной стороны, война с Наполеоном была почти решена, с другой — Александр Павлович искал путей сближения со своим дворянством. Уничтожение

---

[1]) Его не следует смешивать с упоминавшимся выше Александром Николаевичем Муравьевым, впоследствии нижегородским губернатором в конце 50-х годов, известным по участию в реформе 19 февраля.

рекрутчины было бы как нельзя более приятно этому последнему: как ни старались помещики сбывать в солдаты наименее ценную часть своей живой собственности, все же рекрутчина, особенно усиленная перед войной, отнимала много рабочих рук, так ценных теперь в барщинном имении. «Военные поселения», напротив, падали всею своей тяжестью на казенных крестьян, почти не затрагивая помещичьих [1]). В то же время, при ужасающем падении курса ассигнаций, перевод армии на довольствие натурой — притом трудами самих солдат — сулил самые радужные финансовые перспективы. Варварская прямолинейность, с которой из мирного казенного мужика выбивали исправного фронтового солдата, давала достаточный повод для общественного негодования против гуманного нововведения императора Александра (он очень им гордился именно с этой стороны) [2]). Но, вчитываясь в отзывы декабристов, вы чувствуете, что к этому одному поводу дело далеко не сводилось. Жестоко было барщинное хозяйство вообще и всюду — штатское или военное, безразлично; но мы напрасно стали бы искать у членов тайных обществ такого личного отношения к барщине, какое слишком явственно звучит, когда дело касается военных поселений. Трубецкой и Якушкин почти одними и теми же словами характеризуют политические последствия военной барщины: по мнению первого, поселения составят в государстве «особую касту, которая, не имея с народом почти ничего общего, может сделаться орудием его угнетения». «Известно, что военные поселения со временем должны были составить посередь России полосу с севера на юг и совместить в себе штаб-квартиру всех конных и пеших полков», пишет второй, — «при окончательном устройстве военных поселений, они неминуемо должны были образоваться в военную касту с оружием в руках и не имеющую ничего общего с остальным народонаселением России». В военных поселениях декабристы провидели зародыш опричины и, кажется, они не были совсем не правы. Развитие политического радикализма именно в военной среде должно было настраивать верхи очень подозрительно по отношению к прежней армии. «Солдат доволен, но нельзя того же сказать об офицерах, которые раздражены походом против неаполитанцев», писал в начале 20-х годов кн. Васильчиков, командир гвардейского корпуса, когда предполагалось двинуть русские войска для усмирения революции, вспыхнувшей на Аппенинском полуострове. «Вы можете поэтому судить, как распространились у нас либеральные идеи. Не отвечайте мне на это избитой фразой: «заставьте их молчать». Число говорунов слишком велико».

Как видим, русскому офицерству было чего опасаться от Александра Павловича — прежде всего, как офицерству. Но мы, конечно, очень ошиблись бы, если бы свели его программу к отстаиванию профессиональных интересов: тогда дело не пошло бы дальше тех мелких гвардейских вспышек, с которыми приходилось бороться Екатерине II. Армия была только более оппозиционно настроена, чем другие обще-

---

[1]) Некоторые мелкие имения были экспроприированы на устройство военных поселений—и это уже вызывало ропот.

[2]) При введении военных поселений в Чугуевском уезде, например, было, по весьма точным показаниям, засечено на смерть несколько десятков человек.

ственные круги: но оппозиционное настроение было очень широко распространено во всех кругах, не считая самый верхний слой, «знать», где Мамоновы, Орловы и Волконские являлись резким исключением, и самый нижний, крепостное крестьянство, где ни на минуту не прекращалось брожение, но не имевшее ничего общего с конституционными или республиканскими проектами. Выразителем взглядов дворянской интеллигенции второго десятилетия XIX века был «Дух журналов» или «собрание всего, что есть лучшего и любопытнейшего во всех других журналах по части истории, политики, государственного хозяйства, литературы, разных искусств, сельского домоводства и пр.». Этот талантливейший журнал того времени дает самую типичную амальгаму национализма, либерализма и крепостничества, какую только можно себе представить. В нем помещались переводы заграничных конституций и статьи «о пользе представительного правления», написанные со смелостью, которую русской периодической печати пришлось потом забыть чуть не на сто лет. Раз'яснялись чрезвычайно убедительно выгоды, какие англичане получают от своего парламента — и в то же время доказывалось, что «англичанин едва может пропитать свою душу, евши вполсыта печеный картофель, а русский в сытость и ест, и пьет, и веселится иногда... У нас нет изящных, чудных рукоделий, но почти нет нищих; народ живет в довольстве вообще, а не частно». С большим жаром развивалась мысль о вреде «батрачества», т. е. пролетариата, и в то же время делался совет: «мужиков своих, даже самых богатых, не пускать в оброк», а вести исключительно барщинное хозяйство. То внутренне-противоречивое существо, которое представлял собой русский помещик до 70-х почти годов XIX столетия — европейский буржуа, с одной стороны, азиатский феодал — с другой, уже народилось на свет ко второму десятилетию александровского царствования. Противоречия не получалось, если взять этот тип в его экономической основе: новое крепостное хозяйство уже нельзя было вести без капитала и не приспособляясь к условиям рынка. «Капиталы, капиталы, капиталы — вот те волшебные силы, которые и самую дикую пустыню превращают в рай», восклицал «Дух журналов», отстаивая в то же время свободу торговли всей силой авторитета тогдашней экономической науки, с которою он же и знакомил своих читателей, помещая у себя переводы Сэ, Бентама, Сисмонди и других. А свобода торговли, не даром сказано, была корнем всех буржуазных свобод — и, ведя борьбу с «игом Наполеона», русское дворянство вело, в сущности, борьбу именно за этот корень всех свобод, ибо экономическим воплощением «ига» была континентальная блокада. Но свобода торговли была нужна русскому помещику затем, чтобы сбывать при наиболее выгодных условиях продукты крепостного хозяйства — последовательное же развитие буржуазного принципа уничтожило самую основу этого хозяйства, подневольный труд. Правда, у отдельных помещиков даже того времени мелькала уже мысль о возможности, даже желательности замены вне-экономического принуждения экономическим; образчиком их был декабрист Якушкин. Приехав в свою деревню, Смоленской губернии, он нашел, что его крестьяне «трудились и на себя, и на барина, никогда не напрягая сил своих. Надо было придумать способ возбудить в них деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться». Способ этот, по мнению Якуш-

кина, заключался в том, чтобы поставить крестьян «в совершенно независимое положение от помещика». Эту «совершенную независимость» он понимал так: крестьяне получали в «совершенное и полное владение свою движимость, дома, усадьбу и выгон». «Остальную же всю землю», т. е. всю пахоту, Якушкин оставлял себе, «предлагая половину обрабатывать наемными людьми, а другую половину отдавать в наем своим крестьянам». Крепостного мужика предполагалось, таким образом, разложить на «вольного» батрака, в одну сторону, и подневольного арендатора помещичьей земли — в другую, комбинация, столь хорошо знакомая русской деревне теперь, что для современного читателя нет надобности распространяться о ней подробно. Якушкину принадлежит несомненная честь — предусмотреть новейшие формы эксплуатации крестьянства слишком за поколение вперед. Как все новаторы, он должен был терпеть от тупости и непонимания окружающих. От министра внутренних дел Кочубея (одного из «молодых друзей» в свое время), он должен был выслушать колкость: «я нисколько не сомневаюсь в добросовестности ваших намерений», сказал Якушкину министр: «но если допустить способ, вами предлагаемый, то другие могут воспользоваться им, чтобы избавиться от обязанности относительно своих крестьян». Но всего больше огорчили его сами крестьяне. Желая узнать, «ценят» ли они оказываемое им благодеяние, Якушкин «собрал их и долго с ними толковал». «Они», рассказывает он, «слушали меня со вниманием и, наконец, спросили: «земля, которою мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет». Я им отвечал, что земля будет принадлежать мне, но что они властны будут ее нанимать у меня. — «Ну так, батюшка, оставайся все по старому; мы ваши, а земля наша». Напрасно я старался им об'яснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение». Впоследствии Якушкин сам понял, что его проект совершенной экспроприации крестьян является слишком европейским, чтобы его можно было осуществить в условиях грубой русской действительности, и опять опережая свой век на целое поколение, своим умом додумался до истинно-русской формы ликвидации крепостного права — той самой формы, которая была осуществлена реформой 19 февраля: продажи крестьянам их собственной земли за деньги. Перед 1825 годом он «пристально занялся сельским хозяйством и часть своих полей уже обрабатывал наемными людьми. Я мог надеяться, что при улучшении состояния моих крестьян, они скоро найдут мне возможность платить оброк, часть которого ежегодно учитывалась бы на покупку той земли, какою они пользовались»... Ссылка Якушкина прервала этот эксперимент — не менее интересный, чем все конституционные проекты декабристов.

При сколько-нибудь об'ективном отношении литературы к предмету, одного этого эпизода было бы достаточно, чтобы положить конец всяким разговорам о «внеклассовых» добродетелях декабристов, из одной чистой любви к человечеству стремившихся освободить несчастного, задавленного крепостным правом мужика. Александровские радикальные офицеры были, прежде всего, помещики, и классовых интересов не забывали, даже мечтая о русской республике. Идеалом Никиты Муравьева были Соединенные Штаты — императора он оставлял только, можно сказать, для одного приличия, лишая его всякой реальной вла-

сти, но в первоначальном проекте своей конституции он не забывает оговорить, что при освобождении крестьян «земли помещиков остаются за ними». В окончательной редакции этот пункт звучал уже иначе: «крепостное состояние отменяется. Помещичьи крестьяне получают в свою собственность дворы, в которых они живут, скот и земледельческие орудия, в оных находящиеся, и по две десятины земли на каждый двор для оседлости их. Земли же они обрабатывают по договорам обоюдным, которые они заключают с владельцами оных». Если Якушкин придумал и даже — насколько это было в средствах частного лица — начал осуществлять проект выкупной операции, то Никите Муравьеву принадлежит честь такого же изобретения дарственного (иначе нищенского) надела.

Если мы примем в расчет, что Якушкин и Н. Муравьев представляли собою крайнюю левую дворянского оппозиционного движения, нас не удивит, что в проекте манифеста, окончательно резюмирующем пожелании тайных обществ, набросанном Трубецким, крестьянский вопрос упомянут лишь очень глухо, при чем намеренно взят только с юридической стороны: манифест говорит об «уничтожении права собственности на людей». Напротив, мы будем удивлены, что в общем этот манифест должен был носить весьма «буржуазный» характер: мы в нем находим и свободу печати (п. 3-й), и предоставление лицам всех состояний свободного отправления богослужения» (п. 4-й: не свободу совести, однако!), и равенство всех сословий перед законом (п. 6-й: но все же не уничтожение сословного строя), и отмену подушной подати (п. 9-й) и уничтожение соляной и винной монополии, наконец, гласный суд с присяжными (п.п. 14-й и 15-й).

Эта программа, вероятно, уже напомнившая читателю схему реформ 60-х годов, логически дополняется тем, что мы знаем о проектировавшейся декабристами организации народного представительства. В «манифесте» и этот вопрос формулирован в самых общих чертах (п. 2-й «учреждение временного правления до установления постоянного выборного»). Но в конституции Н. Муравьева, с которой никто не соглашался, но которая одна представляла собою нечто законченное, было последовательно проведено начало имущественного ценза. Правда, сословное начало в замаскированном виде имелось и здесь: земельный ценз был вдвое ниже ценза для движимого имущества, крестьяне вообще имели в 500 раз меньше избирательных прав, чем не крестьяне (один «избиратель» на 500 душ), в частности же, бывшие крепостные вовсе не получали политических прав; но если мы примем в соображение, что в тогдашней Европе, не исключая и Англии, классы населения, соответствовавшие нашему крестьянству, не входили в состав цензовых граждан, мы должны будем признать, что конституция декабристов была менее резко помещичьей, чем можно было бы ожидать. Вместе с проектом Сперанского ее приходится поставить в разряд буржуазных конституций. Ближайшим образом и там, и здесь это об'ясняется литературными влияниями — сочинениями западных публицистов, по которым учились теоретики тайных обществ, как и Сперанский, и образчиками европейских конституций, которыми они пользовались (на декабристах особенно отразилась испанская конституция 1812 года). Но мы видели, что для об'яснения проектов Сперанского этого мало:

они отразили в себе тенденции известных русских общественных групп — тенденции, в их первоисточнике, быть может, менее осознанные, нежели под пером государственного секретаря Александра I, но дававшие тем не менее, для «творчества» этого секретаря реальную основу. Насколько можно сказать то же о декабристах? В составе тайных обществ не было ни одного купца, значит ли это, что буржуазия была совершенно чужда движению? Ряд фактов, каждый из которых в отдельности может показаться мелким, но которые в целом даже теперь, при очень несовершенном знакомстве с социальной стороной движения 20-х годов, представляют значительную массу, убеждает, что это не так. В одном доносе, поданном императору Александру в 1821 году, сообщалось об опасном настроении среди купцов петербургского Гостиного двора. Купцы собирались группами, человек по 8, с газетами в руках, и толковали о конституции. «Они говорят, что если в стране есть конституция, то государь не может постоянно покидать свое государство, так как для этого нужно дозволение нации... Если ему не нравится Россия, зачем он не поищет себе короны где-либо в другом месте... На что нужен государь, который совершенно не любит своего народа, который только путешествует и на это тратит огромные суммы. Когда же он дома, то постоянно тешит себя парадами. Все знают, что уже давно в судах совершаются вопиющие несправедливости, дела выигрывают те, кто больше заплатит, а государь не обращает на это внимания. Нужно, чтобы он лучше оплачивал труд состоящих на государственной службе и поменее раз'езжал. Только конституция может исправить все это и нужно надеяться, что бог скоро дарует нам ее». Что рассказы эти были простым сочинительством александровских шпионов — доказывает интерес, какой проявляли к купцам декабристы, по крайней мере некоторые: Рылеев спрашивал Штейнгеля, имевшего большие связи среди сибирского и московского купечества, нельзя ли там приобрести членов для общества. Штейнгель, уже тогда заботливо отгораживавший себя от заговора — на следствии он формально отрекся от участия в нем, — отнесся к мысли Рылеева отрицательно, под тем предлогом, что «наши купцы невежды». Он, однако, поддерживал с этими «невеждами» близкие отношения, когда дело шло о легальных проектах, да и в разговоре с Рылеевым должен был назвать одно имя, под данную им характеристику купечества не подходившее: то был содержатель типографии Селивановский, в то время как раз подготовлявший издание русской энциклопедии — очень солидного, по своему времени, предприятия, на которое Селивановским было затрачено до 30,000 рублей. Энциклопедия, отчасти уже отпечатанная и одобренная цензурой, была конфискована тотчас же, как только выяснились связи ее издателя с декабристами. Среди петербургской буржуазии у Рылеева секретаря Российско-Американской торговой компании, были самостоятельные связи — и, быть может, не совсем случайно в последние дни перед 14-м мы встречаем декабристов то на банкете у директора «компании», где говорились либеральные речи даже такими мало либеральными людьми, как Булгарин, то на ужине у купца Сапожникова, который, угощая своих гостей шампанским, приговаривал: «выпьем, неизвестно, будем ли завтра живы». Это было как раз 13-го числа. Любопытны некоторые тенденции и самого Рылеева, позволяющие его вместе с некоторыми другими, кроме

Штейнгеля, — тут приходится в особенности назвать Батенькова, выразившего как-то желание быть «петербургским лордом-майором» — причислить к тем, кого теперь называли бы «буржуазной интеллигенцией». «Во второй половине 1822 г.», рассказывает в своих воспоминаниях кн. Оболенский, «родилась у Рылеева мысль издания альманаха, с целью обратить предприятие литературное в коммерческое. Цель Рылеева и его товарища в предприятии, Александра Бестужева, состояла в том, чтобы дать вознаграждение труду литературному, более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным. Часто их единственная награда состояла в том, что они видели свое имя, напечатанное в издаваемом журнале; сами же они, приобретая славу и известность, терпели голод и холод и существовали или от получаемого жалованья, или от собственных доходов с имений или капиталов. Предприятие удалось. Все литераторы того времени согласились получать вознаграждение за статьи, отданные в альманах: в том числе находился и А. С. Пушкин. «Полярная Звезда» имела огромный успех и вознаградила издателей не только за первоначальные издержки, но доставила им чистой прибыли от 1,500 до 2,000 руб.».

Количественно очень слабые, буржуазные элементы тайных обществ могли, однако, иметь очень большое влияние на их политическую программу благодаря своему качественному перевесу: Рылеев, А. Бестужев, Батеньков, даже Штейнгель были крупнейшими интеллектуальными силами так называемого «северного» общества. Для того, чтобы написать манифест, основные принципы, которого сохранились в наброске Трубецкого, обращались именно к Рылееву, а тот привлекал к участию в этом деле Штейнгеля. Батеньков намечался даже в состав временного правительства — единственный из заговорщиков, так как остальные члены временного правительства должны были быть взяты из числа популярных в обществе государственных людей (называли Сперанского, Мордвинова и некоторых сенаторов). Этот качественный перевес дал такое значение и представителю течения еще более радикального, чем «буржуазная интеллигенция». Пестель, не занимавшийся, сколько известно, никакими предприятиями и вовсе не имевший крестьян, был столь же чистой воды «идеологом», как позднейшие утопические социалисты 70-х и 80-х годов. Придавать его «Русской Правде» значение такого же практического проекта, как конституции Н. Муравьева, например, было бы, конечно, неосторожно: это было чисто литературное произведение и, как таковое, нечто очень индивидуальное, личное. В случае победы декабристов Пестель, вероятно, имел бы удовольствие видеть свою работу в печати, но едва ли дело пошло бы дальше этого. Чрезвычайно характерно, тем не менее, что человек, предлагавший полное уничтожение всяких сословных и цензовых перегородок, в политической области последовательный демократ, а в социально-экономической доходивший почти до национализации земли, мог не только быть терпим в дворянско-буржуазном кругу, но даже стать вождем самой, в сущности, влиятельной группы заговорщиков, так называемого «южного» общества. Правда, у Пестеля нельзя отрицать большого таланта приспособления: при первом свидании с Рылеевым, автор «Русской Правды» в течение двух часов ухитрился быть попеременно «и гражданином Северо-

Американской Республики, и наполеонистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской». На буржуазно-честного петербургского литератора это произвело крайне неблагоприятное впечатление — и у него, видимо, сохранилось воспоминание о Пестеле, как о беспринципном демагоге, которому доверяться не следует. Что южное общество не чуждо было демагогии, примером тому был не один Пестель, как мы сейчас увидим, но едва ли можно на счет этой демагогии отнести и «Русскую Правду», которую, ведь, предполагалось опубликовать после переворота. Притом же, пропаганда, как мы знаем со слов самого Пестеля, велась почти исключительно среди офицерства, а по отношению к офицерам из помещичьей среды едва ли была бы удачным демагогическим приемом проповедь национализации земли. Она, в сущности, не была бы удачной демагогией и по отношению к крестьянам: ибо Пестель не всю землю отдавал своим «волостям», а лишь половину — другая же половина должна была служить полем частной предприимчивости, будучи отдаваема государством в аренду, без ограничения, притом, количества земли, которая могла скопиться в одних руках. На этой «казенной» земле вполне могла возникнуть таким образом, крупная земельная собственность — только не феодальная, а буржуазная; половина же земли, обыкновенно, была в распоряжении крестьян и при крепостном праве. Для оброчных и казенных крестьян проект Пестеля не создавал ровно никакой фактической перемены, что признавал он и сам: между тем, с демагогической точки зрения, наиболее возбудимым элементом, как раз были бы «военные поселяне» из бывших государственных крестьян. «Идеолог» в Пестеле решительно преобладал над демагогом.

Но, при всем своем «идеологизме», из-под влияния наличных и общественных классов с их интересами не мог, разумеется, уйти и Пестель. Его программа, как и программа большинства лидеров тайных обществ, оставалась буржуазной, ничего социалистического, даже утопически социалистического, мы в ней не найдем. Его аграрный проект ставил своей задачей исключительно раздробление земельной собственности, а отнюдь не уничтожение ее. «Вся Россия», говорит он сам о результатах предлагаемой им меры, «будет состоять из одних обладателей земли, и не будет у нее ни одного гражданина, который бы не был обладателем земли». Это уважение к частной земельной собственности, даже стремление ее сохранить, и привели к тому, что его аграрную реформу приходится называть полу-национализацией. Один вариант «Русской Правды», касающийся «вольных земледельцев», к которым Пестель причислял казаков, однодворцев, колонистов и т. п., хорошо освещает эту сторону дела. «Ежели необходимым окажется включить в состав общественной собственности частную землю какого-нибудь вольного земледельца, то сей вольный земледелец имеет быть в полной мере за сию землю вознагражден или денежною платою, или выдачею ему в собственность из казенных земель такового участка, который бы в ценности своей равнялся участку земли, у него отнятому, все же земли, принадлежащие ныне в частную собственность вольных земледельцев, кои ненужным окажется включить в общественную волостную собственность, имеют оставаться в вечном потомственном владении нынешних своих владельцев на основании общих правил». Таким образом, острие аграрной революции было

направлено исключительно против крупной феодальной собственности (для возникновения крупного буржуазного землевладения, как мы видели, никаких препятствий не ставилось), но «знать», как раз и была главным противником всяких «буржуазных» проектов. Кажущаяся на первый взгляд чистой утопией, программа Пестеля с этой точки зрения получает глубокий политический смысл: Пестель едва ли не один из всех декабристов отчетливо сознавал, что, не вырвав почвы из-под ног своего социального противника, смешно мечтать о победе над ним. Но, бессознательно, другие шли по тому же пути. Н. Муравьева Пестель обвинял в том, что тот условиями своего ценза создает «ужасную аристократию богатств». Но присмотритесь к его цензу: какая же тут «аристократия», когда для того, чтобы быть избирателем или присяжным, достаточно было иметь недвижимое имущество ценностью в 5.000 рублей серебром (по тогдашнему курсу около 20.000 рублей ассигнациями), а для того, чтобы иметь доступ ко всем должностям, до самых высших, нужно было владеть недвижимостью не менее, как на 30.000 рублей серебром (120.000 ассигнациями). В более ранней редакции первый ценз был еще ниже — всего 500 рублей серебром. Его повысили, повидимому, с главной целью — оставить за пределами полноправного гражданства пестелевских «вольных земледельцев»: однодворцев, колонистов и им подобных. Но помещики все, до очень мелких, оставались внутри правящего класса: принимая (как это делает г. Семевский) ценность «души» в 100 рублей серебром, мы получим для первого ценза 50 душ, для второго 300. Коробочки — или их мужья и братья — могли выбирать Собакевичей: какая же тут «аристократия» [1]). Программа Никиты Муравьева, взятая с ее социальной стороны, была типичной программой среднего землевладения, — того класса, который дал большинство членов тайных обществ. И это тем характернее, что первое из этих обществ было, как мы видели, очень аристократического состава. Оппозиция начала складываться в рядах социальной группы, ближайшей к верховной власти, но здесь она нашла себе мало сторонников. Не найди она себе сочувствия в ближайшем к низу общественном слое, она бы так и замерла, подобно конституционным проектам екатерининской поры. Но теперь средний помещик был не тот, что в 1760-х годах. То, что тогда было кабинетной мыслью, стало теперь лозунгом широкого общественного движения.

Наиболее кабинетным кажется республиканизм декабристов. Несмотря на формальный монархизм муравьевской конституции (император которой, с его очень условным правом и весьма укороченными административными полномочиями — он не мог, например, «употреблять войска в случае возмущения» без согласия народного веча — отличался от президента республики лишь наследственностью своих функций, «для удобства, а не потому, чтобы оно — императорское звание — было в самом деле семейственным достоянием», пояснял автор), в сущности

[1]) В 1834 году—очень скоро после эпохи, нами изучаемой, так что данные годятся—в России считали 1453 помещика, имевших более 1000 душ каждый (в среднем 2461 душа на каждого), 2273, имевший каждый более 500 душ (в среднем по 687) и 16.740, имевших более, нежели по 100 душ (в среднем 217). Эти последние и должны были составить главную массу избирателей по проекту Н. Муравьева. Цит. соч. I, 392 (по Васильчикову).

все лидеры обоих обществ, «северного» и «южного», были на стороне республики. На знаменитом заседании «Коренной думы Союза Благоденствия», в начале 1820 года, только один полковник Глинка «говорил в пользу монархического правления», все же остальные «приняли единогласно республиканское правление». Да и Муравьев об'яснял появление своего императора единственно желанием — не пугать чересчур вновь вступающих членов. Но дворянская республика может показаться странной нам, а весьма незадолго до начала декабристского движения она была живой действительностью очень недалеко от России: в Польше. Декабристы — тот же Никита Муравьев — очень увлекались северо-американской конституцией; но она тогда признавала даже рабство, и строй южных штатов федерации на практике был чисто аристократический. Если первый пример мог вызвать возражения, со стороны прочности такого строя, то второй должен был замкнуть уста всем возражателям: конституция Соединенных Штатов в те дни, до июльской революции и парламентской реформы в Англии, шла так же далеко впереди всех остальных существующих, как теперь конституции австралийских колоний, например. Если уж она фактически оставляла власть в руках помещиков (чему номинальный демократизм нисколько не мешал), чего же было стыдиться России. Заграничная действительность не давала аргументов против аристократической республики, русская действительность восемнадцатого века делала очень легким переход к республике вообще. Начиная с Екатерины I и кончая самим Александром Павловичем, русский престол фактически был избирательным; можно было указать лишь на два исключения — государей, восшедших на престол исключительно в силу наследственного права: то были Петр III и Павел I, — нельзя было найти исключений, лучше подтверждавших правило. Зато было не меньше государей, которые не имели никаких прав, как обе Екатерины и Анна, и которые получили эти права из рук «народа», одетого в преображенские и семеновские мундиры. Роль гвардии, как «избирательного корпуса», настолько вошла в нравы, что участие гвардейцев в вопросе о престолонаследии сделалось для них, по меткому выражению Шильдера, «своего рода инстинктом». «Я боюсь за успех», говорил принцу Евгению Виртембергскому петербургский генерал-губернатор Милорадович накануне присяги Николаю Павловичу, — «гвардейцы не любят Николая». «О каком успехе, вы говорите», удивился принц, «и при чем тут гвардейцы». «Совершенно справедливо», ответил Милорадович: «Они должны бы были быть здесь не при чем. Но разве они не подавали своего голоса при восшествии на престол Екатерины II и Александра» (Более старых примеров Милорадович, очевидно, не помнил). «Охота к тому у этих преторианцев всегда найдется». Достаточно было небольшой европеизации этого «бытового явления», чтобы прийти к мысли об избирательности главы государства вообще; идеи Детю-де-Траси и других республиканских публицистов Западной Европы падали на хорошо подготовленную почву. Но когда люди начинали говорить «по душе», старые термины и старые образы невольно всплывали в их сознании. «Желая блага отечеству, признаюсь, не был я чужд честолюбия», писал Ал. Бестужев в своем письме из крепости, исповедываясь перед Николаем Павловичем: «И вот почему соглашался я с мнением Батенкова, что хорошо было бы возвести на престол Александра

Николаевича. Льстя мне, Батенков говорил, что как исторический дворянин и человек, участвовавший в перевороте, я могу надеяться попасть в правительную аристократию, которая при малолетнем царе произведет постепенное освобождение России... я считал себя, конечно, не хуже Орловых времен Екатерины».

Практика дворцовых переворотов сделала то, что люди становились республиканцами, сами того не замечая. Целый ряд более мелких фактов, теснее связанных с эпохой возникновения тайных обществ [1]), толкал в том же направлении. Среди них на первое место нужно поставить позорное поведение европейских монархов во время и непосредственно после «освободительной войны». В это время монархический принцип чрезвычайно низко стоял во всей Европе, не исключая и Англии, где представитель этого принципа, принц-регент, не решался иногда показаться на улицах Лондона, боясь, что его забросают грязью; когда Александр Павлович ездил с визитом в Англию, пришлось, как ни было английским придворным совестно, об'яснить это деликатное обстоятельство русскому императору; тот засмеялся и поехал к принцу-регенту первый, не дожидаясь его встречи. Но «величественное самоотречение» самого Александра в дни отечественной войны и его хронический абсентеизм позднее, в эпоху конгрессов, не могли не содействовать развитию такого же настроения и в среде русской интеллигенции, и даже полу-интеллигенции: осуждать императора, который Россию «знать не хочет», как мы видели, решались даже торговцы гостиного двора. Памятником этого настроения в русской литературе остался знаменитый Noël Пушкина («Ура, в Россию скачет кочующий деспот...»), который знала наизусть вся читающая Россия, хотя напечатан он был впервые только в 1859 году, и то за границей. Наконец, на последовательное проведение избирательного принципа во всей схеме государственного устройства должен был наталкивать такой будничный факт, как дворянские выборы. Уездный предводитель был выборный, губернские тоже: почему же всероссийскому предводителю не быть также выборным. Между тем, с сословной организацией тогдашнего общества политические проекты 20-х годов были связаны гораздо теснее, чем может показаться с первого взгляда. Декабристская конституция носила буржуазный характер; но «великий собор», созыв которого предполагался, как первое последствие удачного переворота, должен был состоять из депутатов по два от каждого сословия каждой губернии, то-есть, надобно думать, два от дворянства и два от городского населения, ибо крестьяне не получали равного с другими представительства, даже и после, по проектам окончательной конституции. «Возможным полагалось многое уступить», показывал на следствии Трубецкой, «исключая однако-же собрания депутатов из губерний по сословиям».

При всем влиянии буржуазного миросозерцания на декабристов, республика не была, в их проектах, отражением этого влияния. Республиканские взгляды были подготовлены прошлым дворянской России

[1]) Последние шли, как известно, в таком порядке: в 1814 году—«Орден Русских Рыцарей»; в 1816—17 «Союз Спасения», развернувшийся к 1818 году в более широкий—и почти открытый—«Союз Благоденствия». В 1821 году последний был закрыт и с этого момента, собственно, датируется «заговор декабристов».

и могли сложиться в дворянском кругу совершенно самостоятельно. Республиканизм ультра-аристократических «Русских Рыцарей» является ярким тому доказательством. Когда русская буржуазия, три четверти столетия спустя, выступила со своей собственной политической программой, в этой программе не было республики.

X. День 14 декабря 1825 года в Петербурге.

(Ст. В. Я. Богучарского, под тем же названием, помещ. в сб.: «Отечественная война и русское общество». Изд. И. Д. Сытина. Т. VII. М. 1912 г.).

Запечатываю (это письмо) «красным сургучом, ибо нам велено даже не знать о кончине государя»,—писал из Варшавы 12 декабря 1825 года граф Вильгельм Нессельроде своей родственнице граф М. Д. Нессельроде, хотя в Петербурге уже была принесена присяга «новому императору» Константину Павловичу войсками, сенатом, государственным советом и самим Николаем Павловичем. И все-таки «велено было даже не знать о кончине государя»...

Престол — дело домашнее. Правда, Павлом был установлен закон о престолонаследии, но уже непосредственный преемник Павла на троне Александр Павлович с первого же момента своего царствования стал на точку зрения петровской «правды воли монаршей», повелевшей в манифесте от 12 марта 1801 года присягать ему и «его наследнику, кого он назначит». Он и назначил в конце своего царствования наследником престола вел. кн. Николая Павловича, но об'явить об этом подданным не счел нужным, оставив лишь выражение своей об этом предмете воли в запечатанном пакете. Узнают, мол, после моей смерти,—зачем им знать об этом нашем домашнем деле заранее.

Последствием такого взгляда на престол, как на дело домашнее, явилось после смерти Александра междуцарствие, окончившееся лишь 14 декабря.

Константин Павлович царствовать не желал; не желал он в то же время и об'явить об этом публично, считая опять-таки, что «домашнее дело» это вовсе не требует от него подобного акта.

Николай Павлович был другого мнения: он находил, что, так как «огласка» зашла уже слишком далеко,—вплоть до принесения им самим, высшими государственными учреждениями и армией присяги Константину Павловичу, — то последнему следовало бы исправить создавшееся столь неудобное положение актом публичного отречения от верховной власти, для чего он и приглашал Константина прибыть в Петербург. Но Константин Палович считал это совершенно излишним.

«Я твердо решил не вступать на престол, — писал он Николаю, — пусть будет, что будет. Если немедленно все не придет в прежний порядок,я сочту себя вынужденным фактически удалиться от такого порядка дел».

«И в то же утро, — писал в вышецитированном письме граф Нессельроде, — он (Константин) отдал тайное приказание, чтобы были на-

готове его кареты с лошадьми и 10.000 империалов наличными деньгами для поездки не в Петербург, а за границу».

Какие же соображения высшей государственной важности заставляли уже законного в глазах всей России императора Константина Павловича столь демонстративно протестовать против обращенной к нему просьбы совершить, казалось бы, так естественно налагавшийся на него обстоятельствами акт?

Граф Нессельроде отвечает на этот вопрос вполне определенно: если бы Константин Павлович пробыл хоть несколько дней формально самодержцем всей России, то по его, — Константина, мнению, «как бывший император, он более не будет иметь возможности командовать литовским корпусом и нельзя будет ему больше оставаться в том положении, в каком он был», а ему нравилось жить в Варшаве и командовать литовским корпусом. Отсюда его угроза Николаю «фактически удалиться от такого порядка дел», отсюда и распоряжение «даже не знать о кончине государя»...

«Есть сведение, — говорит в послесловии к письму графа Нессельроде издатель «Русского Архива» г. Бартенев, — что междуцарствие могло бы продлиться, если бы 13 декабря не прискакал в Зимний дворец гонец с письмом, в котором цесаревич Константин резко потребовал, чтобы его больше не беспокоили. На другой день император Николай вступил на престол».

Этот «другой день» и был ознаменован историческими «происшествиями на Сенатской площади». От него произошло название «декабристы», им, этим днем-родоначальником, устанавливается генеалогия многих событий в России, потянувшихся за ним на протяжении почти столетия.

Тяжелое обвинение тяготеет и доныне над деятелями 14 декабря; они вовлекли солдат в восстание обманом, уверивши их, что Константин от престола не отказывался, что Николай является узурпатором и что ему присягать поэтому не следует, непозволительно, преступно. С фактической стороны это совершенно верно, дело было именно так. На сцену всплыл старый принцип — «цель оправдывает средства», принцип ложный и аморальный, но при рассмотрении каждого конкретного случая применения этого принципа в живой ткани общественной жизни все же необходимо, прежде всего, сосредоточить преимущественное внимание на той цели, для достижения которой были пущены в ход те или иные средства. Мы видели, что, например, Константин Павлович хотел продолжать жить в Варшаве, командуя там литовским корпусом и во имя этой цели грозил уехать за границу, писал Николаю, что «пусть будет, что будет». С кем? Да с той страной, которая уже принесла ему присягу, как своему царю... Он писал, что будет «считать себя вынужденным фактически удалиться от «такого порядка дел». Какого «такого»? Да такого, при котором, раз уже случилось так, что он признан Россией, хотя бы и против своего желания, царем, то его просят прибыть в Петербург и оформить свое отречение от престола публичным актом. Но этот-то «порядок дел» Константин Павлович считал до такой степени для себя непереносимым, что тайно приказал заготовить все необходимое для отъезда за границу, а с Россией тогда — «пусть будет, что будет»...

«Суди, какие могло бы иметь это последствия», справедливо писал своей корреспондентке граф Нессельроде.

С другой стороны, пробил час для появления в России людей, которые также находили, — но уже по совершенно другим причинам и с совершенно других точек зрения, — «такой порядок дел», безусловно невыносимым. Они тоже пошли на крайние для изменения этого «порядка» средства, но уже не путем бегства за границу, обернувшись к России спиной («пусть будет, что будет»), а решившись подставить в первую голову в рядах восставших солдат и собственные груди под убийственную картечь на Сенатской площади...

Различна моральная ценность самих целей, которые ставили себе в декабре 1825 г. Рылеевы, Бестужевы, Оболенские, Пущины, Каховские, с одной стороны, и Константин Павлович с его окружающими, с другой; различно понимали они и свой долг по отношению к их общей матери-России. Справедливо ли поэтому теперь, когда события 14 декабря сделались в полном смысле слова лишь достоянием истории, факсировать внимание на способах, которыми вовлекли декабристы солдат в восстание, а не на целях, которые они при этом преследовали, и не на тех условиях, среди которых им пришлось тогда жить и действовать.

«Маскарад распутства, замышляющих преступление, — таково было, — как писал Герцен, — жалкое, ложное и рабское воззрение» на деятелей 14 декабря в официальном мире даже через 20 лет после событий 1825 года, и Герцен имел полное право в конце своего разбора книги Корфа об этих событиях обратиться по поводу декабристов к императору Александру Второму с восклицанием: «Мир им, государь, и почтительное благочестие перед былым».

Именно такова должна быть и справедливая точка зрения историка: мир их памяти и почтительное благочестие перед былым.

Освобождение крестьян от крепостного права и установление в России свободного политического строя, — таковы были цели деятелей офицеров, находившихся в тот момент в Петербурге в войсках гвардии и петербургского гарнизона. Средством реализации нового порядка вещей в России должен был явиться, по мысли декабристов, земский собор, из чего истекала логическая необходимость или принудить императора Николая Павловича принять на себя инициативу созыва такого собора или провозгласить временное правительство с возложением на него обязательства выполнить эту задачу.

Сборным пунктом для действий 14 декабря была назначена Сенатская площадь, но вместе с тем было решено, чтобы первую же воинскую часть, которую удастся поднять, вести с развернутым знаменем и барабанным боем не прямо на Сенатскую площадь, а в другие части, дабы, увлекши с собой и их, итти затем далее, к частям следующим, и, таким образом, прибыть уже на сборный пункт с значительными силами. Так как среди заговорщиков-офицеров было и несколько артиллеристов, то были все основания думать, что на Сенатскую площадь удастся явиться и с пушками.

Диктатором, которому все обязались повиноваться безусловно и беспрекословно, был избран полковник гвардии князь Сергей Петрович Трубецкой. От предложенного ему страшно ответственного поста Трубецкой не отказался...

Весь этот план не был 14 декабря проведен вполне по разным причинам ни в одной из своих частей, но, как план, он был, за исключением выбора личности диктатора, безусловно целесообразен, и многие события рокового дня свидетельствуют о том, что декабристы вовсе не были так далеки от возможности полного успеха, как это может казаться при поверхностном взгляде.

Сами непосредственные деятели 14 декабря очень мало верили в успех переворота и, отправляясь на Сенатскую площадь, думали более о необходимости принести себя в жертву отечеству, чем победить. Князь Евгений Оболенский писал в своих «Воспоминаниях» такие строки: «Не стану говорить о возможности успеха, — едва ли кто из нас мог быть в этом убежден. Каждый надеялся на случай благоприятный, на неожиданную помощь, на то, что называется счастливой звездой, но, при всей невероятности успеха, каждый чувствовал, что обязан обществу исполнить данное слово, обязан исполнить свое назначение и с этим чувством, этим убеждением в неотразимой необходимости действовать каждый стал в ряды». Настроение общества Николай Бестужев обрисовывает так: «Часто в наших разговорах сомнение насчет успеха выражалось очень положительно. Не менее того чувствовалась необходимость действовать, чувствовалась необходимость пробудить Россию». Рылеев всегда говаривал: «Предвижу, что не будет успеха, но потрясение необходимо». Тот же Бестужев писал и такие строки: «Когда я пришел на площадь (Сенатскую) с гвардейским экипажем, Рылеев приветствовал меня первым поцелуем свободы и после некоторых об'яснений отвел меня в сторону и сказал: «Предсказание наше сбывается, последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы, мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою». У князя Одоевского тоже настроение дошло до экстаза: «Умрем. Ах, как славно мы умрем!» повторял он накануне 14 декабря. Таково было суб'ективное самочувствие деятелей 14 декабря, но об'ективные условия говорили и за возможность полного успеха. На этой точке зрения стоят многие, изучавшие события 14 декабря, ее же вполне разделяет и детально ознакомившийся с подлинными делами о декабристах покойный историк Н. П. Павлов-Сильванский, писавший такие строки:

«Неудача 14 декабря была случайной. Как ни слабы были силы заговорщиков, как ни малодушен был князь Трубецкой, которого главный двигатель восстания Рылеев неудачно выдвинул в роковой день 14 декабря, но неурядица междуцарствия была столь благоприятной для заговора, и новый император проявил такую растерянность, несмотря на внешнюю помпу театральной решимости, что капризный случай едва-едва не дал успеха декабристам» [1]).

Мы бросим еще ниже беглый взгляд на моменты, чрезвычайно благоприятные для возможности успеха 14 декабря, но прежде поставим вопрос: располагали ли непосредственные деятели этого дня (на Сенатской площади в рядах восставших были Каховский, четверо братьев Бестужевых, Рылеев, Якубович, князь Щепин-Ростовский, князь Оболенский, двое Кюхельбекеров, Пущин, князь Одоев-

[1]) Пестель перед Верховным Уголовным Судом. «Былое» 1906 г., февраль, стр. 127—128.

ский, Попов, Сутгоф, двое Беляевых, двое Бодиско, барон Розен, Глебов, Арбузов, Акулов, Мусин-Пушкин, Вишневский и Дивов), такими силами и средствами, чтобы, в случае удачного исхода восстания, привести в исполнение и положительную цель своих замыслов — установление в России свободного режима. Ведь, за исключением Рылеева, имя которого, как поэта-гражданина, пользовалось огромной популярностью, да отчасти Александра Бестужева (известного уже и тогда Марлинского), все это были молодые люди, известность которых в лучшем случае не шла далее войск, в которых они служили (например, громкая боевая известность Якубовича на Кавказе), или тех учреждений «штатских», в которых некоторые из заговорщиков оставили о себе самую светлую память (например, И. И. Пущин). Можно ли думать, чтобы эти в большинстве случаев совершенно безвестные поручики и лейтенанты, — эти Пановы и Сутгофы, Акуловы и Бодиски могли с успехом провести колоссальное дело социального и политического обновления России. Ведь, в рядах восставших не оказалось ни одного даже из тех штаб-офицеров, которые были всецело на стороне революции и принимали участие в происходивших накануне революционных совещаниях в квартире Рылеева; не было среди них ни Батенкова, ни барона Штейнгеля. Сам диктатор полковник князь Трубецкой даже не явился на Сенатскую площадь, а полковник Булатов простоял все время в толпе народа, с заряженными пистолетами в карманах. Другие штаб-офицеры отказались принять участие в движении еще до 14 декабря. Все это так, и, тем не менее, если бы восстание удалось, то нет ничего невероятного в предположении, что тогда развернулась бы совершенно иначе и вторая часть драмы. Тогда, не говоря уже об имевшем большой административный опыт Батенкове или бароне Штейнгеле, выдинулись бы, несомненно, на сцену те самые люди, которые были против решительных действий 14 декабря, но которые являлись или сами участниками «Союза благоденствия» и других подобных организаций или давно уже известные своим весьма прогрессивным образом мыслей. Образовательный ценз многих, если не непосредственных деятелей 14 декабря в Петербурге, то вообще «декабристов», был по тому времени очень высок: среди них был и Н. И. Тургенев, кончивший курс в Геттингенском университете, работавший практически над государственными реформами у знаменитого Штейна, — человек, несомненно, самый образованный во всей тогдашней России [1]); был известный генерал Михаил Орлов, был Пестель, положивший столько лет труда на свою «Русскую Правду», были и многие другие. А где был бы в этом случае Мордвинов, где был бы близкий декабристу-генералу фон-Визину кумир кавказской армии Ермолов, где был бы впоследствии известный министр николаевского царствования Киселев, которому Пестель читал отрывки из своей «Русской Правды», где был бы и сам М. М. Сперанский [2]). Какими поэтическими звуками огласилась бы в

---

[1]) Император Александр Павлович неоднократно говорил, что лишь Н. И. Тургенев может заменить ему Сперанского (См. некролог Тургенева, написанный И. С. Тургеневым. «Полное собрание сочинений» 1883 г. Т. I, стр. 443).

[2]) Декабрист Д. И. Завалишин рассказывает в своих «Записках», что утром 14 декабря члены тайного общества послали к Сперанскому Корниловича сообщить ему о предстоящем перевороте и испросить его согласие на назначение

таком случае Россия из уст А. С. Пушкина, ответившего на вопрос Николая, где был бы он 14 декабря, если бы находился в Петербурге, — «Разумеется, на Сенатской площади». Где был бы, принятый И. Д. Якушкиным в число членов «Союза благоденствия», П. Я. Чаадаев, которому тот же Пушкин писал знаменитые строки:

Товарищ. Верь, взойдет она,
Заря пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Без малейшего преувеличения можно сказать, что вокруг декабристов, если бы день 14 декабря в Петербурге имел иной исход, — а беспристрастное исследование событий этого дня говорит, что иной исход был очень и очень возможен,—сплотилось бы решительно все, что только было в тогдашней России самого просвещенного и самого интеллигентного.

События сложились иначе; вместо «зари пленительного счастья» взошел Николай, но еще утром 14 декабря никто не мог бы сказать, что это случится так, а не иначе.

В Зимнем дворце, получивший накануне от Константина Павловича категорическое требование, чтобы его «более не беспокоили», император Николай отдавал распоряжения о приводе войск к новой присяге.

Он знал уже, что в столице далеко не все обстоит так благополучно, как это казалось с внешней стороны. Пред ним уже находились, доставленные из Таганрога, бумаги Александра Павловича, среди которых были доносы о существовании заговора. Уже уехали в южную армию генералы для производства там арестов, уже имел место разговор Николая с молодым Ростовцевым, из которого царь умозаключил о многом, «во мраке таящемся» [1]). Получилось известие и об «hésitation à l'artillerie», — на самом деле о попытке графа Коновницина и других молодых офицеров поднять артиллеристов. Но вот и роковая весть: Московский полк находится в полном восстании...

Николай вышел из Зимнего дворца, приказавши на всякий случай заготовить для членов своей семьи дорожные кареты...

Когда он находился вблизи Сенатской площади, несколько рот Московского полка с князем Щепкиным-Ростовским и Александром и

его в число членов временного правительства. На что Сперанский будто бы ответил посланному: «С ума вы сошли. Разве делают такие предложения преждевременно. Одержите сначала верх, тогда все будут на вашей стороне». Это сообщение, как и многое другое, рассказываемое Завалишиным в его «Записках», не может считаться достоверным (см. рецензию на книгу Завалишина В. Я. Богучарского в январской книжке журнала «Былое» за 1906 г. стр. 309—317), но если не реальность, то «психология» события схвачена Завалишиным правильно.

Если не верно, то вероподобно. Возможность такого образа действий со стороны Сперанского допускал и Николай, пославший генерала Левашева в каземат князя Трубецкого поговорить с ним «частным образом» о Сперанском. Этому, разумеется, не противоречит то обстоятельство, что после крушения 14 декабря именно Сперанский явился в составе верховного уголовного суда председателем «разрядной комиссии» и, таким образом, главным вершителем судьбы декабристов.

[1]) Об этом см. ст. В. Я. Богучарского: «Яков Иванович Ростовцев» в сборнике «Великая Реформа», т. V.

Михаилом Бестужевым во главе были уже там, построившись в карре. Их окружали густые толпы народа, т.-е. сочувствовавшей мятежникам, по выражению Корфа, «черни», которая вскоре стала осыпать камнями и поленьями правительственные войска и не одному десятку из состава которой пришлось в тот же день сложить головы под градом картечи.

Первое отступление от выработанного накануне плана инсургентами было уже совершено. Вместо того, чтобы итти с солдатами Московского полка, как было предположено, в другие части, Бестужевы и князь Щепин-Ростовский привели своих солдат прямо на Сенатскую площадь. Явился туда же Рылеев, он искал князя Трубецкого, его не было, и Рылеев отправился за ним в поиски. Что делалось в других частях, ни московцы, ни их вожди не знали. К ним присоединились в этот момент лишь несколько офицеров других частей войск,—князь Оболенский, князь Одоевский, Петр Бестужев, Якубович да несколько «штатских» или, как выражается «донесение следственной комиссии», «людей гнусного вида»—Каховский, Пущин, Глебов и Вильгельм Кюхельбекер. Петербургский генерал-губернатор граф Милорадович, полагая, что дело идет лишь о недоразумении по поводу присяги, старался образумить солдат. «Обреченный» Каховский решил этому воспрепятствовать. «Едва успели инсургенты построиться в карре,—рассказывает в своих «Записках» барон Штейнгель,—как показался скачущим из дворца в парных санях, стоя в одном мундире и голубой ленте, Милорадович. Слышно было с бульвара, как он, держась левой рукой за плечо кучера и показывая правой, приказал ему: «Об'езжай церковь и направо, к казармам». Не прошло трех минут, как он вернулся верхом перед карре и стал убеждать солдат повиноваться и присягнуть новому императору. Вдруг раздался выстрел, граф замотался, шляпа слетела с него, он припал к луке и в таком положении лошадь донесла его до квартиры того офицера, которому принадлежала. Увещевая солдат с самонадеянностью старого отца-командира, граф говорил, что сам охотно желал, чтобы Константин был императором, но что же делать, если он отказался; уверял их, что он сам видел новое отречение, и уговаривал поверить ему. Один из членов тайного общества—князь Оболенский, видя, что такая речь может подействовать, выйдя из карре, убеждал графа от'ехать прочь, иначе угрожал опасностью. Заметя, что граф не обращает на него внимания, он нанес ему штыком легкую рану в бок. В это время граф сделал вольт-фас, а Каховский пустил в него из пистолета «роковую пулю, накануне вылитую».

Правительственные войска все в большем и большем количестве выстраивались против карре инсургентов. Николай держался поодаль. К нему подошел вышедший из карре другой «обреченный» капитан Якубович и вступил с ним в разговор. Минута могла быть весьма трагическая. Тут же находился, как мы уже упоминали, с заряженными пистолетами в карманах третий «обреченный» полковник Булатов, сам потом признавшийся Николаю в своих относительно его в тот день намерениях и умерший в Петропавловской крепости еще до постановки по делу всех декабристов приговора... Вскоре на площадь прибыли сначала, приведенные Николаем Бестужевым, моряки гвардейского экипажа, а потом и лейб-гренадеры, приведенные Суттофом и Пановым. Тут произошел снова, окончившийся, по свидетельству самого «донесения»,

счастливым для царской семьи образом, лишь благодаря случайности, момент. Без такой случайности Панов с своей ротой, как утверждают все официальные и неофициальные о событиях 14 декабря данные, мог легко овладеть Зимним дворцом, захватить всю царскую фамилию в качестве заложников и продиктовать затем свои условия, резко накренить весы судьбы этого дня в весьма определенную сторону...

Московский полк приветствовал присоединившихся к нему моряков и лейб-гренадеров восторженным «ура». Но с гренадерами прибыл и их полковой командир полковник Стюрлер, убеждавший всю дорогу своих солдат вернуться к повиновению. Лишь только гренадеры поравнялись с московцами, как из рядов инсургентов раздался сразивший Стюрлера выстрел. То была снова рука Каховского. «Ты ли это выстрелил», спросил Каховского Сутгоф. «Теперь не время об этом говорить», ответил на это Каховский. Видя пистолет в руке князя Одоевского и полагая, что это он сразил Стюрлера, один лейб-гренадер выскочил из роты и поцеловал его...

К карре под'езжали затем генералы Войнов и Сухозанет. Их убеждения остались тщетными, их спрашивали лишь, принесли ли они конституцию...

Под'ехал, наконец к карре и великий князь Михаил Павлович. Кюхельбекер направил в него пистолет, но выстрелить ему не дали сами инсургенты. Михаил Павлович принужден был тем не менее от'ехать.

Николай послал увещевать бунтовщиков митрополита Серафима в полном церковном облачении. Его миссия также не имела успеха.

— Ну, что, — спросили митрополита, когда он возвратился, — что там делается?

— Обругали и прочь отослали, — отвечал Серафим.

Показался на площади и сам Николай Павлович, пожелавший лично осмотреть расположение местности. По нем раздался залп. «Пули, — писал сам Николай, — просвистали мне через голову, и, к счастью, никого из нас не ранило. Рабочие Исаакиевского собора начали кидать в нас поленьями, надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска стали бы в самом трудном положении».

Упомянутый выше генерал Войнов получил удар в спину поленом, брошенным из толпы народа.

Михаил Бестужев рассказывает, что «Кюхельбекер и Пущин уговаривали народ очистить площадь, так как уже готовили пушки, но на все уговоры получали в ответ: умрем вместе с вами».

Попробовали послать против инсургентов в атаку конную гвардию под командой генерала Орлова, но атака была отбита беглым ружейным огнем.

Так прошло несколько часов.

Инсургентов было до 2.000 человек, окруженных целыми массами сочувствовавшей им «черни». Такие силы в руках одного вождя могли решить все дело, тем более что из рядов правительственных войск постоянно приходили от солдат советы продержаться до ночи, а тогда они перейдут на сторону восставших. Но тут-то и обнаружилась в рядах инсургентов полная дезорганизация. Ждали диктатора, он не появился. Не было единства действий, единства распоряжения. Наступал вечер, ве-

чер декабрьский, холодный, солдаты утомились, озябли, проголодались. А Трубецкой все не являлся...

Перед инсургентами показались жерла пушек. В качестве прикрытия к ним был поставлен взвод кавалергардов под командой, — опять обстоятельство, которое могло бы иметь решающее значение, — члена тайного общества, бывшего накануне на революционных совещаниях у Рылеева, поручика кавалергардского полка Анненкова... Артиллерийская прислуга, как это тут же обнаружилось, не хотела вначале стрелять «по своим»... Перейди в этот момент инсургенты в наступление, и при создавшемся положении орудия легко могли очутиться в их руках, а тогда дело, конечно, приняло бы совсем другой оборот...

Но, за отсутствием единого ответственного руководителя, распоряжаться было некому, а при таких обстоятельствах неизбежно должно было случиться то именно, что и случилось в действительности...

Раздалась команда стрелять из первого орудия, но выстрела не последовало. Командовавший орудиями поручик бросился к пальщику и закричал, — почему он не стреляет.

— Свои, ваше благородие — было ему ответом.

— Если бы даже я сам стоял перед дулом и скомандовал пли, тебе и тогда не следовало бы останавливаться — закричал поручик и сам пустил первый заряд.

Картечь ударила высоко в здание сената. Посыпались тела покрывавшего крыши сенатского здания народа. В ответ на выстрел последовал «неистовый крик» из лагеря мятежников и беглый ружейный огонь.

И все-таки в наступление они не перешли...

За первым выстрелом последовал второй, третий, четвертый и на этот раз картечь делала свое губительное дело в самой гуще инсургентов и народа. Все бросились бежать врассыпную. Михаил Бестужев хотел построить остатки своих войск на льду Невы и броситься с ними на Петропавловскую крепость, но по ним стали стрелять ядрами, и в довершение лед не выдержал тяжести массы народа и проломился. Раздались крики «тонем». Трагедия приходила к концу.

Лейб-гренадеры и моряки стали бежать по узкой Галерной улице. Но и туда послали орудия, которые открыли продольный огонь. «Люди,— рассказывает в своих «Воспоминаниях» Николай Бестужев, — валились и валились на каждом шагу...» Насколько в течение целого дня в правительственном стане было растерянности и нерешительности, настолько теперь в нем было силы и энергии...

К утру Сенатская площадь и прилегающие к ней улицы были очищены от трупов и раненых, уничтожены следы крови, все посыпано чистым снегом. Но эта ночь была ночью кошмарных ужасов. Трупы сбрасывали в наскоро сделанные в Неве проруби, та же участь постигла и раненых, недобитых...

В ту же ночь начались среди «декабристов» и аресты, за которыми последовала суровая, продолжавшаяся десятки лет, за 14 декабря расплата.

По странной игре случая фамилия того артиллерийского офицера, который первый открыл орудийный огонь по инсургентам 14 декабря, была... Бакунин... На следующий день умер Милорадович. Врач успел извлечь из него еще живого поразившую его пулю. Фамилия этого врача...

Буташевич-Петрашевский, отец того самого Петрашеского, который через двадцать пять лет после того дал свое имя второй генерации деятелей русского освободительного движения...

Наступило царствование Николая.

Перефразируя известное изречение, можно сказать, что с 14 декабря 1825 года и в течение целых тридцати последовавших за ними лет «L'ordre regnait» — в России, но истинное значение этого, по выражению Аксакова, «фасадного» ordre'a — Россия узнала и оценила вполне лишь тогда, когда грянули громы Севастополя...

XI. Проект конституции Никиты Муравьева.

(Из книги В. Якушина: „Государственная власть и проекты государственной реформы". Спб., 1906 г.).

Глава I.

О народе русском и правлении.

1. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства.

2. Источник верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого себя.

Глава II.

О гражданах.

3. Гражданство есть право, в определенном в сем уставе порядке, участвовать в общественном управлении: посредственно, т.-е. выбором чиновников или избирателей, непосредственно, т.-е. быть самому избираемым в какое-либо общественное звание по законодательной, исполнительной или судебной власти.

4. Граждане суть те жители Российской империи, которые пользуются правами выше определенными.

Глава III.

О состоянии, личных правах и обязанностях русских.

5. Все русские равны перед законом.

6. Русскими почитаются все коренные жители России и дети иностранцев, родившихся в России, достигшие совершеннолетия, доколе они не об'явят, что не хотят пользоваться сим преимуществом.

7. Каждый обязан носить общественные повинности, повиноваться законам и властям отечества и явиться на защиту родины, когда потребует того закон.

8. Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, прикоснувшийся земле русской, становится свободным. Разделение между благородными и простолюдинами не принимается, поелику противно вере, по которой все люди братья, все рождены благо по воле божией, все рождены для блага и все просто люди: ибо все слабы и несовершенны.

9. Всякий имеет право излагать свои мысли и чувства невозбранно и сообщать оные посредством печати своим соотечественникам. Книги, подобно всем прочим действиям, подвержены обвинению граждан перед судом и подлежат присяжным.

10. Существующие ныне гильдии и цехи в купечестве, ремеслах уничтожаются.

11. Всякий имеет право заниматься тем промыслом, который ему покажется выгоднейшим: земледелием, скотоводством, охотою, рыбною ловлей, рукоделиями, заводами, торговлею и так далее.

12. Всякая тяжба, в которой дело идет о ценности, превышающей фунт чистого серебра (25 р. с.), поступает на суд присяжных.

13. Всякое уголовное дело производится с присяжными.

14. Подозреваемый в злоумышлении может быть взят под стражу постановленными уставом властями и учрежденным порядком, но в 24 часа под ответственностью тех, которые его задержали, должно ему об'явить письменно о причине его задержания, — в противном случае он немедленно освобождается.

15. Заключенный, если он обвинен по уголовному делу, немедленно освобождается, если найдется за него порука.

16. Никто не может быть наказан, как в силу закона, обнародованного до преступления и правильно, законным образом, приведенного в исполнение.

17. Право собственности, заключающее в себе одни вещи, священно и неприкосновенно.

18. Земли помещиков остаются за ними. Дома поселян с огородами оных признаются их собственностью со всеми земледельческими орудиями и скотом, им принадлежащим.

19. Крестьяне экономические и удельные будут называться общими владельцами, равно как и ныне называющиеся вольными хлебопашцами, поелику земля, на которой они живут, предоставляется им в общественное владение и признается их собственностью. Удельное правление уничтожается.

20. Последующие законы определят, каким образом, сии земли поступят из общественного в частное владение каждого из поселян, и на каких правилах будет основан сей раздел общественной земли между ними.

21. Поселяне, живущие в арендных имениях, равно делаются вольными, но земли остаются за теми, кому они были даны, и по то время, по которое были даны.

22. Военные поселения немедленно уничтожаются. Поселенные баталионы и эскадроны с родственниками рядовых вступают в звание общих владельцев.

23. Разделение людей на 14 классов отменяется. Гражданские чины, заимствованные у немцев и ничем не отличающиеся между собою, уничтожаются сходственно с древними постановлениями народа русского.

Названия и сословия однодворцев, мещан, дворян именитых граждан заменяются все названием гражданина же русского.

24. Граждане имеют право составить всякого рода общества и товарищества, не испрашивая о том ни у кого позволения ни утверждения, лишь только бы действия оных не были противузаконными.

25. Никакое нарушение закона не может быть оправдано повелением начальства. Сперва наказывается нарушитель закона, потом подписавшие противузаконное повеление.

26. Граждане имеют право обращаться со своими жалобами и желаниями к народному вечу, к императору и к правительствующим сословиям держав.

27. Подземелья и казематы крепостные, вообще, все, так называемые, государственные темницы уничтожаются; никто не может быть заключен иначе, как в назначенных на сей предмет общественных темницах.

28. Нынешние полицейские чиновники отрешаются и заменяются по выборам жителей.

29. Всякий гражданин, который бы насилием или подкупами нарушил свободный выбор народных представителей, предается суду.

30. Никто не может быть обеспокоиваем в отправлении своего богослужения по совести и чувствам своим, лишь бы только не нарушил законов природы и нравственности.

Глава IV.

О России.

31. В законодательном и исполнительном отношениях вся Россия делится на 15 держав, 2 области и 568 уездов или поветов.

Державы делятся на уезды, уезды на волости от 500 до 1.500 жителей мужского пола.

В судебном отношении державы делятся на округи, равные нынешним губерниям.

Глава V.

О внутреннем устройстве волостном и уездном или поветовом.

32. В каждом уезде граждане, имеющие недвижимой собственности на 500 рублей серебром или движимой на 1.000 рублей серебром, собираются в уездном городе и выбирают тысяцкого на один год.

1) Те, которые пользуются землями в общественном владении, не суть владельцы и, следовательно, сюда не принадлежат.

33. Общие владельцы не имеют права каждый лично участвовать в выборе тысяцкого, народных представителей и других чиновников, но все общество на сходке имеет право назначить одного избирателя с каждых 500 жителей мужского пола, и сии избиратели, назначенные общими владельцами, подают голоса, наравне с прочими гражданами, как уполномоченные целым обществом, лишь только они пред'явят поверительные грамоты своего общества, засвидетельствованные волостными старейшинами. Впрочем, каждый из общих владельцев, имеющий капитал, означенный выше, участвует в выборах непосредственно и не лишается прав избирательства качеством общего владельца. Зато он не участвует в избрании уполномочивающего общества.

34. Чтобы быть тысяцким, должно иметь, по крайней мере, 21 год от рождения, непорочного поведения и недвижимого имения в собственном своем владении ценою не менее 1.500 фунтов чистого серебра (30.000 рублей серебром) или движимого не менее 3.000 фунтов чистого серебра (60.000). Если избранный в сие звание не владеет таковым имением, то он не должен принимать сего звания. В противном случае он лишается места и вносит пеню 100 фунтов чистого серебра (2.000 рублей).

35. В выборе волостном участвуют все граждане без изъятия и различия.

36. Обыватели каждой волости избирают на год или более волостного старейшину. Обязанности его есть, кроме управления волостного, отбирать показания обывателей, имеющих недвижимую или движимую собственность, разделить их на вышеозначенные статьи и представить тысяцкому.

37. Волостные старейшины находятся под особенным начальством тысяцкого, который проверяет доставленные ими сведения, принимает обвинения жителей и показания их.

Глава VI.

О народном вече.

38. Народное вече, состоящее из верховной думы и палаты народных представителей, облечено всей законодательной властью.

Глава VII.

О палате представителей, о числе и выборе представителей.

39. Палата представителей составлена из членов, выбранных на два года гражданами держав.

40. Во время своего избрания представитель должен жительствовать в избравшей его державе.

41. Лица, принявшие на себя подряды и поставки на общественные требы, не могут до совершенного окончания оных быть представителями.

42. Число представителей определяется соразмерно населению следующим образом:

Каждые 50,000 обывателей мужского пола посылают в палату представителей одного представителя. В числе сих 50,000 должно только полагать жителей, имеющих оседлость, постоянное жилище, не принимая в счет кочующих племен.

43. Палата представителей сама избирает своего председателя, она одна пользуется правом предавать суду сановников империи.

Глава VIII.

О думе верховной.

44. Верховная дума состоит из трех граждан каждой державы, двух граждан Московской области и одного гражданина Донской области. Всего 42 члена. Члены верховной думы избираются правительственными сословиями держав и областей, т. е. обеими соединенными в одно место палатами выборных и державными думами.

45. Немедленно по прибытии в столицу членов верховной думы они разделяются на три разряда по возможности, равных. Члены первого разряда выходят из думы по истечении 2-х лет. Члены второго разряда — по истечении 4, члены третьего разряда — по истечении 6 лет, так что треть всей думы возобновляется каждые два года новым избранием. Если же в продолжение двух годов между выходами откроются места, смертью членов или увольнением оных, то исполнительная власть сих держав сделает временное назначение (если это случилось в такое время, когда правительственное собрание не заменит оного).

46. Условия необходимые, чтобы быть членом верховной думы суть: 30 лет возраста, 9 лет гражданства в России для иностранца и жительство во время избрания в той державе, которая его избирает, недвижимого имения ценою на 1,500 фунтов чистого серебра или движимого на 3,000 фунтов чистого серебра.

47. Дума избирает сама своего председателя, наместника председателя и прочих своих чиновников. Председатель наблюдает за порядком рассуждений, но не имеет права голоса. Наместник занимает его место, когда он в отсутствии.

48. Верховной думе принадлежит суд над министрами, верховными судьями и всеми прочими сановниками империи, обвиненными народными представителями. Никто не может быть об'явлен виновным, как только $^2/_3$-ми голосов всех присутствующих членов. Дума не имеет права назначить другого наказания, как только об'явить подсудимого виновным и лишить его занимаемого им места и звания. Дальнейшее суждение над виновным продолжается в присутственных местах обыкновенным порядком судебным с присяжными, по письменному обвинению верховного блюстителя (генерал-прокурора, который лично ответствует суду, когда обвинение докажется несправедливым). Изобличенный судом государственный сановник подвергается казни, определенной законами.

Дума участвует вместе с императором в заключении мира, в назначении судей верховных судебных мест, главнокомандующих, сухо-

путных и морских сил, корпусных командиров, начальников эскадр и верховного блюстителя. Для сего потребно большинство $^2/_3$ членов думы.

Глава IX.

О власти, преимуществах народного веча и составлении законов.

49. Народное вече собирается, по крайней мере, раз в год. Открытие его заседаний назначается в первый вторник декабря месяца, доколе законом не будет определено другого срока.

50. Каждая палата сама судит о правах и выборе своих членов.

51. О всяком предложении налогов или набора ратников должно быть наперед рассуждаемо в палате представителей, но дума может делать оным изменения, как и во всяком предложении. Изменения сии в предложении о налогах тогда только становятся действительными, когда палата представителей оные допустит.

52. Всякий проект закона прочитается три раза в каждой палате. Между всяким чтением должно пройти 3 дня, по крайней мере; после каждого чтения происходят рассуждения. После первого чтения проект закона печатается и раздается всем присутствующим членам.

53. Всякое предложение, получившее согласие думы и палаты представителей, должно еще быть представлено императору, чтобы получить силу закона. Если император одобряет предложение, то подписывает оное, ежели не одобряет, то отсылает с своими замечаниями в ту палату, в которую оно сначала поступило. Палата записывает в свой журнал все замечания императора против сего предложения и вновь открывает об этом рассуждения. Если после сего вторичного суждения о предложении $^2/_3$ членов остаются в пользу предложения, то оное поступает со всеми замечаниями императора в другую палату, которая начнет также разбирать оное вновь, и там, если таковых большинство, одобряет оное, оно становится уже от того законом.

54. Ежели император по прошествии 10 дней (исключая воскресного) не возвратит предоставленного ему проекта, то оный получает силу закона. Если же народное вече отсрочит между тем свои заседания, то предложение не становится законом. Всякое приказание, решение, или прокламация и манифест, требующие содействия обеих палат (исключая рассуждения об отсрочке заседаний), должно быть представлено императору и утверждено им, чтобы быть приведенным в исполнение. Если же он отвергнет оное, то оно должно быть снова принято $^2/_3$ обеих палат, сходно с правилами выше означенными.

55. Проект, отвергнутый одной из палат, может быть вновь представлен только в следующий с'езд народного веча.

56. Народное вече имеет власть постановлять и отменять законы судные и исполнительные, то-есть:

1) Издать для России уложение гражданское, уголовное, торговое и военное, установить учреждения по благочинию и правила судопроизводства и внутреннего управления присутственных мест.

2) Об'являть законом в случае нашествия или возмущения, что такая область находится на военном положении и под военными законами.

3) Обнародовать закон о всепрощении.

4) Распускать правительственные собрания держав в случае, если бы оные преступали пределы своей власти и повелеть избирателям приступить к новым выборам.

5) Об'являть войну.

6) Устройство, содержание, управление, расположение и движение войск сухопутных и морских, система укрепления пределов, берегов, пристаней, набор, пополнение войск и внутренняя стража зависят от узаконений народного веча.

7) Налоги, займы, поверки расходов, пенсии, жалованья, все сборы и издержки, одним словом, все финансовые меры. Но оно не может утвердить никакой бюджет более, нежели на два года.

8) Все меры правительства о промышленности, о богатстве народном, учреждении ямов, почт, содержание сообщений сухопутных и водяных, заведение новых, учреждение банков.

9) Покровительствует наукам и полезным искусствам, дает сочинителям и изобретателям исключительное право пользоваться определенное число лет их сочинениями и изобретениями. Имеет право предлагать держ. прав. собраниям повсеместное преподавание закона божия, языка российского, общественного устава и военных наук, но отнюдь не может ограничивать в сем смысле свободы оных и частного преподавания.

10) Постановления правил награждения для гражданских чиновников, устройство порядка службы во всех отраслях управления и статистические отчеты всех частей правительства.

11) Получа донесения министра, в случае болезни телесной или нравственной императора, кончины или отречения, об'являет регентство или провозглашает наследника императором.

12) Избирает правителей держав.

57. Народное вече определяет общие налоги и издержки, предоставляя частные распоряжениям правительственных собраний держав. Существующие долги признаются народным вечем, которое ручается в платеже оных.

Глава X.

О верховной исполнительной власти.

58. Император есть: верховный чиновник российского правительства. Его права и преимущества суть:

1) Власть его наследственная по прямой линии от отца к сыну, но от тестя она не переходит к зятю.

2) Он соединяет в особе своей всю исполнительную власть.

3) Он имеет право останавливать действие законодательной власти и принуждать ее ко вторичному рассмотрению закона.

4) Он верховный начальник сухопутной и морской силы.

5) Ведет переговоры с иностранными державами и заключает мирные трактаты с совета и с согласия верховной думы, лишь только две

трети присутствующих думы на то согласились. Трактат, таковым образом заключенный, поступает в число верховных законов.

6) Император при вступлении своем в правление произносит следующую присягу посреди народного веча:

«Я клянусь торжественно, что буду верно исполнять обязанности императора российского и употреблю все мои силы на сохранение и защиту сего конституционного устава России».

59. Кабинет уничтожается, ясак сибирских народов и все так называемые регалии поступают в общественное казначейство, но император получает на содержание свое и своего семейства ежегодно из общественного казначейства сумму, равную цене 102,000 фунтов чистого серебра (2.000,000 рублям серебряным), в которых он никому не обязан давать отчета.

60. Особы, составляющие семейство императора, не отличаются от частных лиц, подчинены тем же учреждениям и тому же влиянию правительства, как и все прочие, и не пользуются никакими особыми правами и преимуществами.

61. Правитель империи не может удалиться из оной без важных неудобств.

62. Совершеннолетие императора полагается 18 лет; в случае об'явленной министрами неспособности телесной или нравственной императора и признанной народным вече, наследник его заступает место временного правителя (регента), буде это временный недуг, — место императора, буде нет надежды на поправление его здоровья.

63. В случае, если бы наследник императора еще не достиг 18-летнего возраста, тогда место правителя России занимает председатель думы верховной, председательство же думы верховной переходит его наместнику. Через каждые 4 года избирается новый правитель поочередно — в первый раз думою из всей палаты представителей, во-второй — палатою представителей из среды верховной думы и так далее до совершеннолетия наследника.

64. Все гражданские чиновники, главы приказов, правитель временный и пр. могут быть лишены своих должностей, если вследствие обвинения палатою представителей уличены будут думою в измене, расхищении общественной казны или сделали еще какие-либо преступления и, наконец, ежели окажутся неспособными.

65. Всякий чиновник исполнительной власти отвечает за каждое свое действие; никто не может оправдаться полученным приказанием, ибо в гражданском быту слепое повиновение не может быть допущено, и всякий исполнитель противузаконного веления будет наказан так, как и подписавший веление. Император не подлежит суждению, если же сам император лично учинит какое-либо преступление, за которое никто другой не подлежит ответственности, то сие приписывается нравственному недугу народным вечем, которым, в таком случае, учреждается регентство, посредством особого закона.

XII. Из «Русской Правды» П. И. Пестеля.

(Заимствовано из издания 1906 г. под ред. П. Е. Щеголева).

Разделение государства на правительство и народ. Гражданское общество, как и всякое другое, имеет свою цель и должно избирать средства для достижения оной. Цель состоит в благоденствии всего общества вообще и каждого из членов оного в особенности. В сей цели все согласны. Для достижения оной нужны средства или действия. Действия сии разделяются на общие и частные. Общим действием называется то, которое касается всего общества, а следовательно и производится от лица всего общества. Частным то, которое составляет занятие и упражнение каждого члена в особенности. Избрание средств для достижения сказанной цели и действие, сообразное с сим избранием, ведет к разделению членов гражданского общества на повелевающих и повинующихся. Действие от лица всего общества составляет обязанность первых; действие от лица частных членов предоставляется вторым. Когда гражданское общество получает название Государства, тогда повелевающие получают название правительства, а повинующиеся название народа. Из сего явствует, что главные или первоначальные составные части каждого государства суть: правительство и народ.

Взаимные отношения правительства и народа. Правительство имеет обязанность распоряжаться общим действием и избирать лучшие средства для доставления в государстве благоденствия всем и каждому. А посему имеет оно право требовать от народа чтобы оный ему повиновался. Народ же имеет обязанность правительству повиноваться; но за то имеет право требовать от правительства, чтобы оно непременно стремилось к общественному и частному благоденствию и только бы то повелевало, что истинно к сей цели ведет, и без чего не могла бы оная быть достигнута. На сем единственном равновесии взаимных обязанностей и взаимных прав может существование какого бы то ни было государства быть основано, а посему и переходит государство, при потере сего равновесия из природного и здорового своего положения, в состояние насильственное и болезненное. Установление сего равновесия на твердых основах есть главная цель сей «Русской Правды» и коренная обязанность каждого законодателя.

Основное понятие о правительстве и разделение оного на верховную власть и государственное Правление. — Правительство есть совокупность всех лиц, занимающихся отправлением дел общественных. Оно поставлено в обязанность доставлять народу благоденствие и потому право имеет государством управлять для достижения сей предназначенной цели. Обладая сим правом, оно должно иметь и соразмерную власть, дабы обязанность могла быть выполнена и право было бы действительным. Сия власть, посредством которой правительсто исполняет свою обязанность, употребляет свое право и достигает предназначенной цели, — есть Верховная власть. Из общего предмета или состава благоденствия государства исте-

кают особенные предметы сей общей цели и, как общей цели благоденствия соответствует верховная власть, так должно соответствовать каждому особенному предмету: особенная обязанность, особенное право и особенная власть. Сии особенные власти истекают из верховной, которая об'емлет всю цель учреждения правительства; почему и должны особенные власти совершенно зависеть от верховной и действовать по направлению, от нее исходящему. Совокупность всех сил особенных или частных властей составляет государственное правление, которое также названо быть может чиноначальством. Из сего явствует, что правительство не может выполнить своей обязанности и государству доставить благоденствие, если не будет иметь власти, соразмерной важности и обширности цели гражданского общества, и что сия власть распространяет свое действие по всем предметам на целое государство, имея притом много подчиненных властей, кои уже действуют на отдельные только предметы или на отдельные только части оного.

Общая власть именуется верховною властью, а совокупность частных — государственным правлением или чиноначальством. Посему и разделяется всякое правительство на верховную власть и на государственное правление или чиноначальство.

Необходимость России преобразовать и новые законы издать. Таковы коренные начальные понятия, на которых основаны быть должны существование, жизнь и образование всякого благоустроенного государства, дабы оное находилось под властью и управлением законов общественных, а не прихотей личных властителей и доставляло бы возможное благоденствие всем и каждому, а не зловластвовало над всеми для выгоды единого или нескольких. Все, что от сих правил удаляется, а тем паче оным противоречит, есть зловластие, ниспровержение прав и уничижение, нарекание наносящее и гибель совершающее. Применяя сии неизменные и непреложные коренные правила к России, ясно видеть можно, что самые сии коренные правила непременно требуют изменения существующего ныне порядка в России и введения, на место его, такого устройства, которое было бы основано на одних только точных и справедливых законах и постановлениях, не предоставляло бы ничего личному самовластию и в совершенной точности удостоверяло бы народ российский в том, что он составляет устроенное гражданское общество, а не есть и никогда не быть не может чьей-либо собственностью или принадлежностью. Из сего явствуют две главные для России необходимости: первая состоит в совершенном преобразовании государственного порядка и устройства, а вторая — в издании полного нового уложения или свода законов, сохраняя при том все полезное и уничтожая все вредное.

О необходимости «Русской Правды» и временного верховного правления. Сия двойная цель не может иначе с успехом быть достигнута, как посредством учреждения временного верховного правления и обнародования «Рус. Пр.», ко всеобщему сведению. Причины тому суть следующие: предполагаемый новый порядок по обширности государства и многочисленности статей и предметов, преобразованию подлежащих, не может быть введен вдруг одним разом. Для сего нужно множество мер приуготовительных или переводных, которые должны постепенно в ход и действие быть приводимы, дабы государство не подверглось беспорядкам, волнениям и превраще-

ниям, которые вместо улучшения могли бы только ввергнуть оное в гибель. Все происшествия в Европе, в последнем полустолетии случившиеся, доказывают, что народы, возмечтавшие о возможности внезапных действий и отвергнувшие постепенность в ходе государственного преобразования, впали в ужаснейшие бедствия и вновь покорены игу самовластия и беззакония. Сие доказывает необходимость приступить к преобразованию государства постепенными мероприятиями. Кому может быть поручено исполнение сего важного дела, как не временному верховному правлению; прежняя верховная власть довольно уже доказывала враждебные свои чувства против народа русского, а представительный собор не может быть созван, ибо начала представительного верховного порядка в России еще не существуют. Но поелику Россия должна иметь залог, в том, что временное верховное правление точно будет действовать для одного только блага России и для всевозможного усовершенствования положения и состояния ее по всем предметам и статьям, то необходимым оказывается издание «Русской Правды», в виде наказа верховному правлению. С другой стороны составление уложения или полного свода законов есть дело обширное, многотрудное, требующее много времени и больших соображений, дабы все статьи оного в совершенном между собою находились согласии и соответствии. А посему и не может оное быть вдруг ныне издано. К тому же государственное уложение должно содержать одни только точные и положительные законы и постановления, утверждающие будущий порядок в государстве, а следовательно и не должно оно содержать:

1) Ни воспоминания о ныне существующем порядке, ибо оный прекратит свое существование; 2) ниже изложения переводных и приуготовительных мероприятий или средств, коими нынешний порядок заменен будет предполагаемым новым, ибо приуготовительные и переводные меры суть действия преходящие; 3) ниже, наконец, пояснения основных умозрительных соображений и правил, на коих государственное здание имеет быть сооружено, ибо умозрения не могут входить в состав положительных законов или уложения. Но, поелику сии три предмета преимущественно важны, и России непременно известны быть должны при самом начале ее возрождения и преобразования, то тем еще более оказывается необходимость в «Русской Правде», которая, излагая коренные начала и основания сего преобразования, содержала бы указания на целое государство и на все оного части, члены и отрасли.

Гражданское разделение земель.

О сем гражданском разделении земель много было рассуждаемо при чем все сии рассуждения разделялись на два главные мнения. Первое мнение об'ясняется таким образом: человек находится на земле, только на земле может он жить, только от земли может он пропитание получать. Всевышний сотворил человеческий род на земле и землю отдал ему в достояние, дабы она его питала. Природа производит все то сама, что к пище человека служить может. Следовательно, земля есть общая собственность всего рода человеческого, а не частных лиц и посему не мо-

жет она быть разделена между несколькими только людьми, за исключением прочих. Коль скоро существует хоть один человек, который никаким обладанием земли не пользуется, то воля всевышнего и закон природы совершенно нарушены и права естественные человека устранены насилием и зловластием. На сем соображении был основан известный поземельный закон римский, который устанавливал частое разделение земель между всеми гражданами. Второе мнение, напротив того, об'ясняет, что труды и работы суть источники собственности и что тот, который землю удобрял и оную способной сделал к произведению разных произрастаний, исключительное должен на ту землю иметь право обладания. К сему суждению прибавляется еще и то соображение, что дабы хлебопашество могло процветать, нужно много издержек, которые тот только сделать соглашается, который в полной своей собственности землю иметь будет; что неуверенность в сей собственности, сопряженная с частым переходом земли из рук в руки, никогда не допустит земледелия к усовершенствованию. Посему и должна вся земля быть собственностью нескольких людей, хотя бы сим правилом и было большинство людей от обладания землею исключено. Сии два мнения совершенно друг другу противоречат, между тем, как каждое из них много истинного и справедливого содержит. Сие происходит от того, что оба сии мнения заключения свои до крайности доводят. А дабы ясно усмотреть можно было, в каком отношении каждое из сих мнений справедливо и в каком каждое ложно, надлежит следующими правилами руководствоваться: 1) человек может только на земле жить и только от земли пропитание получать, следовательно, земля есть собственность всего рода человеческого и никто не должен быть от сего обладания ни прямым, ни косвенным образом исключен; 2) с учреждением гражданских обществ сделались сношения между людьми многообразнее и возникло понятие о собственности. Охранение сего права собственности есть главная цель гражданского быта и священная обязанность правительства; 3) законы политические должны утверждать и обеспечивать законы духовные и естественные, а не нарушать оных... 4) наперед надобно помышлять о доставлении всем людям необходимого для жития, а потом уже о приобретении изобилия. На первое каждый человек имеет неоспоримое право, потому что он человек; на второе имеет право только тот, который сам оное приобрести успеет; 5) установив возможность для каждого человека пользоваться необходимым для его жития, не подвергая его, для приобретения оного, зависимости от других, надлежит только дать обеспечение и совершенную свободу приобретению и сохранению изобилия. Соображая сии коренные правила с выше из'ясненными двумя мнениями, можно легко приступить к изысканию средств для соглашения обоюдных их выгод и преимуществ и устранения обоюдных несправедливостей.

Сии средства состоят в разделении земель каждой волости на две половины по угодьям. Одна половина получит наименование земли общественной, другая — земли частной. Земля общественная будет всему волостному обществу совокупно принадлежать и неприкосновенную его собственность составлять; она ни продана, ни заложена быть не может. Она будет предназначена для доставления необходимого всем гражданам без из'ятия и будет подлежать обладанию всех и каждого. Земли частные будут принадлежать казне или частным лицам, обладающим оными

с полною свободою и право имеющим делать из оной, что им угодно. Сии земли, будучи предназначены для образования частной собственности, служить будут к доставлению изобилия. Земля общественная будет удовлетворять справедливым заключениям первого общественного мнения, а земли частные — второго мнения. Сим средством будут оба мнения совершенно соглашены, все пять коренных вышеписанных правил в полной мере соблюдены, каждый в необходимом обеспечен и полная свобода к приобретению изобилия дана тем, которые в состоянии найдутся оным пользоваться. Ежели при первом взгляде покажется введение такового порядка сопряженным с большими трудностями, то надлежит только вспомнить, что сие постановление может большие затруднения встретить во всяком другом государстве, но не в России, где понятия народные весьма к оному склонны и где с давних времен уже привыкли к подобному разделению земли на две части.

Главные начала, могущие основанием служить для постановлений касательно общественных земель, суть следующее: общественная земля должна в каждой волости разделяма быть на участки. Каждый участок должен так быть велик, чтобы необходимое для житья одного тягла доставлять мог. Тяглом разумеется муж с женою и тремя детьми. Земские сии участки должны раздаваться членам волостного общества. Они участки сии получают не в полную собственность, но для того, чтобы их обрабатывать и пользоваться их произрастаниями. Каждый участок отдается в обработку на один год, по истечении коего переходит оный в другие руки или опять за тем же хозяином утверждается. Земледельческий год не с 1-го января по 1-е января, но с окончания жатвы до окончания оной в следующем году.

Волость имеет список своим участкам и ежегодно назначает особое время для раздачи оных; проект о своей раздаче волостное правление подносит наместному собранию. Волостное наместное собрание (о коем ниже говорено буде) утверждает окончательно раздачу сих участков. Каждый член волостного общества имеет право столько требовать участков, сколько пожелает; принужден же к тому никто быть не может. Сие право распространяется равным образом на граждан, имеющих собственные свои частные земли и на не имеющих таковых, ибо они суть все члены волостного общества. Когда требуется менее участков, нежели сколько их имеется, тогда получает каждый требователь желаемое число, а остальные участки могут отдаваться в откуп посторонним лицам. Когда требуется более участков, нежели их имеется, тогда остаются без удовлетворения требования тех граждан, которые наибольшее число участков требуют, так что в сем случае большие требования сравниваются с меньшими. При невозможности удовлетворить равным требованиям, предпочитаются не имеющие частных земель в своей собственности тем, которые таковыми землями обладают; пропитывающиеся от одного земледелия — тем, которые занимаются еще и другой какой-нибудь промышленностью, — одним словом, предпочитается тот, который беднее.

Так как общественная земля устанавливается для доставления каждому необходимого для житья, то и должен каждый заниматься своим участком с усердием и прилежанием, а посему волостное общество

и сохраняет власть за гласный и доказанный разврат лишать права на общественные земские участки.

В каждой волости должен быть волостной банк учрежден, из коего бы каждый гражданин той волости мог вспомоществование получить, и к сему банку полезно присоединить страховое учреждение. Из сего банка получать будут граждане нужное число денег на первоначальное обзаведение своего хозяйства, когда в земледельческое состояние поступать будут.

Когда порядок сей в полной мере введен будет и окончательное возымеет установление и действие, тогда от него для России следующие окажутся неоцененные выгоды и последствия: 1) Каждый россиянин будет совершенно в необходимом обеспечен и уверен, что в своей волости всегда клочок земли найти может, который ему пропитание доставит и в коем он пропитание сие получать будет не от милосердия ближних и не оставаясь в их зависимости, но от трудов, кои приложит для обрабатывания земли, ему самому принадлежащей, яко члену волостного общества наравне с прочими гражданами. 2) Какое сильное и благодетельное влияние таковая уверенность и таковой порядок должны иметь на нравственность народа, легко усмотреть можно. Что более всего к преступлениям людей склоняет, как не нищета и совершенный недостаток. Устраняя ужасные сии поводы к злу и разврату, постановление сие укрепит нравственность и добродетель. Оно большую часть случаев к подлости и подобострастию решительно отвратит и тем самым возвысит дух народа и вселит в граждан ту благородную самостоятельность, которая признана быть должна сильнейшей природой государства. 3) Сие постановление ни в чем не препятствует стремлению к изобилию и улучшению земледелия, ибо земли, для последней сей цели предоставленные, составляют половину всех земель вообще и в полной мере для того достаточны. 4) Разнообразность земель в отношении к плодородию и климату производит различные степени народонаселения, которые производят в свою очередь необходимость в переселениях из стран многонаселенных, в страны мало или менее населенные. Переселения сии ныне исполняются самыми беднейшими людьми, не находящими в своей земле более средств к пропитанию, отчего происходит, что большое из них число дорогою пропадает, а кто до места достигнет, тот способов не имеет ни себя порядком водворить, ни новой своей земле пользу принести, ибо для сего нужны капиталы, коих он не имеет. Все сии пагубные неудобства совершенно отвращаются установлением общественных земель, ибо при оных переселяться будет единственно тот, которому нельзя получить столько общественных участков в своей волости, сколько он бы того желал. Желающий же иметь несколько участков не есть человек бедный и потому может переселиться с удобностью и с выгодой как для себя, так и для своей волости. 5) Умножение народонаселения увеличит невозможность отдавать в одни руки много участков из общественной земли и тем самым получит приобретение земель в частную собственность сильное поощрение. Оттого вздорожают земли, а возвышение цены оных послужит поощрением к направлению капиталов на устройство мануфактур, фабрик, заводов и всякого рода изделий, на предприятие разных коммерческих оборотов и торговых действий. Из сего явствует, что уста-

новление общественных земель дает возможность промышленности иметь естественное свое течение и устраивать переходы и направление капиталов с полною свободою, соображаясь единственно с выгодой и пользою. 6) Каждый россиянин будет посредством сего постановления обладателем земли. Он будет или обладатель частный, имея землю в частной своей собственности, или обладатель общественный, имея право, яко член волостного общества, пользоваться общественной землей, не платя за оную найма. Вся Россия будет, следовательно, состоять из одних обладателей земли и не будет у нее ни одного гражданина, который бы не был обладателем земли. Таковое положение вещей российскому народу приобщит почтение во всех других державах и государствах. 7) Каждая волость составлять будет в полном смысле политическое семейство, в котором каждый гражданин найдет не только безопасность, но и верное пристанище, не только охранение своей собственности, но и дарование необходимого для житья. Таким образом состоять будет политическое устройство не только в согласии с духовными и естественными законами, но даже будет их подкреплять и на твердых началах утверждать. От такового порядка родится сильная связь между членами одной и той же волости. Посредством политического своего семейства, будет каждый гражданин сильнее к целому составу государства привержен и, так сказать, прикован. Каждый будет видеть, что он в государстве находится для своего блага, что государство о благоденствии каждого помышляет, каждый будет чувствовать, что он подати платит и повинности несет для цели ему близкой и для собственного своего блага. На таковом образе мыслей будет основана любовь к отечеству, сей источник всех государственных добродетелей и сия сильнейшая подпора существования и благоденствия царств. 8) Посредством общественных земель возродится сильная связь между членами одной и той же волости. Связь же сия между членами волости будет то благодетельное иметь последствие, что во всех сношениях с правительством никогда не будет частный человек от ближних покинут, всякому зловластию предоставлен оставаться один без всякой помощи в противоборстве с властью. Вся волость за каждого вступаться будет и дела уже тогда решаться будут высшими властями по зрелому рассмотрению всех обстоятельств. Для правительства же то будет неоцененная выгода, что оно не будет затрудняться с каждым частным человеком ведаться особо. Оно будет знать только волость и волостное правление, от сего последнего требовать частного исполнения всех правительственных действий и распоряжений и с него взыскивать за всякие упущения, в личный же разбор входить только тогда, когда волостное правление содействия просить будет. Сим порядком облегчится и ускорится действие правительства и установится правильное и законное противуборство частному деспотизму, которое повидимому хотя на мелочи только обращается, но однако же чрезвычайно тягостно для граждан.

Имея в виду все сии благодетельные последствия, с установлением волостных обществ и общественных земель сопряженные, обязывается верховное правление непременно сие постановление ввести и ни мало не останавливаться пред затруднениями с сим введением нераздельными. Опасаться сих затруднений значило бы высказывать непонятливость или, что еще хуже, злобность нрава, противящегося установлению истинной в государстве свободы.

XIII. Правящий класс в тридцатые годы.

(Из статьи Н. А. Рожкова: «Тридцатые годы», в № 12 «Совр. Мира» за 1916 г.).

Предпосылки в области материальной культуры.

Термин «тридцатые годы», прилагаемый к известному моменту в развитии духовной культуры русского землевладельческого дворянства, гораздо шире по своему об'ему, чем десятилетие с 1830 по 1840 год: кроме этого десятилетия, сюда относятся по своему культурному содержанию еще 1826—1829 годы. Если конечным пунктом тридцатых годов надо считать отказ Белинского от примирения с «гнусной рассейской» действительностью, совершившийся не раньше лета 1840 года [1]), то началом этого замечательного в своем роде и во многом поучительного культурно-исторического момента является разгром декабристов, казнь пятерых из них и кары, постигшие всех остальных. В этих хронологических рамках и будут заключаться наши наблюдения и выводы.

Золотой век крепостного хозяйства отошел уже тогда в прошлое. В старом здании крепостничества уже с конца XVIII века стали появляться трещины — сначала легкие, мало заметные, едва намечавшиеся, но постепенно расширявшиеся и увеличивавшиеся в числе—особенно после бури двенадцатого года. Как сейчас увидим, в тридцатые годы этих трещин было уже немало, но в то же время и не настолько много, чтобы отнять у господ положения надежду на то, что их удастся замазать. Тридцатые годы были временем реакции, «органической» эпохой, но, как всегда в таких случаях бывает, то был не возврат к прошлому и даже не застой: под внешней корой рутины и традиции слагались и зрели новые силы.

Условия хлебного рынка в тридцатых годах несомненно улучшились по сравнению с двадцатыми. Внутренний рынок увеличился: по официальным данным того времени, количество городского населения в 1838 г. доходило до 4 миллионов 750 тысяч, что составляло уже около 7% всего населения страны, тогда как раньше процент городского населения был не выше пяти; на ярмарки уже в начале 30-х годов привозили товаров на 563 милл. руб. в год и продавали их на 206 миллионов [1]); к 30-м годам относится начало быстрого роста фабричной промышленности — уже не дворянской, а купеческой и крестьянской: в 1831 году Кондратов основывает свой сталелитейный завод в селе Ваче, Муромского уезда; около того же времени выдвигаются многие иваново-вознесенские фабриканты.

Не менее важно было увеличение заграничного хлебного вывоза: вывоз пшеницы в 30-х годах сравнительно с 20-ми увеличился вдвое, ржи — втрое.

---

[1]) Тогда именно писал он Боткину: «Идея общества обхватила меня... Мочи нет, куда ни взглянешь,—душа возмущается, чувства оскорбляются... Мы живем в страшное время, судьба налагает на нас схиму».

И все-таки это — лишь одна сторона медали, это — только основной светлый фон. На нем наблюдаются черные точки и даже целые темные пятна.

Начать хоть бы с вывоза: ценность экспортировавшегося в 30-х годах хлеба не превышала 10—12% всей стоимости вывозимых за-границу товаров; сырья и полуфабрикатов в то время вывозилось на сумму, в шесть раз большую.

Затем, повидимому, спрос и на внешнем и на внутреннем рынках далеко не поглощал всего предложения: не даром в Новороссии, столь близкой к черноморским портам, сильно развивалось овцеводство — число овец выросло там с 2 до 7 миллионов голов — и мясное скотоводство, которые, очевидно, по условиям рынка были выгоднее зернового хозяйства; недаром также помещичьи хозяйства в заметной мере индустриализировались путем усиленного развития в 30-х годах винокурения и сахароварения, наконец, что означал отмеченный сейчас огромный вывоз за-границу сырья и полуфабрикатов? Несомненно, он указывал на огромное значение крестьянской кустарной промышленности.

Из всего этого ясно, что если в особо плодородных местностях, удобно притом расположенных по отношению к рынкам, было выгодно увеличивать барскую запашку и земледельческую барщину, то в других местах, при других условиях выгоднее для помещика был оброк, а иногда вполне оправдывались экономически и улучшения в технике земледельческого производства.

Таким образом, Онегин, может быть, и не выказал себя непрактичным и не разорился тогда, когда

Ярем он барщины тяжелой
Оброком легким заменил.

Точно также едва ли можно огульно осуждать как неудачные и непрактичные попытки агрономических реформ того времени: чтобы понять их истинное значение, надо лучше разобраться в конкретной их обстановке.

Наши сведения об опытах сельско-хозяйственных улучшений 30-х годов постепенно все увеличиваются.

Нельзя сказать прежде всего, чтобы в с е эти опыты были неудачны: о результатах хозяйства Мальцова мы пока ничего не знаем; Воробьев, Каразин и Полторацкий хозяйствовали, как достоверно известно, вполне успешно. К опыту Голохвастова Герцен относится иронически и с большим скептицизмом, но не приводит никаких об'ективных данных в подтверждение своего отношения. Сомнительно, чтобы такой отличавшийся, по характеристике Герцена, «рассудочностью, практичностью» человек, как Голохвастов, стал «заниматься агрономией, изучать Теэра, заводить сеялки и веялки», если бы это причиняло ему убытки. Достоверной остается, значит, только одна неудача Шелехова, да и та была не полной.

Не говоря уже о том, что могли быть специфические, индивидуальные причины, она об'яснима и из приведенных выше данных о переходном, двойственном, колеблющемся, недостаточно еще ярко определившемся состоянии внутреннего и внешнего хлебного рынка.

При всем том, наблюдая известные уже нам примеры улучшений в земледельческой технике, необходимо отметить односторонний их характер сравнительно с позднейшими опытами в том же роде: тогда как в последних реформировались и формы производства — вводился в той или другой — скрытой или явной — форме наемный труд, — в попытках тридцатых годов видно внимание к технике производства при полном игнорировании его форм. Были порывы, искания, но недостаточно определенные, не осознанные глубоко, и потому половинчатые, незаконченные. Мы увидим, что это особенно характерно для тридцатых годов и не в одной только области хозяйственных отношений.

В сфере социальных отношений наблюдаются в 30-х годах бескрылые, беспомощные, безрезультатные попытки как-нибудь ограничить отдельные «злоупотребления» крепостным правом без всякого понимания того, что крепостное право было сплошным злоупотреблением; секретный комитет 1826 года бесплодно обсуждал вопрос о запрещении продавать крепостных в розницу без земли; комитет 1835 года пускал мыльные пузыри в виде предположений о постепенном безземельном освобождении всех крепостных; Киселев, назначенный в 1836 г. министром государственных имуществ, начал свой опыт благоразумного барского попечительства над государственными крестьянами с целью, с одной стороны, увеличить оброчный доход с них, что ему и удалось, с другой — дать образец хорошего крепостного барского хозяйства. Все это — старина, нового тут почти ничего не было.

Но все-таки — «почти» ничего, а не совершенно ничего. И здесь, в общественном строе, слабые ростки будущего пробивались вопреки воле тех, кто работал над укреплением существующего: хозяйство государственных крестьян находилось под крепостнической опекой, но оно было не барщинным, а оброчным, — и это уже предвещало грядущее освобождение; слов «свобода» и «воля» так боялись, что «свободные» или «вольные хлебопашцы» Александровского закона 1803 года были переименованы, по повелению Николая I, в «государственных крестьян, водворенных на собственных землях», — и все таки число этих новых «государственных крестьян» продолжало расти; подготовлялся киселевский закон 1842 года об обязанных крестьянах, граждански свободных, но вечно арендующих помещичью землю; в 1840 году разрешается фабрикантам — владельцам поссессионных фабрик — отпускать своих поссессионных крестьян на волю, — и сразу же половина этих фабрикантов пользуются этим разрешением; наконец, старая сословность дает трещину, и замечается приближение к классовому принципу: членами дворянских собраний признаются не все дворяне с 25-летнего возраста, включая и безземельных, лишь бы они прослужили на службе 25 лет, как то было по екатерининской грамоте, а только дворяне-землевладельцы, обладающие определенным земельным цензом, т.е. с исключением не только безземельных, но и мелкопоместных дворян.

В государственном строе — полный застой. Государственное строительство старого порядка закончено было при Александре I учреждением Государственного Совета и министерств. Дальше было некуда итти, оставаясь в рамках дворянского самодержавия. Приходилось только исправлять маленькие недостатки механизма — это и делалось учреждением министерства государственных имуществ, изданием свода законов, при-

чем оказалась невозможной творческая выработка нового Уложения, пришлось ограничиться лишь об'единением старого законодательства. Ясно было только еще одно: в виду надвигавшихся опасностей старый порядок должен был вооружиться до зубов. И этой цели должна была служить новая политическая полиция — жандармы во главе с их шефом Бенкендорфом и управляющим третьим отделением — сначала Фоком, потом Дубельтом.

Господа положения.

Во второй половине XVIII в. господами положения в дворянской среде были люди, достигнувшие при помощи избалованного барского самодурства гармонии между низшими эгоистическими чувствами — страхом и корыстными влечениями — с одной стороны, и эгоистическими чувствами высшего порядка, иначе, чувствами индивидуалистическими, — смелостью, самолюбием или гордостью, честолюбием, жаждой новизны и разнообразия впечатлений, жаждой борьбы, эстетическим чувством — с другой стороны; в первой четверти XIX века господами положения стали люди, потерявшие эту гармонию, утратившие ряд индивидуалистических чувств: у них исчезла смелость, ослабела жажда новизны, утратилось стремление к борьбе; вследствие этого все их чувства приобрели тусклый характер, побледнели, эмоциональная сфера вообще ослабела и обеднела, создался частичный рецидив элементарного эгоизма, и в силу частичности этого рецидива явилось лицемерие, подмена чувства чувствительностью, откуда — сентиментализм в литературе и искусстве и мистицизм в религии.

Теперь, в тридцатых годах, господами положения в дворянстве стали люди, утратившие и ту долю эстетизма, какая свойственна была сентименталистам, прогрессировавшие далее в рецидиве грубого эгоизма, из индивидуалистических чувств сохранившие в сущности лишь властность. Конечно, такие люди были и раньше, но только теперь они стали выдвигаться на первый план, властвовать в обществе, давать ему господствующий тон: готовилась последняя отчаянная попытка самозащиты крепостничества; взять на себя это отживающее, безнадежное дело могли только наиболее отсталые элементы помещичьего класса.

Николай I был типическим их представителем. По своему это была цельная и яркая личность. И эта цельность и яркость были результатом того, что все в ней окрашивалось в один цвет одним господствующим чувством — сильно развитым инстинктом самосохранения, тем страхом за свое существование, который вообще столь характерен для крепостников второй четверти XIX века. Уже в детстве Николай проявлял большую робость, даже трусость: он сильно боялся матери, боялся выстрелов, грозы, воды. Воспитатели только развивали в нем эти природные задатки: держали его точно в тисках, постоянно оговаривали, читали мораль кстати и некстати, били линейкой, ружейным шомполом. Ламздорф доводил его почти до бесчувствия, ударяя головой об стену. Зная о своих правах на престол, Николай не посмел заявить о них открыто, когда увидел, что этому противится Милорадович. Позднее он всю жизнь боялся дворянства: в секретных комитетах по крестьянскому делу, созывавшихся часто в его царствование, стоило только крепостникам напомнить

о возможном недовольстве дворянства, — и Николай немедленно сдавал позиции, как бы ни были скромны и несущественны задуманные облегчения крепостного права. Еще больше боялся Николай крестьян: здесь его успокаивал только факт существования крепостного права, обеспечивавший ему в лице владельцев крепостных душ, по его собственному выражению, «сто тысяч полицеймейстеров». Больше всего он боялся либералов: отношение к декабристам, к сколько-нибудь образованным офицерам вообще, к студентам, к революциям, потрясавшим Европу в 1830 и 1848 годах, в частности в венгерской революции, ко всему, в чем ему чудились хотя бы малейшие искорки вольномыслия, слишком хорошо известно, чтобы говорить об этом подробнее. 14 декабря навсегда осталось в его памяти грозным призраком, вызывавшим трепет: всякое проявление ненавистного либерализма — действительное или воображаемое — вызывало у него фразу: «это мои друзья 14-го декабря» («ce sont mes amis de quatorze»).

Лучшим средством самосохранения Николаю I казались порядок, дисциплина, безусловное повиновение. В сущности и его властность не была властолюбием, любовью к власти, а средством оградить себя от опасности. Павел I и Александр I более, чем Николай, любили власть как таковую, самое по себе. Воспитать дисциплину, порядок, повиновение, по его мнению, могла лишь военная служба. Отсюда проистекает его любовь к военному делу. Но любил он не существо этого дела, а форму, внешность и команду. По собственным словам Николая, его привлекали в военной службе «порядок, никакого всезнайства и противоречия, подчинение одной цели». Фронтовая часть была «единственным занятием» Николая, по словам Жуковского, который приходил от этого в настоящее отчаяние, и в ней он, по словам Михайловского-Данилевского, обнаруживал «необыкновенные знания»: «иногда, стоя на поле, он брал в руки ружье и делал ружейные приемы так хорошо, что вряд-ли лучший ефрейтор мог с ним сравняться, и показывал также барабанщикам, как им надлежало бить». В этом условном, ограниченном, чисто формальном смысле он «смотрел на всю человеческую жизнь, как на службу»; недаром умирая, он говорил своему сыну: «сдаю тебе к о м а н д у». Даже на свою деятельность, как монарха, он смотрел, как на военную команду на вахт-параде. И в этой сфере он не признавал ничего, кроме бесмысленного, слепого повиновения. «Сомневаюсь, — написал император на записке князя Меньшикова 28 января 1826 года, — чтобы кто-либо из моих подданных осмелился действовать не в указанном мною направлении коль скоро ему предписана точная воля» [1]).

Как поступают люди, вечно дрожащие за свое существование с врагами? Когда эти враги сильны и опасны, такие люди надевают на себя маску притворства, хитрят; когда же враги слабы, побеждены, находятся в руках их, — они обрушиваются на них со всею возможною суровостью, поступают совершенно беспощадно.

Так действовал в соответствующих случаях и Николай I. Ничего не может быть характернее отношения его к декабристам в первые же дни и месяцы царствования, когда шли следствие и суд над ними. Одних он попрекал, как Трубецкого, — тем, что ему, аристократу, «не стыдно быть

[1]) Ш и л ь д е р: «Император Николай I».

вместе с такою дрянью», других, зная их родственные чувства, пытался привлечь к себе вниманием к их родным: так он поступил с Рылеевым, послав его жене 2.000 рублей, и с Оболенским, разрешив передать ему письмо отца; третьих, как Каховского, прельщал тем, что плакал при его горячих речах о неустройстве родины, и уверял, что он «сам — первый гражданин отечества» и конституционалист; четвертым обещал легкое наказание, как тому же Каховскому и Пестелю. Ему поверили, и многие, в том числе Рылеев и Каховский, открыли все, что знали о себе и других. А на самом деле «он просто боялся за свое существование и неутомимо искал всех нитей заговора с тем, чтобы все эти нити с корнем вырвать и успокоиться». И, когда, действительно, узнал все, чего добивался, резко переменил свое обращение: Каховского потом больного держали в сырой яме, а казнь пятерых и даже вид ее, формально предоставленные решению суда, были заранее подсказаны председателю его, князю Лопухину через Дибича.

Еще в детстве будущий император ни в одной игре не обходился без грубой брани и драки. Грубость и крик были обычны и в юноше, что оговаривала его мать, императрица Мария Федоровна. И взрослым он был несообщителен, холоден, строг, суров и потому нелюбим никем: «Сами изволите знать, — вас не любят», говорил ему Милорадович.

Умственные его интересы были в высшей степени ограничены: он не любил математики, древних и новых языков, скучал за политической экономией, хотя ее преподавал известный Шторх, естественным правом и энциклопедией права; только физика и рисование занимали его отчасти. «Я никогда не видал книги в его руках», говорил даже Жуковский. Николай I любил острить, но остроты его были таковы, что смеялся им только он сам. Наконец, грубость его эстетических чувств совершенно не подлежит сомнению: он восхищался драмой Кукольникова «Рука Всевышнего отечество спасла», «Дедушкой русского флота» Полевого и такими водевилями П. Каратыгина, как «Знакомые незнакомцы» и «Ложа 1-го яруса на последний дебют Тальони».

Император Николай представлял собою в правящей сфере тридцатых годов главную планету, за которой следовал ряд спутников более или менее ей подобных, только много помельче.

Одним из таких спутников был, напр., шеф жандармов граф Бенкендорф. Даже консервативнейший из наших мемуаристов, говоря о Бенкендорфе, вынужден был признать, что он «ничего не читал, презирал гражданскую службу, а занятиями военной беспрестанно жертвовал своим забавам и любовным интригам» и представлял собою в полном смысле «пустоголовое создание». Он был крайне ленив, цинично понимал «патриотические услуги», как нечто подлежащее оплате. Когда Погодин в 1831 году написал, напечатал в «Телескопе» и послал шефу жандармов статью «Исторические размышления об отношениях Польши к России», Бенкендорф велел спросить его, чего он за эту статью хочет? Такой бесцеремонный цинизм покоробил сначала даже покладистого Погодина, и он записал в дневник свой: «Не считают ли они меня продажным?». Хорошо известно, наконец, какую гнусную роль сыграл Бенкендорф по отношению к Пушкину, как он давил и глушил его дарование, как преследовал каждую его живую мысль, как унижал его и глумился над ним, доводил его почти до отчаяния.

Ближайший его официальный помощник, в действительности бывший настоящим руководителем тайной политической полиции при Николае I, начальник третьего отделения генерал Дубельт отличался от своего патрона только тем, что был гораздо его умнее и деятельнее. Этого было достаточно, чтобы многие обманывались и считали его даже «человеком, каких немного». В невежестве он не уступал Бенкендорфу. Не уступал он ему и в грубости вкусов и далеко превосходил его в пронырливости, хитрости. «Исхудалое лицо его, оттененное длинными, светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или лучше прикрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, т.-е. выражали тонкую смышленность хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость. «Он был всегда учтив», за исключением, впрочем, тех случаев, когда встречался с совершенно явными, презренными холопами в роде Булгарина: его он, не стесняясь, ругал и даже ставил в угол.

Весьма яркую, колоритную фигуру представлял собою николаевский военный министр граф А. И. Чернышев. Он был в родстве с декабристом Захаром Чернышевым, и последний «сослан был только по происках родственника своего Александра Ивановича, рассчитывавшего на его двадцатитысячное наследство». Перед сильными Чернышев унижался, с слабыми был дерзок и нагл. Он жестоко усмирил в 1820 году восстание крепостных крестьян на Дону и провел там такое положение об устройстве войска Донского, которое обездолило крестьян и содействовало расхищению войскового земельного фонда офицерством. Наконец, позднее, будучи военным министром, он завел вредную для дела петербургскую стратегию на Кавказе, с которою долго напрасно боролся Воронцов. Чернышев посылал также на Кавказ в командировки, для получения орденов и чинов без всяких заслуг, петербургских гвардейцев из матушкиных сынков — все для угождения сильным в свете и при дворе. Ему много обязана русская армия тем состоянием, в котором ее застала Крымская война, а, следовательно, и поражениями, понесенными в этой войне.

Преемник Бенкендорфа в должности шефа жандармов князь А. Ф. Орлов, и жандармский генерал-губернатор, потом министр внутренних дел 30-х годов, впоследствии московский генерал-губернатор граф А. А. Закревский — переходные характеры от господ положения к их униженным слугам. Орлов был невежествен и ленив не менее Бенкендорфа. но с низшими был более надменен, чем последний. Начав свою карьеру тем, что одним из первых привел свою часть на помощь Николаю 14 декабря, Орлов, по словам его тещи Жеребцовой, видной фигуры в стиле XVIII века, справедливо презиравшей новых господ положения, трепетал перед императором. «Все они, — говорила эта типическая представительница старого барства, — не имеют никакого влияния, они не так себя держат и не на такой ноге, чтоб имет влияние». Закревский был сын бедного тверского дворянина, малограмотен, несведущ в военном деле, не храбр; счастливо играл в карты, за которые принялся от нужды: «лишнего слова даром не выпускал», был осторожен и вкрадчив, позволял своему начальству помыкать им, как слугой; карьеру сделал, женившись на богатой графине Толстой.

Естественно, что все это здание правящих сфер 30-х годов покоилось и на соответствующем фундаменте господствовавшего в дворянской среде массового невежества и грубого крепостничества. Москва издавна была столицей именно этого дворянского большинства, если не считать еще опальной знати. Московский английский клуб был центром общения этих дворянских кругов. «Член московского английского клуба! о, это существо совсем особого рода. Главною отличительною чертою его характера есть уверенность в своем всеведении», при всем невежестве, «необдуманное самолюбие». «Вестовщики, едуны составляли замечательнейшую, интереснейшую часть клубного сословия». Первые распространяли «нелепости, сплетни, и им верили, их слушали». Читали члены клуба только «военные приказы о производстве или об'явления о продаже просроченных имений и крепостных девок». Английский клуб был выразителем общественного мнения в дворянской Москве, правила его были «все в пользу самодержавия: якобинца выгнали бы из английского клуба». Неудивительно, что в этой среде при известии о 14-м декабря и судьбе декабристов «никто не смел показать участие, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно». Перед их отзывами о декабристах бледнели не только отзывы Карамзина — «преступники безумные или безрассудные, как злые дети» — и Вигеля — «смелые проказники, которым хотелось шума и тревоги», но и Греча — «слабоумные фанатики, не знающие, чего хотят, и имеющие целью пошуметь, подраться, пролить кровь и заслужить статью в газетах, а потом в истории»; «скопище сволочи, шайка».

Спуститесь немного ниже — в более широкие круги среднего дворянства, очень часто даже родственно-связанные с декабристами, — и вы увидите господство того же невежественного крепостничества. Пример — Н. Н. Шереметева, урожденная Тютчева, на дочери которой был женат декабрист И. Д. Якушкин. Она страстно любила сына и ревновала его к жене его, была необузданно гневлива с низшими, дружила с Гоголем после появления его «Выбранных мест из переписки с друзьями», и была внешне-религиозна, т.-е. набожна, богомольна, при чем эта набожность выражалась часто очень странно: она одевалась в полумонашеское платье и скуфью и в один день бывала у трех обеден. «А я сегодня тьи обедни схватия», говорила она, картавя. Она сильно боялась, как бы ее внук Е. И. Якушкин, побывав за границей, не пошел по стопам отца.

Таков был дворянский фундамент, на который опирались господа положения тридцатых годов.

Ближайшие слуги господствовавшего дворянского большинства.

Переходя от господ положения к их слугам, мы начинаем рассматривать приложение общественной психологии к области разных проявлений духовной культуры — искусства, литературы, публицистики, науки. Как ни мало было в этих отношениях потребностей у

господ положения, как ни грубы были их вкусы, как ни ограничены умственные интересы, — все же они жили в XIX веке, в конце крепостнической эпохи, и некоторый минимум культурных приобретений уже имелся у них на лицо. Выразить этот минимум и дано было их ближайшим слугам.

Школа — орудие, которым реакция всех времен и народов никогда не пренебрегает, напротив — пользуется очень усердно: ведь нет ничего заманчивее, как создать при помощи воспитания и образования такой «род людей», какой угоден господам положения. И потому во главе изучения духовной культуры крепостнического дворянства 30-х годов следует поставить С. С. Уварова, впоследствии графа, сменившего в 1833 г. на посту министра народного просвещения князя Ливена.

В Александровскую эпоху Уваров был не чужд бесформенного, бледного, худосочного либерализма и находил, напр., что «хотеть просвещения безвредного» значит «хотеть огня, который бы не жег», но те времена давно прошли и теперь Уваров с ревностью ренегата стал проводить и укреплять в русской школе, в особенности высшей, теорию официальной народности, обосновывавшую три кита старого порядка в России: православие, самодержавие и народность, под которою разумелось крепостное право. Это та самая теория, которую Бенкендорф выражал такими словами: «Прошлое России удивительно, настоящее — более чем великолепно, будущее — выше всего, что может себе представить самое пылкое воображение».

Полицейское направление сказывалось как в духе школы, ее внутренней сущности, основах воспитания и преподавания, так и во внешних формах школьной жизни, причем в обоих отношениях оно проявлялось и в начальной школе, и в средней, и, наконец, в школе высшей.

Вот конкретная иллюстрация, лучше всяких циркуляров и распоряжений рисующая дух, которым старался Уваров пропитать школу того времени: в 1832 году, будучи еще товарищем министра, Уваров ревизовал Московский университет и посетил лекцию Погодина по русской истории; на этой лекции проводились такие взгляды: русская история — своеобразна; главная сила в ней — правительство; много в русской истории чудесного; «и потому российская история может сделаться охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия самою верною и надежною». Уваров был очень доволен этой лекцией...

В ведении министерства народного просвещения находилась тогда цензура. Еще в 1826 году, когда министром был Шишков, издан был цензурный устав до такой степени свирепый, что он получил название «чугунного»: цензорам тут прямо предписывалось читать между строк, оценивать достоинство или пользу книги. Это была такая нелепость, что, в 1828 году, чугунный устав Шишкова был заменен другим, который был все же полегче. Тем не менее строгости продолжались: в 1829 году, когда вышел в свет «Юрий Милославский» Загоскина, Булгарин поместил ругательную статью Очкина против Загоскина в «Северной Пчеле»; Воейков в ответ печатно обругал Булгарина; Николай I велел прекратить бой, но Булгарин напечатал ответ Воейкову; тогда Булгарин, Греч и Воейков по высочайшему повелению были посажены на гауптвахту. В 1830 г. «Литературная Газета», руководимая и вдохновляемая Дельвигом, Пушкиным и князем Вяземским, была прекращена правитель-

ством за помещение стихотворения Казимира Делавиня на памятнике жертвам июльской революции и за то, что Дельвиг заподозрел достоверность официальных известий «Северной Пчелы».

Но все же это были еще цветочки. Ягодки стали появляться с того времени, как товарищем министра, а потом и министром стал Уваров.

В 1832 г. И. Киреевский основал журнал «Европеец», при посредстве которого мечтал «возвратить права истинной религии, изящное согласить с нравственностью, возбудить любовь к правде, глупый либерализм заменить уважением законов и чистоту жизни возвысить над чистотою слога». Журнал был запрещен после выхода первого же номера, потому что в статье «Девятнадцатый век» увидели, что под просвещением разумеется свобода, под деятельностью разума революция, а под искусно отысканной серединой — конституция, а в статье о «Горе от ума» усмотрели «неприличную выходку против находящихся в России иностранцев». Приехав в Москву в 1832 году, Уваров требовал от цензуры большей строгости, особенно недоволен был «Телескопом» Надеждина и предписал московской печати держаться «догматов русской политической религии — самодержавия и крепостного права». Уваров был главным виновником запрещения в 1834 г. «Московского Телеграфа» Полевого за статью против драмы Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» и в 1836 г. — «Телескопа» Надеждина за «Философическое письмо» Чаадаева...

Мы видели, что шишковский «чугунный» цензурный устав делал, в сущности, невозможной какую бы то ни было, хотя бы в самой малой степени, оппозиционную публицистику. Но этого было мало: в том же 1826 году, когда был издан этот устав, появился донос на «слабость» шишковской цензуры, с указанием на необходимость пойти дальше — создать «приверженных правительству писателей». Это было началом расцвета рептильной печати в России. Тремя китами такой печати в 30-х и 40-х годах были, как известно, Булгарин, Греч и Сенковский.

В этой троице пальма первенства по низости принадлежит, несомненно, Булгарину. Авантюрист с темным прошлым, служивший то в русской армии против Наполеона, то в армии Наполеона против России — он был офицером в корпусе маршала Удино, действовавшим в 1812 г. против Витгенштейна, — бывший одно время прихлебателем у военных писарей и уличенный в краже пальто у одного офицера, Булгарин скоро стал верным слугой Бенкендорфа, агентом тайной полиции и уже в 30-х годах, не говоря о более позднем времени, составил «образцовых доносов архив»: кроме упомянутого выше доноса на шишковскую цензуру, он донес на князя Вяземского, опасаясь, что тот будет издавать газету в Москве, донес на «Литературную Газету» Пушкина и Дельвига, на «Европейца» Киреевского, грозил доносами цензорам Гаевскому и Никитенке, донес на цензора С. Т. Аксакова, пропустившего балладу «Двенадцать спящих будочников». Низкая зависть и грязное корыстолюбие были господствующими, если не единственными, мотивами его поведения.

Греч морально был не выше Булгарина, он был только образованнее его, имел связи в свете и некоторый научный ценз, не очень, впрочем, высокий.

Гораздо талантливее Греча и Булгарина был Сенковский; как ученый — он был специалистом по восточным языкам, — Сенковский далеко оставлял за собою Греча; как литератор, он превосходил и Греча, и Булгарина. Остроумные статьи и очерки барона Брамбеуса — таков был псевдоним Сенковского в издававшемся им журнале «Библиотека для Чтения» — пользовались огромным успехом у читающей публики. Сенковский умел и любил находить во всем смешные стороны и искусно выставлял их напоказ, но то был смех ради смеха, ради забавы публики, без всякого идейного содержания. Как личность, Сенковский был «весь сложен из страстей», впрочем, весьма элементарных, низменных и, подобно своим достойным товарищам, не брезгал доносами. А главное — он лучше всех исполнял ту программу отвлечения читающей публики от серьезных общественных вопросов в сторону сплетен, безделиц, забав, которую так усердно и успешно рекомендовал Булгарин правительству в своем доносе на шишковскую цензуру.

Тридцатые годы дали и первый образец хамелеонствующего публициста в лице Надеждина. Надеждин, как ученый, далеко уступал не только Сенковскому, но и Гречу: у него было слишком мало знаний, чтобы оказались какие-либо оригинальные выводы и обобщения. И потому, даже несмотря на его блестящие лекторские способности, студенты скоро к нему охладели, как к профессору. Он был талантливым литературным критиком, в воззрениях которого были элементы, родственные будущей критике Белинского, который и начал свою деятельность в надеждинской «Молве». Но это и все, что можно поставить в актив Надеждину. И у него, как у Греча, Булгарина, Сенковского, «все служило только для корыстных видов». Он начал свою литературную деятельность в «Вестнике Европы» Каченовского, подделываясь к которому, яростно нападал под псевдонимом «Надоумка» на Пушкина. С 1831 г. Надеждин стал издавать журнал «Телескоп» и при нем «Молву», журнал мод и новостей. Здесь он переменил фронт и не только стал ратовать за Пушкина, но и пригласил его в сотрудники. С самого же начала Надеждин в своем журнале проявил достаточно казенного патриотизма, браня Лафайета и июльскую революцию, приветствуя взятие Варшавы и помещая антипольские статьи Погодина. Не обошлось и без доносов: Надеждин доносил на Полевого, будто тот «восхваляет мятежника Лафайета, делает карикатуру на Петра Великого, порицает «Юрия Милославского». Несмотря на все это, в «Телескопе» и московские власти, и Бенкендорф уже тогда усматривали «идеи вредного либерализма», а Уваров сделал Надеждину строгое внушение. В 1836 г. Надеждин в погоне за талантливыми сотрудниками метнулся влево — в «Телескопе» появились статьи Герцена, Кудрявцева, Боткина, Панаева, наконец, «Философическое письмо» Чаадаева, вызвавшее катастрофу — закрытие журнала и ссылку Надеждина в Усть-Сысольск. В своем показании по поводу помещения статьи Чаадаева, Надеждин прямо сознавался, что хотел «привлечь к журналу читателей», и расписывался в своей преданности самодержавию.

Властная рука господ положения захватила не только школу и периодическую печать в лице ее наиболее распространенных органов, — она проникла и в изящную литературу.

Чем были Греч и Булгарин в области реакционной публицистики, тем в области квасно-патриотической беллетристики являлись Загоскин и Кукольник. Загоскин — «большой трус» и обжора, пообедав однажды у Окулова, он говорил: «так накормил, что всего расперло», — прославился двумя сусально-патриотическими романами: «Юрий Милославский» из времен Смутного времени и «Рославлев» из эпохи 1812 года. Это были романы псевдо-исторические, искажавшие подлинную действительность в угоду тем, кто стоял у власти. Кукольник, автор классической фразы, идеально выражавшей угодничество: «прикажут, — завтра же буду акушером», — подвизался, как драматург, автор двух особенно знаменитых ходульно-националистических драм: «Рука всевышнего отечество спасла» и «Скопин-Шуйский».

Около этих олимпийцев квасного патриотизма в беллетристике группировались dii minores, из которых заметнее других, если не считать беллетристических упражнений Булгарина и Погодина, были романист Лажечников («Басурман», «Ледяной Дом», «Последний Новик») и драматург Гедеонов («Смерть Ляпунова»). В тридцатые годы на русской сцене, по меткому выражению Аполлона Григорьева, «горланил и хвастал Ляпунов, кобенился Минин». И нельзя сказать, чтобы это все нравилось одним только господам положения; им это нравилось, конечно, потому что они знали, чего хотели, а хотели они затуманить фейерверком квасно-патриотических фраз и эффектов сознание рядового — простого и наивного — обывателя; и это очень часто удавалось...

Патриотические драмы требовали и соответствующих исполнителей, приспособленных к ним артистов. Лучшим образцом такого исполнителя — умеренного, аккуратного, холодного, рассудочного, сохранявшего всегда внешнюю красивость, необходимую для эффекта и умело прикрывавшего бедность чувства внешней аффектацией — был «корыстный и ловкий» Каратыгин, так много помогший в карьере драматургу Кукольнику. Так от литературы влияние правящей группы простиралось на театр, сценическое искусство.

Этим дело не ограничилось: и живопись, и музыка почувствовали на себе властную руку и уступили ее давлению. Великолепие, внешнее величие, эффекты, красочность — вот чего требовали хозяева, и явились слуги, им угождавшие. В живописи то были Брюллов и Бруни.

«Гибель Помпеи», «Осада Пскова», многочисленные портреты, писанные Брюлловым, вполне удовлетворяли господствовавшим требованиям и красочностью, и эффектами, и внешней красивостью, и яркостью, и пестротой колорита. У Брюллова не было души, темперамента, но этого не требовалось: нужен был ведь только поверхностный, но блестящий салонный собеседник.

Иконы, написанные Бруни для Исаакиевского собора, и его картина «Медный змий», при сохранении традиций брюлловского классицизма, ведущего свое начало от живописи итальянца Аннибала Карраччи, отличаются оттенком мистицизма и примесью чего-то сладострастного, чувственного: эпоха дворянского упадка давала себя знать признаками вырождения и духовной расслабленности, дряблости.

В музыке тема «Жизни за царя» Глинки, появившейся в 1836 г., также отвечала господствовавшему патриотическому настроению, хотя с чисто музыкальной стороны творчество Глинки выходит далеко из

сферы официальной народности, и с этой точки зрения нам еще придется с ним встретиться в совершенно иной связи.

Той цели, которой служили школа, периодическая печать, литература, искусство, должна была тем более служить официальная церковь. К николаевскому времени относится усиление власти обер-прокурора. В это именно время, начиная с 30-х годов, проповедническая деятельности иерархов русской церкви ставятся задачи политические по преимуществу: поддержка существующего строя и всех его конкретных проявлений. Талантливые и самостоятельные люди, в роде архимандрита Иннокентия, будущего архиепископа херсонского и одесского, блестящего и вдохновенного церковного оратора, в 30-х годах затираются и отодвигаются на второй план. Гораздо более ко двору приходились люди мудрые, как змии, т.-е. попросту практические ловчаки, угождавшие сильным мира сего. Таковы были, например, петербургский митрополит Серафим и Филарет Гумилевский, ректор московской духовной академии, впоследствии архиепископ черниговский и нежинский. Последний ловко и умело делал карьеру при помощи «смиренномудрия». Вот яркий образец «смиренномудрия» Филарета из переписки его с известной уже нам Н. Н. Шереметевой: «от грешного Филарета к чему годны вам письма? Он — дрянной, ни к чему не годный человек; живет и гниет во грехах; грехами пахнет от него; грехами проникнут весь. Ни для кого и ни к чему не полезен. Правда, он сам потому самому, что слишком негоден, должен писать, чтобы просить о молитве за него. Но что делать с леностью его о своем спасении? Нерадив ко всему доброму. Полезно для души иметь общение с человеком, посвящающим всего себя господу; от его избытков может перейти что-нибудь и на мою бедность. А у бедняка, каков Филарет, что взять? Он сам гол, нищ, слеп, изранен и избит». Само собой разумеется, «смиренномудрие» не мешало Филарету постоянно заботиться о своем здоровье и хлопотать о собственном покое и материальном достатке. Конечно, он был надежной опорой старины.

Люди, подобные Серафиму и Филарету Гумилевскому, вовсе не были исключением в рядах русских иерархов тридцатых годов. Епископ полоцкий Смарагд в 30-х годах подготовлял будущее «обращение» униатов, и хотя действовал «частными и мелочными приемами», но быстротой «обращения» испугал даже самого Николая I.

Подобные люди были усердными исполнителями николаевской церковной политики. Известно, что она ознаменовалась, между прочим, жестокими преследованиями сектантов и старообрядцев. Начало этих преследований относится как раз к тридцатым годам; поддерживая один из устоев теории официальной народности — православие, — правительство Николая I не могло помириться не только с инакомыслящими, но и с инаковерующими, тем более, что у тех и у других становились все более заметными проявления социального протеста, грозного для начинавшего уже колебаться дворянского господства.

»Консерваторы с прогрессом».

Мы достигли в нашем изложении центрального пункта, точки перелома. До сих пор нами рассматривались дворянские группы, поддерживавшие старый порядок всецело и без всяких оговорок. В будущем нам предстоит ознакомиться с протестующими элементами в дворянской среде. На грани между теми и другими, на точке перелома стоят те, кого Погодин удачно назвал «консерваторами с прогрессом».

Они также делятся на господ и слуг, на руководителей и помощников. К числу характерных представителей господ принадлежат два видных деятеля николаевского царствования, граф, впоследствии князь, М. С. Воронцов и граф П. Д. Киселев.

Исследовавшиеся нами до сих пор дворянские группы, восходя генетически к прототипу — дворянству Екатерининской эпохи, — произошли от этого прототипа путем утраты, под влиянием реальных условий общественной жизни, индивидуалистических черт и сохранения эгоистического элемента в своей психологии. Но отсюда же, от этого же прототипа пошли иные группы; к изучению которых мы переходим теперь; группы с психическим наследием и психическими изменениями в другом, противоположном направлении. Произошла своего рода дивергенция, расхождение признаков: тогда как одни группы сохранили эгоизм и утратили почти всецело индивидуализм, у других индивидуалистические черты стали приобретать перевес над эгоистическими. В обоих случаях равновесие, существовавшее в прототипе XVIII века, было нарушено, но нарушено — в разных, даже противоположных направлениях.

В личности Воронцова, например, оно было нарушено, несомненно, в сторону сильного преобладания индивидуализма. Основная черта его характера — чувство собственного достоинства, самоуважение, глубокое убеждение в великой важности своих личных интересов, своего я. Именно поэтому он был щедр, что, впрочем, облегчалось тем, что он был чрезвычайно богат, обладал многомиллионным состоянием; командуя оккупационном корпусом во Франции в 1814 году. Воронцов, при его уходе оттуда русских войск, заплатил из личных своих средств 1 милл. франков долгов, сделанных русскими офицерами и солдатами. Он поступил так не из доброты, а именно для поддержания собственного достоинства, как начальника корпуса: он не хотел, чтобы об е г о подчиненных и о нем самом осталась во Франции плохая память. По той же причине Воронцов «высоко понимал и ценил военные доблести, давая собою пример исполнения военного долга с естественностью и простотою, не любил хвастовства и «трусость презирал глубоко». Властолюбие его не знало пределов: «в отношении к своей власти князь Воронцов был положительно деспот»; он был враг канцелярских формальностей, смеялся над ними, презирал Свод законов, «очень часто с особенным удовольствием не исполнял закона или действовал в противность оному, если считал в известном вопросе для общего дела это полезным». Будучи крайне честолюбив, он умел пользоваться людьми и обстоятельствами для достижения своих честолюбивых целей: он дипломатически-ловко и осторожно проводил перед Николаем I свои мысли и требования; был для всех доступен, обходи-

телен, приветлив, прост, даже добр, причем тут влиял «всего более холодный голос рассудка»; помотал подчиненным, «был чрезвычайно щедр» к ним, но не жалел, а истомлял служащих, когда ему это было нужно, умел обворожить всех, возбуждал надежды, но и обманывал их сплошь и рядом.

Воронцов отличался проницательным умом и силой воли, железным самообладанием — «никогда почти он не выходил из сдержанности своей и не изменял хладнокровной осанке своей», был совершенно нерелигиозен: «не любил говорить о религии, допуская ее только в известных случаях как средство, а ежели говорил, то с большим скептицизмом и подсмеиваясь всегда над наружными формами». Парк и дворец в мавританском стиле, устроенные Воронцовым в Алупке, свидетельствуют о недюжинном эстетическом вкусе.

При таких психических данных не удивительно, что Воронцов был культурным, в значительной степени прогрессивным государственным деятелем и резко отличался в этом отношении и от императора, и от всех этих Бенкендорфов, Перовских, Чернышевых, Закревских, Орловых и даже Уваровых, бывших ближайшими помощниками Николая I. Недаром он получил воспитание в Англии, где сроднился «с либеральными формами». Во Франции в оккупационном корпусе он совершенно уничтожил телесные наказания для солдат. Воронцов всегда получал много журналов и следил по ним за событиями в России и за границей, создал одесское порто-франко, в Новороссии и на Кавказе заботился о виноделии и сельском хозяйстве, в Тифлисе завел образцовую ферму, раздавал крымские виноградные лозы, поощрял садоводство, содействовал разведению марены, заботился о добывании каменного угля и нефти.

Известна злая характеристика, которую дал Воронцову Пушкин, не выносивший суровой ферулы этого просвещенного деспота:

Полумилорд, полукупец,
Полумудрец, полуневежда,
Полуподлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

«Полным» Воронцов так и не сделался. Но, за исключением этой неоправдавшейся «надежды», во всем остальном здесь больше правды, чем может, пожалуй, показаться на первый взгляд. Особенно характерны эта примесь «купца», т.-е. буржуа, к «милорду»-барину и «половинчатость» Воронцова, то положение на точке перелома, которое он занимал в среде русского дворянства тридцатых годов.

Киселев во многом, почти во всем, психологически-родствен Воронцову: недаром они находились в дружеских отношениях, оставаясь в то же время одинокими в рядах высшей петербургской бюрократии.

Центр государственной деятельности Киселева—бесспорно крестьянский вопрос. И, может быть, ни в чем истинная сущность его личности не обнаруживается с такой ясностью и яркостью, как в отношении его к крестьянскому вопросу. Правда, в нашей исторической — особенно в юбилейной — литературе принято идеализировать Киселева, изображать его одним из героев той либеральной легенды, которая сложилась вокруг «великой реформы», утверждать, например, что вся деятельность Киселева по крестьянскому вопросу об'ясняется тем, что он «искренно любил кре-

стьян» [1]). Но достаточно присмотреться внимательнее к фактам — и от этого либерального сентиментализма не останется и следов: до такой степени он не соответствует истине.

Чем вызвана, например, первая записка Киселева по крестьянскому делу, представленная им Александру I в 1816 г.? Только тем, что Александр «в те годы вновь обнаружил платонический интерес к судьбе крестьян и любил высказывать это в беседах с окружающими». Придворная угодливость, а вовсе не сентиментально-либеральное народолюбие, — вот основной мотив, вызвавший эту записку. Читая эту записку, невольно припоминаешь справедливые стихи Пушкина о Киселеве, столь не нравящиеся г-ну Готье:

Он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего...

Гораздо серьезнее стало отношение Киселева к крестьянскому вопросу десять лет спустя — в 1826 году, когда он практически столкнулся с этим вопросом в качестве «помещика, другой год управляющего имением жены»: Киселев нашел тогда необходимым «тщательное рассмотрение причин, возбуждающих мятежный дух в крестьянах», так как именно в это время возникли и были прекращены волнения крестьян в Киевской губернии, где находилось имение жены Киселева. Опять ясно, что не сентиментальная «любовь к крестьянам», а совершенно реальные, трезвые соображения хозяйственного, помещичьего интереса руководили в данном случае Киселевым.

Каков, наконец, смысл устройства государственных крестьян в России, произведенного Киселевым? Это была вовсе не освободительная реформа, это был опыт разумного крепостнического попечения над крестьянами. Лишь об'ективно, в силу того, что на государственных крестьянах не лежала барщина, их положение подчеркивало осуществимость освобождения. Практически Киселев здесь лишь обеспечил интересы казны, т. е. той же бюрократии, так как за время его управления «податной оклад, положенный на государственных крестьян, возрос на 20%, а недоимки уменьшились вдвое». Тысячу раз прав был Хомяков, утверждая, что «Киселев гонится за дрянью под видом казенного интереса, а истинного добра не хочет сделать нигде».

Не может быть сомнений: в крестьянском вопросе Киселев действовал, как умный и трезвый практик, во имя реальных, правильно понятых интересов помещиков и бюрократии.

Был, впрочем, еще другой мотив, руководивший им здесь, как и везде: мотив этот — честолюбие. Киселев сам открыто признавал эту черту своего характера. Этим честолюбием и самолюбием обусловливалась и его беззаветная храбрость, обнаруженная им в особенности при переходе через Дунай и в сражении под Шумлой.

С низшими, чем сам он, по общественному и служебному положению Киселев был часто холоден и высокомерен, но когда было нужно, бывал обворожительно-любезен, «очень мил», по выражению Пушкина. Не

---

[1]) Готье: Граф П. Д. Киселев. Сборник «Освобождение крестьян.—Деятели реформы», М., 1911 г., стр. 76.

менее Воронцова умел Киселев ладить с высшими — не только с Александром, но и с Николаем I; он умел найти верный тон, никогда не теряя притом своего собственного достоинства и тем лишь усиливая свое личное влияние. Ограничимся в этом отношении только одним достаточно характерным примером, приводимым декабристом Басаргиным в его воспоминаниях: Александр спросил Киселева как-то, почему он, будучи не богат, не попросит у него «никогда аренды или денег». «Я знаю, что вы охотно даете, государь — отвечал Киселев, — но не уважаете тех, кто принимает от вас, мне же уважение ваше дороже денег».

Итак, психологическое родство Воронцова и Киселева несомненно. Оба они были «консерваторами с прогрессом» в силу трезвой и верной оценки реальных интересов и отношений. Характерно, что особенно влиятельными при дворе и в правительстве Николая I они никогда не были. Конечно, отзыв Вигеля о Киселеве — Киселев был «из числа тех людей, которые дружатся со свободой, обнимают ее с намерением после оковать ее в свою пользу — с неменьшей основательностью может быть применен и к Воронцову: «дружба со свободой», «прогресс» были дороги для обоих в очень условном и узком смысле этих слов, — как фундамент для собственного благополучия и возвышения.

Грубое мракобесие было результатом усилий откровенных крепостников сохранить за собой господствующее положение. Но обеспечить надолго сохранение старины было уже немыслимо, и потому в разных слоях дворянства — не в одном только высшем, представителями которого были Воронцов и Киселев, — стали в тридцатых годах появляться «консерваторы с прогрессом». Оттенки их были довольно разнообразны соответственно социальным особенностям дворянских групп, их выделявших.

Типическим представителем среднего зажиточного провинциального дворянства был известный бытописатель степного помещичьего приволья, большой любитель, по выражению Добролюбова, «чертежнических, рыболовных и пищеварительных подробностей», Сергей Тимофеевич Аксаков. Его сын Иван дал ему прекрасную характеристику, верную во всем, кроме одной черты: он преувеличивает «бескорыстие» и «беспечность относительно материальных выгод» своего отца. На самом деле С. Т. Аксаков «умел ловко обделывать дела мира сего». Он был большой барин, снисходительный, мягкий, добродушный, щедрый и хлебосольный — особенно тогда, когда, по смерти отца, получил огромное состояние. Будучи мало образован, он обладал, однако, тонким художественным вкусом. Равнодушный к политике, он, однако, будучи цензором, пропустил балладу «Двенадцать спящих будочников», обличавшую Булгарина, и впоследствии был очень сильно удручен черной реакционностью «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя.

Прогрессивность консервативного по существу Аксакова была таким образом не идейная, не сознательная, а «нутряная», инстинктивная. Таков же был в тридцатых годах и Гоголь, начавший идиллическим сентиментализмом, романтической идеализацией «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и закончивший в 1836 году «Ревизором»: он чутьем уловил отрицательные черты николаевской России и заставил самого Николая сказать по поводу «Ревизора»: «всем досталось, а мне — всех больше». Но успех и слава Гоголя относятся уже к позднейшему времени, — к сороковым годам.

Известные профессора Шевырев и Максимович вышли из среды мелкого дворянства и тоже принадлежали вместе с выходцем из крепостных низов Погодиным к числу «консерваторов с прогрессом». Но их прогрессивность — особенно погодинская — была много грубее и элементарнее: сюда отнести можно только эстетическую культурность Шевырева, остроумие Максимовича, юношеские мечты Погодина об освобождении крестьян с землей за выкуп, критическое отношение его к Карамзину, доходившее до того, что он готов был признать за ним, как историком, только одно достоинство—«искусство писать», наконец некоторые элементы научности в их специальных работах. Во всем остальном это были совершенно старозаветные люди, служившие очень часто той же «официальной народности».

XIV. Теория Погодина о своеобразии русского исторического процесса.

(Из статьи Г. В. Плеханова: «М. П. Погодин и борьба классов», в №№ 3 и 4 «Современ. Мира» за 1911 г.).

Очень распространено то мнение, — главным представителем которого следует признать покойного А. Н. Пыпина, — что взгляды М. П. Погодина и близкого к нему С. П. Шевырева коренным образом отличаются от славянофильства, собственно так называемого. И неоспоримо то, что в пользу такого мнения можно привести некоторые очень веские доводы. Первое место между ними, конечно, принадлежит свидетельству самого М. П. Погодина :«Я стою, — говорил он, — между Востоком и Западом с большим склонением к Востоку». Это свидетельство представляется неотразимым, и неудивительно поэтому, если биограф М. П. Погодина, Н. Барсуков, принимает и повторяет его без оговорок.

Почти таким же убедительным кажется и то обстоятельство, что славянофилы, собственно так называемые, не принимали почти никакого участия в органе Погодина и Шевырева — «Москвитянине». Наконец, один из самых видных членов славянофильского кружка, — а, пожалуй, и самый выдающийся между ними, — А. С. Хомяков, однажды, на вечере у Н. Ф. Павлова, сказал о Погодине: «Он не наш». Казалось бы, о чем же и разговаривать? Вопрос решен.

Но в том-то и дело, что его решение отнюдь не может быть признано окончательным. Его необходимо пересмотреть, потому что доводы, лежащие в его основе, убедительны более по внешности, чем по существу.

Говорят, что Погодин являлся теоретическим представителем официального учения о народности. Пусть будет так. Но далеко ли расходилось это учение с учением Хомякова и бр. Киреевских? В этом весь вопрос.

«Москвитянин» стал выходить в 1841 г. В первой же книжке его напечатана была статья С. П. Шевырева: «Взгляд русского на

образование Европы». В ней мы встречаем, например, такие рассуждения.

«Франция и Германия были сценами двух величайших событий, к которым подводится вся история нового Запада, или, правильнее, двух переломных болезней, соответствующих друг другу. Эти болезни были — реформация в Германии, революция во Франции; болезнь одна и та же, только в двух разных видах. Мы думаем, что эти болезни уже прекратились. Нет, мы ошибаемся. Болезнями порождены вредные соки, которые теперь продолжают действовать и которые, в свою очередь, произвели уже повреждение органическое и в той, и в другой стране, признак будущего саморазрушения. Да, в наших искренних, дружеских, тесных сношениях с Западом мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг, окруженным атмосферою опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства... и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет! Он увлек нас роскошью своей образованности» и т. д., и т. д.

Разврату смертельно больного Запада противопоставляются «коренные русские чувства, составляющие залог нашего будущего развития». Их три: «чувство религиозное», «чувство государственного единства» России и чувство, — у Шевырева сказано: «сознание», — «нашей народности». Как же отнеслись к этому противопоставлению читатели?

Статья Шевырева чрезвычайно понравилась в Петербурге. От нее, как и от всего «Москвитянина», повеяло на «высшие сферы» духом образцовой благонамеренности. Погодин, находившийся в Петербурге в феврале того же (1841) года, писал оттуда Шевыреву:

«Напишу тебе о журнале. Такой эффект произведен в высшем кругу, что чудо: все в восхищении и читают наперерыв. Графиня Строганова, Вьельгорский, Протасов, Барант, Уваров... Твоя Европа сводит просто с ума».

Из другого источника Шевырев узнал, что «Москвитянин» в Петербурге в такой славе, что министерство юстиции положило подписаться.

Все это нисколько неудивительно, так как «взгляд» Шевырева был именно взглядом тогдашнего «высшего круга». Пресловутый С. С. Уваров, автор известной триады: «Православие, самодержавие, народность», не мог встретить статью Шевырева иначе, как с величайшим удовольствием. Отрицательное отношение Шевырева и Погодина к Западу нигде не сказалось так резко, как во «Взгляде Русского». Нечего и говорить, что в лагере западников «Взгляд» встречен был с негодованием. Иначе отнесся к ней теоретик славянофильства А. С. Хомяков. Находя, что первая книжка «Москвитянина» составлена не хорошо, он прибавлял «хотя Шевырева статья славная». Один только недостаток увидел он в ней: «журналистической ухватки нет». Надо согласиться, что отсутствие «журналистической ухватки» действительно составляет большой недостаток в журнале. Но если А. С. Хомяков увидел в статье Шевырева один этот недостаток, то совершенно ясно, что никакого принципиального разногла-

сия между этими двумя писателями не было. А это значит, что славянофильство А. С. Хомякова совпадало с «официальной народностью» издателей «Москвитянина» в таком коренном вопросе, как вопрос об отношении России к Западу. Другими словами: славянофильство А. С. Хомякова могло отличаться от «официальной народности» Погодина и Шевырева теми или иными видовыми признаками, но эти два учения имели одинаковые родовые признаки.

В жизни Погодина был такой, — весьма скоро миновавший, — период, когда он критически относился к Карамзину. И одним из главных упреков, выдвигавшихся им тогда против автора «Истории Государства Российского», был тот, что его знаменитое сочинение не отвечает ни на один философский вопрос, — «например, чем отличается российская история от прочих европейских и азиатских историй».

Эти слова были написаны Погодиным еще в конце 1818 г., по поводу шума, вызванного появлением в «Московском Вестнике» Арцыбашевских «Замечаний на Историю Государства Российского». Они заслуживают большого внимания потому, что показывают нам, как рано обратилась мысль Погодина к вопросу об отличительных чертах русской истории сравнительно с историей других стран. Мы видим тут, что нашего автора интересовало сравнение России не только с Западом, но и с настоящим Востоком, т.-е. с Азией. Однако, Азия очень редко занимает место в его философско-исторических соображениях; западная же Европа является в них, можно сказать, на каждом шагу. Да оно и неудивительно, так как историю Востока знали тогда плохо, между тем как история Запада освещалась новым и очень ярким светом в трудах преимущественно французских историков. Эти историки имели огромное влияние на Погодина, и если кто «помог» ему выработать свою формулу, то именно они, — главным образом, О. Тьери и Гизо. В своем, уже не один раз цитированном мною выше, ответе на статью Корша Погодин говорит:

«В 1830-х годах, излагая в одном из журналов того времени систему Европейской истории Гизо, только что появившуюся у нас, я имел честь заметить знаменитому профессору об его односторонности и сказать, что истории Запада нельзя уразуметь вполне, не обращая внимания на другую половину Европы, — на историю Востока, шедшего с нею параллельно, Востока, который представляет значительные для науки видоизменения всех западных учреждений и явлений».

Здесь под Востоком понимается у него не Азия, а Россия, «другая половина Европы». И об этой «другой половине» ему давно хотелось поспорить с французскими историками. «Ты представить себе не можешь,— писал он еще в 1830 г. Шевыреву, — как мне хочется отведать сил своих с этим Гизо etc». Наконец, в 1839 г., в бытность его в Париже, ему представился случай посетить Гизо, с которым он, разумеется, поспешил заговорить на свою любимую тему. К сожалению, их разговор не привел, да и не мог привести к плодотворному обмену мыслей. Погодин, по словам его биографа, «между прочим сказал Гизо, что хотел писать к нему письмо, когда вышла его «История цивилизации в Европе», об'яснить, что его рассуждениям не достает целой половины, т.-е. восточ-

ной Европы, государств словенских, кои представляют важное видоизменение всех западных учреждений». Гизо пожалл,что Погодин не исполнил своего намерения, которое было бы для него очень приятно. Потом он попросил своего посетителя «возвратиться к намерению написать ему письмо и уведомлять его о своих исторических трудах». Но это была одна учтивость, и Погодин, «заметив, что Гизо дожидается другое лицо, простился с ним и пожелал ему успеха в его государственных трудах».

В этом постоянном возвращении Погодина к идеям тогдашних французских историков, а особенно Гизо, которого он ставил выше всех остальных, чрезвычайно замечательно с о г л а с и е нашего историка с французским во всем том, что касается и с т о р и и З а п а д а. Тут Погодин не только не оспаривает Гизо, но, напротив, часто «встречается» у него «со своими мыслями». Он сожалеет только о том, что, не зная истории славян, Гизо составил себе односторонний взгляд на историю европейской цивилизации. Ему казалось, что, зная историю славян, он может избежать свойственной Гизо односторонности, и он составил свою историческую формулу, в которой взгляд Гизо, О. Тьери, Минье и других историков того же научного направления на историю Запада д о п о л н я л с я его собственным взглядом на историю Востока, точнее — России. И мы уже знаем, что, согласно этой формуле, история западно-европейского общества характеризуется в н у т р е н н е й б о р ь б о ю, в противоположность истории русского общества, характеризуемой в н у т р е н н и м м и р о м. Но что же такое эта внутреннаяя борьба, создавшая западно-европейское общество? Это не что иное, как б о р ь б а к л а с с о в, которая в самом деле играла и продолжает играть колоссальную роль в истории развития человечества.

Уже в своих «Essais sur l'histoire de Franse» Гизо исходит из той теории, что не политический строй определяет собою социальные отношения, а наоборот, строй этот сам определяется социальными отношениями. «Большая часть писателей, ученых, историков и публицистов,— говорит он там,— старались об'яснить данное состояние общества, степень или род его цивилизации политическими учреждениями этого общества. Было бы благоразумнее начинать с изучения самого общества для того, чтобы узнать и понять его политические учреждения. Прежде чем стать причиной, учреждения являются следствием; общество создает их, прежде, чем начинает изменяться под их влиянием... общество, его состав,образ жизни отдельных лиц в зависимости от их социального положения; отношения различных классов лиц, словом, г р а ж д а н с к и й б ы т л ю д е й — таков, без сомнения, первый вопрос, который привлекает к себе внимание историка, желающего знать, как люди жили, и публициста. желающего знать, как люди управлялись. А гражданский быт, по крайней мере, у всех народов, выступивших на историческую сцену Европы после падения западной Римской империи, определялся поземельными отношениями. Поэтому Гизо утверждает, что изучение этих отношений должно предшествовать изучению гражданского быта. И он сам следует этому методу. Изучая поземельные отношения во Франции времени первых двух династий, он старался об'яснить ими ее гражданский быт; а взаимная борьба различных «слоев» населения

созданных этими отношениями и характеризующих собою этот быт, об'ясняет у него политическую историю тогдашней Франции.

С таким же методом подходит он и к английской революции, которая выходит в его изображении, — с этой стороны вполне соответствовавшем исторической действительности, — борьбой буржуазии, а вернее — всего третьего сословия с аристократией. Он совершенно отвергает тот взгляд, что английская революция была более политической, а французская — более социальной. По его мнению, обе эти революции вызваны были одинаковыми, — социальными, — причинами и потому имели одинаковую политическую цель.

Гизо умеет проследить влияние социальных отношений даже на понятия и вкусы людей. Но всего ярче обнаруживается классовая точка зрения Гизо в его политической деятельности и в его политических сочинениях. Он сам признавал, что главной задачей его политической деятельности было упрочение господства «средних классов». И он умел постоять за эти «классы». В об'емистой брошюре «Du gouvernement de la France» (сентябрь 1820 г.) он выступил на защиту французской революции, бывшей, по его словам, войной, подобной войнам, происходящим между отдельными народами. И тут его роль защитника определенного классового интереса сделала его горячим и красноречивым.

Довольно! Мы знаем теперь, что французские историки времен реставрации, — и в частности Гизо, которым так увлекался Погодин, — в самом деле смотрели на историю западно-европейского общества, как на историю непрерывной внутренней борьбы. Исходной точкой этой борьбы послужило завоевание. Оно создало в западно-европейском обществе два, один другому враждебных, класса, и оно же породило все устройство этого общества. Если же относительное положение этих двух, беспрерывно боровшихся между собою, классов постепенно изменилось в пользу того, который представлял собою потомство завоеванных, то это происходило вследствие развития промышленности и торговли, а также, конечно, тесно связанных с ними «успехов разума». По своему существу, это — совершенно тот же взгляд, который был высказан Наполеоном в его известном суждении о французской революции: «в революции галлы свергли с себя иго франков». Да и Наполеон, сказав это, лишь повторил то, что часто говорилось другими во время его молодости. Достаточно напомнить знаменитый ответ аббата Сиэйса защитникам феодальных привилегий, утверждавшим, что они опираются на право завоевания: Rien que cela, messieurs? Nous serons conquérants à notre tour! (Только-то, милостивые государи? Мы, в свою очередь, сделаемся завоевателями!). Французские историки эпохи реставрации только развили этот взгляд, придав ему известную научную основательность. Но так как изучение внутренней истории новейшего общества едва начиналось в то время, — главным образом, вследствие толчка, данного науке той же французской революцией, — так как тогда еще не понимали, что даже там, где не было завоевания, экономическое развитие общества должно было постепенно привести его к разделению на классы и ко взаимной борьбе («войне») классов, возникших таким мирным путем, то ученые приписали завоеванию слишком большое значение в всей философии истории. Выходило так, что если бы не было завоевания, то не было и внутренней борьбы в западно-европейском обществе;

а отсутствие такой борьбы сообщило бы его истории совершенно другой характер. Но наша летопись говорит, что у нас именно не было завоевания: если верить ей, то Рюрик пришел к нам со своими братьями не как завоеватель, а как приглашенный народом водворитель внутреннего порядка и мира. Что должны были заключить из этого те наши исследователи, которые, во-первых, не сомневались в правильности летописного повествования, а во-вторых — интересовались философией истории? Они должны были сделать отсюда то самое заключение, которое сделал Погодин, что Гизо и западные историки того же образа мыслей выработали одностороннюю философию истории, так как не приняли во внимание «Российского государства», основанного без помощи насилия.

Это не все. Так как у нас не было завоевания, то, очевидно, не могло быть и всех тех явлений внутренней жизни, которые приурочивались к нему тогдашней исторической наукой. А так как число явлений, относившихся тогда наукой на счет завоевания, было очень велико, то не менее очевидно, что наше внутреннее развитие должно было итти совсем не так, как западно-европейское. Эти два вывода тоже были сделаны Погодиным, как только он познакомился с историческими взглядами французских историков времен реставрации.

Очень ошибся бы тот, кто приписал бы мне склонность об'яснять происхождение теории «официальной народности» тем простым обстоятельством, что некоторые наши историки без всяких оговорок приняли свидетельство летописца о мирном призвании варягов. Это было бы уж черезчур просто.

В истории развития русской исторической мысли мы имеем весьма наглядный пример, показывающий, что можно было не верить указанному свидетельству и в то же время создать себе такую философию русской истории, из которой с большим удобством могла выработаться теория «официальной народности». Это — пример Н. Полевого. Г. Милюков справедливо заметил, что «И с т о р и я р у с с к о г о н а р о д а» вовсе не была «выражением западных идей». И он подкрепил это свое замечание вполне убедительными выписками из названной истории. Так, он привел мнение Н. Полевого, что России суждено «внести особую стихию духа в Европу», и что стихия эта будет «типом восточно-европейского образования». Если к этому прибавить, что «тип восточно-европейского образования» рассматривался Н. Полевым, как завещание умиравшей Византии, то будет ясно, что по этой канве легко было бы вышить пышный узор во вкусе самой «официальной» народности.

Кроме того, можно думать, что Русь не знала завоевания в западно-европейском смысле — и оставаться западником чистейшей воды. Пример — В. Г. Белинский.

Белинский об'яснил бедность содержания русской народной п о э з и и тем, что бедно было содержание русской народной ж и з н и, а бедность содержания этой последней ставилась им в причинную связь именно с тем обстоятельством, что у нас отсутствовала та плодотворная в н у т р е н н я я б о р ь б а, которая порождена была на Западе фактом з а в о е в а н и я. Белинский утверждал, что из положения, созданного

завоеванием, возникла борьба, результатом которой было разумное развитие. Что же это значит? Это значит вот что. Белинский вполне соглашался с Погодиным и славянофилами в том, что наша история шла совсем не так, как западная; но между тем как те видели в этом огромный плюс, он смотрел на это, как на огромный минус. Тут он сходился с Пушкиным, который тоже думал, что в своей истории «Россия была совершенно отделена от западной Европы», и что у нас не было феодализма в западном смысле, но тоже видел в этом не преимущество, а недостаток. «Феодализма у нас не было — и тем хуже», — писал он во второй своей статье об «Ист. русск. народа» Н. Полевого. В этом различии оценки одной и той же исторической особенности, признававшейся обеими сторонами, заключалось одно из самых важных разногласий западников со славянофилами. Западники говорили по поводу этой исторической особенности: «тем хуже», а Погодин и славянофилы: «тем лучше». И это вовсе не было праздным спором об отвлеченном предмете, лишенном практического значения. Западническое «тем хуже» и славянофильское «тем лучше» выражали собою определенное отношение не только к тому, что уже прошло, но также и к тому, что еще существовало, а главное — к тому, осуществлению чего следовало содействовать. Разумеется, не все те, которые говорили: «тем хуже», согласны были между собою в том, что именно следовало осуществить. И все они не оставались верны себе в своем отношении к тогдашней «российской действительности». Западник Пушкин сам согрешил несколькими статьями и стихотворениями в духе «официальной народности». Но дело не в том, насколько последователен был тот или другой западник, и как далеко уходил он в своих практических выводах, а в том, каково было вообще то направление, в котором должны были итти западники, пока они сохраняли то настроение, которое заставляло их сожалеть об отсутствии внутренней борьбы в русской истории.

Какое же именно настроение? Сожалеть об отсутствии в нашей истории внутренней борьбы можно было только при двух условиях: во-первых, для этого необходимо было сочувствовать тем общественным целям, ради которых она велась на Западе; во-вторых, нужно было не бояться тех средств, которыми эти цели достигались, или, — так как внутренняя борьба на Западе была борьбою классов, — не испытывать страха при мысли о тех, более или менее глубоких общественных потрясениях, без которых немыслима классовая борьба, достигшая известной степени развития. Чтобы пояснить сказанное, я возьму в пример того же Гизо.

Мы видели, что Франция была, по его мнению, создана «войною классов». Завоевание галлов франками было началом этой внутренней войны. Завоеватели старались сохранить свое господствующее положение; завоеванные стремились освободиться. Мы уже знаем, что сочувствие Гизо было на стороне завоеванных.

Но так было только до известного времени, только до революции 1848 г. Как уже сказано выше, Гизо стоял на точке зрения «средних классов». И пока все галлы, завоеванные франками, шли под знаменем буржуазии в освободительной борьбе со своими завоевателями, он был неустрашим. Когда началась внутренняя борьба в лагере галлов, когда

пролетариат выступил против буржуазии, он говорил совсем другим языком.

В январе 1849 г. он выпустил брошюру «De la Democratie» главным мотивом которой является хвала в честь социального мира. Социальный мир ведет к «свободе, спокойствию, благодеятельству, достоинству» наконец, ко всем другим «вещественным и духовным благам». Он еще помнит, что социальная «война» сделала Францию; но теперь это обстоятельство представляется ему источником всевозможных общественных бедствий. «Это бич, это стыд, недостойный нашего времени. Внутренний мир, мир между различными классами граждан, социальный мир! Это самая важная потребность Франции, это крик спасения». Короче, он тоже готов сказать об историческом факте классовой борьбы: «тем хуже!» Такое же настроение охватывает Ог. Тьери, Минье и других французских историков, обязанных точке зрения борьбы классов своими величайшими теоретическими открытиями. Ученые, от всей души сочувствовавшие борьбе третьего сословия с аристократией, пришли в ужас при виде борьбы пролетариата с буржуазией. Ход вещей определил собою ход идей.

Что касается России, то не входя в неуместные здесь подробности, напомню, что Пушкин, сожалевший об отсутствии у нас феодализма, видел в борьбе городских общин европейского Запада за свое освобождение один из шагов в направлении «к независимости» и сочувствовал этому шагу. Трудо сказать, до каких именно пределов могло бы дойти его сочувствие, если бы наш великий поэт дал себе труд хорошенько вдуматься в исторические вопросы этого рода. Несомненно, однако, то, что аристократические пристрастия были сильны в нем даже тогда, когда он водил дружбу с будущими «декабристами». Известно его тогдашнее отношение к своему «шестисотлетнему» дворянству. Известно и то, что впоследствии он готов был видеть якобинца даже в безобидном Н. Полевом. Но все это еще не делало его теоретиком социального мира; все это еще не внушало ему священного ужаса при воспоминании о таких проявлениях классовой борьбы, каким была, например, Великая французская революция.

О Белинском нечего и говорить. Как только он освободился от влияния «абсолютной» стороны гегелевой философии, он полюбил человечество, по его собственному выражению, маратовской любовью, т. е., такой, которая не отступает даже перед самыми крайними средствами. Стало быть, очень трудно, если не совсем невозможно, было испугать его острыми проявлениями классовой борьбы и тем заставить отказаться от своего взгляда на нее, как на главнейшую причину «разумного развития» западно-европейского общества. Совсем не то с Погодиным и со славянофилами. Если их так радовало свидетельство летописца о мирном пришествии Рюрика с братьями: если они, утверждая, что в России не было и нет места для классовой борьбы, находили, что именно в этом то и состоит чрезвычайно выгодное для нас отличие нашей истории от западно-европейской, так как этим то и обеспечивается нам возможность такого разумного развития, какое немыслимо при общественном строе Запада, то все это происходило потому, что они боялись классовой борьбы. А боялись они ее по той причине, что их общественные взгляды сложились под влиянием того ужасающего впечатле-

ния, которое произвела Великая французская революция на многих и многих наших образованных соотечественников.

Интересно, что на университетской кафедре Погодин выступил теоретиком русской самобытности, как раз в то время, когда пресловутый С. С. Уваров, вскоре по вступлении своем на должность товарища министра народного просвещения, приехал в Москву для «обозрения» тамошнего университета. Погодину пришлось прочитать в его присутствии свою вступительную лекцию по русской истории.

Курс Погодина открылся в сентябре 1832 г. Профессор приглашал своих слушателей взглянуть на Россию «в настоящую минуту ее бытия». Далее он спрашивал, «как сложился этот колосс, стоящий на двух полушариях, как сосредоточились, как сохраняются в одной руке все те силы, коим ничто, кажется, противостоять не может?» И тут его теория нашей социальной самобытности выступает в качестве искомого ответа.

Погодин указывает на то, что варяги пришли к нам не как победители, но как добровольно избранные. В этом он видит «первое существенное отличие в зерне, семени Русского Государства, сравнительно с прочими Европейскими». И это существенное различие сказывается на всем дальнейшем развитии русского государства. «Вся история наша, до малейших общих подробностей, представляет совершенно иное зрелище: у нас нет укрепленных замков, наши города основаны другим образом, наши сословия произошли не так, как прочие Европейские». К числу необыкновенных явлений, подобных которому мы напрасно стали бы искать во всей древней и новой истории, Погодин относит и то, что у нас университетский диплом заменяет собою все привилегии и грамоты. Но это ораторское увлечение. А вот главная мысль лектора. «Кто сожигает у нас разрядные книги и уничтожает местничество?.. Не раз'яренная чернь парижская в минуту зверского неистовства, ни Гракх, ни Мирабо, ни Руссо, но чиновный боярин, спокойно, на площади, перед лицом всех сословий, по повелению самодержавного государя Феодора Алексеевича.— Кто доставляет нам средство учиться, понимать себя, чувствовать человеческое свое достоинство? Правительство и т. д. Затем Погодин говорит, что ни одна история не заключает в себе столько чудесного, как русская. «Воображая события, ее составляющие, сравнивая их неприметные начала с далекими, огромными следствиями, удивительную связь их между собою, невольно думаешь, что перст Божий ведет нас, как будто древних иудеев, к какой-то высокой цели». В подтверждение этой мысли лектор указывает на переселение Олега из Новгорода в Киев, на брак Ивана III с византийской царевной Софьей, на освобождение России от монгольского ига и даже... на убиение в Угличе царевича Дмитрия: «не пресекись род московских князей, не было бы Романовых, не было бы реформации Петра». Но этим не довольствуется вдохновенный оратор. Он об'являет чудом даже бегство Лефорта из Женевы. После этого само собою понятно, что такое событие, как проникновение в Россию христианства из Византии, а не из Рима, не может рассматриваться Погодиным иначе, как чудо из чудес. Хотя, говоря об этом событии, он выражается осторожно, ссылаясь на «какой то нечаянный случай», но мысль его ясна из того, что случай этот, при всей своей нечаянности, дает ему повод предположить, что мы «предназначены были сохранить и развить особливую сторону Веры, только разделившейся тогда».

В заключение лектор обращается к настоящему времени и делает практический вывод из своей исторической теории. Он говорит: «Не часто ли случается нам слышать восклицание: зачем у нас нет того постановления или этого. Если бы сии ораторы были знакомы с историею, и в особенности с Историею Российскою, то уменьшили бы некоторые свои жалобы и увидели бы, что всякое постановление должно непременно иметь свое семя и свой корень, и что пересаживать чужие растения, как бы они (sic) ни были пышны и блюстительны, не всегда бывает возможно и полезно, по крайней мере всегда требует глубокого размышления, великого благоразумия и осторожности». Да и нет надобности пересаживать на русскую почву чужие растения в виду того, что «собственные наши плоды» чрезвычайно вкусны. Поняв это, мы должны преисполниться благодарностью к Промыслу «за свое удельное счастье».

Смешно сказать: делая это первое систематическое положение ex cathedra теории официальной народности, Погодин опасался, что ему не пройдут даром некоторые его, будто бы смелые, выражения. Это был напрасный страх. Он сам записал в свой дневник, что все «обошлось благополучно». Еще бы! Уваров показал бы себя слишком несообразительным, если бы не одобрил такой лекции.

Таким образом, теория официальной народности получила свое историческое обоснование уже в 1832 г. и притом без «помощи славянофилов». Все последующие рассуждения Погодина о счастливых особенностях нашей истории являются лишь повторением и более подробным развитием его, только что изложенного здесь, взгляда. С особенной полнотой взгляд этот повторен и развит им в статье: «Параллель русской истории с историей Западных Европейских государств, относительно начала», напечатанной в январской книжке «Москвитянина» за 1845 год.

Погодин начинает эту статью рассмотрением того, как возникли западные государства. При этом он прямо ссылается на Ог. Тьери и других историков той же школы. И он не только не оспаривает этих историков, но категорически заявляет, что их взгляд на возникновение и внутреннюю историю западно-европейских государств «очень верен». В том, что касается Запада, Погодин ничего от себя не прибавляет. Смотря на западную историю глазами названных историков, он прежде всего обращает внимание читателя на факт завоевания и на обусловленную этим фактом взаимную борьбу общественных классов.

Обращаясь затем к русской истории, наш автор спешит указать на полное отсутствие в ней «главных явлений», характеризующих собою историю Запада: «Нет ни разделения, ни феодализма, ни убежищных городов, ни среднего сословия, ни рабства, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы». А это об'ясняется тем, что наша история началась совсем иначе, нежели западная. «Мы имеем, — говорит Погодин — положительное сказание летописи, что наше государство началось не вследствие завоевания, а вследствие призвания. Вот источник различий! Как на Западе все произошло от завоевания, так у нас происходит от призвания, беспрекословного занятия и полюбовной сделки».

Это отличие «относительно начала» подкрепляется, по словам Погодина, отличиями физическими и нравственными. К первым он относит пространство, населенность, почву, климат, положение и систему рек; ко вторым — народный характер, религию и образование. Перечислив их, Погодин восклицает: «вот сколько различий положено в основание Русского государства сравнительно с Западными. Не знаешь, которые сильнее: исторические, физические или нравственные». Но на самом деле главное место в схеме русской истории занимает мирное призвание князей. Особенности же географической среды и «словенского характера» именно только подкрепляют своим влиянием решающее действие главного «и с т о р и ч е с к о г о» отличия По всему видно, что, проведя свою «параллель». Погодин больше всего считался с учением Гизо и других французских историков об огромной роли борьбы классов в процессе развития западно-европейского общества.

На основании всех этих разнообразных соображений Погодин приходит к тому окончательному выводу, что мы должны были допустить возникновение нынешней России «из ничего», если бы захотели прикладывать западную мерку к русской исторической жизни. «Нет! — восклицает он. — Западу на Востоке быть нельзя, и солнце не может закатываться там, где оно восходит».

Если на Западе «будущее в руце Божией», т.-е., если там вполне возможна и даже вероятна революция «низших классов», то мы, русские, можем быть спокойны: нам не угрожают никакие потрясения. Погодин не сказал этого в только что изложенной статье, но зато тем настойчивее твердил это впоследствии, особенно после февральской революции. По поводу приезда в Москву Николая I в конце марта 1849 г. он, в статье «Царь в Москве», писал:

«Всякий согласится, что общество Европейское потрясено в своих основаниях и ищет себе новых опор. Оно найдет их, ибо благое Провидение со всех путей зла приводит человечество к одной своей цели — к добру, но пока продолжаются тревожные поиски и сменяются мучительные опыты, не всякую ли минуту опасность грозит в Европе гибелью всему истинному, прекрасному, всему драгоценному, что приобретено, в течение веков, страданиями и слезами, потом и кровью, желаниями и молитвами всех предшествовавших поколений? И во всякую такую страшную минуту, скажете, не обращаются ли взоры с каждой стороны, с правой и левой, сюда, к нам, на далекий север, к этому поносимому безумцами народу и его великомощному царю, что он подумает, что он скажет что он сделает?

«Но он, кажется, ничего не делает: ничего не предпринимает, не указывает, он молчит.

«Да, он молчит, и между тем мысль о нем у одних удерживает руку, уже поднятую, и она внезапно опускается в нерешимости. Да, он молчит, и между тем другие с мыслью о нем засыпают покойнее на своих тернием покрытых ложах; одни почерпают в этой мысли для себя бодрость, другие поражаются робостью; для одних здесь надежда, для других страх».

Таким образом, «теория официальной народности» принимает совершенно законченный вид. Возникнув, как идейная реакция против общественных потрясений, вызываемых классовой борьбой в западной

Европе, она естественно привела к идеализации «Востока», который считался застрахованным от таких потрясений счастливыми особенностями своего социального быта и своего политического строя. «Западное влияние» на русскую литературу до сих пор не рассматривалось с точки зрения борьбы классов. Поэтому меня заподозрят, пожалуй, в преувеличении. Но это будет совершенно неосновательно. Я ничего не преувеличиваю; напротив, недостаток места вынуждает меня излагать предмет так кратко, что он непременно должен представиться читателю в преуменьшенном виде. Пусть не думают, что русским писателям не было никакого дела до классовой борьбы, происходившей на Западе. В XIX веке русская общественная жизнь была уже так тесно связана с западно-европейской, что ход развития этой последней не мог не обращать на себя внимания русской литературы. Выше я показал, какое впечатление произвела на русских охранителей французская революция. Теперь, заговорив о революции 1848 г., я приведу несколько примеров, показывающих, что и она была понята нашими охранителями в ее истинном смысле, т.-е. как одно из самых острых проявлений классовой борьбы в западно-европейском обществе.

Поэтический дядька чертей и ведьм, В. А. Жуковский, повидимому, всегда был преисполнен самых неземных интересов; от него трудно, казалось бы, ожидать внимания к такому земному делу, как западно-европейская классовая борьба. А, между тем, вот что писал он наследнику (будущему императору Александру II) как раз накануне февральского переворота во Франции:

«Мы живем на кратере вулкана, который недавно пылал, утих и теперь снова готовится к извержению. Еще первая лава его не застыла, а уже новая клокочет в его внутренности и скоро, скоро разольется. Одна революция (т.-е. Великая французская революция. Г. П.) кончилась, другая готова вступить в ее колеи. И замечательно, что последняя, т.-е. та, которая нам грозит, в своем ходе наблюдает тот же порядок, какой наблюдала первая, несмотря на различие их характеров».

Не правда ли, это довольно неожиданно со стороны поэтического дядьки? Но после этих строк нас уже не удивит следующее соображение, с которым Жуковский обратился к тому же адресату 17 (29) февраля 1848 г., т.-е. под впечатлением революционных событий в Париже:

Что скажет, смотря на это, государь? Просвети бог его царскую высокую душу! Более нежели когда-нибудь утверждается в душе моей мысль, что Россия посреди этого потопа (и кто знает, как высоко подымутся волны его) есть ковчег спасения, и что она будет им не для себя одной, но и для других, если только посреди этой бездны поплывет самобытно, не бросаясь в водоворот, на твердом корабле своем, держа его руль и не давая волнам собою властвовать. Я не политик и не могу иметь доверенности к своим мыслям, но кажется мне, что нам в теперешних обстоятельствах надобно китайскою стеною отгородиться от всеобщей заразы. Мне кажется, что Промысл в этом событии выражает ясно и теперешний долг, и будущую судьбу России: она есть отдельный, самобытный мир, в самой себе она тверда и неприкосновенна; устремленная на внешнее, она только может растратить свои силы и чужим потрясением разрушить свое собственное здание».

В. А. Жуковский был все-таки человек, не лишенный некоторого образования и знакомый с западно-европейской общественной жизнью. Огромное большинство людей, составлявших, так называемое, общество далеко уступало ему в обоих этих отношениях. Петрашевец Кузьмин писал около того времени о помещиках Тамбовской губернии: «Большинство здешних помещиков штаб-ротмистры или поручики в отставке, без достаточного образования, но с порядочным запасом долгов, продолжают разорять свои имения, собачничают и пр. Чего ожидать от таких господчиков?» Многого ожидать от них действительно было невозможно. Однако, и эти господчики без достаточного образования, но с достаточным запасом долгов, хорошо сознавали свой сословный интерес и потому готовы были сочувствовать всяким нападкам на западно-европейских революционеров. В этом охранительном настроении русского «общества» заключался залог успеха всякой теории, направленной к идеализации существовавшего порядка вещей. А так как «теория официальной народности» являлась именно идеализацией этого порядка, то ей не могло не сочувствовать все, что было консервативного в тогдашней «читающей публике».

В первой книжке «Москвитянина» за 1849 г. напечатано было стихотворение М. А. Дмитриева: «Россия», в конце которого говорится:

Покорный, кроткий, терпеливый
Здоров и крепок твой народ!
Ты веры край благочестивый!
Стой против бурь живой оплот!
Во дни народных смут и боя,
Одна безмолвна и тверда,
Одна в величии покоя,
Свидетель божия Суда!
И вихрей бунт встревожил воды и т. д.

Официальное представление о народности, сочувственно разделявшееся огромнейшим большинством тогдашнего правящего класса, было представлением о народной массе, которая, отличаясь здоровьем и крепостью, — что очень полезно при ее полной лишений жизни, — в то же время радует своих благодетелей терпением, кротостью, а главное — покорностью.

Теория официальной народности не могла нравиться нашим передовым западникам. Тем не менее, во взгляде на Россию, преобладавшем между людьми западного лагеря, было очень много элементов совершенно тождественных с теми, из совокупности которых образовалась теория официальной народности. Если сотрудники «Москвитянина» считали терпение, кротость и покорность наиболее характерными чертами русской народной массы, то, ведь, почти так же смотрел на народ и издатель «Современника» Некрасов:

Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал
Таким и ныне увидал:
Все ту же песню ты поешь,
Все ту же лямку ты несешь
В чертах усталого лица
Все та-ж покорность без конца..

В другом стихотворении тот же Некрасов говорит:

Пожелаем тому доброй ночи,
Кто все терпит во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставит почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться мечтам и страстям...

Народ представляется Некрасову в том же виде, в каком он представлялся сотрудникам «Москвитянина». Разница была лишь в том, что Некрасова и людей его образа мыслей о г о р ч а л а народная «покорность без конца», а сотрудников «Москвитянина» она р а д о в а л а. Тут мы видим то же самое, что видели в отношении наших западников к вопросу об особенностях исторического развития России. Пушкин соглашался с Погодиным в том, что у нас не было ни феодализма, ни борьбы городов за свое освобождение от феодального гнета. Соглашался с ним в этом и Белинский. Но между тем, как Погодин находил эту особенность нашей истории весьма счастливой, Пушкин замечал по ее поводу: «и тем хуже». Того же мнения был и Белинский. Отсутствием у нас внутренней борьбы он об'яснял, как мы знаем, слабость России по части «разумного развития».

Славянофильство и теория официальной народности представляют собою по существу одно и то же учение, одинаково дорогое некоторым идеологам двух общественных слоев, но различно понимаемое ими, сообразно различному положению представляемых ими слоев в обществе. Славянофилы — дворяне, Погодин — разночинец. Это непременно надо иметь в виду при выяснении вопроса о том, как собственно относились славянофилы к Погодину.

Начиная с конца 50-х годов прошлого века и вплоть до недавнего времени, разночинцы — Чернышевский, Добролюбов и многие, многие другие — шли у нас во главе общественного движения. Поэтому мы привыкли смотреть на разночинцев как на самый передовой общественный слой. Но они не всегда шли впереди. Прежде было совсем иначе. Герцен говорит в «Былом и Думах» о студентах-семинаристах своего времени: «Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас, мы говорили разными языками; они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей риторикой и теологией, завидовали нашей развязности; мы — досадовали на их христианское смирение».

Кто «мы»? Студенты, происходившие из среднего дворянского слоя. «Неистовый Виссарион» был исключением из тогдашних образованных разночинцев: огромнейшее большинсво их далеко уступало образованным представителям среднего дворянства в широте взглядов и в смелости мысли. Типичным (тогда) идеологом слоя разночинцев приходится признать не Белинского, который указывал на то, что б у д е т в п о с л е д с т в и и, а Погодина, своим настроением выражавшего то, что б ы л о в т о в р е м я. Для Погодина же характерно следующее замечание, сделанное им в начале 1839 г. о польском народе: «Сеймики, вот их жизнь, их любимое занятие... Говорить, толковать, умничать — вот их

страсть»... В 60-х т.г. «умничание» сделалось «страстью» образованного разночинца. А в 30-х — образованный разночинец Погодин видел в страсти к «умничанию» историческое несчастье поляков. В сравнении с ним даже такие консервативные представители образованного дворянства, какими были бр. Киреевские, Хомяков и другие славянофилы являлись настоящими фрондерами. Славянофилы тоже очень не любили «умничание» там, где оно приводило к действительным революционным выводам. Вся их пресловутая философия основана на полном его отрицании. Но в их отношении к нашему тогдашнему общественному порядку все-таки обнаруживалось гораздо больше духа личной независимости. Поэтому тот же Герцен и Грановский гораздо лучше чувствовали себя в обществе, например, И. Киреевского или Хомякова, чем в обществе Погодина или Шевырева.

Славянофилы всегда были самыми убежденными монархистами. Летом 1846 г. один из наиболее свободомыслящих славянофилов, Ю. Ф. Самарин, в письме к приехавшему в Москву французскому депутату Могену, говорил: «Принцип монархический — великое дело нашей истории. Она вся есть ничто иное, как развитие этого принципа... Неограниченная власть, единая и народная, действующая во имя всех, идущая во главе нашей цивилизации и совершающая у нас, без ужасов революции, то, что на Западе является результатом войн междоусобных и религиозных смут и переворотов; такова форма правления, которую создал для себя русский народ; она священное наследство нашей истории, и мы не хотим другой формы, ибо всякая другая форма была бы тиранией».

Это как раз то самое, что всегда проповедывал Погодин. В теоретическом отношении славянофил ни на волос не разошелся тут с теоретиком «официальной народности». Французы правильно говорят, что музыку делает тон. Высказывая тот же самый взгляд на монархическую власть, Погодин всегда ухитрялся придавать ему особый оттенок, который лучше всего характеризуется словами Герцена (написанными, правда, по другому поводу). «Отечественно раболепны, семинарски неуклюжи». Белинский недаром назвал Погодина литературным циником. И что всего хуже, так это то, что чем больше умилялся наш историк, тем выпуклее выступал в его речах и писаниях этот свойственный ему раболепный и неуклюжий цинизм. В конце 1837 г. Погодин передал тогдашнему наследнику через гр. Строганова свое письмо о русской истории. Само собою разумеется, что Погодин воспевает в нем удивительные дарования русского человека. Но полюбуйтесь на «штиль» его песнопения.

«Взглянем на сиволапого мужика, которого вводят в рекрутское присутствие: он только что взят от сохи, он смотрит на все исподлобья, не может ступить шагу, не задевши; это увалень, настоящий медведь, национальный зверь наш». Начальство превращает этого «зверя» в удалого солдата. «Поставят этого солдата под ядра, он станет и не шелохнется, пошлют на смерть — пойдет и не задумается, вытерпит все, что угодно: в знойную пору наденет овчинный тулуп, а в трескучий мороз пойдет босиком, сухарем пробавится неделю, а форсированными маршами не уступит доброй лошади». А вот еще: «Как отвечают о физике и химии крестьяне-ученики удельных и земледельческих школ? Какие успехи оказывает всякая сволочь в московском художественном классе!» Не забывайте, что, написанное столь благородным «штилем», письмо было

адресовано верноподданным историком наследнику русского престола. Нетрудно представить себе, как сильно должны были морщиться благовоспитанные приличные дворяне славянофильского направления, читая такие циничные панегирики русскому народу.

Погодин утверждал, что Россия не знала классовой борьбы, но можно, не опасаясь парадокса, сказать, что его собственные взгляды сложились отчасти под влиянием того настроения, которое порождается взаимной борьбой (точнее: антагонизмом) общественных классов. Сближаясь с Аксаковым, он отмечает в своем дневнике, что они «из варягов», т. е., что они, по своему происхождению, аристократы. Он всегда очень резко отзывается о наших «магнатах», которые, по его словам, пусты, эгоистичны и невежественны. Вернувшись с одного большого обеда у кн. Трубецких, он записал в своем дневнике 5 февраля 1822 г.: «Я так отвык от этих барских столов. Для меня показалось очень диким видеть, как двадцать человек сидят, а другие двадцать бегают около них, суетятся, смотрят в глаза и пр. Откуда взялось это различие?» Это очень похоже на то, как гр. Л. Н. Толстой громил впоследствии барскую жизнь. Но это не мешало Погодину мечтать о приобретении деревеньки, населенной крепостными душами. И вообще, полезно будет заметить, что наш историк обличал магнатов только в своем дневнике, остававшемся под спудом, а в своих лекциях, публичных речах и сочинениях он пребывал неуклюже раболепным. И иначе и быть не могло. Этот сын крепостного человека представлял собою тот период в развитии наших образованных разночинцев, когда они совсем еще не имели веры в народную самодеятельность. В 1826 г. он утверждал: «Удивителен русский народ, но удивителен только еще в возможности. В действительности, он низок, ужасен и скотен». Не веря в народ и относясь с недоверием к дворянству, разночинцы могли обращаться только к правительству. Это мы и видим у Погодина. Но образованные представители дворянства тогда еще не утратили веры в свое сословие. Даже Герцен свои надежды на прогрессивное развитие России очень долго приурочивал к деятельности просвещенной части среднего дворянства. Тем более можно это сказать о славянофилах, все миросозерцание которых было чисто-дворянским миросозерцанием. А чем более верили они в свое собственное сословие, тем независимее они могли быть по отношению к правительству.

К этому нужно прибавить некоторые другие, еще более неприятные особенности Погодина, на этот раз совершенно личного свойства: его крайнюю бестактность, скупость и приобретательную наклонность, почти равнявшую его по временам с самим Чичиковым.

После всего сказанного понятно, почему славянофилы порядочно таки сторонились теоретиков официальной народности, вполне разделяя, однако, их основные взгляды на отношение России к Западу, и почему они доходили подчас до того, что называли этих теоретиков «не нашими». Теоретики официальной народности были родными братьями теоретиков славянофильства, но братьями, воспитавшимися при других условиях, в другой обстановке и потому усвоившими себе несколько иные привычки мысли и совсем другие вкусы. Различно воспитанные братья временами возмущали и даже скандализировали друг друга. Зато в важных случаях жизни они всегда вспоминали о своем близком родстве. Так, после лекции Шевырева, Хомяков писал Самарину (в декабре 1844 г.):

«Успех Шевырева — успех мысли, достояние общее; шаг вперед в науке. Даже явное несогласие большинства—есть торжество. Эти поднятые вопросы, это недоверие, эта критика, переходящая в умственную жизнь публики. Другая и не менее важная выгода та, что, при уяснении самих вопросов, мнение каждое могло счесть своих последователей или людей, склонных к нему. Ряды наших друзей оказались необычайно редкими и дружина ничтожною... Покуда большинство публики глядит к Западу».

Это — полная солидарность. Подобную же солидарность видим мы и в письме Хомякова к Веневитинову о тех же лекциях: «наш Шевырев вышел из затруднения с торжеством» и т. д.

Хомяков не обманывался. Для него Шевырев действительно был нашим. И действительно успех Шевырева, — поскольку он имел успех,— являлся успехом не только теории «официальной народности», но и славянофильского учения. Другими словами — это был успех обоих отделов «восточного» лагеря.

XV. Славянофильство и западничество.

(Из ст. IV. Н. Ветринского (В. Е. Чешихина): «Сороковые годы XIX века» во 2 томе «История русской литературы XIX века», под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского).

Сороковые годы XIX века в истории русской общественной мысли и литературы представляют цельный внутренне законченный период развития.

Отличительной чертой времени надо признать общее быстрое нарастание в обществе и литературе оппозиционного настроения. Оно преемственно примыкает к подавленному движению декабристов, хотя собственно в политической области ничем почти не выразилось, кроме немногих идейных заявлений. За невозможностью проявиться, сколько-нибудь широко и открыто, умственно-общественное возбуждение сосредоточено около университетов и в знаменитых «кружках сороковых годов». В жизни этих кружков сначала мы видим жадный обще-философский отвлеченный интерес. Преобладает теоретическое понимание жизненных задач, науки, литературы, искусства, — но мало-по-малу вопросы жизни, реальные ее интересы занимают подобающее им место. Критическое оппозиционное настроение и созревает на почве жизненных практических вопросов. Критика направлена ближайшим образом на все, что прикрыто официальным лозунгом времени «самодержавие, православие, народность», на литературно-общественную школу, взявшую официальный лозунг под свою защиту. В связи с этим разгорается борьба мнений между двумя наиболее глубокими течениями эпохи, между славянофильством и западничеством. Несколько позднее в последнем обособляется

более радикальное течение с социалистической окраской, под влиянием веяний с Запада, где социальный вопрос впервые широко поставлен, как центральный вопрос новейшего времени. У нас новый социальный интерес, под давлением условий русской жизни, отливается в форму особого внимания к больному вопросу русской жизни, к положению бесправной, изнывающей в крепостном рабстве народной массы. Параллельно этим течениям и, отражая их, развивается литература. В ней торжествует ярко выраженная реалистическая струя в критике и беллетристике. В последней получает преобладание и начинает развиваться новая художественная форма — бытовые роман и повесть. Все окрашено в большей или меньшей степени тем же приподнятым оппозиционным настроением и социальным интересом, и в той же оболочке и окраске являются даже «вечные» вопросы человеческого бытия.

Умственное и общественное движение сороковых годов создавалось и проходило под тем же, что и в два предыдущие десятилетия, неослабеваемым давлением подозрительного, опасливо следившего за обществом, правительственного режима. Этот надзор особо обострился и впал в чудовищные по жестокости, нелепости и комизму крайности, после 1848 года с его серией западно-европейских революций. Но умственно-общественное движение питалось прежде всего не только наглядными отрицательными уроками со стороны господствовавшей системы самодержавно-бюрократического и крепостного управления, но и теми самыми мерами, какие она принимала в собственных интересах. Государственный механизм и усложнение внутренней народной жизни пред'являли все больший спрос на людей образованных. Они становились все нужнее для сколько-нибудь правильного хода приходившей в упадок государственной машины, защищавшей дряхлеющий крепостной строй, а образование роковым образом создавало все новых и новых сознательных врагов этому же строю.

Очень откровенно говорил об этом противоречии главный руководитель просвещения того времени, министр граф С. С. Уваров, мечтавший «продлить юность» России умеренностью доз просвещения: «Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет от того, что готовят ей теории (требовавшие политической свободы, — авт.), то я исполню мой долг и умру спокойно». 4 декабря, 1832 года, еще будучи товарищем министра, излагая в отчете государю задачи высшего и среднего образования цензуры, Уваров важнейшей задачей полагает: «образование правильное, основательное, необходимое в нашем веке, с глубоким убеждением и теплой верой в истинно-русские охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог мощи и величия нашего отечества». Тут же рядом, с этой знаменитой, признанной ныне официальной программой всего правительства, ставилось и такое положение: «В нынешнем положении вещей и умов, нельзя не умножать, где только можно, умственных плотин». Не подозревал Уваров, что, «умножая плотины», он сам содействовал их надрыву. Несмотря на все стеснения, университеты и, ставшая тогда впервые на уровне европейской мысли, наука, в особенности история и право, явились в сороковые годы видными деятелями умственного возбуждения в русском обществе. При всей услужливой готовности Баршевых. Давы-

довых и пр. превратить науку в покорную охранительницу существующего порядка и спокойствия и в прямое орудие общественного застоя, университеты приютили у себя не мало деятелей, которые не только явились двигателями каждый своей специальностью, но сыграли и видную общественно-воспитательную роль. Посылка, по мысли Уварова, молодых ученых за границу для подготовки к кафедрам имела значение не только для науки, но и для общественности.

Главным питомником для молодых ученых была избрана Германия, не внушавшая тогда особых подозрений относительно политической благонадежности своей науки. Здесь господствовала умеренная школа гегелевской философии, ставшая официальной философией, и оправданием прусского консерватизма. Наверху своей славы была здесь историческая школа права, с Савиньи во главе, по своим принципам также преимущественно консервативная. Но рядом с этим на молодых ученых действовали и другие веяния, научные и литературные, наконец общий более культурный строй жизни. Из этой школы выходили такие ученые, как Невелин, Редкин, Крылов, Грановский, Куторга и т. д. Давнее влияние в России европейской образованности получило в этих командировках за золотым руном европейской науки новое значение и силу. Через университеты прошло и оказало свое содействие на русские образованные умы, тогдашнее обаяние философской школы Гегеля. Исторический критический метод изучения общественных явлений, установившийся в науке в те годы, мало-по-малу усваивается прочно и у нас, оттесняя прежние отвлеченные и априорные построения. И общий смысл этого влияния ученых, прошедших западную школу, в том более строгом научном духе критицизма и нетерпимости, какие стали отныне прилагаться к изучению и об'яснению также и явлений, подлежащих особому вниманию русской науки.

Некоторые из-за границы привозили, кроме специальных знаний, прямой развитый интерес к политической жизни и к конституционным формам управления, тогда как самое существование политической свободы предполагалось как бы скрытым от счастливого неведения счастливых россиян. Другие были уже охвачены духом религиозного вольномыслия, который не мог мириться с воинствовавшим тогда филаретовским православием и нетерпимостью. Наконец, просто возвращались людьми, проникнутыми уважением к западу, «стране святых чудес», по выражению Хомякова, как к источнику собственного развития и нового миропонимания, что шло мимовольно в разрез с официальным пониманием «народности», как противоположения России — Западу .

Программа Уварова имела своих бескорыстных идеологов, которые пытались подвести под самодержавие и православие, как основы русской государственности, некоторый идейный апологический фундамент. В этих апологиях мы видим неизменно слитым с политическим чисто-религиозный элемент.

Таковая апология Гоголя в его «Выбранных местах из переписки с друзьями». Гоголь, выступивший в этой несчастной книге в 1847 г. в качестве публициста, хорошо, даже до ужаса ясно, видел темные стороны русского быта, даже чувствовал, что после чистосердечных похвал русских квасных патриотов (термин, незадолго до того получивший право гражданства) «только плюнешь на Россию», но не осмыслив связи быта и

учреждений, считал весь строй русской жизни совершенным, приписывая беды России порокам исполнителей божественных и царских предначертаний. Те и другие для него совершенно сливаются. Руку особливого о России божественного промысла он видит не только в общих судьбах русского государства, но даже и в прозаических губернских правлениях, палатах и иных учреждениях, «чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем больше изумляешься мудрости учредителей, слышно, что сам бог строил незримо руками государей, «так что» все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей». «Понятно, что о божественной красоте самодержавия у него льются речи еще более торжественные: «Что такое монарх вообще, как божий помазанник, обязанный стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает бог, и в праве ли был Пушкин, уподобить его древнему боговидцу Моисею (в стихотворении, которое Гоголь считал посвященным Николаю I). Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшной ответственностью за них пред богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самых развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик божий, неумолкаемо к нему вопиющий, — тот может быть уподоблен древнему боговидцу». «В Европе,—кажется Гоголю, и ошибочно, потому что ту же апологию абсолютизма мы находим у теоретиков реставрации Де-Местра и Бональда, — не приходило никому в ум определять высшее значение монарха. Высшее значение власти монарха прозрели у нас поэты, а не законоведы — услышали с трепетом волю бога создать ее в России в ее законном виде, оттого и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из их уст слово ц а р ь. Это слышат у нас и не поэты, потому, что страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде».

Таков арсенал немногих аргументов апологетов самодержавия в сороковые годы, аргументов, как видим, по преимуществу от веры. Во всем этом второй член уваровской формулы, православие — играл в сущности совершенно подчиненную роль, как подчинено было православие и на деле светской власти, прислужницей которого оно стало. Не замечая того, апологеты системы именно эту последнюю роль православию и отводили, хотя ставили его иногда на словах, как Уваров, впереди самодержавия или, как Гоголь и славянофилы, придавая ему мировое значение. «Церковь (православная) — пишет Гоголь, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта церковь... вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными, — как бы снесена прямо с неба для русского народа, одна в силах разрешить все узлы и недоумения и вопросы наши, может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословие, звание и должность войти в их законные границы и пределы, и, не изменив ничего в государстве, дать силу России, изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала. «Есть примиритель всего, внутри самой земли нашей, который, покуда еще не все видим — наша церковь. Уже готовится она

вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного, до простого семейственного, всему настрой, всему направление, всему законная и верная дорога. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым». Таково было представление, тождественное с идеализацией православия у славянофилов. Но в отношении непосредственно к жизненным вопросам, роль церкви у Гоголя и других апологетов николаевской России сводится на неприглядное освещение крепостнической власти, как в письме «Русский помещик», где Гоголь рекомендует помещику привлечь священника ко всем хозяйственным мероприятиям: «чтобы они (мужики) видели, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волей божией, а не со своими какими-нибудь европейскими или иными затеями», рекомендует быть «наставником» священнику и цензуровать его проповеди: «самое главное», бери с собой священника повсюду, где ни бываешь на работах, чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника, чтобы он видел самолично всю твою проделку с мужиками». Эти советы показались, однако, даже николаевской цензуре чересчур откровенными, и соответствующие места письма не были в свое время пропущены в печати. Тем не менее нельзя не считать все это в высокой степени характерным для того времени настроения, на словах столь высоко ставившего церковь. Гоголь был здесь лишь бессознательным выразителем настоящей подоплеки крепостнического миросозерцания.

Не менее типичны и взгляды самого Уварова, довольно откровенно связывавшего судьбу крепостного права с участью самодержавия и православия. «Вопрос о крепостном праве тесно связан с вопросами о самодержавии и даже единодержавии, — такова задушевная мысль Уварова, записанная Погодиным: это две параллельные силы, кои развивались вместе. У того и у другого одно историческое начало, законность их одинакова. Что было у нас прежде Петра I, то все прошло, кроме крепостного права, которое, следовательно, не может быть тронуто без всеобщего потрясения. Крепостное право существует, каково бы оно ни было, и нарушение его повлечет за собой неудовольствие дворянского сословия, которое будет искать себе вознаграждение где-нибудь, а искать негде, кроме области самодержавия... К такому многосложному вопросу должно приступать с величайшей осторожностью. Это дерево пустило далеко корень, оно осеняет и церковь, и престол. Вырвать его с корнем невозможно. Надо постепенно. Довольно теперь пустить эту мысль в оборот, чтобы поколения приготовились постепенно к ее восприятию. Одно образование, просвещение может приготовить ее исполнение наилучшим образом. «Мы видели уже, как вместо просвещения «умножались плотины» ему, и в этой мотивировке, насквозь проникнутой предубеждениями рабовладельца, аристократа и бюрократа, наглядно видно, как сплетались у Уварова и его присных все представления в общий гордиев узел.

Как бы ни было, и самодержавие, и надежнейший его союзник православие, руководимое чрез Синод гусаром Протасовым, оба «осененные», по выражению Уварова, древом крепостного права, стояли слишком высоко для того, чтобы в печати и обществе быть предметами всесторон-

него обсуждения. Потому, не только критика их, но и хвала нередко пресекались, как неуместные. Доступнее обсуждению, а следовательно, и критике было понятие «народности», и около него завязались тогда жаркие споры, составившие важную часть спора славянофилов и западников. Общая схема этих консервативных понятий получила по почину Пыпина кличку «официальной народности», название удачное потому, что в понимании апологетов «народность» сводилась на то же самодержавие и православие и сохранение ее внутренней жизни полностью.

Манифестом вольной школы официальной народности принято считать статью московского профессора Шевырева, напечатанную в журнале «Москвитянин» проф. Погодина, в первой книге (1841 г.). Статья, под заглавием: «Взгляд русского на образование Европы», начинается типическим для всей школы противоположением Запада и России: «Драма современной истории выражается двумя именами, из которых одно звучит сладко нашему сердцу. Запад и Россия, Россия и Запад, — вот результат, вытекающий из всего предыдущего, вот последнее слово истории, вот два данные для будущего. Запад и Россия стоят друг перед другом, лицом к лицу. Увлечет ли нас он в своем всемирном стремлении? Или устоим мы в своей самобытности? Образуем мир особый по началам своим, а не тем же европейским?»

Обозревая главные европейские страны, Шевырев особенно останавливается на имевших у нас наибольшее литературно-общественное влияние Франции и Германии, приписывая этому с ними общению самую роковую роль. «Франция и Германия были сценами величайших событий, к которым подводится вся история нового Запада, или правильнее, двух переломных болезней, соответствующих друг другу. Эти болезни были — реформация в Германии, революция во Франции, болезнь одна и та же, только в двух различных видах. Мы думаем, что эти болезни уже прекратились. Нет, мы ошибаемся. Болезнями порождены вредные соки, которые теперь продолжают действовать и которые в свою очередь произвели уже повреждение органическое и в той и другой стране, признак будущего разрушения. Да, в наших искренних, дружеских, тесных сношениях с Западом мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе заразительный недуг, окруженным атмосферой опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства, и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет. Он увлек нас роскошью своей образованности, угождает прихотям нашей чувственности, расточает пред нами остроумие мысли, наслаждения искусства. Мы рады, что попали на пир готовый к такому богатому хозяину. Мы упоены. Но мы не замечаем, что в этих яствах таится сок, которого не вынесет свежая природа наша. Мы не предвидим, что просвещенный хозяин, обольстив нас всеми прелестями великолепного пира, развратит ум и сердце наше, что мы выйдем от него опьяненные не по летам, с тяжким впечатлением от оргии, нам не понятной».

Но Россия зато сохранила «три коренные чувства, в которых семя и залог нашему будущему развитию», это чувство религиозное, чувство государственного единства («нет страны в Европе, которая могла бы гордиться такой гармонией своего политического бытия, как наше отечество... Вот сокровище, вынесенное нами из нашей древней жизни, на ко-

торое с особенной завистью смотрит Запад») и наконец—сознание «народности». «Об это чувство разбиваются все частные бесплодные усилия наших соотечественников привить к нам то, что нейдет к русскому уму и к русскому сердцу. Это чувство есть мера прочного успеха наших писателей в истории литературы, есть пробный камень их оригинальности. Это чувство устремляет теперь нас к изучению нашей древней Руси». И в заключение школа расписывалась в точном следовании намерениям правительства. «Тремя коренными чувствами крепка наша Русь и верно наше будущее. Муж царского совета, которому вверены поколения, образующиеся (т. е. граф Уваров), давно уже выразил их глубокой мыслью, и они положены в основу воспитания народа».

Первую серьезную критику и оппозицию триединая уваровская программа встретила в литературно-общественных кружках сороковых или уже тридцатых годов (так как те и другие кружки тесно связаны и по своему составу, и по занимавшим их мыслям). Возникновение их было вызвано, конечно, совершенно естественным стремлением в среде тогдашней интеллигенции к обмену идей и общению. Когда в печати нельзя было и думать говорить о предметах, занимавших умы, дабы не столкнуться с различными табу, естественно, об этих предметах заговорили в тесных кружках, стоящих так или иначе близко к науке и литературе. Кружки возникли вблизи университетов, особенно московского, здесь совершили круг своего развития идеи, впоследствии или одновременно вынесенные в печать и общество.

Теми почти детьми, которые в тридцатые годы на университетской скамье подняли головы после разгрома русской самостоятельной мысли в лице круга декабристов, этими детьми, по выражению Герцена, «ошеломленная Россия начала приходить в себя».

К половине сороковых годов тесные кружки годов тридцатых, уже распались, и в Москве и частью в Петербурге мы видим группировку русской интеллигенции на два, более обширные круга: западников и славянофилов.

В Москве круг западников образовался из слияния философско-романтического кружка Станкевича и сенсимонистского кружка Герцена, к которым примкнуло несколько представителей обновленного, между тем, московского университета. Центральным лицом здесь довольно скоро становится Т. Н. Грановский, занявший с осени 1839 года по возвращении из-за границы кафедру всеобщей истории. С Грановским тесно сблизились сначала поэт Огарев, потом с 1842 года Герцен, еще до своей литературной известности, приобретенной под псевдонимом Искандера, пользовавшийся в Москве известностью, как исключительная, блестяще одаренная личность. К более тесному ядру этого кружка принадлежали, кроме того: В. П. Боткин, интимный друг Белинского, молодой купец, жаркий в то время поклонник левого гегелианства и тонкий знаток и ценитель в вопросах искусства, впоследствии автор «Писем об Испании», переводчик Шекспира, неизменный друг семьи Герцена, Н. Х. Кетчер, библиотекарь московского университета, товарищ Грановского по петербургскому университету, К. Ф. Корш. Более или менее

близки к ним молодые профессора Редкин, Крюков, потом Кавелин, Кудрявцев. Одним из неизменных членов западнического кружка был знаменитый актер того времени, создатель русской реалистической школы на сцене М. С. Щепкин. Белинский, хотя в сороковые годы и жил постоянно в Петербурге, тем не менее принимал живое участие в жизни этого круга; в курсе ее он постоянно был, как благодаря частым наездам друзей в Петербург и обратно, так и благодаря усердной с ними переписке, в которой отдельные письма разрастаются иногда в целые тетради. Здесь же появляются Тургенев, И. П. Галахов, Сатин, беллетрист И. Панаев, близкий и лично с Белинским, и другие, в том числе и оставивший весьма живые воспоминания об этом круге П. В. Анненков, в то время известный довольно интересными корреспонденциями о парижской жизни.

В совокупности это был, по выражению Анненкова, как бы «воюющий орден, который не имел никакого письменного устава, но знал всех своих членов, рассеянных по лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоял по какому-то соглашению, никем в сущности не возбужденному, поперек всего течения современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, ненавидимый одними, и страстно любимый другими». Он стоял поперек этой жизни уже потому, что здесь были интересы, выходившие из официально одобренных, не мирившиеся с всероссийской николаевщиной, потому что здесь выращены были зерна критических идей и прямого оппозиционного настроения.

В тридцатые годы люди этого круга отдали щедро дань тогдашнему общему настроению — романтизму. Как определяет это настроение его недавний адепт (Белинский в 1842 г. в статье «Русская литература в 1841 г.»), «романтизм—это мир внутреннего человека, мир души и сердца, мир ощущений и верований, мир порываний к бесконечному, мир таинственных видений и созерцаний, мир небесных идеалов... Почва романтизма, не история, не жизнь действительная, не природа, и не внешний мир, а таинственная лаборатория груди человеческой, где незримо начинаются и зреют все ощущения и чувства, где неумолкаемо раздаются вопросы о мире и вечности, о смерти и бессмертии, о судьбе личного человека, о таинствах любви, блаженства и страдания... Горе тому, кто, соблазненный обаянием этого внутреннего мира души, закроет глаза на внешний мир, и уйдет туда вглубь себя, чтобы питаться блаженством страдания, лелеять и поддерживать пламя, которое должно пожрать его. Люди с сильными натурами, погружаясь в эту пучину внутреннего созерцания, могут делаться мистическими сомнамбулами, вдохновенными безумцами, живыми тенями в чуждом и страшном для них мире действительности. Люди недалекие и неглубокие делаются пиэтистами, мистиками и моралистами, они толкуют и понимают себя и все вне их находящееся задом наперед и вверх ногами». Этой опасности избежали в большинстве случаев западники сороковых годов, и их историческим делом было их самоопределение в мире русской действительности. Переход от романтических построений мира внутреннего человека к постановке задачи о человеке в обществе и о русском гражданине в русском государстве — вот в существенных чертах содержание первой поры умственно-общественных течений сороковых годов, в этом исторический смысл происходившего тогда движения идей и многообразных споров.

Как известно, романтики тридцатых годов в конце их встретились с философией Гегеля, и возгоревшиеся около нее дебаты были переходом к новым вопросам общественным или новой постановкой прежних вопросов, касавшихся внутреннего мира человека. Значение философской системы Гегеля, установившей и распространившей идею непрерывного развития всех возможных жизненных явлений, было для русской общественной мысли особенно важно. Ее высокий идеалистический порыв — стремление одной идеей, одним принципом охватить и об'яснить все области ведения — пришелся как нельзя кстати приподнятому настроению русского романтизма, и сам по себе был громадным возбуждением аналитической мысли. Чем меньше действительная жизнь представляла возможности для приложения к ней критического и практического разума, тем естественнее было погружение умов в дебри отвлеченного мира такой философии, как гегелевская.

Герцен по возвращении из ссылки 1839 г. нашел этот культ Гегеля в полном разгаре. Притом было усвоено чисто консервативное понимание гегелевской философии, что и было заявлено в органе молодых гегелианцев «Московский Наблюдатель» в предисловии Бакунина к переводу «Гимназических Речей» Гегеля. «До сих пор, кто занимается философией, — читаем здесь, — тот необходимо простился с действительностью или вооружается против действительного мира, и мнит, что своими призрачными силами он может разрушить его ложное существование... и не знает, бедный, что действительный мир выше его жалкой и бессильной индивидуальности, он не способен понять истины и блаженства действительного мира, конечный рассудок мешает ему видеть, что в жизни все прекрасно, все благо и что самые страдания в ней необходимы, как очищения духа». «Что действительно, то разумно, и что разумно, то действительно. Вот основа философии Гегеля, которая нашла еще много противников и возбудила негодование в рядах этой смешной юной Германии, которая хотела переделать свое умное отечество по своим детским фантазиям». Не менее, чем на «смешную», революционную юную Германию, ополчается Бакунин на французов и на французское воспитание у русских, которое «образует не крепкого и действительного русского человека, преданного царю и отечеству, а что-то такое среднее, бесцветное и бесхарактерное».

Консервативное понимание философии Гегеля встретило, однако, отпор и в Грановском и в особенности в Герцене, который, после бесплодных споров с Белинским в период его цитированных статей по поводу бородинской годовщины, обратился к самому источнику. Герцен нашел, что в Гегеле вовсе нет того безнадежного фаталистического консерватизма, какой усвоили было молодые гегелианцы, нашел, что «философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, может с намерением, дурно формулирована». Герцен переживает полный кризис традиционных представлений о переустройстве и романтически-религиозных настроений. В начале 1842 года проштудировав «Феноменологию» Гегеля, он просит передать Белинскому, «чтобы он ругал одних последователей, а великую тень (Гегеля) не трогал бы. К концу книги точно в'езжаешь в море: глубина, прозрачность, веяние духа несет — lasciate ogni speranza — берега исчезают, одно

спасение, внутри груди, но тут то раздается: Quid timeas? Cesarem vehis! Страх рассеивается, берег вот, прекрасные листки фантазии, ощипаны, сочные плоды действительности тут. Исчезли ундины, но полногрудая дева ждет. Извините, я что-то заврался, но таково было впечатление». Кратко, смысл этих образов, вошедших в современные философские статьи Герцена, имевшие огромный успех (о дилетантизме в науке), сводится к признанию высшим критерием, мерилом познания и морали прав, запросов, разумения человеческой личности. «Оставьте надежду навсегда», вы, нуждающиеся в спорах за внешний, внемировой авторитет, стоящие на представлении о каких бы ни было, выше человека стоящих, силах сознания. Единственный руководитель человека в мировой пустыне — он сам, его личное сознание, единственный бесстрашный, достойный возвеличения Цезарь — сам дух человеческий. От несуществующего в реальности потустороннего мира сущностей, от логических фантазий — скорее в мир живой действительности, ибо только в нем находит себе полное удовлетворение, вполне проявляет себя человек. Но не для «примирения» в том смысле фаталистически-консервативном, как поняли Гегеля в ту пору Бакунин и Белинский, а для того, чтобы в этой действительности найти выход и приложение своим убеждениям и запросам, не менее «действительным» и имеющим свое право на существование. «Я нахожу,—пишет Герцен, в одном письме к друзьям,—одно примирение— полнейшую вражду (кристаллизация не кристаллизуется, употребление не употребляется [1]). Много мечтаний утратилось, я не жалею их. Не скажу, чтоб вместе с мечтаниями отлетели надежды, о нет, нет, и 1.000 раз нет! Напротив, в жизнь мою, я не чувствовал яснее галилеевского: «Eppur si muove!»

Белинский после короткого периода «примирения с действительностью» отказался от фаталистического понимания гегелевской философии и (приписывая его самому Гегелю) уже в самом начале сороковых годов заявляет в письме к другу: «Судьба суб'екта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира. Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремясь к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, а спотыкаешься — падай, чорт с тобой, — таковский и был с..с.. Благодарю покорно, Егор Федорович, кланяюсь вашему филоссфскому колпаку, но со всем подобающим вашему филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братий по крови... Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своей участью идею дисгармонии. Впрочем, если писать об этом все — и конца не будет». Или в другом письме: «Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? — спрашивает Белинский, отказываясь понять прежнее самоуспокаивание

[1]) Фраза из лекций минералогии, которые слушал Герцен в университете.

свое и других соображениями о мнимом процветании целого, и здесь тогдашнее понимание индивидуализма обрисовывается с этической стороны. — Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу делиться этим со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними во Христе, но кто мне чужие и враги по своему невежеству? Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможностей? Прочь же от меня блаженство, если оно — достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими. Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и ее представителей. Горе, тяжелое горе, овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкой чиновника и довольного собой офицера, и гордого вельможи».

Представителем подобного же широко понимаемого индивидуализма был и третий лидер западников сороковых годов, Грановский. Ученик Гегеля, которого изучал в Берлине вместе с Станкевичем, он вместе с Герценом ратовал против консеративной полосы в убеждениях Белинского, и с 1842 года все трое идут, можно сказать, рука об руку. На первом плане в мировоззрении Грановского выдвигалась вера в поступательное развитие человечества, в прогресс не фаталистический, но дающий широкий простор для индивидуальных усилий. Живая человеческая личность, ее судьбы и права впереди всего. «Нравственная, просвещенная личность» и «сообразное требованиям такой личности общество» — так определял сам Грановский сущность своего историко-общественного идеала. Герцен в своих философских статьях и в беллетристике, Белинский в критической своей деятельности, Грановский на кафедре, все трое в устной беседе были проповедниками нового мировоззрения.

Основой этого мировоззрения было, как мы сейчас говорили, высокое представление о человеческой личности. Готовую форму, окраску воззрения получили особенно от так называемого левого гегелианства, в частности от Фейербаха, который своей книгой «Сущность христианства» увлек и Герцена, и Белинского. «Новый романтизм», как называли одно время в кружке этот круг новых понятий, увлекал и подымал молодых мыслителей сознанием общности их настроений с последними выводами общечеловеческой мысли. «В настоящее время начинается в Европе новая эпоха, — радостно пишет, например, Белинскому, Боткин: — мир средних веков, (т. е., господство принимаемого извне догматического взгляда на вещи в религиозной, политической, общественной и других сферах, — авт.), мир непосредственности, туманной мистики, авторитетов, верований вступает в бой с мыслью, анализом, и вступает в борьбу не в одиноких разбросанных явлениях, — что было и в средние века, — а целыми массами... Во Франции совершилось отрицание средних веков в сфере общественности (великая французская революция и последующие перевороты, — авт.); в Байроне явилось оно в поэзии, и теперь является с сфере религии, в лице Штрауса, Фейербаха и Брунс Бауера... Дух нового времени вступил в решительную борьбу с догмами и организмом средних веков. Новые люди с новыми идеями о браке, религии.

государстве, — фундаментальных основах человеческого общества, — прибывают с каждым днем: новый дух, как крот, невидимо бегает под землею и копает ее — чудный рудокоп. «Das alte stürzt, es aendert sich die Zeit, und neues Leben steigt aus den Ruinen». («Старое рушится, меняется время, и из развалин подымается новая жизнь». Из «Вильгельма Телля»).

С точки зрения «нового романтизма», конечно, не могли выдержать никакой критики триединые устои николаевского царствования. Но на поверхность при их несокрушимом господстве могли всплыть разве только споры самого общего характера. Общий характер действительно и носят все дебаты в печати сороковых годов, настолько трудно было ставить вопросы применительно к подлинной русской жизни. При этом, критике Белинского и его единомышленников постоянно приходилось лишь указывать на источник своего вдохновения, на Запад, не столько потому, чтобы там видели *полное* совершенство, сколько как на более культурную формулу быта, где личность более свободна, где есть более или менее свободная общественная деятельность и политическая жизнь, где — «просвещение».

Тем охотнее заявляли себя «западниками», чем откровеннее и резче люди, стоявшие на страже «народности», подчеркивали непримиримость ее с новыми веяниями. Психология этого очень понятна. «Вы отрицаете все, что не от отцов церкви, мы — гегелианцы, фейербахисты, враги всякой традиции, неоправданной неподкупным разумом. Вы идеализируете произвол самодержавия, мы — конституционалисты, республиканцы, ищущие образцов гражданского чувства в древнем Риме и греческих республиках, и изучаем великую французскую революцию, даже станем отрицать значение государственных форм, когда увлечемся идеями социализма. Вы кичитесь тем, что мы, русские, отожествляя с народностью противные человеческому смыслу и достоинству учреждения, нравы и обычаи, мы будем прежде всего просто людьми, потом европейцами».

Но это не был поверхностный европеизм, усваивавший одну внешность и от начала русской литературы, вплоть до Грибоедова, вызывавший столько протестов и часто основательных сатирических против себя выпадов. Вполне точно и определенно эту сторону дела высказал передовой боец западничества, главный проводник в сознание русского общества новых начал, Белинский, именно и отрицавший этот поверхностный европеизм: «пора нам перестать *казаться* и начать *быть*, пора оставить, как дурную привычку, довольствоваться словами и европейские формы и внешности принимать за европеизм. Скажем более: пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское, но любить его, уважать его, стремиться к нему потому только, что оно *человеческое*, и на этом основании все европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергией, как и все азиатское, в чем нет человеческого» («Взгляд на русскую литературу 1846 г.»). Таким образом, название «западничество», явившееся в жару полемики, не покрывало всего содержания мировоззрения людей сороковых годов: оно было гораздо шире и глубже.

Западники 30—50-х годов имели право на совершенно иное название. Это были *русские гуманисты*. Нет основания приурочивать этот термин исключительно к эпохе ренессанса, к людям, проводившим

тогда в европейском обществе греко-римскую образованность... Высший цвет этой цивилизации был раскрыт только в XVIII веке, когда основание новой эпохи гуманизма было положено Винкельманом. На этом гуманизме воспитались классические поэты Германии: Лессинг, Гердер, Шиллер и Гете, которые внесли гуманический элемент в немецкую литературу и этим подняли культуру немецкую, дали ей мировое значение. Здесь гуманизм получил иной, более широкий смысл, что выразилось уже в самом изменении значения слова гуманный; классический гуманизм сделался лишь одним из составных элементов европейского гуманизма, т. е. гуманного общечеловеческого начала. В этот европейский гуманизм стали тогда входить две новые живительные струи: идеалистическая философия, которая внесла в духовный мир человека понимание истории, идею законного мирного органического развития, идею прогресса, и политический либерализм, которому положил прочное основание переворот 1789 года. Этот обогащенный, облагороженный новыми идеями XIX века гуманизм, продукт европейской общечеловеческой цивилизации, — вот что пытались провести в наше общество русские гуманисты, так называемые западники сороковых годов... Не замену национального западным ставили они себе целью, а воспитание русского общества на европейской универсальной культуре, чтобы поднять национальное развитие на степень общечеловеческого, дать ему мировое значение» (Проф. Герье).

Но гуманисты сороковых годов встретились не только с официальною народностью и ее тезисами о гнющем трупе Запада и тождестве народности с верностью самодержавию и православию. Им пришлось выдержать ожесточенную полемику со школой, формально близкой к официальной народности, но вложившей в уваровские лозунги своеобразное содержание. Это славянофилы, дебаты с которыми составляют наиболее видную часть движения общественной мысли в сороковых и пятидесятых годах. Эти дебаты в некоторых отношениях оказали видное влияние и на дальнейшее развитие западничества и на общий в интеллигенции поворот к изучению народа и вниманию к его судьбам.

Название дано было противникам западников также мало подходящее. Первоначально славянофилами и словенофилами назывались пуристы русского языка, последователи Шишкова, искавшие источника его очищения в славянском языке. Это старое название было в жару полемики перенесено на явление совершенно новое, при чем руководились лишь поверхностным сходством: в действительности интерес к славянству или славянской старине был в доктрине славянофильства сороковых годов на втором плане; центральное же место в ней занимали построения о России, мессианистические мечты о высоком прилежащем ей призвании и чисто романтические представления, — не оправданные последующими научными изысканиями — об особо возвышенных началах в быте и прошлом русского народа, даже в одной его ветви великорусской.

Место славянофильства тридцатых—пятидесятых годов в ряду явлений европейской литературы прекрасно определено в труде Алексея Веселовского «Западное влияние в новой русской литературе». «Культурная история Европы за последние два столетия показывает, что почти ни одна страна не обошлась в свое время без движения, вполне схожего с славянофильством. Сентиментальное поклонение старине, искание

только в ней одной величайших доблестей, мистический оттенок национальной гордости, грезы о всемирно-историческом призвании, выпавшем лишь на долю родному народу-избраннику, и рядом с этим развитие интереса к народной жизни, поэзии, поверьям, юридическим обычаям и т. д., — такова программа всех этих сект». Таково было чешское национальное движение, «иллиризм» у южных австрийских славян, польский мессианизм Мицкевича. В Германии германофильство в разных видах господствует более полутораста лет, наконец, в более близкое к нам время мы видим романтическую национально-мистическую школу в Дании, Норвегии и Швеции... Русская школа, стало быть, найдет легко свое место в этой цепи обще-европейских явлений, тем более, что она имеет непосредственные связи с двумя из своих западных сверстниц — с чешскою национальною реставрациею и с немецким романтизмом и его спутницей — философией. Зрелище возрождения национального самосознания у западных славян произвело значительное впечатление на первых двигателей славянофильства, а воззрения на мировое развитие Шеллинга и потом Гегеля, в особенности представление о той особой исторической миссии, которую поочередно призваны осуществлять народы, наложили явственный отпечаток на построения теоретиков славянофильства.

В основу западничества сороковых годов легло в особенности высокое представление о личности, столь подавленной в ту эпоху русского общества. Но, встречаясь в жизни и литературе с вопросами народного быта, наблюдатели не меньше должны были быть поражены противоречием между провозглашаемою «народностью» и полным пренебрежением и презрением к действительной народной жизни, к народной массе. Издавна в русском обществе жил наполовину несознанный протест, во имя неясного национального чувства, против иноземщины, переносившей в Россию рядом с необходимым обществу и государству и уродливости, и в то время как одни находили, что мы недостаточно европейцы, другим не могло не казаться, что мы уже слишком европейцы. В эту же сторону направилась работа мысли некоторых представителей русского общества, об'единившихся в общий кружок, прозванный с л а в я н о ф и л ь с к и м.

Интеллигенция того времени вообще была дворянской. В круге западников мы видим, однако, большее, чем в рядах славянофилов, разнообразие, больше людей из разночинцев, как Белинский, Боткин (купец) и др., притом в большинстве случаев землевладельцы из числа западников — почти сплошь абсентеисты и почти не имеют дела непосредственно с деревней, хозяйством и крестьянами. В лице славянофилов мы видим помещиков не только по положению, но и по роду жизни и занятию сельским хозяйством; они были в этом отношении, конечно, ближе к народной, крестьянской жизни, чем большинство западников — люди города. В большинстве они прошли школу семейного воспитания в строго патриотическом и православном духе, смягченную действительною патриархальностью отношений в их семьях (годы детства их и отрочества — это годы непосредственно за великою борьбою с французским нашествием). «У нас была одна любовь, но н е о д и н а к о в а я, — писал об этом Герцен, когда время и смерть Киреевских, Хомякова и К. Аксакова уже сняли всю остроту прежних столкновений:—

у них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество, — чувство безграничной, обхватывающей все существование, любви к русскому народу, русскому быту, русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время, как сердце билось одно».

В существенных чертах своих славянофильские взгляды сложились уже в тридцатые годы. Вскоре по возвращении из-за границы Грановский уже писал Станкевичу о своих встречах с Хомяковым и братьями Киреевскими: «Ты не можешь себе вообразить, какая у этих людей философия. Главные их положения: Запад сгнил, и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром. Мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость человеческая истощена в творениях св. отцов греческой церкви, писавших после отделения от западной. Их только нужно изучать: дополнять нечего — все сказано».

«Москва входила тогда, — рассказывает деятельнейший участник завязавшихся тогда дебатов, Герцен, — в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становились вопросами жизни. Появление замечательной книги, например: «Мертвых душ», составляло событие... В лице Грановского, московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности. Говоря о московских гостиных и салонах, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин, где до нас декабристы давали тон, где смеялся Грибоедов, где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. С. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтобы не сотворить тайно моление и тост, который все знали; где Редкин выводил логически личного бога, ad majorem Hegelij gloriam; где Грановский являлся со своей тихой, но твердой речью; где все помнили Бакунина и Станкевича; где Чаадаев тщательно одетый, с нежным как из воска лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы; где Боткин и Крюков пантеистически наслаждались рассказами М. С. Щепкина, и куда, наконец, иногда падал как конгревова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало»...

«Оба кружка, — рассказывает другой участник этих дебатов, Юрий Самарин, — не соглашались почти ни в чем; тем не менее ежедневно сходились, жили между собою дружно и составляли как бы одно общество; они нуждались один в другом и притягивались взаимным сочувствием, основанным на единстве умственных интересов и на глубоком обоюдном уважении... Споры вертелись около следующих тем:

возможен ли логический переход без скачка или перерыва, от понятия чистого бытия, чрез понятие небытия, к понятию и развитию бытия неопределенного, от Seyn чрез Nichtseyn к Werden и к Daseyn. Иными словами, что правит миром: свободно творящая воля или закон необходимости. Далее, как относится православная церковь к латинству и протестанству: как первобытная среди начального безразличия, из которой путем дальнейшего развития и прогресса вышли другие, высшие формы религиозного миросозерцания, или как вечно пребывающая и неповрежденная полнота откровения, подчинившегося в западном мире латино-германским представлениям и вследствие этого раздвоившегося на противоположные полюсы. Наконец, в чем заключается разница между русским и западно-европейским просвещением, в одной ли степени развития или в самом характере просветительных начал».

Самая страстность этих споров, сначала мирных, потом обострившихся до разрыва личных сношений, была показателем, что здесь дело идет о действительно важном предмете. К несчастью, в печать могло попадать весьма немногое. Славянофилы уже с половины сороковых годов обратили на себя подозрения правительства, и оно преследовало их попытки заявления и развития своих убеждений не с меньшей энергией, чем западников: они были подозрительны уже тем, что вообще думали о самодержавии, о народности и пр. предметах, о которых — предполагалось подданным — приличнее всего вовсе не рассуждать. Своего журнала славянофилы не могли завести до второй половины 50-х годов, и статьи их появлялись в немногих сборниках. В общем, однако, за сороковые и пятидесятые годы высказано было славянофилами все, что составляло их задушевную мысль и что, действительно, сыграло заметную роль в развитии в русском обществе гражданских идей.

Общефилософские построения теории даны были И. Киреевским, богословские обоснования — Хомяковым, исторические и общественные тенденции развиты в особенности К. Аксаковым.

Краеугольным камнем системы было православие. В духовной жизни каждого православно-церковное учение и общение с церковью должно быть направляющим и руководящим центром, это — «высший идеал, к которому может только стремиться верующий разум, конечный край высшей мысли, руководительная звезда, которая горит на высоте неба и, отражаясь в сердце, освещает в разуме его путь к истине» (Киреевский). Вере подчинены все сферы мышления и деятельности человеческой. Истина хранится только в вероучении православной церкви, но в церкви, не застывшей в обрядовой жизни, а беспрерывно живой. Наивысшая форма религиозного сознания — православие, оно живо соборным началом, началом непрерывного единения верующих, которое не должно мириться с каким-либо насилием в делах веры, свобода — ее необходимое условие. Порабощение православной церкви государству, с точки зрения славянофильства, было тяжким вредом для православия.

Самодержавие в понимании славянофилов отнюдь не было апологией, защитою николаевского режима, как то случалось с охранительным национализмом Погодиных и Шевыревых. Это была своеобразная и утопическая мечта, подкрепляемая ссылками на летописи и факты,

не выдержавшими более строгой исторической критики, о былом возвышенном сердечном союзе власти и земли, мирно и любовно поделивших государственную жизнь. Формула К. Аксакова гласила: «правительству — неограниченная власть государственная, народу — полная свобода нравственная, свобода жизни и духа; правительству — право действия и след. закона, народу — право мнения и след. слова». Способы узнавать общественное мнение — свобода печати и устной речи и испытанное средство московских царей — совещательный земский собор. Полное противоположение Западу, отказавшемуся от православия, всюду внесшему разлад, борьбу, вражду сословий и классов, правительства и народа, нам в истории будто бы неизвестные. Высшее, до чего додумался Запад в общегосударственной жизни — это гарантии конституционного устройства, но нам они чужды и не нужны.

«Гарантия не нужна. Гарантия есть зло, — восклицает К. Аксаков, — где нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет доброго, чем стоять при помощи зла. Вся сила в идеале. Да и что значат условия и договоры, как скоро нет силы внутренней? Никакой договор не удержит людей, как скоро нет на это желания. Вся сила в нравственном убеждении. Эта сила есть в России, потому что она всегда в него верила и не прибегала к договорам».

Этот идеал казался обретенным в прошлом, в идеализированной истории Киевского периода Руси и потом московских царей, с традициями которой будто бы резко разорвала новая Петровская Русь, отчего и пошли все беды русской земли. Резко было разорвано единство между общественными классами, ранее пользовавшимися одними и теми же источниками образования; в этом единстве, в однообразии понятий и нравов они находили взаимную силу; теперь — народ остался при старых угасающих традициях, в то время как высшие классы оторваны от него западными источниками просвещения, чуждыми исконным основам Руси.

«Народность» русская в представлении славянофилов была обогащена такими чертами поэтической красоты и высоты, что и до сих пор нельзя не отдать дани удивления этой трогательной вере в свой народ. Их «народная гордость» питалась не мыслью о военной мощи или наивным восхищением естественными богатствами и многолюдством страны (как у Погодина и ему подобных наивных поклонников официальной народности), но и представлением об особо присущих русскому народу демократических свойствах. «Мы будем, как всегда и были, демократами между прочих семей Европы... невозможно в нас вселить то чувство, тот лад и строй души, из которого развиваются майоратство, и аристократия, и родовое чванство, и презрение к людям и народам» (Хомяков). Тут, конечно, была опасность гордости своею богоизбранностью («не германец, аристократ и завоеватель, а славянин, труженик и разночинец, призывается к плодотворному и великому служению» — он же), и, действительно, эта черта не раз проявляется в литературе славянофилов, давая повод западникам указывать, что пренебрежение к другим народам, гордость, — ведь порок Запада (по взгляду самих славянофилов). Сближаясь здесь кичливостью (особенно лично у Хомякова) с школою официальной народности, славянофильство нередко вторило ей и в других частностях, хотя в общем К. Аксаков совершенно искренно

восклицал по адресу ее и западников: «Вы прочь, союзники гнилые а вы, противники, на бой». Как одну из характерных черт этой близости двух смежных доктрин, надо указать на религиозную исключительность. В силу ее такая ветвь славянства, как Польша с католицизмом, совершенно отметалась, как изменница началам славянского мира, а в отношении других славян, уклонившихся от православия, говорилось, как Хомяковым в «послании к сербам» (1860): «да не будет он (серб, уклонившийся в католицизм) уже ни законодателем, ни правителем, ни судьею, ни членом общинного схода, ибо — иная совесть, нежели у нас». Славянофилы же иногда были на стороне вполне враждебных «свободе духа» обрусительных мер в русской политике, и т. п.

Как бы ни было, в определение «народности» славянофилами не вносилось в общем той угодливости, с какою школа народности официальной была готова признать и оправдать чуть не всякую черту status quo. В своем идеалистическом настроении, закрывая глаза на многие темные стороны народной жизни, все же славянофилы не были националистами-охранителями, но несомненно, прогрессистами... Они отчетливо видели необходимость широких реформ русской жизни, рано сознали «грех» крепостного владения людьми, и впоследствии некоторые из них, как Юрий Самарин и Черкасский, сыграли важную роль в освобождении крестьян (хотя и здесь теоретическая надуманность их убеждений неожиданно выразилась странным согласием с бюрократией сохранить в крестьянском управлении применение розги по приговору волостных судов, под предлогом согласия с телесным наказанием правосознания самих крестьян). Их сознание возмущалось тем, что Россия «черна в судах неправдой черной, и игом рабства клеймена, и лжи мерзкой и тлетворной и всякой мерзости полна» (Хомяков). Но все же теоретические заблуждения и предрассудки доктрины были причиной того, что славянофилы не получили сколько-нибудь широкого влияния на развитие русской общественной мысли.

Западничество, в более широком смысле слова, об'единило людей весьма разнообразных убеждений, от радикально настроенных Белинского и Герцена до совершенно поверхностных «европейцев», до просто более или менее прядочных людей из бюрократического лагеря вроде цензора Никитенко и др. всех, кто думал, что Россия должна быть государством европейским, а не азиатской деспотией с одним лоском образованности. По определению одного исследователя, «гуманное отношение к обществу, основанное на широком распространении европейского просвещения, обусловленное свободой мысли и слова; конституционализм, основанный на интеллигентном меньшинстве в смысле английского, с его парламентаризмом и централизацией, что выражалось в господствовавшей тогда теории государственности; но вместе с тем отрицательное отношение к русской жизни и истории и платоническая жалость к закрепощенному народу, с которым порвана была всякая связь, — таков был устав, выработанный в кружке западников сороковых годов». Конечно, в таком законченном виде этот устав никогда не формулировался, но эта формула правильно подчеркивает общий умеренный, либеральный, отнюдь не радикальный характер тогдашнего западничества в целом. Критика славянофилов и заставила людей более

сознательных и искренних отказаться от поверхностности этого либерализма и прийти к более левым взглядам.

Прежде всего, своею страстностью в обсуждении вопроса о «народности», славянофилы толкали и западников внимательнее отнестись к тем народным массам, которые представлялись хранителями существа народности. «Простой народ есть основание всего общественного здания страны», неустанно твердил К. Аксаков. Между тем нельзя не сказать, что в начале сороковых годов в западнической печати нередко мелькает довольно антипатичное пренебрежение к «непросвещенной черни». Герцену приходилось выслушивать довольно обидные указания в этом смысле со стороны славянофилов. По рассказу Анненкова, Герцен ничего не нашел ответить Хомякову, когда он, подобрав эти фальшивые ноты, заметил: «хоть бы растолковали редактору, что он ходит в сапогах потому только, что у него есть подписчики на «Отечественные Записки»; а не будь у него подписчиков на «Отеч. Зап.» и он не далеко бы ушел от лапотника». В жару полемики против официальной народности, и славянофильства у западников случались такие, напр. промахи: однажды Белинский принял под свою защиту статью, отрицавшую за мелкими славянскими народностями право на самоопределение, ставившую их ниже турок, потому что последние образуют хоть какое ни на есть государство. Правда, это относится к периоду «примирения с действительностью», но и гораздо позднее Белинский совершенно не оценил Шевченка и не признавал за малорусской литературой права на независимое развитие, так что попытки украинофильского движения ютились даже в «Маяке».

Как бы ни было, с 1844—45 г.г. западники «овладевают темами славянофилов», что Герцен ставил особенно задачею момента, и в частности вопросом о положении крестьянских масс. Этот поворот, как видно из рассказов современников, вполне определенно дал себя заметить в лето этого года, во время пребывания на даче в подмосковном селе Соколове, Герцена и некоторых других москвичей. По дневнику Герцена видно, как внимательно присматривался он в эту пору к славянофилам, отыскивая в их воззрениях зерна истины. Грановский, долго служивший звеном между расходившимися друзьями-врагами, также был способен к более об'ективному отношению, нежели Белинский, которого невозможно было, по выражению Герцена, «заарканить» и который, на приглашение быть об'ективнее, отвечал в одном письме, что он «жид и с филистимлянами не ест». В Соколове образовалось нечто вроде постоянного с'езда тогдашней немногочисленной пишущей интеллигенции. Сохранились восторженные воспоминания об этом лете и шедшем здесь жарком обмене литературно-общественных мнений, как полных исключительной прелести и поэзии, ярко и бодро возбужденной мысли. В этих дебатах особенно страстно обсуждался вопрос о принципах личного поведения по отношению к бесправной народной массе и о том, какова может быть в этом отношении роль литературы и общества. Задача прямой защиты интересов низших сословий выдвиталась вперед и более или менее определенно и формулировалась. «Всякая выходка против них, вольная и невольная,—ратовал здесь вместе с Грановским Герцен, — похожа на оскорбление ребенка. Кто же будет за них говорить, если не мы же сами. Официальных адвокатов у них нет — мы все тогда должны сде-

латься их адвокатами». Брошенные на лету, мы были разнесены во все концы интеллигентной Руси. «Записки охотника» Тургенева, первые рассказы и повести Григоровича, и вся полоса литературных воспроизведений народной жизни и обличений крепостного права, явились выражением формулированной Герценом обязанности интеллигенции стать адвокатом за молчаливый народ.

На расстоянии десятилетий этот поворот к более гуманному отношению к простонародию может казаться явлением весьма малозначительным, но нужно принимать во внимание обыденную действительность того времени: при ней то, что нам кажется труизмом, было настоящим завоеванием общественной мысли. Проповедь гуманности со стороны, например, Белинского, в его статьях второй половины сороковых годов, когда о крепостном праве прямо говорить было более чем мудрено, имела огромное значение.

Вместе с дебатами о личном отношении интеллигенции к народу, на очередь стал и вопрос о народе в общественно-государственном значении, т. е. вопрос о крепостном праве.

В печати о нем говорили лишь в короткое время 1846—1847 г.г., когда в правительстве, под давлением обострявшихся отношений крестьян и помещиков, снова началось — и снова бесплодное — обсуждение вопроса о возможности улучшения быта крепостных. Особенно произвела впечатление статья А. П. Заблоцкого-Десятовского («Отеч. Зап.», 1847, 5—6): «О причинах колебания цен на хлеб в России». Одною из главных причин падения этих цен выставлялся даровой для землевладельцев труд крепостных (наименование его скрывалось под термином «обязательная рента») и доказывалось, что «правильная соразмерность между производством и запросом хлеба на рынке может установиться только тогда, когда рента примет естественный экономический характер» (читай: когда уничтожится крепостное право). Замечательную записку того же автора «О крепостном состоянии в России» Киселев, министр государственных имуществ, единственный противник крепостного права в рядах сановников, однако, не посмел даже представить Николаю I, а самую рукопись хранил в глубокой тайне. Кое-какие отклики в печати на статью Заблоцкого-Десятовского не могли иметь поэтому какого-нибудь широкого значения.

Некоторые из славянофилов, как Кошелев, тогда же очень серьезно обдумывали возможные способы развязки крепостных отношений. Однако, славянофилы не получили в этом движении мысли в русском обществе сколько-нибудь заметного непосредственного влияния. Их опередили литературные изображения крепостного рабства со стороны западников, а главное — такое гуманизирующее влияние, как слово Белинского. В особенности же получило известность знаменитое в свое время письмо Белинского к Гоголю, по поводу его несчастной книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

Далее, славянофилы уже в сороковых годах говорили о важном значении в жизни русского народа крестьянской общины; вопрос о ней в течение десятилетий занимал общественное мнение и до сих пор способен являться яблоком раздора в борьбе партийных убеждений.

«Учение об общине есть краеугольный камень всего славянофильского воззрения», — находит один из исследователей этой доктрины. В

самом деле это был тот конкретный вопрос, без которого, быть может, все славянофильство еще скорее, чем было ему суждено в действительности, сошло бы со сцены умственно-общественного влияния. Прежде всего в общине оценивался ее общий смысл, как выражение основного начала «народности». Община дорога славянофилам, как единственная общественная среда, в которой возможно осуществление христианской любви, а ее Спаситель признал нормою, верховным законом людских отношений. Общинное устройство противопоставляется государству, как осуществление братолюбия и внутренней правды, нравственного закона. Она есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей, и являющий общее их согласие. Выражение ее совокупной деятельности — совещание, сходка, вече, собор, дума, в которых дело решает не механическое начало счета голосов, но общее согласие: летописное выражение: «снидошася вси в любовь», вот выражение общинного единодушия, которое в своем результате не может быть не справедливым. Те же в значительной степени идеализированные черты славянофилы видели и в современной им крестьянской поземельной общине.

Уже в пятидесятых годах Герцен в своих первых заграничных изданиях, исходя из социалистического понимания задач развития общественности и возвращаясь к указаниям славянофилов о русской общине, будет развивать аналогичные взгляды. Чернышевский на пороге шестидесятых годов заявил печатно, что, по его мнению, все теоретические заблуждения, все фантастические увлечения славянофилов с избытком вознаграждаются уже одним убеждением их, что общинное устройство наших сел должно оставаться неприкосновенным при всех переменах в экономических отношениях. Но «заблуждения» и «увлечения» славянофилов были, конечно, причиной того, что и эта часть их доктрины (которою также овладели западники, притом их наиболее радикальная часть) в их руках не оказала особого влияния на развитие общественных мнений. Вопрос об общине был разрабатываем и освещаем впоследствии учениками не славянофилов, а западников, и на почве не предвзятых взглядов идеальной народности, но на более об'ективной, на почве точного цифрового учета и бытового наблюдения, и с точки зрения возможности перехода бытовой общины, более или менее непосредственно, к высшим общечеловеческим формам, рисовавшимся в идеалах западного социализма. Как отнеслись сами славянофилы к этому завладению их любимой темою, хорошо видно из несколько более позднего отзыва Кошелева. Признавая за Чернышевским ту заслугу, что он «полюбил русскую общину», Кошелев ставит ему в у п р е к, что он защиту ее перенес на почву той о б щ е ч е л о в е ч е с к о й науки, на основании которой трудно защищать всякое «живое туземное учреждение», и полагал необходимым прежде всего защитить общину, не как теоретическое начало, не как оправданную философским анализом форму общежития, а как факт, за которым стоит вся масса населения, и потому факт, получивший значение «народной святыни».

Отпор, встреченный славянофильством в западничестве, мог бы послужить толчком к развитию доктрины и внесению в нее более жизненных элементов, если бы система сама по себе была вполне жизнеспособна. В действительности, именно развития в славянофильстве

почти незаметно: в различные периоды теоретики его высказываются лишь в отношении различных вопросов и тем, становившихся почему-либо на очередь, существо же остается столь же неподвижным, как основа системы — вера в православие. Нечто новое было с внешней стороны в сороковые годы только в писаниях так называемой «молодой редакции Москвитянина», во главе которой встал более литературный критик, нежели публицист, Аполлон Григорьев. Демократическая струя славянофильства билась здесь несколько живее, но сущность системы ни мало не изменилась, и сам Григорьев в письме к старшим славянофилам так определяет отличия своих взглядов от классического славянофильства. «Главным образом мы расходимся с вами во взгляде на искусство, которое для вас имеет значение только служебное, для нас совершенно самостоятельное, если хотите, даже высшее, чем наука. Когда я говорю, что главным образом мы в этом расходимся, то говорю не совсем точно, — надо бы сказать: единственно в этом, — во всем остальном, т. е. в учении о самостоятельности развития, о непреложности православия, мы (по крайней мере, я лично) охотно признаем вас старшими, а себя учениками. В отношении к взгляду на народность различия наши могут быть, как мне кажется, формулированы в двух следующих положениях: 1) Глубоко сочувствуя, как вы же, всему разноплеменному славянскому, мы убеждены только в особенном превосходстве начала великорусского пред прочими и, следственно, здесь более исключительны, чем вы, — исключительны даже до некоторой подозрительности, особенно в отношении к началам ляхитскому и хохлацкому. 2) Убежденные, как вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, — в классах, не тронутых фальшью цивилизации, — мы не берем таковым исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом, по преимуществу, видим старую, извечную Русь, с ее дурным и хорошим, с ее самобытностью, и пожалуй, подражательностью, — чертой, которой славян попрекали чуть что не до первых минут их исторического существования... Вот наши различия положительные... Что же касается до отрицательных пунктов, то здесь сходство простирается до тождества. Не любим мы того же, что и вы не любите, и нет нужды даже пояснять, чего именно». Это — поворот, с одной стороны, к большей исключительности, с другой — к распространению симпатий с крестьянства и на тот торговый слой, который в реальной жизни, в глубинах России был злейшим народным эксплоататором, отлично ладившим с чиновничеством; это было само по себе предсказанием, весьма мало благоприятным для будущего славянофильской доктрины.

Итак, если славянофилы и много сделали для развития общественно-политических взглядов в русской интеллигенции, все же роль их была в этом отношении чисто отрицательной. Последнее слово в общественном мнении сороковых и пятидесятых годов осталось не за ними, а за их противниками. Уже в 1856 г. такой беспристрастный свидетель, как славянофил Иван Аксаков, писал об этом: «Много я ездил по России: имя Белинского известно каждому, сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, который бы не знал наизусть письма Белинского

к Гоголю... О славянофилах здесь в провинции и слыхом не слыхать — а если и слыхать, так от людей, враждебных направлению. Требования эмансипации, железных путей и пр., и пр., сливающиеся теперь в один общий гул по всей России, первоначально возникли не от нас, а от западников; и я помню время, когда, к сожалению, славянофилы, хотя и не все, противились железным дорогам и эмансипации: последней потому только, что она формулирована была под влиянием западных идей»...

XVI. Мировоззрение кружков 30-х годов.

«Моя метафизика». Два письма Н. В. Станкевича к Я. М. Неверову, от конца марта 1833 г.

(Из сборника Ф. Ф. Нелидова: „Западники 40-х годов". М. 1910 г.).

I.

Природа существует (знание, основанное на вере в чувства). Ее существование обнаруживается постоянным поддерживанием самой себя — рассуждением. Жизнь природы есть непрерывное творчество, и хотя все в ней рождающееся умирает, ничто не гибнет в ней, не уничтожается, ибо смерть есть рождение [1]).

Не знаю, почему говорят многие: в природе есть сила творящая; не знаю, как можно представить природу трупом, в который входит нечто чуждое и одушевляет его; не знаю, почему не сказать: природа есть Сила, Жизнь, Творчество.

Целое природы составлено из неделимых; каждое неделимое живет на основании общих законов, есть часть общей жизни природы. Одна и та же жизнь развивается в различных видах, но одинаково по своим законам. В каждом неделимом жизнь эта действует независимо от него, всегда почти без его сознания и всегда без его воли, повинуясь себе самой, своим законам, которые вечны и непреложны, следовательно, составляют сущность ее. Многие неделимые не сознают себя, но жизнь, во всех их распространенная, сознает себя, ибо действует целесообразно (zwekmässig), следовательно, есть разумение. Итак, жизнь в целом есть Разумение.

В целом природа есть Разумение. С сим сознанием заря утешения восходит для человека; он не потерян в бесконечности творения, он восполняет наравне с прочими тварями жизнь природы. Но это не одно его назначение: он может возвышаться над видимым; он может восходить к Разумению, отождестворяться (s'indentifier) с ним, он может проникнуть его законы, провидеть его цели, чувствовать красоту создания; он может верить, надеяться, любить. Верить, ибо законы его

---

[1]) Смерть есть разрушение; разрушение есть перехождение из одного состояния в другое.

Смерть одного звена природы есть рождение другого. Вода, уничтожаясь, переходит в пары. Воздух делается водой; человек становится землей; земля перерождается в растения (при разных условиях).

Примеч. Станкевича.

Творца непреложны, земля и небо идут мимо, слова же Его не идут мимо; надеяться, ибо все цели Его — благо; любить, ибо Он (Разум, Творец) прекрасен в своем создании: прекрасен в своем образе-человеке.

Так, человек есть Его образ (человек в чистом смысле, сохранивший все то, что составляет человечество, humanitas, и воспользовавшийся способами, данными для совершенствования всего, составляющего сущность бытия человеческого — обо всем этом в следующих письмах).

Все (das All) есть жизнь, а жизнь действует разумно, следовательно, сопряжена с Разумением.

Все создание есть жизнь, развивающаяся по законам Разумения (по своим законам). Роды существ составляют лестницу, по которой жизнь (разумеющая себя в целом) идет к самоуразумению в неделимых. Не менее разумно действует она в камнях, как в человеке; но развиваясь в первых по тем же законам, по каким и в последнем (с разной целью), не дает первым возможности сознать себя отдельно. Камни живут в массе природы; растению дает она уже ощущение, животному — произвольное движение; наконец, с полной свободой, вся является в человеке. Здесь жизнь, сознающая себя в целом, разумная и свободная, является жизнью, сознающей себя отдельно — разумной и свободной.

Все уже согласились, что человек, венец создания, есть повторение всей природы, он есть повторение разумной жизни.

В человеке многое делается без его ведома, без его воли (он рождается, вырастает; он чувствует жажду, голод). В нем действует разумная жизнь всей природы, которая имеет свою волю (жизнь всего), независимо от его воли. Человек желает знать, действовать; человек ощущает; в нем действует жизнь, сознавая себя отдельно. Человек разрушается без воли своей; разумная жизнь природы принимает другую форму. Свою определенную жизнь человек теряет; куда отлетает она?

Об этом после. В этом письме я положил определить по возможности отношения человека к природе и Разумению, составляющему сущность ее. Рассудок мой подтверждает эти положения, сердце мое не противоречит им и часто верит в те минуты, когда я люблю.

II.

Не знаю, о чем следовало бы говорить теперь по порядку, но все равно. Стану говорить о том, о чем хочется. Через это система не разрушится, ибо основанием всякой системы должна быть внутренняя связь, а не наружная форма.

Вот вопрос, с которого стану продолжать: вследствие показанных отношений человека к природе, к всеобщей жизни, каково может и каково должно быть его воздействие (обратное действие) на природу, на всеобщую жизнь (Zurückwirkung, reaction)?

В человеке повторилась природа; в человеке жизнь, разумеющая себя в целом, уразумела себя отдельно.

Следовательно, все отправления, все факты жизни должны быть фактами человека. Факт жизни один — жизнь, или: сама жизнь есть единственный существующий факт. Если мы в жизни различаем несколько фактов, то мы придаем ей свойства собственно человеческие и смотрим на нее взглядом слишком специальным.

Один факт нашей жизни называем мы разумом, другой — волей, третий — чувством. Но мы всегда разумеем, всегда решаем, всегда чувствуем.

Эти три факта составляют один факт жизни, с разных точек рассматриваемый. Но правда, что вся жизнь наша берет то или другое направление по преимуществу.

На основании этого жизнь абсолютная, отрешенная, рассматривается как разум, воля, чувство, и жизнь природы действительная — как истина, благо, красота. Тут ничего еще худого нет, но это пахнет схоластикой.

Зачем все так дробить? Кто станет отрицать у жизни всеобщей и разумение, и свободу действия, и чувство?

Но это не три способности одного существа, напротив, оно условливает собой единство всех сих способностей.

Рассмотрим всеобщую жизнь в отношении к этим способностям.

Вне жизни ничего не лежит, ибо она есть все; следовательно, постепенное познание ей чуждо; сознавая себя, она все знает. Ее разум, разумение, есть сознание себя самой (сознание, в бытии совершающееся), следовательно, бытие, следовательно, она сама. Ее воля не определена ничем, следовательно, свободна, но не отступает от вечных законов разумения, следовательно, воля жизни есть вместе и свобода и необходимость. Если воля непреложна, а препятствий нет и все средства заключаются в том же существе, в каком воля, то воля есть действие; действие природы — жизнь; следовательно, воля жизни есть сама жизнь.

Итак, жизнь есть разум и воля, если мы хотим судить ее по-человечески; но это разумение зависит единственно от нашего взгляда на жизнь; в сущности она ни то ни другое, но жизнь.

Да не покажется тебе это противоречием тому, что я говорил в предыдущем письме. Я называл жизнь разумением; я не отрицаю в ней этого, но хочу доказать, что это разумение есть законы, составляющие сущность жизни, самую жизнь, а не есть принадлежность, способность жизни; надобно стать повыше детского взгляда на природу.

В человеке жизнь сознала себя отдельно. Он есть центр этой жизни в миниатюре. Как жизнь, усвоять вне ее лежащее, познавать и как жизнь — развить себя во внешности, действовать. Как жизнь, она сознает влияние другой жизни, чувствует.

И вот разум, воля, чувство — три действительные направления человеческой жизни, которые он переносит в жизнь всеобщую. Я сказал, что разум во всеобщей жизни, что воля. Что же называется чувством всеобщей жизни?

Если жизнь есть разум, если жизнь есть воля, то она есть чувство по преимуществу. Вся она держится чувством — в неделимых, начавших сознавать себя отдельно, чувство это обнаруживается любовью. Она в них есть чувство инстинктуальное, следовательно, чувство, принадлежащее общей жизни и непокорное воле.

Любовь... Друг мой, для меня с этим словом разгадана тайна жизни. Жизнь есть любовь. Вечные законы ее и вечное их исполнение — разум и воля. Жизнь беспредельна в пространстве и времени, ибо она есть любовь. С тех пор, как началась любовь, должна была начаться жизнь; покуда есть любовь, жизнь не должна уничтожиться, поелику

есть любовь; и жизнь не должна знать пределов. Если нужны слабые сравнения, — это теснота, все расширяющая; это свет незаходимый, все поддерживающий; это цвет, которым украшается природа в глазах наших; это огонь, из которого все выгорает, и в который все обращается. Мир вечен, ибо любовь не кончится; не кончится, ибо она есть.

Показать тебе иначе, что любовь — жизнь. Разум идет смело и отважно, сознавая свои законы; воля старается следовать его законам, но человек тогда только все познает, когда любит, и кто любит, тот действует прекрасно. (Что такое прекрасно действовать, поговорим после. Скажу теперь: действовать, как действует всеобщая любовь. А как она действует? Люби и узнаешь).

Чувство любви составляет прелесть жизни животных, оно доступно растениям. Его надобно допустить в минералах, если они живут любовью всеобщей жизни, ибо без любви нет жизни.

Жизнь есть любовь, любовью поддерживается жизнь в неделимых (она у них средство размножения); в таком случае любовь есть средобежная сила природы; ею примыкает последнее звено творения к началу, в нем повторившемуся, следовательно, любовь есть самовозвратная сила природы — безначальный и бесконечный радиус в круге мироздания.

Человек выше всего, ибо он есть вся жизнь. Он не может возвыниться (не разрушив сущности бытия своего); он только не должен падать, он должен равняться самому себе. Но он пал (об этом после), следовательно, опять должен возвышаться. В каждом неделимом человеке есть частицы человека нормального; в каждом есть низшие свойства. Взаимные отношения людей должны очистить, образовать совершенного человека (но этого недостаточно; сейчас предложу еще способ совершенствования). Отсюда несомненная, хотя и не новая истина: жизнь рода человеческого есть его воспитание. Как же один, отдельный человек должен воспитывать существо свое? Что он должен принять за образец, прототип свой?

Одно средство совершенствования остается ему — приближение ко всеобщей жизни. Жизнь человека всеобщей сделаться не может (ему недостает абсолютности), он должен принять от нее все, что может принять. Как узнать ее, уравняться ей?

Жизнь — любовь. Чтобы познать ее отчасти, чтобы действовать по одним законам с ней, надобно любить.

(Следует о любви человека. В письме этом нужно коротко об'яснить свободу воли, падение человека, достоинство человеческих действий из сравнения с действиями всеобщей жизни). Буду писать дальше [1]).

---

[1]) Третьего обещанного письма не было, хотя Станкевич начал заготовлять его. Примеч. издат. Анненкова.

XVII. Из сочинений славянофилов.

1. Из статьи И. Киреевского: „О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России“ (1852 г.). (Из сборн. Н. Л. Бродского „Ранние славянофилы“. М. 1910 г.).

...Начала просвещения русского совершенно отличны от тех элементов, из которых составилось просвещение народов европейских. Конечно, каждый из народов Европы имеет в характере своей образованности нечто особое; но это частные, племенные и государственные или исторические особенности не мешают им всем составлять вместе то духовное единство, куда каждая особая часть входит как живой член в одно личное дело. Оттого, посреди всех исторических случайностей, они развивались всегда в тесном и сочувственном соотношении. Россия, отделившись духом от Европы, жила и жизнью, отдельной от нее. Англичанин, француз, итальянец, немец, никогда не переставал быть европейцем, всегда сохраняя притом свою национальную особенность. Русскому человеку, напротив того, надобно было почти уничтожить свою народную личность, чтобы сродниться с образованностью западной; ибо и наружный вид, и внутренний склад ума, взаимно друг друга об'ясняющие и поддерживающие, были в нем следствием совсем другой жизни, проистекающей совсем из других источников.

Кроме разностей племенных, еще три исторические особенности дали отличительный характер всему развитию просвещения на Западе: особая форма, через которую проникало в него христианство, особый вид, в котором перешла к нему образованность древне-классического мира, и, наконец, особые элементы, на которых сложилась в нем государственность.

Христианство было душой умственной жизни народов на Западе, так же, как и в России. Но в Западную Европу проникло оно единственно через церковь римскую.

Конечно, каждый патриархат, каждое племя, каждая страна в христианском мире не переставали сохранять свою личную особенность, участвуя притом в общем единстве всей церкви. Каждый народ, вследствие местных, племенных или исторических случайностей развивший в себе преимущественно одну какую-нибудь сторону умственной деятельности, естественно должен был и в духовной жизни своей и в писаниях своих богословов удерживать тот же свой особенный характер, свою, так сказать, природную физиономию, только просветленную высшим сознанием. Так, богословские писатели Сирийских стран, обращали, кажется, преимущественное внимание на внутреннюю, созерцательную жизнь человека, отрешенного от мира. Римские богословы занимались особенно стороною практической деятельности и логической связи понятий. Духовные писатели просвещенной Византии более других, кажется, имели в виду отношение христианства к частным наукам, вокруг него процветавшим, и сперва враждовавшим с ним, а потом покорившимся ему... Различные пути вели к одной общей цели. Везде бывали частные ереси, которые всегда имели близкое отношение к господствующему направлению народов,

где они возникали; но они уничтожались единомыслием церкви вселенской, соединявшей все частные церкви в одно святое согласие... Особенность каждой частной церкви тогда только могла бы увлечь ее в раскол, когда бы она отделилась от предания и общения с другими церквами; но, оставаясь верной общему преданию и общему согласию любви, каждая частная церковь, особым характером своей духовной деятельности только увеличивала общее богатство и полноту духовной жизни всего христианства. Так и римская церковь имела свою, так сказать, законную особенность, прежде чем отделилась от церкви вселенской; но, отделившись от нее, она естественно должна была эту частную свою особенность обратить в исключительную форму, через которую одну христианское учение могло проникать в умы народов, ей подчиненных.

Образованность древнего до-христианского мира, — второй элемент, из которого развилось просвещение Европы, — была известна Западу до половины XV в. почти исключительно в том особенном виде, какой она приняла в жизни древнего языческого Рима; но другая сторона ее, образованность греческая и азиатская, в чистом виде своем почти не проникала в Европу до самого почти покорения Константинополя. Между тем Рим, как известно, далеко не был представителем всего языческого просвещения: ему принадлежало только господство материальное над миром, между тем как умственное господство над ним принадлежало и языку, и образованности греческой. Потому всю опытность человеческого ума, все достояние его, которое он добыл себе в продолжение шеститысячелетних усилий, принимать единственно в той форме, какую оно получило в образованности римской, — значило принимать его в виде совершенно одностороннем, и неминуемо подвергаться опасности сообщить эту односторонность и характеру собственной своей образованности. Так, действительно, и совершилось с Европой. Когда же в XV веке греческие изгнанники перешли на Запад с своими драгоценными рукописями, то было уже поздно. Образованность Европы, правда, оживилась, но смысл ее остался тот же: склад ума и жизни был уже заложен.

Наконец, третий элемент просвещения, образованность общественная, представляет ту особенность на Западе, что почти ни в одном из народов Европы государственность не произошла из спокойного развития национальной жизни и национального самосознания, где господствующие, религиозные и общественные понятия людей, воплощаясь в бытовых отношениях, естественно выростают и крепнут и связываются в одно общее единомыслие, правильно отражающееся в стройной цельности общественного организма. Напротив, общественный быт Европы, по какой-то странной исторической случайности, почти везде возник насильственно, из борьбы на смерть двух враждебных племен: из угнетения завоевателей, из противодействия завоеванных и, наконец, из тех случайных условий, которыми наружно кончались споры враждующих, несоразмерных сил.

Эти три элемента Запада: римская церковь, древне-римская образованность и возникшая из насилий завоевания государственность, были совершенно чужды древней России. Приняв учение христианское от Греции, она постоянно находилась в общении со вселенской церковью.

... Христианство, проникнув в Россию, не встретило в ней тех громадных затруднений, с какими должно было бороться в Риме и Греции и в европейских землях, пропитанных римской образованностью. Чистому влиянию его учения на внутреннюю и общественную жизнь человека словенский мир не представлял тех неодолимых препятствий, какие оно находило в сомкнутой образованности мира классического и в односторонней образованности народов западных. Во многом даже племенные особенности словенского быта помогали успешному осуществлению христианских начал. Между тем основные понятия человека о его правах и обязанностях, о его личных семейных и общественных отношениях, не составлялись насильственно из формальных условий враждующих племен и классов, — как после войны проводятся искусственные границы между соседними государствами по мертвой букве выспоренного трактата. Но не испытав завоевания, русский народ устраивался самобытно. Враги, угнетавшие его, всегда оставались вне его, не мешаясь в его внутреннее развитие. Татары, ляхи, венгры, немцы и другие бичи, посланные ему провидением, могли только остановить его образование, и действительно, остановили его, но не могли изменить существенного смысла его внутренней и общественной жизни.

Между тем эти, чуждые России, три элемента первоначальной образованности европейской: римская церковь, древне-римский мир и возникшая из завоевания государственность, определили весь круг дальнейшего развития Европы — как три точки в пространстве определяют круговую линию, которая через них проходит.

Влияние живых еще развалин, уцелевших от разрушения остатков старой римской образованности, на новорождающуюся образованность Запада было всеобъемлющее. Проникая в самое основное строение общественных отношений, в законы, в язык, в нравы, в обычаи, в первое развитие наук и искусств европейских, древний Рим должен был поневоле сообщить более или менее всем отношениям западного человека тот особенный характер, которым сам он отличался от других народов.

Поэтому главная особенность умственного характера Рима должна была отразиться и в умственной особенности Запада. Но если мы захотим эту господствующую особенность римского образования выразить одной общей формулой, то не ошибемся, кажется, если скажем, что отличительный склад римского ума заключался в том именно, что в нем наружная рассудочность брала перевес над внутренней сущностью вещей. Этот характер, очевидно, представляет нам общественный и семейный быт Рима, логически и нераскаянно уродовавший естественные и нравственные отношения людей, по внешней букве случайно выразившегося закона. Тот же характер представляет нам и поэзия римлян, работавшая над художественным усовершенствованием внешних форм чужого вдохновения. То же представляет нам их язык, задавивший, под искусственной стройностью грамматических конструкций, естественную свободу и живую непосредственность душевных движений. Тот же характер видим мы в самых знаменитых законах римских, где стройность внешней формальности доведена до столь изумительного логического совершенства, при изумительном тоже отсутствии внутренней справедливости. То же наружное сцепление мыслей на счет внутренней, живой полноты смысла представляет нам и религия римская,

за внешними обрядами почти забывшая их таинственное значение, — римская религия, — это собрание всех разнородных, даже противоречивых друг другу божеств языческого мира, наружно совмещенных, внутренно разноречащих, в то же время логически соглашенных в одно символическое поклонение, где под покрывалом философской связи скрывалось внутреннее отсутствие веры. Тот же характер рассудочного направления замечаем мы и в нравах римских, где так высоко ценилась внешняя деятельность человека и так мало обращалось внимания на ее внутренний смысл; где гордость была добродетелью; где личное логическое убеждение каждого было единственным руководством его действий, где потому каждая личность сознавала себя не только за нечто особое, но и за нечто отличное от других личностей, и не понимала к ним иных отношений, кроме отношений, логически выведенных из наружных условий жизни. Потому римлянин не знал почти другой связи между людьми, кроме связи общего интереса; другого единства, кроме единства партии...

Христианство, разумеется, при самом появлении своем среди языческого мира противоречило этому направлению корыстной личности и сомнительной рассудочности римского человека. Обращая главную деятельность духа к внутренней цельности бытия, оно не только противилось всякой страстности увлечений, хотя бы и благовидными предлогами украшенной, но вместе, возводя ум к живому средоточию самопознания, оно боролось и с тем состоянием духовного распадения, где односторонняя рассудочность отрывается от других сил духа и думает достигнуть истины наружной связанностью понятий... Потому в первые века церкви видим мы в богословских писателях даже римского мира, нередкие нападения на ложность языческого философствования. Однако же господство чисто-христианского направления не могло совершенно изгладить из их ума особенность римской физиономии, которая, как уже мы заметили, оставаясь в своих законных границах, не только не мешала истинному направлению духа, но, напротив, должна была еще увеличивать многостороннее богатство его проявлений, и только там увлекала в заблуждения, где ее излишеством нарушалось внутреннее равновесие духа. Так, Тертуллиан, может быть, самый красноречивый из богословских писателей Рима, особенно поражает своей блестящей логикой и наружной связностью своих положений; многие из его произведений навсегда остаются украшением церкви, хотя самое излишество логической способности, или, лучше сказать, ее отделенность от других сил разума, увлекла его в ту крайность, где его учение уже оторвалось от учения чисто-христианского. Счастливее был его знаменитый ученик св. Киприан, хотя не менее его замечателен особенностью своей логической силы. Но ни один, может быть, из древних и новых отцов церкви не отличался столько любовью к логическому сцеплению истин, как блаженный Августин, по преимуществу называемый учителем Запада. Некоторые сочинения его являются как бы одна, из кольца в кольцо неразрывно сомкнутая железная цепь силлогизмов. От того, может быть, иногда увлекался он слишком далеко, за наружной стройностью не замечая внутреннюю односторонность мысли, так что в последние годы своей жизни должен был сам писать опровержение некоторых из своих прежних утверждений. Но если эта особенная при-

верженность римского мира к наружному сцеплению понятий была небезопасна для римских богословов еще в то время, когда римская церковь была живой частью церкви вселенской, когда общее сознание всего православного мира удерживало каждую особенность в законном равновесии,—то понятно, что после отделения Рима эта особенность римского ума должна была взять решительный перевес в характере учения римских богословов.

Мы потому особенно упоминаем здесь об этом обстоятельстве, что оно лучше других может нам об'яснить характер западной образованности, где римская отрешенная рассудочность уже с IX века проникла в самое учение богословов, разрушив своей односторонностью гармоническую цельность внутреннего умозрения.

С этой точки зрения для нас становится понятным, почему западные богословы, со всей рассудочной добросовестностью, могли не видать единства церкви иначе, как в наружном единстве епископства: почему наружным делам человека могли они приписывать существенное достоинство; почему, при внутренней готовности души и при недостатке этих наружных дел, не понимали они для нее другого средства спасения, кроме определенного срока чистилища; почему, наконец, могли они приписывать некоторым людям даже избыток достоинства наружных дел и вменять этот избыток недостатку других, тоже за какие-нибудь наружные действия, совершенные для внешней пользы церкви.

Таким образом, подчинив веру логическим выводам рассудка, западная церковь еще в IX веке положила внутри себя неминуемое семя реформации, которая поставила ту же церковь перед судом того же логического разума, ею самой возвышенного над общим сознанием церкви вселенской; и тогда еще мыслящий человек мог уже видеть Лютера из-за папы Николая I, как, по словам римских католиков, мыслящий человек XVI века мог уже из-за Лютера предвидеть Штрауса.

Очевидно, что та же нравственная причина, тот же перевес логической односторонности, который произвел учение о необходимости наружного единства церкви, должен был породить и учение о непогрешаемости ее видимой главы. Это было прямым следствием того особенного характера образованности, который начинал господствовать в западном мире. Из этой же причины общего состояния умов в Европе произошло и то обстоятельство, что франкский император мог предложить, а римский архиерей мог принять светское владычество своей епархии. Потом, по той же логической причине должно было полудуховное владычество папы распространиться над всеми правителями Запада и породить все устройство так называемой, святой Римской империи и весь характер исторического развития средних веков, где светская власть беспрестанно смешивалась с духовной и беспрестанно боролась с ней, взаимно приготовляя одна другой место для будущего падения во мнении народном, между тем как, в то же время, внутри человека западного, происходила тоже борьба между верой и разумом, между преданием и личным самомнением; и как духовная власть церкви искала себе основания в силе светской, так духовное убеждение умов западных искало себе основания в рассудочном силлогизме.

Так искусственно устроив себе наружное единство, поставив над собой одну единую главу, соединившую власть духовную и светскую,

церковь западная произвела раздвоение в своей духовной деятельности, в своих внутренних интересах и в внешних своих отношениях к миру. Двойная башня, которая обыкновенно возвышается над католическим костелом, может служить символом этого раздвоения.

Между тем, светские правители, подчинившиеся главенству тривенчанного правителя церкви, сомкнули, таким образом, феодальное устройство, так называемой, святой Римской империи. Может быть, это был единственный разумный исход общественной жизни народов, которых государственное устройство возникло из завоевания. Ибо непримиримая борьба двух спорящих племен, угнетавшего и угнетенного, произвела на все развитие их истории постоянную ненависть сословий, неподвижно друг против друга стоящих, с своими враждебными правами, с исключительными преимуществами одного, с глубоким недовольством и бесконечными жалобами другого, с упорной завистью возникшего между ними среднего, с общим и вечно-болезненным колебанием их относительного перевеса, из которого рождались наружные, формальные и насильственные условия примирения, которыми все стороны оставались недовольными, и которые могли получить некоторое утверждение в сознании общественной только из начала, вне государства находящегося. Между тем, чем менее было прав для сословия, происшедшего от племени завоеванного, тем менее было правомерности и в понятиях сословия, происшедшего от завоевателей. Каждая благородная личность стремилась сделаться сама верховным законом своих отношений к другим. Мысль об общей государственности или народности не могла проникнуть в их независимое сердце, со всех сторон защищенное железом и гордостью...

Каждый благородный рыцарь, внутри своего замка, был отдельное государство. Потому и отношения между благородными лицами могли иметь только внешний, формальный характер. Такой же внешний, формальный характер должны были носить и отношения их в других сословиях. Потому и развитие права гражданского в западных государствах получило тот же смысл внешней, спорно-буквальной формальности, какой лежал в самой основе общественных отношений. Римское право, еще продолжавшее жить и действовать в некоторых отдельных городах Европы, еще более укрепило это направление внешней формальности в европейской юриспруденции...

Но начавшись насилием, государства европейские должны были развиваться переворотами, ибо развитие государства есть не что иное, как раскрытие внутренних начал, на которых оно основано. Потому европейские общества, основанные насилием, связанные формальностью личных отношений, проникнутые духом односторонней рассудочности, должны были развить в себе не общественный дух, но дух личной отделенности, связываемой узлами частных интересов и партий. От чего история европейских государств хотя представляет нам иногда внешние признаки процветания жизни общественной, — но в самом деле под общественными формами скрывались постоянно одни частные партии, для своих частных целей и личных систем, забывавшие о жизни целого государства. Партии папские, партии императорские, партии городские, партии церковные, придворные, личные, правительственные, религиозные, политические, народные, среднесословные, даже партии метафи-

зические, постоянно боролись в европейских государствах, стараясь каждая перевернуть его устройство, согласно своим личным целям. Потому развитие в государствах европейских совершалось не спокойным возрастанием, но всегда посредством более или менее чувствительного переворота. Переворот был условием всякого прогресса, покуда сам сделался уже не средством к чему-нибудь, но самобытной целью народных стремлений.

Очевидно, что при таких условиях образованность европейская должна была окончиться разрушением всего умственного и общественного здания, ею же самой воздвигнутого.

Однако же, это распадение разума на частные силы, это преобладание рассудочности над другими деятельностями духа, которое впоследствии должно было разрушить все здание европейской средневековой образованности, вначале имело действие противное и произвело тем быстрейшее развитие, чем оно было одностороннее. Таков закон уклонения человеческого разума: наружность блеска при внутреннем потемнении.

Еще быстрее совершилось развитие образованности арабской, ибо оно было еще одностороннее, хотя имело то же отвлеченно-рассудочное направление, какое приняла и средневековая Европа.

...Систематическая связь отвлеченных понятий была высшею целью, до которой могло достигнуть умственное самосознание магометанина, и которая лежала, можно сказать, в самом основании его веры... Потому, все, до чего могла доходить умственная птребность магометанина, заключалось в потребности отвлеченного логического единства, в наружном порядке его мыслей и систематической правильности их взаимных отношений...

Отсюда также об'ясняется, почему арабы, хотя получили начало своей умственной образованности от сирийских греков, хотя находились в близких сношениях с Византией, однако, на ход просвещения греческого не имели почти никакого влияния. Но на Западную Европу произвели они тем сильнейшее действие, что принесли туда весь блеск своего процветания наук в то время, когда Европа находилась в состоянии почти совершенного невежества.

Они первые познакомили латинских богословов с творениями Аристотеля, которые в первый раз сделались известны им в переводе с арабского вместе с арабскими толкованиями, — так мало знакома им была греческая образованность.

Аристотель, никогда не понятый вполне, но до бесконечности изучаемый в частностях, был, как известно, душой схоластики, которая в свою очередь была представительницей всего умственного развития тогдашней Европы и самым ясным его выражением.

Схоластика была не что иное, как стремление к наукообразному богословию. Ибо богословие было тогда и высшей целью и главным источником всякаго знания. Задача схоластики состояла в том, чтобы не только связать понятия богословские в разумную систему, но и подложить под них рассудочно-метафизическое основание. Главными орудиями для того были творения блаженного Августина и логические сочинения Аристотеля. Высшее университетское развитие заключалось в диалектических словопрениях о предметах веры. Знаменитейшие бого-

словы старались выводить ее догматы из своих логических умозаключений. Начиная от шотландца Еригена до XVI века, может быть, не было ни одного из них, который бы не пытался свое убеждение о бытии божием поставить на острие какого-нибудь искусно выточенного силлогизма...

Живое, цельное понимание внутренней, духовной жизни и живое, непредупрежденное созерцание внешней природы равно изгонялись из оцепленного круга западного мышления, первое под именем «мистики»— по натуре своей ненавистной для схоластической рассудочности (сюда относилась и та сторона учения православной церкви, которая не согласовалась с западными системами); второе—преследовалось прямо под именем «безбожия» (сюда относились те открытия в науках, которые разноречились с современным понятием богословов). Ибо схоластика сковала свою веру своим тесным разумением науки в одну неразрывную судьбу.

Потому, когда со взятием Константинополя, свежий, неиспорченный воздух греческой мысли повеял с Востока на Запад, и мыслящий человек на Западе вздохнул легче и свободнее, то все здание схоластики мгновенно разрушилось. Однако же, следы схоластической односторонности остались на умах, ею воспитанных. Предмет мышления стал другой, и направление иное, но тот же перевес рассудочности и та же слепота к живым истинам сохранились почти попрежнему.

Поучительный пример тому представляет сам знаменитый родоначальник новейшей философии. Он думал, что решительно сбросил с себя узы схоластики, однако, не чувствуя того сам, до того еще оставался запутан ими, что, несмотря на все свое гениальное разумение формальных законов разума, был так странно слеп к живым истинам, что свое внутреннее, непосредственное сознание о собственном своем бытии почитал еще неубедительным, покуда не вывел его из отвлеченного силлогического умозаключения. И этот пример тем замечательнее, что не был личной особенностью философа, но выразил общее направление умов. Ибо логический вывод Декарта не остался его исключительной собственностью, но был принят с восторгом и сделался основанием мышления для большей части новейших философов, почти до половины XVIII века....

Нужно ли продолжать исчисление последующих представителей западной философии, чтобы, припоминая их системы, убедиться в общей односторонности западного направления? Нужно ли напоминать, как Юм — этот прямой и неминуемый результат другой ветви западного любомудрия, последователь Бэкона, Локка и однородных с ними мыслителей, — беспристрастный Юм силой беспристрастного разума доказал, что в мире не существует никакой истины, и правда и ложь подвержены одинакому сомнению? Как знаменитый Кант, возбужденный Юмом и приготовленный немецкой школой, из самых законов чистого разума вывел неоспоримое доказательство, что для чистого разума никаких доказательств о высших истинах не существует?

Отсюда, может быть, оставался один шаг до правды, но западный мир тогда еще не созрел для нее.

Между тем в то же время, как римское богословие развивалось посредством схоластической философии, писатели восточной церкви, не

увлекаясь в односторонность силлогистических построений, держались постоянно той полноты и цельности умозрения, которые составляют отличительный признак христианского любомудрия. Ибо не надобно забывать, что все современное просвещение тогда сосредоточивалось в Византии. Древние писатели христианские и языческие, и особенно писатели-философы, были коротко знакомы образованным грекам, — и очевидные следы их основательного изучения видны в большей части духовных творений до самой половины XV века; между тем как Запад, необразованный и, можно даже сказать, невежественный сравнительно с Византией, до самого почти XIV века обращался в своем мышлении почти единственно в кругу одних латинских писателей, за исключением только немногих греческих. Только в половине XIV века основана была первая ученая академия в Италии знаменитым монахом Варлаамом, учителем Петрарки, — тем самым несчастным предателем православной церкви, который, заразившись западной уверенностью, в своей логической разумности отвергал некоторые, непонятные ему, догматы христианского учения и был за то осужден константинопольским собором и изгнан из Греции с бесчестием, но зато тем с большей честью принят в Италии.

Аристотель, без всякого сомнения, был лучше и основательнее известен грекам, чем латинянам, хотя, может быть, без тех дополнений, которыми обогатили его арабские и латинские ученые, и которые, до самого падения схоластического воспитания в Европе, составляли необходимое условие всякого развития ума на Западе. Однако же, в греческих мыслителях не только не видим мы особого пристрастия к Аристотелю, но, напротив того, в большей части из них замечаем явное предпочтение Платона, — не потому, конечно, чтобы христианские мыслители усваивали себе языческие понятия того или другого, но потому, вероятно, что самый способ мышления Платона представлял более цельности в умственных движениях, более теплоты и гармонии в умозрительной деятельности разума. От того почти то же отношение, какое мы замечаем между двумя философами древности, существовало и между философией латинского мира, как она вырабатывалась в схоластике, и той духовной философией, которую находим в писателях церкви восточной, особенно ясно выраженную в св.св. отцах, живших после римского отпадения.

Достойно замечания, что эта духовная философия восточных отцов церкви, писавших после X века, — философия прямо и чисто христианская, глубокая, живая, возвышающая разум от рассудочного механизма к высшему нравственно свободному умозрению, — философия, которая даже и не для неверующего мыслителя могла бы быть поучительной, по удивительному богатству и глубине и тонкости своих психологических наблюдений, — несмотря, однако же, на все свои достоинства (я говорю здесь единственно о достоинствах умозрительных, оставляя в стороне значение богословское), была так мало доступна рассудочному направлению Запада, что не только никогда не была оценена западными мыслителями, но, что еще удивительнее, до сих пор осталась им почти вовсе неизвестной...

Конечно, в писателях восточной церкви, живших после отделения римской, нельзя искать ничего нового относительно христианского

учения, ничего такого, что бы не находилось в писателях первых веков. Но в том-то и заключается их достоинство; в том-то, скажу, и особенность их, что они сохраняли и поддержали во всей чистоте и полноте учение существенно-христианское, и, держась постоянно в самом, так сказать, средоточии истинного убеждения, отсюда могли яснее видеть и законы ума человеческого, и путь, ведущий его к истинному знанию, и внешние признаки, и внутренние пружины его разновидных уклонений.

Впрочем, и древние отцы церкви, жившие еще до отделения Рима и, следовательно, равно признаваемые Востоком и Западом, не всегда одинаково понимались на Западе и на Востоке. Это различие могло произойти от того, что Востоку всегда были вполне известны все писатели и учители вселенской церкви; западным же ученым были знакомы преимущественно латинские и только некоторые из греческих писателей; на которых они тоже смотрели сквозь готовые уже понятия, почерпнутые ими у римских учителей...

Отсюда, кроме различия понятий, на Востоке и Западе происходит еще различие и в самом способе мышления богословско-философском. Ибо, стремясь к истине умозрения, восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа, западные — более о внешней связи понятий. Восточные для достижения полноты истины ищут внутренней цельности разума — того, так сказать, средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство. Западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой отдельности. Одним чувством понимают они нравственное, другим — изящное; полезное — опять особым смыслом; истинное понимают они отвлеченным рассудком, и ни одна способность не знает, что делает другая, покуда ее действие совершится. Каждый путь, как предполагают они, ведет к последней цели, прежде чем все пути сойдутся в одно совокупное движение. Бесчувственный холод рассуждения и крайнее увлечение сердечных движений почитают они равно законными состояниями человека; и когда в XIV веке узнали ученые Запада о стремлении восточных созерцателей сохранять безмятежность внутренней цельности духа, то издевались над этой мыслью, изобретая для нее всякого рода насмешливые прозвания.

Учения св.св. отцов православной церкви перешли в Россию, можно сказать, вместе с первым благовестом христианского колокола. Под их руководством сложился и воспитался коренной русский ум, лежащий в основе русского быта. Обширная русская земля даже во времена разделения своего на мелкие княжества, всегда сознавала себя как одно живое тело и не столько в единстве языка находила свое притягательное средоточие, сколько в единстве убеждений, происходящих из единства верования в церковные постановления. Ибо ее необозримое пространство было все покрыто, как бы одной непрерывной сетью, неисчислимым множеством уединенных монастырей, связанных между собой сочувственными нитями духовного общения. Из них единообразно и единомысленно развивался свет сознания и науки во все отдельные племена и княжества. Ибо не только духовные понятия народа из них исходили,

но и все его понятия нравственные, общежительные и юридические, переходя через их образовательное влияние, опять от них возвращались в общественное сознание, приняв одно, общее направление. Безразлично составляясь изо всех классов народа, из высших и низших ступеней общества, духовенство, в свою очередь, во все классы и ступени распространяло свою высшую образованность, почерпая ее прямо из первых источников, из самого центра современного просвещения, который тогда находился в Царьграде, Сирии и на Святой горе. И образованность эта так скоро возросла в России, и до такой степени, что и теперь даже она кажется нам изумительной, когда мы вспомним, что некоторые из удельных князей XII и XIII века уже имели такие библиотеки, с которыми многочисленностью томов едва могла равняться, первая тогда на Западе, библиотека парижская; что многие из них говорили на греческом и латинском языке так же свободно, как на русском, а некоторые знали притом и другие языки европейские; что в некоторых уцелевших до нас писаниях XV века мы находим выписки из русских переводов таких творений греческих, которые не только не были известны Европе, но даже в самой Греции утратились после ее упадка и, только в недавнее время и уже с великим трудом, могли быть открыты в неразобранных сокровищницах Афона; что в уединенной тишине монашеских келий, часто в глуши лесов, изучались и переписывались и до сих пор еще уцелели в старинных рукописях словенские переводы тех отцов церкви, которых глубокомысленные писания, исполненные высших богословских и философских умозрений, даже в настоящее время едва ли каждому немецкому профессору любомудрия придутся по силам мудрости (хотя, может быть, ни один не сознается в этом); наконец, когда мы вспомним, что эта русская образованность была так распространена, так крепка, так развита, и потому пустила такие глубокие корни в жизнь русскую, что несмотря на то, что уже полтораста лет прошло с тех пор, как монастыри наши перестали быть центром просвещения; несмотря на то, что вся мыслящая часть народа своим воспитанием и своими понятиями, значительно уклонилась, а в некоторых и совсем отделилась от прежнего русского быта, изгладив даже и память об нем из сердца своего, — этот русский быт, созданный по понятиям прежней образованности и проникнутый ими, еще уцелел, почти неизменно в низших классах народа: он уцелел, хотя живет в них уже почти бессознательно, уже в одном обычном предании, уже несвязанный господством образующей мысли...

Какое бы ни было наше мнение о пришествии варягов: добровольно ли вся русская земля призвала их, или одна партия накликала на другую; но ни в каком случае это пришествие не было нашествием чужого племени, ни в каком случае также оно не могло быть завоеванием, ибо, если через полтораста лет так легко можно было выслать их из России или, по крайней мере, значительную их часть, то как же могли бы они так легко завоевать ее прежде? Как могли бы так безмятежно держаться в ней против ее воли. При них спокойно и естественно совершалось образование ее общественных и государственных отношений, без всяких насильственных нововведений, единственно вследствие внутреннего устройства ее нравственных понятий. С введением же христианства, нравственные понятия русского человека изменились, а

вместе с ним и его общежительные отношения; и потому все общественное устройство русской земли должно было в своем развитии принять также направление христианское.

Лучшим выражением той готовности, с какой русский человек стремился с самого начала осуществить в своей жизни всю полноту принятого им нового убеждения, может служить первое, еще необдуманное (так прекрасно необдуманное) желание св. Владимира прощать всем преступникам. Сама церковь первая остановила его от исполнения этого желания, положив, таким образом, различие между обязанностями лично-духовными и светски-правительственными. Вместе с тем определила она, с начала навсегда, твердые границы между собой и государством, между безусловной чистотой своих высших начал и житейской смешанностью общественного устройства, всегда оставаясь вне государства и его мирских отношений, высоко над ними, как недосягаемый, светлый идеал, к которому они должны стремиться, и который сам не смешивался с их земными пружинами. Управляя личным убеждением людей, церковь православная никогда не имела притязания насильственно управлять их волей, или приобретать себе власть светски-правительственную, или, еще менее, искать формального господства над правительственной властью. Государство, правда, стояло церковью: оно было тем крепче в своих основах, тем связнее в своем устройстве, тем цельнее в своей внутренней жизни, чем более проникалось ею. Но церковь никогда не стремилась быть государством, как и государство, в свою очередь, смиренно сознавая свое мирское назначение, никогда не называло себя «святым». Ибо, если русскую землю иногда называли «Святая Русь», то это единственно с мыслью о тех святынях мощей и монастырей и храмов божиих, которые в ней находились, а не потому, чтобы ее устройство представляло сопроницание церковности и светскости, как устройство «Святой Римской Империи».

Управляя таким образом общественным составом, как дух управляет составом телесным, церковь не облекала характером церковности мирских устройств, подобных рыцарски-монашеским орденам, инквизиционным судилищам и другим светско-духовным постановлениям Запада; но, проникая все умственные и нравственные убеждения людей, она невидимо вела государство к осуществлению высших христианских начал, никогда не мешая его естественному развитию. И духовное влияние церкви на это естественное развитие общественности могло быть тем полнее и чище, что никакое историческое препятствие не мешало внутренним убеждениям людей выражаться в их внешних отношениях. Неискаженная завоеванием русская земля, в своем внутреннем устройстве, не стеснялась теми насильственными формами, какие должны возникать из борьбы двух ненавистных друг другу племен, принужденных, в постоянной вражде, устраивать свою совместную жизнь. В ней не было ни завоевателей, ни завоеванных. Она не знала ни железного разграничения неподвижных сословий, ни стеснительных для одного преимуществ, другого, ни истекающей оттуда политической и нравственной борьбы, ни сословного презрения, ни сословной ненависти, ни сословной зависти. Она не знала, следственно, и необходимого порождения этой борьбы: искусственной формальности общественных отношений и болезненного процесса

общественного развития, совершающегося насильственными изменениями законов и бурными переломами постановлений. И князья, и бояре, и духовенство, и народ, и дружины княжеские, и дружины боярские, и дружины городские, и дружина земская,—все классы и виды населения были проникнуты одним духом, одними убеждениями, однородными понятиями, одинакою потребностью общего блага. Могло быть разногласие в каком нибудь частном обстоятельстве, но в вопросах существенных—следов разномыслия почти не встречается.

Таким образом, русское общество выросло самобытно и естественно под влиянием одного внутреннего убеждения, церковью и бытовым преданием воспитанного, однако же—или лучше сказать потому именно в нем не было и мечтательного равенства, как не было и стеснительных преимуществ. Оно представляет не плоскость, а лестницу, на которой было множество ступеней; но эти ступени не были вечно неподвижными, ибо останавливались естественно, как необходимые сосуды общественного организма, а не насильственно, случайностями войны, и не преднамеренно, по категориям разума.

Но остановимся здесь и соберем вместе все сказанное нами о различии просвещения западно-европейского и древне-русского: ибо, кажется, достаточно, уже замеченных нами особенностей для того, чтобы, сведя их в один итог, вывести ясное определение характера той и другой образованности.

Христианство проникало в умы западных народов через учение одной римской церкви,— в России оно зажигалось на светильниках всей церкви православной; богословие на западе приняло характер рассудочной отвлеченности,—в православном мире оно сохранило внутреннюю цельность духа; там раздвоение сил разума,—здесь стремление к их живой совокупности; там движение ума к истине посредством логического сцепления понятий,—здесь стремление к ней посредством внутреннего возвышения самосознания к сердечной цельности и средоточие разума; там искание наружного, мертвого единства,—здесь стремление к внутреннему, живому; там церковь смешалась с государством, соединив духовную власть со светской и сливая церковное и мирское значение в одно устройство смешанного характера,—в России она оставалась не смешанной с мирскими целями и устройством; там схоластические и юридические университеты,—в древней России молитвенные монастыри, сосредоточивавшие в себе высшее знание, там рассудочное и школьное изучение высших истин,—здесь стремление к их живому и цельному познанию; там взаимное прорастание образованности языческой и христианской,—здесь постоянное стремление к очищению истины; там государственность из насилий завоевания,—здесь естественное развитие народного быта, проникнутого единством основного убеждения; там враждебная разграниченность сословий,—в древней Руси их единодушная совокупность, при естественной разновидности; там искусственная связь рыцарских замков с их принадлежностями составляет отдельные государства,—здесь совокупное согласие всей земли духовно выражает неразделимое единство; там поземельная собственность—первое основание гражданских отношений,—здесь собственность только случайное выражение отношений личных; там законность формально логи-

ческая,—здесь—выходящая из быта; там наклонность права к справедливости внешней,—здесь предпочтение внутренней; там юриспруденция стремится к логическому кодексу,—здесь вместо наружной связности формы с формою, ищет она внутренней связи правомерного убеждения с убеждениями веры и быта; там законы исходят искусственно из господствующего мнения,—здесь они рождались естественно из быта; там улучшения всегда совершались насильственными переменами,—здесь стройным естественным возрастанием; там волнение духа партий,—здесь незыблемость основного убеждения; там прихоть моды,—здесь твердость быта; там шаткость личной самозаконности, здесь,—крепость семейных и общественных связей; там щеголеватость роскоши и искусственность жизни,—здесь простота жизненных потребностей и доброта нравственного мужества; там изнеженность мечтательности,—здесь здоровая цельность разумных сил; там внутренняя тревожность духа, при рассудочной уверенности в своем нравственном совершенстве,—у русского—глубокая тишина и спокойствие внутреннего самосознания, при постоянной недоверчивости к себе и при неограниченной требовательности нравственного усовершенствования; одним словом, там раздвоение духа, раздвоение мыслей, раздвоение наук, раздвоение государства, раздвоение сословий, раздвоение общества, раздвоение семейных прав и обязанностей, раздвоение нравственного и сердечного состояния, раздвоение всей совокупности и всех отдельных видов бытия человеческого, общественного и частного,—в России, напротив того, преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного. Потому, если справедливо сказанное нами прежде, то раздвоение и цельность, рассудочность и разумность, будут последним выражением западно-европейской и древне-русской образованности.

2. Из записки К. С. Аксакова: „О внутреннем состоянии России", представленной Александру II в 1885 г (Из сборника Н. Л. Бродского „Ранние славянофилы". М. 1910 г.).

...Да! Пока русский народ остается русским, до тех пор тишина внутренняя и безопасность правительства обеспечена. Но петровская система и вместе иностранный дух, с нею нераздельный, продолжают действовать, и мы видели, какое действие производят они в той массе русских людей, которую увлекли. Мы видели, как с чувством рабским, которое порождает власть правительственная, входящая в самую жизнь человека, как с этим рабским чувством соединяется чувство бунтовщика, ибо раб не видит рубежа между собою и правительством, который видит человек свободный, живущий внутреннею самостоятельною жизнью, раб видит только одну разницу между собою и правительством: он угнетен, а правительство угнетает; низкая подлость всякую минуту готова перейти в наглую дерзость; рабы сегодня—бунтовщики завтра; из цепей рабства куются беспощадные ножи бунта. Русский народ, простой народ собственно, держится своих древних начал и противится доселе и рабскому чувству и иностранному влиянию верхнего класса. Но петровская система продолжается уже полтораста лет; она начинает, наконец, проникать и в народ

своею, повидимому, не вредною стороною. Уже и в некоторых селах бросают русскую одежду, уже и крестьяне начинают говорить о моде, и вместе с этими пустыми, повидимому, делами входит чуждый образ жизни, чуждые понятия и шатаются исподволь русские начала.

Как скоро правительство отнимает постоянно внутреннюю, общественную свободу народа, оно заставит, наконец, искать свободы внешней, политической. Чем долее будет продолжаться Петровская правительственная система,—хотя по наружности и не столь резкая, как при нем,—система столь противоположная Русскому народу, вторгающаяся в общественную свободу жизни, стесняющая свободу духа, мысли, мнения и делающая из подданного раба, тем более будут входить в Россию чуждые начала; тем более людей будет отставать от народной русской почвы, тем более будут колебаться основы Русской земли, тем грознее будут революционные попытки, которые сокрушат, наконец, Россию, когда она перестанет быть Россией. Да, опасность для России одна: если она перестанет быть Россией,—к чему ведет ее постоянно теперешняя Петровская правительственная система. Дай же бог, чтоб этого не было.

Петр, скажут, возвеличил Россию. Точно, он много придал ей внешнего величия, но внутреннюю ее целость он поразил растлением; он внес в ее жизнь семена разрушения, вражды. Да и все внешние славные дела совершил он и преемники его — силами той России, которая возрастала и окрепла на древней почве, на других началах. Доселе солдаты наши берутся из народа, доселе еще не вовсе исчезли русские начала и в преобразованных русских людях, подверженных иностранному влиянию. Итак, Петровское государство побеждает силами еще до-Петровской России; но силы эти слабеют, ибо Петровское влияние растет в народе, несмотря на то, что правительство стало говорить о русской национальности и даже требовать ее. Но для того, чтобы благое слово обратилось в благое дело, нужно понять дух России и стать на русские начала, отвергнутые со времени Петра. Внешнее величие России, при императорах, точно блестяще, но внешнее величие тогда прочно, когда истекает из внутреннего. Нужно, чтоб источник был не засорен и не оскудел.—Да и какой внешний блеск может вознаградить за внутреннее благо, за внутреннюю стройность? Какое внешнее непрочное величие и внешняя ненадежная сила могут сравниться с внутренним прочным величием, с внутреннею надежною силою? Внешняя сила может существовать пока еще внутренняя, хотя и подрываемая не исчезла. Если внутренность дерева вся истлела, то наружная кора как-бы ни была крепка и толста, не устоит, и при первом ветре дерево рухнет ко всеобщему изумлению. Россия держится долго потому, что еще не исчезла ее внутренняя долговечная сила, постоянно ослабляемая и уничтожаемая; потому, что еще не исчезла в ней до-Петровская Россия. Итак,—внутреннее величие — вот что должно быть первою главною целью народа и, конечно, правительства.

Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отдалилось от народа и стало ему чужим. И народ и правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах. Не только

не спрашивается мнения народа, но всякий частный человек опасается говорить свое мнение. Народ не имеет доверенности к правительству; правительство не имеет доверенности к народу. Народ в каждом действии правительства готов видеть новое угнетение; правительство постоянно опасается революции и в каждом самостоятельном выражении мнения готово видеть бунт; просьбы, подписанные многими или несколькими лицами, у нас теперь не допускаются, тогда как в Древней России они-то бы и были уважены. Правительство и народ не понимают друг друга, и отношения их не дружественны. И на этом-то внутреннем разладе, как дурная трава, выросла непомерная, бессовестная лесть, уверяющая во всеобщем благоденствии, обращающая почтение к царю в идолопоклонство, воздающая ему, как идолу, божескую честь. Один писатель выразился в „Ведомостях“ подобными словами: „Детская больница была освящена по обряду православной церкви: в другой раз была освящена посещением государя императора“. Принято выражение, что „государь изволил приобщаться святых тайн“, тогда как христианин иначе сказать не может, что он сподобился или удостоился. — При потере взаимной искренности и доверенности все обняла ложь, везде обман. Правительство не может, при всей своей неограниченности, добиться правды и честности; без свободы общественного мнения это и невозможно. Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать, и неизвестно, до чего дойдут. Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошло до огромных размеров. Взяточничество и чиновный организованный грабеж — страшны. Это до того вошло, так сказать, в воздух, что у нас не только те воры, кто бесчестные люди: нет, очень часто прекрасные, добрые, даже в своем роде честные люди—тоже воры; исключений немного. Это сделалось уже не личным грехом, а общественным; здесь является безнравственность самого положения общественного, целого внутреннего устройства.

Прямое целение на современное зло, возникшее в России,—это понять Россию и возвратиться к русским основам, согласным с ее духом. Прямое целение против болезни, нарождаемой противуестественным для России образом действий, — это оставить противуестественный образ действий и возвратиться к образу действий, согласному с понятиями с существом России.

Как скоро правительство поймет Россию, так оно поймет, что всякое побуждение к государственной власти противно духу Русского народа; что страх какой-нибудь революции в России есть страх, не имеющий ни малейшего основания, и что множество шпионов распространяют около себя только безнравственность; что правительство неограниченно и безопасно именно по убеждению Русского народа. Народ желает для себя одного: свободы жизни, духа и слова. Не вмешиваясь в государственную власть, он желает, чтоб государство не вмешивалось в самостоятельную жизнь быта его и духа, в которую вмешивалось и которую гнело правительство полтораста лет, доходя до мелочей, даже до одежды. Нужно, чтоб правительство поняло вновь свои коренные отношения к народу, древние отношения государства и земли и восстановило их. Ничего более не нужно. Так как эти отношения нарушены только со стороны правительства, вторгнувше-

гося в народ, то оно может это нарушение отстранить. Это не трудно и не сопряжено ни с каким насильственным действием. Стоит лишь уничтожить гнет, наложенный государством на землю, и тогда легко можно стать в истинные русские отношения к народу. Тогда возобновится сам собою полный доверенности и искренний союз между государем и народом. Наконец, в довершение этого союза надобно, чтобы правительство, не удовлетворяясь тем, что мнение народное существует, само захотело знать это народное мнение и в известных случаях само-бы вызывало и требовало от страха мнения, как это была некогда при царях.

Я сказал, что правительству следует иногда самому вызывать мнение страны. Значит-ли это, что нужно собрать Земский собор?

Нет. Созвать в настоящее время Земский собор было-бы делом бесполезным. Из кого состоял бы он? Из дворян, купцов, мещан и крестьян. Но стоит написать имена этих сословий, чтобы почувствовать, как далеки они в настоящее время друг от друга, как мало единства между ними. Дворяне полтораста лет уже, как отдалились от основ народных и смотрят на крестьян, большею частию, или с гордым презрением, или как на источник своих доходов. Купцы, с одной стороны, подражают дворянам и, подобно им, увлекаются Западом,—с другой стороны, держатся какой-то своей, ими самими установленной старины, которая носит жилет сверх русской рубахи, и при русских сапогах—галстук и длиннополый сюртук; такая одежда служит символом их понятий, представляющих подобную же смесь. Мещане составляют бледное подобие купцов; это самый жалкий класс во всей России и притом самый разнохарактерный. Крестьяне, давно удаленные от всякого соприкосновения с историей, участвуют в ней лишь податями и рекрутами: они одни преимущественно сохранили основы русского быта в его чистоте; но что могли бы сказать они, так долго молчавшие? На Земском соборе должен быть голос всей Русской земли, а сословия дать теперь такого голоса не могут.

Да, восстановить древний союз правительства с народом, государства с землею на прочном основании истинных коренных русских начал.

Правительству — неограниченная свобода правления, исключительно ему принадлежащая, народу—полная свобода жизни и внешней и внутренней, которую охраняет правительство. Правительству—право действия и, следовательно, закона; народу—право мнения и, следовательно, слова.

Вот русское гражданское устройство! Вот единое истинное гражданское устройство.

3. Из показаний И. К. Аксакова, данных после ареста его по делу Самарина в 1849 г. в 3 отделении соб. его величества канцелярии. (Из ст. В. Я. Уланова: „Славянофилы и западники о крепостном праве“, в III т. сб. «Великая реформа». М. 1911 г., стр. 183).

Дворянство совершенно оторвалось от народа, присвоив своей жалкой цивилизации право: не верить, когда он верит, не соблюдать уставы церкви, им соблюдаемые, не знать языка, которым он говорит,

забыть историю и предания и глядеть на него только как на удобный материал к извлечению из него доходов [1]). Говорю откровенно, противно мне было смотреть [2]) на какого-нибудь износившегося в пустой и развратной жизни франта, владетеля целых десятков тысяч душ крестьян, которые в поте лица работают кротко и усердно на удовлетворение бездушной роскоши своего господина. А господин этот полон глубокого презрения к «грубому и невежественному мужику», не умеет без ошибок подписывать своего имени...

4. Из статьи А. И. Кошелева: „Добрая воля спорее неволи" (1847 г.). (Из ст. В. Я. Уланова: „Славянофилы и западники о крепостном праве", в III т. сб. «Великая реформа». М. 1911 г.).

Успех большею частью увенчивает наши усилия, почему? — Потому именно, что мы все это делаем добровольно, что мы имеем ввиду достижение нашей цели и работаем для себя. Как тяжело всякое принуждение. Сидора мы назначаем в повара, Андрея — в лакеи, Гаврилу — в портные и так далее, между тем, как они, быть может, имеют наклонность к совершенно иным занятиям. И мы еще удивляемся, что у нас мастеровые умеют только перенимать и ничего не выдумывают и не улучшают. Мы ставим в пример немцев, англичан, которые постоянно доводят до большего совершенства все ремесла, которыми они занимаются. Да, разница тут велика.

Они посвящают себя тому, чему хотят, добрая воля развивает их ум с детства, они хлопочут, трудятся — для себя, а не для другого. Взглянем на барщинскую работу. Придет крестьянин сколь возможно позже, осматривается и оглядывается сколько возможно чаще и дольше, а работает сколько возможно меньше, — ему не дело делать, а день убить. С этой работой сравните теперь работу артельную, даже работу у хорошего подрядчика. Здесь все горит, материалов не наготовишься, времени проработают они менее барщинского крестьянина, отдохнут они более его, но наделают они вдвое, втрое. Отчего?—Охота пуще неволи. Войдите в мануфактуру, где работают по наряду, даже где в виде поощрения дается некоторая задельная плата. Что вы там найдете? Инструменты непременно в худом виде, ибо работники их не берегут, они за них не отвечают, можно этих людей наказать, но нельзя прогнать. По этой же самой причине работа проводится и трудно, и неотчетливо, что же касается до сработанного количества, то верно едва вполовину против вольного работника. Какая разница войти в мануфактуру, истинно на коммерческой ноге устроенную. Как там один перед другим боится переработать, так тут они друг друга одушевляют и подстрекают. Вычет заставляет каждого, строже всякого надсмотрщика, наблюдать за чистотой работы. Собственная выгода будит его до света и освещает ему вечером. — Охота пуще неволи... Одна привычка, одна постоянная (не хочу сказать сильнее) лень удерживает нас в освобождении себя от крепостных людей. Почти все мы убеждены в пре-

---

[1]) Николай I против подчеркнутых им слов написал: „Справедливого много, хотя, слава Богу, не в общем применении".

[2]) Против подчеркнутых слов царь написал: „Очень понятно".

восходстве труда свободного перед барщинской работой, вольной услуги перед принужденной, — а остаемся при худшем, зная лучшее. Многое можно сказать насчет невозможности теперь превратить наших крепостных крестьян в обязанные, но что удерживает нас всем дворовым людям, на основании указа 12 июня 1844 г., дать отпускные с заключением с ними обязательств. Пусть люди благонамеренные примутся за дело дружнее, и тогда верно отсталых будет немного.

XVIII. Из сочинений западников.

1. Письмо В. Г. Белинского к Гоголю. (Из сборника Ф. Ф. Нелидова: „Западники 40-х годов". М. 1910 г.).

Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе неправы, приписавши это вашим, действительно, не совсем лестным, отзывам о почитателях вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства: нельзя молчать, когда под покровом религии и защитой кнута проповедуют ложь и безнравственность, как истину и добродетель.

Да, я любил вас со всей страстью, с какой человек, кровно связанный с своей страной, может любить ее надежду, честь, славу одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь свою наградой великого таланта, а потому, что в этом отношении я представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши, и нелитературные — Чичиковы, Ноздревы, Городничие... и литературные, которых имена хорошо вам известны. Вы видите сами, что от вашей книги отступились даже люди, повидимому, одного духа с ее духом. Если бы она и была написана вследствие глубокого, искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее приняли все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но черезчур нецеремонную проделку для достижения небесным путем чисто-земной цели, — в этом виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в вашей фан-

тастической книге. И это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому что сколько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека; а ведь известно, что нет ничего легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что в этом прекрасном далеке вы живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, и в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достинства, столько веков потерянного в грязи и соре, — права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. А вместо этого она представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута трехвостною плетью.

Вот вопросы, которыми тревожно занята вся Россия в ее апатическом сне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале, — является с книгой, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать побольше... И это не должно было привести меня в негодование!.. Да если бы вы обнаруживали покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки... И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги! Нет! Если бы вы, действительно, преисполнились истиной Христовой, а не дьяволова учения — совсем не то написали бы вы вашему адепту из помещиков. Вы сказали бы ему, что, так как его крестьяне его братья о Христе, а как раб не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хотя, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно выгоднее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном положении в отношении к ним.

А выражение: «Ах, ты неумытое рыло!» Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру, как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того потому

не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей. А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в глупой поговорке, что должно пороть и правого, и виноватого? Да, это и так у нас делается в частую, хотя еще чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления, и другая поговорка говорит тогда: без вины виноват! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления! Не может быть. Или вы больны — и вам надо спешить лечиться, или... не смею досказать моей мысли... Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете! Взгляните себе под ноги, — ведь вы стоите над бездной... Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какой-нибудь, а тем более православной церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было с п а с е н и е м людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницей братства между людьми, — чем продолжает быть и до сих пор. Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти его и кость от кости его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи. Неужели вы этого не знаете! Ведь это теперь не новость для всякого гимназиста... А потому неужели вы, автор «Ревизора» и «Мертвых Душ», неужели вы искренно от души пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугой и рабом светской власти; но неужели же в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа. Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно! По вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе... Он говорит об образе: годится — молиться, а не годится — горшки покрывать.

Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко-атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность часто уживается с ними; живой пример Франция, где и теперь много искренних католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков; мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности

и положительности в уме, и вот в этом-то, может быть, огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не прививалась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся такой холодной аскетической созерцательностью, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, схоластическим педантством да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме, его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед ней числительно.

Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к вам по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да и выгодно), только продолжайте благоразумно созерцать его из вашего прекрасного далека: вблизи-то оно не так прекрасно и не так безопасно... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух, он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим беззакония сильных земли. У нас же наоборот: постигает человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиаторов под именем religiosa mania, он тотчас же земному богу подкурит более, нежели небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы его наградить за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек...

Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете, за великую и неспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только передавши ее бумаге, вы знали, что говорили... Но, может быть, вы скажете: «Положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложны, но почему же отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений». Потому, отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братией. Конечно, в вашей книге более ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях: но зато они развили общее им с вами учение с большей энергией и с большей последовательностью, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как вы, желая поставить по свечке и тому, и другому, впали в противоречие, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театры, которые с вашей точки зрения, если бы вы только имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели... Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в

глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения — ясно, что книга писана не день, не неделю, не месяц, а, может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимн властям предержащим хорошо устраивает земное положение набожного автора. Вот почему в Петербурге распространился слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде в Петербурге сделалось известным письмо ваше к Уварову, где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям о России дают превратный толк, затем обнаруживаете неудовольствие своими прежними произведениями и об'являете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда ими будет доволен царь. Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя, и еще более, как человека.

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почетно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое, так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих талантов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворений и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых Душах» вы менее резко, с меньшей истиной и талантом и менее горькие правды высказали ей? И старая школа, действительно, сердилась на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые Души» оттого не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права. она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности, и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мной падению вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольствия скажу вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру,

но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, — мои друзья приуныли; но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха, и о ней скоро забудут. И, действительно, она памятнее теперь всеми статьями о ней, нежели сама собой. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще инстинкт истины.

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно, но мысль — довести о нем до сведения публики — была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно и что в Иерусалиме ищут Христа только люди, или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, тот носит Христа в груди своей и тому не зачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшной гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом или гордости, или слабоумия и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом в вашей книге вы позволили себе цинически-грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе — это уже гадко; потому, что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам сам себя, возбуждает презрение. Нет, вы только омрачены, а не просветлены; вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненной боязнью смерти, чорта и ада веет от вашей книги.

И что за язык, что за фразы? — «Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек», — неужели вы думаете, что сказать в с я к вместо в с я к и й — значит выражаться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляет ум и талант. Не будь на вашей книге выставлено вашего имени, кто бы подумал, что это надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение автора «Ревизора» и «Мертвых Душ».

Что же касается до меня лично, повторяю вам, вы ошиблись, сочтя мою статью выражением досады за ваш отзыв обо мне, как об одном из ваших критиков. Если бы только это разсердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадой, а обо всем остальном выразился бы спокойно, беспристрастно. А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость щелкнуть иногда глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только, делает меня смешным, но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждой. Но вы имели в виду людей, если не с отличным умом, то все же не глупцов. Эти люди в своем удивлении к вашим творениям наделали, быть может, гораздо больше восклицаний, нежели сколько высказали о них дела; но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их головой общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать

какой-то превратный толк вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали, это по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть на меня всех более) частный донос. Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его «вялый, влачащийся по земле стих». Все это нехорошо. А что вы ожидали только времени, когда вам можно будет отдать справедливсть и почитателям вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением вашим врагам), этого я не знал; не мог, да признаться, и не хотел бы знать. Передо мной была ваша книга, а не ваши намерения: я читал ее и перечитывал сто раз и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого, и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние «Шпекины» распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и Некрасов переслал мне ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Анненковым в Париж, через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить; это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет, что я заблуждался в моих о вас заключениях. Я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас, тут дело идет об истине, о русскмм обществе, о России.

И вот мое последнее заключительное слово: если мы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги, и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые бы напомнили ваши прежние.

Зальцбрунн
15 июля 1847 года.

2. Письмо В. Г. Белинского к В. П. Боткину[1]) (от 8 ноября 1838 г.) (Из сборника Ф. Ф. Нелидова: «Западники 40-х годов». М. 1910 г.).

...Видишь ли, в чем дело, душа моя: непосредственно поняли мы, что в жизни для нас нет жизни, а так как, по своим натурам, без жизни мы не могли жить, то и ударили со всех ног в книгу, и по книге стали жить и любить, из жизни и любви сделали для себя занятие, работу,

[1]) В начале письма, по поводу ссор кружковых столкновений уже высказывается Белинскмм господствующая в данный момент в нем идея социальная, но мы выпустили это начало в виду того, что эта идея выражается далее во второй половнне, сильнее и образнее. (Прим. Ф. Ф. Нелидова).

труд и заботу. Между тем наши натуры всегда были выше нашего сознания, и потому нам слушать друг от друга одно и то же становилось и скучно, и пошло, и мы друг другу смертельно надоедали. Скука переходила в досаду, досада во враждебность, враждебность в раздор...

Ища исхода, мы с жадностью бросились в обаятельную сферу германской созерцательности и думали, мимо окружающей нас действительности, создать себе очаровательный, полный тепла и света, мир внутренней жизни. Мы не понимали что эта внутренняя, созерцательная суб'ективность составляет об'ективный интерес германской национальности, есть для немцев то же, что социальность для французов. Действительность разбудила нас, открыла нам глаза, но для чего?..

Лучше бы закрыла она нам их навсегда, чтобы тревожные стремления жадного жизни сердца утолить сном ничтожества...

Но третий ключ—холодный ключ забвения,—
Он слаще всех жар сердца утолит...

Социальность... вот девиз мой. Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность. Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи. Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними во Христе, но кто мне чужие и враги по своему невежеству. Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможностей. Прочь же от меня блаженство, если оно — достояние мне одному из тысяч!

Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими. Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и ее представителей. Горе, тяжелое горе овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в 'бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкой чиновника, и довольного собой офицера, и гордого вельможи. Подавши грош солдату, я чуть не плачу; подавши грош нищей, я бегу от нее, как будто сделавши худое дело, и как будто не желая услышать шелеста собственных шагов своих. И это жизнь: сидеть на улицах в лохмотьях с идиотским выражением на лице, набирать днем несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке — и люди это видят, и никому до этого нет дела... И это общество, на разумных началах существующее, явление действительности... И после этого имеет ли право человек забываться в искусстве, в знании [1]). Я ожесточен против всех субстанциальных начал, связывающих в качестве верования, волю человека.

---

[1]) И здесь, по замечанию Пыпина, обнаруживается идея Базарова—имеет ли право человек забываться в искусстве, знании, когда кругом грязь и нищета, когда страдают меньшие братья. (Прим. Ф. Ф. Нелидова).

3. Речь Т. Н. Грановского студентам после защиты диссертации 21 февраля 1845 г. [1]). (Из сборника Ф. Ф. Нелидова: „Западники 40-х годов". М. 1910 г.).

М. г. г.! благодарю вас за тот прием, которым вы почтили меня 21 февраля. Он меня еще более привязал к университету и к вам. В этот день я получил самую благородную и самую драгоценную награду, какую только мог ожидать преподаватель. Теперь отношения наши уяснились, поэтому, я думаю, м. г. г., что вперед внешние излияния ваших чувств будут излишни, точно так, как между двумя старинными, испытанными друзьями излишни новые уверения в дружбе. Теперь эти рукоплескания могут обратить на нас внимание. Я прошу вас, м. г. г., не перетолковывайте этих слов в дурную сторону. Я говорю их не из страха за себя, даже не из страха за вас, м. г. г., — я знаю, что страхом вас нельзя остановить. Меня заставляют говорить причины более разумные, более достойные и меня, и вас. Мы, равно и вы, и я, принадлежим к молодому поколению, — тому поколению, в руках которого жизнь и будущность. И вам, и мне, предстоит благородное и, надеюсь, долгое служение нашей великой России, — России, преобразованной Петром, России идущей вперед и с равным презрением внимающей и клеветам иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей западным формам, без всякого собственного содержания, и старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы, и нечестиво преклоняются пред кумиром, созданным их праздным воображением. Побережем же себя на великое служение. В заключение скажу вам, м. гг., что где бы то ни было, и когда бы то ни было, если кто-нибудь из вас придет ко мне во имя 21 февраля, тот найдет во мне признательного и благородного брата.

4. Из писем В. П. Боткина к П. В. Анненкову. (Из сборника Ф. Ф. Нелидова: «Западники 40-х годов». М. 1910 г.).

Из 1-го от 29 марта 1847 г.

Залежалось у меня это письмо, дорогой мой Анненков. Все хотел познакомить вас с «Московским Сборником» славян наших. Но и тут какое разногласие! Хомяков решительно презирает запад и его гниющую цивилизацию, и все обещает русскую науку. Невольно вспомнишь замечание Риваролля одному подобному господину: C'est vrai, vous avez, un avantage de n'avorien, fait, mais il ne faut pas en abuser. Но я только вечером вчера получил этот сборник и потому едва успел взглянуть на него. Иван Аксаков, брат Константина, не принадлежит к славянскому согласию и пишет иногда очень недурные стихи. Вот одни из напечатанных им в «Сборнике» и лучшие из всей книги.

«Смотри. Толпа людей нахмурившись стоит»...

---

[1]) Речь была произнесена 24 февраля перед лекцией. Она была вызвана восторженными овациями студентов Грановскому во время диспута, происходившего 21 февраля 1845 года, при защите им своей диссертации: «Волин, Иомсбург и Винета». Студенты не воздержались от выражения неодобрения некоторым из противников Грановского («Грановский и его переписка». Биографич. очерк А. Станкевича. Изд. 2. М. 1897 г. т. I, стр. 138). (Прим. Ф. Ф. Нелидова).

Из 2-го от 14 мая 1847 г.

Что-ж сказать мне вам, мой тысячу раз милый Павел Васильевич. Чем отплатить мне вам за ваше мастерское описание выставки. Разве рассказом обеда, данного Шевыреву по случаю окончания его публичных лекций. Но он замечателен был только тем, что Шевырев предложил тост за поэзию и за представителя ее Ф. Н. Глинку в особенности. Тут ли Аксаков сводил Грановского и Хомякова для их взаимного примирения, которое состоялось, как и все внешние примирения, из приличия. Вы, конечно, из письма Грановского к Герцену знаете об этом споре, восставшем из пустяков (из переселений бургундов); в сущности его лежала ошибка славянства с обще-европейской точки зрения; по этому случаю Грановский наговорил Хомякову несколько язвительных колкостей. Эта схватка, разумеется, наделала очень много шуму в московском учено-салонном мире, где после ответа Грановского ореол Хомякова действительно много потускнел. Замечательно, что славянофилы до сих пор печатно постоянно были побиваемы, и на всех пунктах. Славянизм не произвел еще ни одного дельного человека: это — цыган, как Хомяков, или благородный сомнамбул Аксаков, или монах Киреевский, это — лучшие. Но между тем, славянофилы выговорили одно истинное слово: народность, национальность. В этом их великая заслуга; они первые почувствовали, что наш космополитизм ведет нас только к пустомыслию и пустословию: эта так называемая «русская цивилизация» исполнена была великой заносчивости и гордости, когда они вдруг пришли ей сказать, что она пуста и лишена всякого национального развития. Вообще, в критике своей они почти во всем справедливы; и в самом деле пора было напомнить недорослю, который потому только, что стыдился знать свой родной язык, считал себя гражданином мира, — что он не более как недоросль. Но в критике заключается и все достоинство славян. Как только выступают они к положению — начинаются ограниченность, невежество, самая душная патриархальность, незнание самых простых начал государственной экономии, нетерпимость, обскурантизм и проч. Оторванные своим воспитанием от нравов и обычаев народа, они делают над собой насилие, чтоб приблизиться к ним, хотят слиться с народом искусственно: так, например, Аксаков не ест телятины, ходит к обедне и ко всенощной. А вот пример их нетерпимости: у Аксакова есть брат, который, по несчастью, не славянофил; он накануне Вознесенья пошел смотреть Плесси в театр. На другой день вечером были у них гости, и там все славянство восстало с упреками на молодого человека, как мог он в то время, как народ русский слушал всенощную, быть в театре, да еще смотреть игру французской актрисы. Он не знал куда деться от упреков и нападков. А вот еще факт: Соловьев до того вчитался в летописи и старые грамоты, что усвоил язык их; он свободно говорит им и пишет. Из шутки завел он на нем переписку с Аксаковым. В одном обществе Аксаков читает одно из «посланий» к нему Соловьева. Вдруг Иван Киреевский, бывший тут, с негодованием восстает, как сметь употреблять язык, на котором написаны наши священные книги, для писания шутливых записок, — это так возмутило его, что он сделался болен. Вот корифеи славянства. В этом направлении о цивилизации, освобождении от предрассудков нет помину. В сущности, это не что другое, как до-петровская Россия, которая поднимает голову и осматривается, и которая вовсе не

есть прошедшее, а окружающее, в котором мы составляем самое незаметное, ничтожное меньшинство. А самая большая часть этого, soi-disant «образованного» меньшинства, только платьем и пущей безалаберностью отличается от массы; мало-мальски умный и дельный человек есть редчайшее исключение из этого безалаберного и ребячески тщеславного класса «образованных». Горсть славянофилов, остается изолированной, а какую бы получила она силу, опираясь, например, на кущов, где старая Русь сохраняется во всем своем нравственном и общественном безобразии. Но несмотря на утопические и фантастико-исторические очки, в которые они смотрят на все это, образование слишком близко к ним и прямо бросается им в глаза: «Это не народ, — говорят они, — это мерзкий осадок народа». А почему же мерзкий? Разве зажиточные крестьяне не то же, что купцы? Конечно, бедный человек везде добродушнее богатого, но это потому, что чувство собственности всегда развивает за собой много дурных сторон, хранящихся в природе человеческой; только на этом основании парижский ouvrier лучше bourgeois; но чуть разбогатеет ouvrier, тотчас становится bourgeois так же, как разбогатевший мужик становится купцом. Но полно надоедать вам; все это вы давно знаете, и наш славянский мир вам также хорошо знаком, даже лучше, чем мне, потому что я едва вглядываюсь в него.

XIX. Первые русские социалисты-утописты.

(Из книги К. А. Пажитнова: «Развитие социалистических идей в России». Т. I. Харьков. 1913 г.).

Разгром политического движения двадцатых годов, связанного с именем декабристов, вызвал сильную реакцию сверху и совершенно обессилил оппозиционные элементы дворянства и нарождающейся интеллигенции. Общественная жизнь замерла: говоря словами кн. Вяземского, в России не было в то время общества, а было одно народонаселение... Правда, образ декабристов оставался в памяти молодого поколения, и их пример звал на продолжение борьбы за освобождение народа. «В нравственном отношении влияние события 14 декабря, — говорит Герцен, было огромно; — пушки на Исаакиевской площади разбудили целое поколение». Однако, нужно было несколько десятилетий, чтобы русская жизнь могла оправиться от удара, и во всяком случае интерес к вопросам политической свободы, т. е. введению конституции в России, замирает почти до конца николаевского царствования. Робкое пробуждение общественной мысли начинается после 1830 г. — среди университетской молодежи в Москве, где образовалось два получивших известность кружка, один из которых отражал на себе влияние немецкой философской мысли, а другой — идеи французских социалистов. Во главе этого последнего стояли Герцен и Огарев. Основание кружка было положено осенью 1831 г., когда они перешли на второй курс университета. Мечтой их было основать ядро общества, подобного декабристам, но скоро им попались в руки также брошюры сен-симонистов и изложения процессов их, послужившие для них новым откровением. «Что мы собственно проповедывали, — говорит сам Герцен, — трудно сказать. Идеи были смутны. Мы

проповедывали декабристов и французскую революцию, потом проповедывали сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедывали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедывали ненависть ко всякому насилию, ко всякому правительственному произволу». Однако, доминирующим среди всех остальных элементов является именно социальный: «сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном». С самого появления его, а именно «после 1830 г. социализм произвел сильное впечатление на умы в Москве. В этой доктрине в России видели выражение чувства, более отвечающего основным стремлениям нашей души, чем чисто политические течения, ибо у нас уже привыкли к общине, переделу земель, к рабочим артелям. Свидетели самого крайнего злоупотребления правом собственности, мы были менее возмущены социализмом, чем буржуа Запада». В 1834 г. члены кружка были арестованы и посажены в тюрьму, им поставили в вину намерение образовать тайное общество и заняться сен-симонистской пропагандой и прочитали смертный приговор, после чего сообщили о последовавшем смягчении наказания, в виде ссылки, которая продолжалась пять лет.

За пределы этой небольшой группы новые идеи проникали туго, и гораздо более многочисленен был другой кружок, который увлекался исключительно философскими вопросами. Душой этого кружка был Станкевич, а в состав его входили Боткин, Белинский, Бакунин, Грановский, некоторое время К. Аксаков и Самарин, а позже примкнул и Н. Катков, Кудрявцев, Кавелин и др. Здесь зачитывались произведениями Шеллинга, Фихте и Гегеля, дебатировались вопросы эстетики и литературы, к политическим же и социальным темам относились более чем равнодушно. По словам Анненкова, Герцен и его кружок «смотрели очень подозрительно на Станкевича, Грановского, отзывались враждебно и насмешливо об их занятиях, как о приятном препровождении времени, найденном досужими людьми. Герцен носился на первых порах со своим Сен-Симоном, как с Кораном, и рассказывает в собственных записках, что, явясь однажды к Н. А. Полевому, назвал его отсталым человеком за равнодушный отзыв о реформаторе». В свою очередь другой кружок «принял его (Герцена), довольно холодно и не скрывал, что считает его человеком еще не развитым и отсталого образа мыслей». Как сообщает он сам в «Былом» и «Думах», между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их — сентименталистами и немцами»...

Для характеристики того настроения и взглядов, которые господствовали в этом последнем кружке, чрезвычайно большой интерес представляет письмо Белинского, относящееся к осени 1837 г. «Только в философии ты найдешь ответы на вопросы души твоей, только она даст мир и гармонию душе твоей и подарит тебя таким счастьем, какого толпа и не подозревает,—писал он своему приятелю...—Пуще всего оставь политику и бойся всякого политического влияния на свой образ мыслей. Политика у нас в России не имеет смысла, и ею могут заниматься только пустые головы. Люби добро и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезным. Если бы каждый из индивидов, составляющих Россию, путем любви дошел до совершен-

ства, тогда Россия без всякой политики сделалась бы счастливейшей страной в мире. Для России назначена совсем другая судьба, нежели для Франции, где политическое направление и наук, и искусства, и характера жителей имеет свой смысл, свою хорошую сторону... Если хочешь понять назначение России, прочти историю Петра Великого, — она об'яснит тебе все. Ни у какого народа не было такого государя. Все великие государи других народов ниже Петра... Петр есть ясное доказательство, что Россия не из себя разовьет свою гражданственность и свою свободу, но получит то и другое от своих царей, так как уже многое получила от них того и другого. Правда, мы еще не имеем прав, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россия — еще дитя, для которого нужна нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости... Дать России в теперешнем ее состоянии конституцию, — значит погубить Россию. В понятии нашего народа свобода есть воля, а воля — озорничество. Не в парламент бы пошел освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы пить вино, бить стекла и вешать дворян, которые бреют бороды и ходят в сюртуках, а не в зипунах»...

Когда Герцен после возвращения из ссылки познакомился в 1839 г. с Бакуниным и Белинским, между ними начались ожесточенные прения по поводу увлечения последних тезисом Гегеля: что действительно, то разумно, и что разумно, то действительно. «Знаете ли, что с вашей точки зрения вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать, — сказал Герцен, думая поразить своих собеседников. «Без всякого сомнения», — ответил Белинский и прочел ему «Бородинскую Годовщину» Пушкина. «Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин хотя и спорил горячо, но стал призадумываться... Белинский упрекал его в слабости, в уступчивости и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал собственных приятелей и почитателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока» [1]).

Скоро однако, такое примирение с российской действительностью стало проходить. «Около сороковых годов, — писал впоследствии Герцен, — жизнь из под туго придавленных клапанов стала сильней прорываться. По всей России прошла едва уловимая перемена, та перемена, по которой врач замечает прежде отчета и понимания, что в болезни есть поворот к лучшему, что силы очень слабы, но будто поднялись, — другой тон. Наружно все было мертво, подо льдом, но что-то пробудилось в сознании, в совести, какое-то чувство неловкости, неудовольствия. Ужас притупился, людям надоело в полумраке темного царства».

После смерти Станкевича в 1840 г. и от'езда Бакунина за-границу, где он через два года перешел на сторону левого крыла гегельянцев и примкнул к крайним элементам западно-европейского демократического движения, большая часть членов кружка сблизилась с Герценом и Огаревым, образовав лагерь западников, а другие примкнули к кружку славянофилов с Хомяковым и Киреевским во главе. В то же время значи-

---

[1]) К этому периоду крайняго увлечения Гегелем относятся «Очерки Бородинского сражения», статья о Менцеле и др., о которых впоследствии Белинский сам отзывается с отвращением.

тельно возрос в кругах интеллигенции и интерес к социалистическим теориям, как новому слову западной общественной жизни.

«Когда осенью 1843 г. я прибыл в Петербург, — сообщает П. В. Анненков в своих воспоминаниях, — то далеко не покончил все расчеты с Парижем, напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдашней интеллектуальной его жизни. Книга Прудона, «De la Propriété», тогда уже почти что старая; «Икария» Кабэ, мало читаемая в самой Франции, за исключением небольшого круга мечтательных бедняков-работников, гораздо более ее распространенная и популярная система Фурье — все это служило предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода».

Наиболее деятельным пропагандистом новых идей является в то время М. В. Петрашевский. По словам Дм. Ахшарумова, «это был человек сильной души, крепкой воли, много трудившийся над саморазвитием, всегда углубленный в чтение новых сочинений и неустанно деятельный». За восемь лет до ареста весной 1849 г. у него перебывало, по его собственным словам, очень много лиц, которые раз'ехались потом по разным городам. Обладая хорошей библиотекой, он охотно раздавал книги всем просившим и даже снабжал ими уезжавших. Таким образом, отдельные адепты учения французских социалистов завелись теперь уже и в провинции.

Будучи человеком очень начитанным и желая раздвинуть рамки пропаганды, Петрашевский составил в 1845 г. при содействии литературного критика В. Майкова «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», где раз'яснялась попутно сущность новых социалистических учений. Так, в статье натуральное право об'является «несовершенной и проходящей формой быта... всякое общество, не доставляющее положительно всех нужных средств для всестороннего развития его членов», а в об'яснении слова натуральное состояние утверждается, что «золотой век» лежит не позади, а впереди нас, и что осуществление его будет состоять в «полном благоденствии и счастии всякого человека», при чем делаются ссылки на различные новейшие сочинения, особенно социальные, например, Charles Fourier, Traité de l'association domestique et agricole, или Theorie de lunite universelle...

При нормальном состоянии всякий из членов общества будет получать от него «средства для удовлетворения нужд пропорционально потребностям», а все люди в совокупности явятся полными властелинами живых и действующих сил земли и, таким образом, «все, что считается трудом удручающим, отвратительным, обратится в источник непосредственного наслаждения жизнью». Далее под словом Овенизм излагаются взгляды Роберта Оуэна, слово органическая эпоха дает автору повод изложить теорию Сен-Симона, а слово организация производства — теорию Фурье, «преимущественно замечательную потому, что она не исключает и не приносит ни одного из агентов производства (таковым являются труд, капитал и талант) в жертву другого и через это делает безусловно возможным установление солидарности интересов, нимало не оскорбляя уже установившихся общественных отношений». В слове оракул раз'ясняется, что «учение Христово, в первобытной чистоте своей, нанесло сильный удар всем возможным пифиям и

прицателям, изобличило их хищничество, коварство, деспотизм, и в противоположность тому являет пример бескорыстия, братолюбия, имея основным догматом милосердие, а целью — водворение свободы и уничтожение частной собственности. Как ни прекрасно начало сего учения, но оно еще не получило нормального развития». Благодаря, вероятно, тому, что он был посвящен великому князю Михаилу Павловичу, словарь не обратил на себя первоначально внимания цензуры, и первый выпуск благополучно был выпущен в свет, но второй уже подвергся задержанию, ибо в цензуре нашли, что статьи словаря, составляясь по известной энциклопедии Пьера Леру, проникнуты тлетворными идеями. Несколько позже, в известных записках агента м-ва внутр. дел Липранди, «Карманный словарь» характеризовался уже, как «наполненный ядом социализма, коммунизма и прочих современных безумств».

С начала 40-х годов и Белинский порывает со своим увлечением философией и проповедью примирения с действительностью, вступая в новую, последнюю фазу своего развития. «Проклинаю мое стремление к примирению с гнусной действительностью, писал он Боткину 4 окт. 1840 г.: — Да здравствует разум, да скроется тьма, — как восклицал великий Пушкин. Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества».

Но так как для всестороннего развития личности нужны благоприятные общественные условия, то Белинский весь отдается тому увлечению социальными вопросами, которое охватило тогда передовую интеллигенцию, зачитываясь Жорж-Зандом, Кабэ, Фурье, Прудоном, Луи-Бланом, Фейербахом. Подобно Бакунину он от крайнего правого гегельянства перешел на крайнее левое его крыло. «Я теперь в новой крайности — это идея социализма, которая стала для меня бытием бытия, идеею идей, альфой и омегой веры и знания. Она поглотила и историю, и религию, и философию», — пишет Белинский Боткину в сентябре 1841 г. Социальность — вот девиз, который он выставляет теперь, и «нет ничего выше и благороднее, по его мнению, как способствовать ее развитию и ходу»...

Если раньше он считал либерализм крикливым легкомыслием, а французов — пустым народом, то теперь взгляды его на этот предмет круто изменились. «Идея либерализма в высшей степени разумная и христианская, ибо его задача — возвращение прав личного человека, восстановление человеческого достоинства. Конечно, французы не понимают абсолютного ни в искусстве, ни в религии, ни в знании, да не это их назначение. Германия—нация абсолютная, но государство позорное. Французы же, — говорит он в другом месте, — «энергический, благородный народ, льющий кровь свою за священнейшие права человека».

Увлечение социализмом достигло такой степени остроты, что на этой почве в московском западническом кружке произошло разделение между Герценом и Белинским, с одной стороны, и Грановским—с другой, окончившееся в 1846 г. разрывом.

Как рассказывает, в цитированных уже нами воспоминаниях Анненков, «признавая европейский социализм явлением, которое уже не может быть оставлено без внимания ни историком, ни вообще мыслящим человеком, Грановский смотрел на него как на болезнь века, тем более опасную, что она не ждет и не ищет помощи ни откуда. Социализм,

говорил он, чрезвычайно вреден тем, что приучает отыскивать разрешение задач общественной жизни не на политической арене, которую презирает, а в стороне от нее, чем и себя и ее подрывает». Иначе относились к этому Герцен и Белинский. «Воинственные манифесты социализма, возвещавшие истребительный поход его на европейскую цивилизацию, не приводили их в ужас. Конечно, ни у того, ни у другого не было и помина об усвоении всех его предписаний или о превращении всех его претензий в догматы собственной своей «веры». Но во всяком случае оба они смотрели прямо и открыто в лицо всем симптомам разложения, грозившим, по их мнению, Европе со стороны социализма, не призывая но и не ужасаясь развалин, которые он должен произвести. Они думали, что из пепла старой цивилизации Европы возникнет феникс — новый порядок вещей, как венец и последнее слово ее тысячелетнего развития. Все предчувствия переворота, напротив, тревожили Грановского в высшей степени, и самый переворот, как он представлялся его уму, не вызывал у него ни малейшей симпатии, никаких радужных надежд или ожиданий».

Мало симпатизировал он и тем разрушительным стремлениям в области философии, которые исходили от левых гегельянцев.

«Можно сказать, что нигде книга Фейербаха не произвела такого потрясающего впечатления, как в нашем западном круге, нигде так быстро не упраздняла остатки всех прежних, предшествовавших ей, созерцаний. Герцен, разумеется, явился горячим истолкователем ее положений и заключений, связывая, между прочим, открытый ею переворот в области метафизических идей с политическим переворотом, который возвещал социализм, в чем Герцен опять сходился с Белинским. Но Грановский, с горечью в душе, тронутый сомнениями, отбивался от того последнего слова, которое требовали у него друзья по поводу всех подобных явлений, и не говорил его, силясь сохранить под собой историческую, конкретную основу существования, подмываемую со всех сторон. Наконец, после одного горячего спора он заявил, что не может более итти с прежними товарищами в том направлении, какое было усвоено ими, и вынужден отделиться от них».

В последние годы своей жизни Белинский бывал на собраниях у Петрашевского, и только смерть избавила его от заключения в Петропавловской крепости, где ему уже был приготовлен «тепленький каземат». Нужно заметить, однако, что к этому времени во взглядах его намечается новый поворот, который выделяет его из рядов фурьеристов.

Раньше он, как и большинство русских социалистов, под влиянием критики буржуазного строя со стороны западных утопистов, отрицал всякую положительную роль за буржуазией, и возлагая все надежды на народ, относился отрицательно к его участию в политическом движении. Так, в статье по поводу ром. Е. Сю «Парижские тайны», относящейся к 1844 г., Белинский следующим образом характеризует июньскую революцию. «Королевскими повелениями в 1830 г. была изменена французская хартия, рабочий класс в Париже был искусно приведен в движение партией среднего сословия (bourgeoisie). Между народом и королевскими войсками завязалась борьба. В слепом и безумном самоотвержении народ не щадил себя, сражаясь за нарушение прав, которые нисколько не делали его счастливее и, следовательно, так же

мало касались его, как и вопрос о здоровье китайского богдыхана. Когда дело было кончено ревностью народа, представители (нации) повыползли из своих нор и по трупам ловко дошли до власти, оттерли от нее всех честных людей и, загребая жар чужими руками, преблагополучно стали греться около него, рассуждая о нравственности. А народ, который в безумной ревности лил кровь за слово, за каждый пустой звук, которого значения сам не понимал, что же выиграл себе этот народ? Увы! Тотчас же после июльских происшествий этот бедный народ с ужасом увидел, что его положение не только не улучшилось, но значительно ухудшилось против прежнего. У нас, в России, где выражение «умереть с голоду» употребляется как гипербола, потому что в России не только трудолюбивому бедняку, но и отъявленному лентяю-нищему нет решительно никакой возможности умереть с голоду, — не все поверят без труда, что в Англии и во Франции голодная смерть для бедных — самое возможное и нисколько не необыкновенное дело»... Но впоследствии Белинский уже иначе относится к вопросам политики и не довольствуется также огульным осуждением буржуазии. «Кто же не буржуа?— спрашивает он в письме к Боткину в дек. 1847 г., говоря о письмах Герцена из-за границы. Разве ouvrier, орошающий собственным потом чужое поле. Все теперешние враги буржуазии и защитники народа также не принадлежат к народу и также принадлежат к буржуазии, как и Робеспьер и Сен-Жюст. Вот с точки зрения этой неопределенности и сбивчивости в слове буржуази письма Герцена sont attaquables... Не на буржуази вообще, а на больших капиталистов надо нападать, как на чуму и холеру современной Франции». «Где и когда народ освободил себя, — пишет он Анненкову 15 февр. 1848 г. — Всегда и все делалось через личности. Когда я, в спорах с вами о буржуазии, называл вас консерватором, я был осел в квадрате, а вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной, а народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моем верующем друге (т. е. Бакунине) сказал, что для России теперь нужен новый Петр Великий, он напал на мою мысль как на ересь говоря, что сам народ должен все для себя сделать. Что за наивная аркадская мысль? Мой верующий друг доказывал мне еще, что избави де-бог Россию от буржуази. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази. Польша лучше всего доказала, как крепко государство, лишенное буржуазии с правами».

Для лучшего понимания мысли Белинского приведем еще один отрывок из вышеприведенного письма к Боткину:

«В Англии среднее сословие контрабалансируется аристократией; оттого английское правительство столь государственно, величаво и славно, сколько французское мизерабельно, низко, пошло, мятежно и позорно. Кончится время аристократии в Англии, народ будет контрабалансировать среднему классу, а не то Англия представит собой, может быть, еще более отвратительное зрелище, нежели какое представляет теперь Франция. Я не принадлежу к числу тех людей, которые утверждают за аксиому, что буржуази — зло, что ее надо уничтожить, что только без нее все пойдет хорошо. Так думает наш немец — М. (Бакунин) так

или почти так думает Луи-Блан. Я с ними соглашусь только тогда, когда на опыте увижу государство, благоденствующее без среднего класса, а как пока я видел только, что государства без среднего класса осуждены на вечное ничтожество, то и не хочу заниматься решением а приори такого вопроса, который может быть решен только опытом... Я знаю, что промышленность—источник великих зол, но знаю, что она же—источник и великих благ для общества. Собственно, она—только последнее: зло во владычестве капитала в его тирании над трудом".

Мысль, что при тогдашних условиях русской действительности, т. е. при господстве натурального хозяйства, народ, или—говоря иными словами—крестьянство, не может освободить себя, т. е. что из его недр не может вырости серьезное сознательное экономическое и политическое движение, по существу своему была, несомненно, правильна. Подчеркивая далее прогрессивную роль буржуазии при известных исторических условиях и утверждая, что внутренний процесс гражданского развития в России неразрывно связан с ростом торговли и промышленности и образованием у нас буржуазии в европейском смысле слова, Белинский был так же прав и глядел гораздо дальше, чем не только Бакунин или другие социалисты 40-х годов, но и последовавшие им народники последующих трех десятилетий. Да и одной уже подобной постановкой вопроса об условиях и фактах общественного развитя он далеко обгонял свое поколение, которое занято было пока лишь усвоением „новых слов" с запада и в лучшем случае мечтала об основаниях фаланстеров из крепостных мужиков...

В отличие от фурьеристов Белинский энергично выдвигает теперь на очередь вопрос о гарантиях личности и собственности, т. е. о необходимости установления у нас правового порядка. „Россия видит свое спасение—писал он в своем знаменитом письме к Гоголю—не в мистицизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности, в пробуждении, в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязном навозе".

Правда, политические требования или, вернее, пожелания Белинского были довольно скромны, но нас здесь интересует сейчас не столько подробности программы, сколько общее направление его мыслей. Симпатии его были, конечно, всецело на стороне народных масс, но он вместе с тем видел, что появление их на исторической сцене должно предшествовать усиление среднего сословия (буржуазии) в России. Вот почему мысль о возможности нарождения ее у нас, а также об успехах цивилизации в европейском смысле, не пугала, а радовала его, как залог нашего будущего развития, и в этом отношении он стоит несомненно значительно ближе к позднейшим марксистам, чем к социалистам 40-х годов или последующим народникам...

С от'ездом Герцена за границу московский кружок распался, в Петербурге же социальная пропаганда делала большие успехи, в особенности после революции 1848 г., не замедлив, конечно, обратить на себя внимание м-ва вн. дел.

Зимою 1845—46 г. вокруг М. В. Петрашевского сгруппировался в Петербурге кружок передовой интеллигенции, который сделался как бы центром духовных интересов того времени; здесь собирались по пятницам литераторы, педагоги, чиновники, студенты и др. лица— с тем, чтобы обменяться мнениями относительно всех животрепещущих вопросов современности. С осени 1848 г. на собраниях у Петрашевского читались рефераты: напр., Ястржембский—о политической экономии, Данилевский об учении Фурье, Достоевский читал письма Белинского к Гоголю по поводу выхода его „Переписки с друзьями" и т. п. Подобные же собрания происходили и у других лиц, напр., Кашкина, Европеуса, Дурова, Плещеева, так что образовалось таким образом несколько кружков, отличавшихся оттенками своего направления и составом участников, хотя некоторое число лиц посещало эти кружки.

Несмотря на свой невинный характер, этот под'ем общественной мысли окончился снова жестоким разгромом в виде так называемого «дела петрашевцев». В ночь, с 22 на 23 апреля 1849 г., было арестовано около сорока человек, всего же так или иначе прикосновенными к делу оказалось до 300. В результате двадцать один человек были приговорены военным судом к смертной казни, но затем последняя была заменена им каторгой (Петрашевскому бессрочно, а восьмерым от 2 до 15 лет), арестантскими ротами или же определением в рядовые линейных батальонов. По поводу приговора правит. было опубликовано 22 дек. 1849 г. особое сообщение, являющееся в своем роде единственным. «Пагубные учения, породившие смуты, и мятежи во всей Западной Европе и угрожающие испровержением всякого порядка и благосостояния народов,—говорится там, — отозвались, к сожалению, в некоторой степени, и в нашем отечестве. Но в России, где святая вера, любовь к монарху и преданность к престолу основаны на природных свойствах народа и доселе хранятся непоколебимо в сердце каждого, только горсть людей, совершенно ничтожных, большей частью молодых и безнравственных, мечтала о возможности попрать священнейшие права религии, закона и собственности».

Приговор поражает своей суровостью и долгое время заставлял предполагать о существовании какого-то заговора для испровержения «государственного строя», в действительности же, однако, ничего подобного не было. По сообщению Кузмина, шеф жандармов Орлов в своем докладе императору указывал, что никакого общества под председательством Петрашевского не существует, что 3 отделение имеет на собраниях своего агента, но из его докладов видно, что ничего мало-мальски преступного там нет. «Как, — возразил Николай I, — а разговоры? Какие разговоры, настоящие парламентские прения об освобождении крестьян, уничтожении цензуры, заседании присяжных, разве имеют право эти мальчишки рассуждать об этом». Но министерству вн. дел хотелось увидеть в указанном кружке не разговоры, а заговор, и они всеми силами старались раздуть дело. Это ему удалось, однако, наличность заговора не была установлена, и после 8 мес. расследования. По свидетельству Корфа, высшие круги скоро убедились, что дело петрашевцев «отнюдь не имело ни такой важности, ни такого развития, какие вначале придали ему городские слухи. Покушений или приготовлений к бунту с достовер-

ностью открыто не было. Члены следственной комиссии называли его заговором идей, чем и об'яснялась трудность дальнейших раскрытий, ибо если можно обнаружить факты, то как же уличить в мыслях, когда они не осуществились еще никаким проявлением, никаким переходом в действия». В том же духе отзывается и один из пострадавших Дм. Ахшарумов, в политическом отношении настроенный гораздо радикальнее, чем многие другие. «То, что в 49 г. вменялось нам в вину и за что после 8 месяцев одиночного заключения полевым уголовным судом мы были приговорены к смертной казни расстрелянием, — в настоящее время показалось бы маловажным и не заслуживающим никакого преследования; у нас не было никакого организованного общества, никаких общих планов действия, но раз в неделю у Петрашевского бывали собрания, на которых вовсе не бывали постоянно одни и те же люди; иные бывали часто на этих вечерах, другие приходили редко, и всегда можно было видеть новых людей. Это был интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей литературы по различным отраслям знания; приносились городские новости, говорилось громко обо всем, без всяких стеснений».

Посмотрим теперь поближе, каков же был характер идей, которыми проникнуты были участники этих кружков. На собраниях не только у Петрашевского, но и у Дурова и др. лиц часто велись разговоры об уничтожении крепостного права, цензуры, и старого суда, но это были вопросы, в которых сходились все вообще мыслящие люди независимо от направлений. Мало того, через несколько лет правительство само поставило эти вопросы на очередь и приступило к практическому их разрешению.

То, что было характерно для передовой интеллигенции конца 40-х годов, лежало не в этой плоскости, а дальше, в области увлечения социалистическими теориями Запада, в особенности системой Фурье. «Вместо названия петрашевцев, — говорит Ахшарумов, — более подходящим для нас было бы название «русских социалистов» 1849 г., в смысле тогдашнего идеального направления различных социальных учений во Франции».

Таков был, несомненно, и сам Петрашевский. Как мы уже видели выше, приверженцем системы Фурье он был уже давно. После ареста, при первом же допросе, М. В. заявил, что он фурьерист и желает улучшения общественного строя, что учение Фурье — не утопия, но может осуществиться в 5—6 лет, как в это верил, и сам автор «теории четырех движений». В письменном показании, данном через несколько дней, он снова называет себя и остальных товарищей по заключению фурьеристами и указывает, что они желали «только мирного развития общественного быта» и что для из'яснения выставленных против него обвинений нужно назначение не следственной, а ученой комиссии, которая могла бы их разобрать с научной точки зрения. Далее он писал, что он вовсе не имел «умысла на бунт», в котором его обвиняют, не признает, «что желал полной и совершенной реформы быта общественного и фаланстер считал ключом, пробным камнем таковой реформы».

Из воспоминаний Зотова видно, что Петрашевский действительно пытался зимой 1846—47 г. применить свои идеи на практике в принадлежащем ему поселке Новгородской губ.; он проектировал выстроить

одну просторную избу, где бы поместились все семь семейств его крепостных, каждое в отдельной комнате, но с общей кухней и такой же залой для общих зимних работ и посиделок, с надворными постройками и амбарами для домашних принадлежностей, запасов и инструментов, которые также должны были быть общими, как и все вообще крестьянское хозяйство. Однако, опыт кончился неудачно, несмотря на обещание купить заново все необходимые сельские орудия и домашнюю утварь, накануне переселения в «фаланстер» мужики сожгли его со всеми постройками.

Это, однако, не обескуражило Петрашевского, и он еще впоследствии, говорил Черносвитову, что надеется увидеть на своем веку фаланстер, и жить в нем. После ареста, в числе мер, полезных для России, он предлагал правительству дать для устройства образцового фаланстера под Парижем 2 милл. руб. ассиг. — «из французских фондов, у нас имеющихся, под соответственные проценты».

Среди остальных членов кружка также было немало ревностных фурьеристов, не говоря уже о просто сочувствующих или интересующихся. Мы «восхищались сочинением и в его системе, в осуществлении его проекта организации труда видели спасение человечества от всяких зол, бедствий и напрасных революций», говорит Дм. Ахшарумов о себе и своих товарищах по процессу. Целью собраний у Кашкина было изучение «систем социалистических и коммунистических, но преимущественно системы Фурье, и применение их к быту России».

В дуровском кружке было также «несколько жарких социалистов». Увлекаясь туманными утопиями европейских реформаторов, они увидели в их учениях начало новой религии, долженствующей будто бы пересоздать человечество и устроить общество на новых началах.

Теперь возникает интересный вопрос, каково же было отношение петрашевцев и вообще тогдашних социалистов к политике: считали ли они тогдашний государственный строй неустранимым препятствием для осуществления своих идеалов, или же вопрос о форме правления представлялся им несущественным? Как известно, западные утописты относились к политической борьбе или равнодушно, или отрицательно. Сен-симонисты считали либерализм политическим и религиозным протестантизмом, т. е. принципом отрицательным и потому неспособным лечь в основу нового общественного строя, а их журнал, «Productens» отрицал народовластие. Р. Оуэн предостерегал своих последователей от увлечения политической агитацией, доказывая, что завоевание всеобщего избирательного права отнюдь не подвинет вперед дело образования трудовых ассоциаций.

Это настроение учителей не могло не отразиться и на русских учениках. Характерную эволюцию в этом отношении пережил Герцен. Четырнадцатилетним мальчиком он плакал над декабристами и давал клятву отомстить их гибель; события политической жизни Европы, революция, увлекали и воодушевляли его. Но по мере того, как знакомился он с новейшими социальными учениями, это увлечение стало отходить на задний план. «Детский либерализм 1826 г. сложившийся мало-по-малу в то французское воззрение, которое проповедывали Лафайет и Бенжамен-Констан, пел Беранже, терял для нас, после гибели Польши, свою чарующую силу... Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему». В переписке следственной комиссии по делу

о петрашевцах приводятся отрывки из черновых набросков Петрашевского, где он высказывает свое политическое credo: правление должно быть представительное, республиканское», но только это относится к 1840 г. Когда же он стал фурьеристом, деятельный интерес к политике ослабел у него. «К реформам управления, по свидетельству Достоевского, приводимому Ор. Миллером (см. Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского) он был совершенно равнодушен; господствующей идеей его был Фурье, Сен-Симонизм, учение Оуэна, Икария Кабэ». «Это был восторженный приверженец всех теорий социализма, наивно веривший в возможность их осуществления даже на русской почве», — так характеризует Петрашевского Зотов, лично его знавший.

Как видно из предыдущего, идеи западных утопистов нашли у нас в середине XIX века, столь широкое распространение, что Грановский говорил о них, как о болезни века. Жестокие репрессии 1849 г. разрядили атмосферу этого напряженного интереса и помешали ему проявиться в форме практических социальных опытов, и хотя впоследствии фурьеризм нашел себе новых пропагандистов, но время для него уже прошло. На нашей почве утопический социализм переродился в особую своеобразную форму и, в этом виде обнаружил большую живучесть, сохраняя свое влияние над умами, еще в течение долгого времени после того, как на Западе утопизм уступил свое место реалистическому мировоззрению Маркса-Энгельса. Родоначальником этого русского утопического социализма является Герцен, но, как это ни странным может показаться на первый взгляд — фундамент для него был заложен несколько раньше не кем иным, как крайним прусским консерватором и тайным советником Гакстгаузеном. Совершив в 1843 г. путешествие по России, он первый высказал в своей книге, — Studien über die inneren Zustände, das volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands — мысль о близости своеобразных особенностей ее экономического строя с новейшими социальными стремлениями Запада. «Община обеспечивает России неизмеримые выгоды, так как там до сих пор нет никакого пролетариата, да последний и не может образоваться, пока существует общинный строй». Благодаря этому ей «нечего бояться тех революционных направлений, которые в настоящий момент угрожают Европе—папеуризма, пролетариата и доктрин сен-симонизма и социализма, ибо она в этом отношении представляет здоровый организм». «Во всех других странах Европы глашатаи социальной революции подкапываются под богатство и собственность: уничтожение права наследства и равномерное распределение земли — вот лозунг этих революционеров. В России такая революция невозможна, так как утопии европейских революционеров в этой стране получили в народной жизни свое полное осуществление». Не правда ли, какая удивительная страна! Но для того, чтобы прийти к такому выводу, барону Гакстгаузену пришлось сделать довольно существенную передержку: говоря о равномерном распределении земли, европейские социалисты говорили вместе с тем и о переходе ее в собственность всего народа, русская же община хозяйничала лишь на меньшей части земли, а большая часть ее находилась в руках помещиков, они говорили об освобождении труда, в тогдашней же России общинные порядки совмещались с эксплоатацией крепостного труда. Несмотря на эти и другие несообразности и общий свой утопический дух

или, может быть, именно благодаря этому (до тех пор, пока экономическая критика не выяснила фактическую несостоятельность вышеуказанных положений), книга немецкого путешественника произвела большое впечатление на умы того времени.

Следы этого влияния заметны уже на некоторых из петрашевцев. Так А. Милюков, рассказывая о собраниях у Дурова, говорит: «Все мы изучали (западных) социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществления их планов. В числе последних был Ф. М. Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учения была цель благородная; он, однако-ж, считал их только честными фантазерами. В особенности настаивал он на том, что все эти теории для нас не имеют никакого значения, что мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа, где в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы более прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона и его школы. Он говорил, что жизнь в икарийской коммуне представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги». И, по свидетельству Дебу, даже ревностные фурьеристы обратили внимание на общину, с которой их познакомил Гакстгаузен.

Конечно радикальная интеллигенция не могла разделять его мнения, что у нас в России мечты европейских социалистов нашли уже «свое полное осуществление»: ужасы крепостного права и николаевского деспотизма были слишком хорошо знакомы им для этого [1]). Но она обеими руками ухватилась за высказанную им мысль, что благодаря указанным особенностям своего экономического быта Россия стоит ближе к конечному осуществлению идеала, чем Западная Европа. Главным образом, в этом именно обстоятельстве, а не только во влиянии западных утопистов и неудаче декабристского движения, и нужно — по нашему мнению — искать об'яснение тому в высшей степени важному факту, что русская социалистическая интеллигенция на долгое время становится равнодушной к борьбе за политическую свободу.

XX. Из материалов о петрашевцах.

1. Речь Д. Д. Ахшарумова на обеде в честь Фурье. (Из брошюры В. И. Семевского: „Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М. Е. Салтыкова“).

«Жизнь, как она теперь, — тяжела, и гадка; мы все несчастны; и можно ли быть счастливым в этом обществе, в котором мы живем? И так как порядок установленный противоречит главному, основному назначению нашей человеческой жизни, как и всякой другой, то он непременно рано или поздно прекратится, и вместо него будет новый, новый и новый. Когда — вот это важный вопрос, и мы можем только отвечать, что скоро. Уже тот факт, что мы сознаем недостатки, ошибки в устрой-

[1]) Характеризуя книгу Гакстгаузена, как «очень интересную», Герцен называет ее вместе с тем «бешено реакционной».

стве нашей жизни, и уже представляется нам в общих чертах новая жизнь, — этот самый факт доказывает, что началось время его разрушения. И рухнет и развалится все это дряхлое, громадное вековое здание, и многих задавит оно при разрушении и из нас, но жизнь оживет, и люди будут жить богато, раздольно и весело. — Мы в столице безобразной, громадной, в чудовищном скопище людей, томящихся в однообразных работах, испачканных грязным трудом, пораженных болезнями, развратом, в скопище разрозненном семействами, которые вредят друг другу, теряют время и силу и обедняются в бесполезных трудах. И там, за столицею, ползут города; единственная цель, высочайшее счастье для них — сделаться многолюдным, развратным, больным, чудовищным, как столица! — В эти дни, в этом самом обществе, мы собрались сегодня не для жалоб, но, напротив, полны надеждой, торжеством... Мы даем обед и празднуем грядущее искупление человечества, — сегодня, именно сегодня, в день рождения Фурье, чтим его память, потому что он указал нам путь, по которому итти, открыл источник богатства, счастья. Сегодня — первый обед фурьеристов в России, и все они здесь: десять человек, немногим более. Все начинается с малого и растет до великого. Разрушить столицы, города и все материалы их употребить для других зданий, и всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах — вот цель наша. Мы здесь, в нашей стране, начнем преобразование, а кончит его вся земля. Скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий».

II. Из записки о действиях секретной следственной комиссии. (Из сборника «Петрашевцы». М. 1901 г. 17-го мая).

Вашему сиятельству [1]) угодно было изъявить желание, чтобы для высочайшего сведения государя императора о сущности раскрытий, делаемых комиссиею, учрежденною над чиновником Буташевичем-Петрашевским и лицами, арестованными по их сообществу с ним, я представлял краткое описание ее действий еженедельно.

Вследствие сего, я вменил в обязанность начать изложением в прилагаемой записке того, что исполнено комиссиею со дня учреждения ее до настоящего времени.

Записка о действиях секретной следственной комиссии, высочайше учрежденной над чиновником Буташевичем-Петрашевским и его сообщниками.

С 26-го апреля по 16-е мая.

Комиссия открыла свои заседания 26-го апреля и занималась до настоящего времени предварительными расспросами всех лиц, пере-

[1]) Шеф жандармов, граф Орлов.

данных ей в числе 40 для произведения над ними следствия. Кроме сих лиц, основываясь на их показаниях, комиссия сочла необходимым сделать распоряжение об арестовании студента спб. университета Ханыкова и коллежского секретаря Европеуса, а также об опечатании бумаг у некоторых других лиц, находившихся с ними в близком знакомстве.

Расспросы вполне подтвердили правильность разысканий, сделанных полицией и верность, с которою они изложены в сведениях, по высочайшему повелению переданных комиссии. Об'яснение же Ханыкова и Европеуса послужили доказательством, что они не могли оставаться на свободе.

Европеус, во-первых, давал 7-го апреля обед в честь Фурье, так как это был день рождения сего последнего. На обеде находились Ханыков, Ахшарумов, Петрашевский, Спешнев, два брата Дебу, Есаков и Ващенко; из них первые три говорили речи, о коих будет упомянуто ниже. За сим Европеус сам об'яснил, что он, действительно, изучал Фурье, но понимает его за человека, который желает всему миру такого счастья, какое только может быть ему дано, и что чрез несколько дней после обеда все участвовавшие в оном согласились перевести Фурье на русский язык.

Ханыков показал, что у него была мысль применить учение Фурье к России. Речь, произнесенная им на обеде Европеуса, найдена в бумагах Петрашевского и заключает в себе, между прочим, следующие места:

(Пропуск в подлиннике).

Ахшарумов об'яснил, что Петрашевский получил новый взгляд на жизнь чрез чтение социальных книг, старался передать свои мысли знакомым и, имея в виду лучшее устройство общества, не желал, однако же, насильственного переворота, но всегда советовал действовать убеждением. О себе собственно он присовокупил, что, увлекшись идеями Фурье, он думал, каким образом применить их к России, и помышлял даже о побуждении правительства к принятию их. Вот некоторые отрывки речи, говоренной им на обеде Европеуса:

(Пропуск в подлиннике).

Впрочем, Ахшарумов, повидимому, чистосердечно раскаивается во всех своих преступлениях.

Петрашевский с дерзостью просил комиссию сообщить ему, в чем он обвиняется, ибо если он и желал лучшего в нашем управлении, то это желание преступлением считать нельзя. По мнению его, законы наши хороши, но исполнение их порочно, учение же Фурье едва-ли утопия, и лет чрез пять или шесть может осуществиться. Вообще, ответы его были смелы и неудовлетворительны. Речь его у Европеуса начиналась следующими словами: «Явясь среди вас, господа, и получив право речи, как один из старейших, сколько мне известно, пропагаторов социализма, я осмелюсь предложить вам тост, который выразит содержание речи, именно, тост за знание действительности».

(Пропуск в подлиннике).

Из частных показаний других лиц, именно: Кашкина, Дебу 1-го Дебу 2-го, Кайданова, Плещеева, Ястржембского, Момбелли, Кузьмина,

Достоевского 1-го, Ламанского и Модерского обнаруживается, что на вечерах у Петрашевского разные государственные вопросы рассматривались в духе социализма, что там рассуждали о пользе вооружить подчиненных против начальства, дабы потом ввести улучшения в административной части, что иногда разговоры касались и до устройства в России конституционного правления, что три главные предмета, обращавшие на себя внимание собраний, были: свобода книгопечатания, перемена судопроизводства и освобождение крестьян. С особенной резкостью говорили о двух последних Петрашевский и Головинский (студент, назначенный стряпчим в Казань), но Головинский уверял комиссию, что суждения о сих предметах он не полагал противозаконными, так как само правительство ими занималось; что ученик Толь развивал вопрос о религии по системам Штрауса, Фейербаха и Базера, доказывая, что религия подавляет образование ума и заставляет человека быть добрым и полезным своему ближнему не по собственному убеждению, а по чувству страха наказания; что иногда у Петрашевского порицали действия высших сановников и даже самого государя, и что собрания, подобные тем, которые постоянно назначались у Петрашевского по пятницам, бывали изредка у Кашкина, Кузьмина и братьев Дебу.

Кроме того, некоторые лица, как-то: Кошелев, литератор Толстов, студент и другие, с'езжались у мещанина Петра Григорьева Шапошникова, державшего табачную лавку на Петербургской стороне. Кошелев сознался, что он не признавал христианской веры, отвергал власти правительства и в пьяном виде мог сказать что-либо дурное о самом государе, присовокупив, что от Петра Григорьева он слышал возмутительные речи и суждения о народном правлении.

Григорьев с своей стороны утверждал, что он никакого злого замысла никогда не имел, но что Толстов, зная его желание сделаться актером, отговаривал его от этого намерения и вызывался дать ему другую деятельность, сказав однажды, что дар слова его, Шапошникова, нужен будет для площади и что он может быть со временем значительным человеком, если будет его слушаться (Толстов показание это отвергает). О Кошелеве же Шапошников добавил, что он один раз сказал ему в пьяном виде, что он готов убить...

Все прописанные создания рождают прискорбное убеждение, что социальные идеи развиваются в разных сословиях и в России, что собрания Петрашевского, в которые принимались люди всякого разбора, другие — фурьеристов, т. е. Кашкина и Европеуса, коих состав был несколько приличнее, и третьи, повидимому, довольно малочисленные, мещанина Григорьева, отличались вообще духом, противным правительству, что, наконец, они клонились к изменению существующего порядка вещей. Но принадлежали ли сии собрания к разряду тайных организационных обществ, это до сих пор не доказывается никакими положительными данными; равным образом еще не видно, имели ли они какие-либо сношения внутри России или за границей.

Впрочем, так как бумаги, опечатанные у арестованных и некоторых других подозреваемых лиц, окончательно еще не рассмотрены, наблюдения же за действиями сих последних продолжаются, то, может быть, при терпеливом старании откроется еще много доселе неизвестное.

С настоящего времени комиссия приступит к допросам по законным формам, т. е. предложит лицам, находящимся под следствием, письменные вопросные пункты, приняв для составления их за основание как собственные предварительные показания тех лиц, так и содержание найденных у них бумаг.

С 16-го мая по 23-го мая.

Продолжая расспросы арестованных лиц, комиссия употребляла всевозможные старания, дабы открыть, не составляли ли они какое-либо тайное общество, но никто из них до сего времени в этом не сознался. Между тем из ответов Ахшарумова оказалось, что у Петрашевского бывал еще брат содержащегося ныне в крепости отставного капитан-лейтенанта Тимковского, тит. сов. Константин Тимковский, находящийся в Ревеле, и что на одном вечере он говорил речь о социализме, а на другом — о средствах действия и влияния на общество, предлагая солидарность между всеми знакомыми Петрашевского, т. е. взаимное вспоможение и покровительство по службе для занятия высших мест, а также, чтобы каждый давал отчет о том, что он сделал в известное время.

Имея столь вредные внушения в виду, комиссия немедленно просила распоряжения об арестовании в Ревеле означенного Тимковского, и вслед за сим при разборе бумаг Спешнева, как бы в подтверждение принятой ею меры, нашла три письма того самого Тимковского, в которых он уведомляет, что им учреждены в Ревеле два круга, что он там деятелем, но нуждается в книгах, что Бекл... (по словам Спешнева, это должен быть Беклемишев, которого также приказано арестовать чрез нарочно посланного в Ревель жандармского офицера) написал ряд писем «к помещику», а сам он занимается переводами. Кроме того, Тимковский упоминает о непонятном к нему письме Петрашевского, коего содержание полагает известным Спешневу, и просит сообщить ему об оном свое мнение.

Спешнев уверяет, что об этом письме он ничего не знает и что действия, о коих извещал его Тимковский, относились не до предприятий против правительства, а до распространения учения Фурье, но и это показание обнаруживает преступные намерения, соответствующие гнусному духу, господствующему в разных бумагах, опечатанных у Спешнева.

Одна из них, между прочим, есть обязательная подписка для поступления в какое-то русское тайное общество, и хотя Спешнев клянется, что это был только проект, написанный им тому несколько лет, давно им забытый и никогда им никому не показанный, и тоже что подобного общества никогда не существовало, но означенная подписка заслуживает особенного внимания.

С 23-го по 30-е мая.

По доставлении в крепость арестованного в Ревеле отставного капитан-лейтенанта Тимковского, комиссия немедленно приступила к дознанию всех обстоятельств, по которым он навлек на себя подозрение.

Тимковский сознался, что он действительно привержен к учению социальному, но присовокупил, что по его понятиям учение это имеет

целью не перемену в государственном управлении, а устройство труда и что, убеждаясь в пользе его, он думал современем предложить правительству, не признает ли оно возможным осуществить оное. Кроме того, из об'яснений его оказывается, что он, Тимковский, Спешнев и Данилевский [1]) более других изучили социализм и полагали втроем распространять его; что в речи, которую он говорил на одном из собраний Петрашевского, рассуждая о солидарности между членами того собрания, он разумел взаимное вспоможение друг другу не в политическом смысле, а по развитию науки; и что хотя в письме к Спешневу он и упоминал о составленных им в Ревеле двух кругах, но что он не так выразился, ибо им только полагалось искать людей, дабы устроить подобные круги.

Это самое подтвердил и Беклемишев (надв. советник мин. вн. дел), равным образом привезенный в крепость из Ревеля. Он об'яснил, что Тимковский точно много говорил даже с ним о социализме, коммунизме, фурьеризме и других новых системах, господствующих в Европе, но что образование кругов в Ревеле есть ложь, на которую он, вероятно, решился, будучи весьма хвастлив и самолюбив.

О себе собственно Беклемишев добавил, что он занимался наиболее часто земледельческими вопросами, вместе с тем, однако, и вопросом об освобождении крестьян; у Петрашевского же был только один раз и удостоверяет честью, что никаких никогда противозаконных замыслов не имел.

Спешнев не отказывается от того, что прежде он мечтал о бунте и потом о пропаганде, но говорит, что это было только предметом его размышлений без применения к делу. До сего времени все расспросы заставляют полагать, что ни обязательная подписка о русском обществе, найденная в его бумагах и написанная им, как он говорит, тому несколько лет, ни существование подобного общества никому из арестованных не были известны. Впрочем, Спешнев просил еще несколько дней сроку, дабы представить комиссии письменное о себе об'яснение.

При разборке бумаг упомянутых лиц оказалось несколько таковых, самого преступного содержания, и у поручика Момбелли.

Момбелли признался, что эти бумаги писаны действительно им, и когда ему предложили прочесть их, он просил, как милость, чтобы ему позволили их не читать. Впрочем он, кажется, искренно чувствует себя в высшей степени виновным.

О цели собраний Петрашевского Момбелли показал, что определить ее положительно невозможно, но что они клонились к распространению фурьеризма посредством чтения книг, до этой системы относящихся.

Сам Петрашевский при втором расспросе показал, что убеждение его в истине и пользе системы Фурье несомненно, но что он никаких переворотов насильственными средствами в виду не имел. В письменном же об'яснении изложил, что для исследования возникших против него обвинений надлежало бы назначить не следственную, а ученую комиссию, которая бы могла разобрать все предметы сих обвинений

[1]) Об арестовании Данилевского распоряжение сделано, но так как его в Петербурге нет, то за ним послано в Москву.

в видах науки. Кроме того, полагая, что в настоящей комиссии так называемый им штатский член есть директор или вице-директор департамента полиции исполнительной министерства внутренних дел, коего имя ему неизвестно, он просил об удалении его, но потом извинился в своих словах, узнав, что это д. т. с. П. П. Гагарин [1]).

В бумагах студента Филиппова найдены также некоторые из них, составленные в возмутительном духе. Особенное внимание обращают на себя следующие строки:

(Пропуск в подлиннике).

Филиппов показал, что это толкование написано им давно, в один вечер «под каким-то странным влиянием, может быть, под влиянием разговоров Петрашевского».

О собраниях сего последнего он об'яснил, что они продолжались в течение 5-ти лет, что лица, бывавшие на них, переменялись, что там обсуждались действия правительства и указывались те реформы, которых должно желать, но вообще же ни из его дальнейших об'яснений, ни из показаний прочих арестованных лиц нельзя и до сих пор иметь верных оснований к заключению, что они составляли устроенное тайное общество.

С 30-го мая по 6-ое июня.

В предшествовавшей записке было сказано, что Спешнев просил у комиссии несколько дней сроку, дабы представить о себе об'яснение письменно.

Он исполнил это и, сколько можно судить по содержанию об'яснения, изложил его добросовестно. Из него видно, что Спешнев, проведя некоторое время за границею, возвратился в Россию, проникнутый коммунистскими идеями и мечтами о способах в том же духе произвести переворот и в нашем общественном быте. Он познакомился с Петрашевским, Кашкиным, Плещеевым и другими приверженцами социальных систем, участвовал на их собраниях (которые без намерения назывались комитетами или сходками) и принимал тех же лиц у себя. Впрочем, собрания эти занимались большей частью разбором означенных систем, разных политических вопросов и улучшений, которые могут у нас быть введены, а не насильственными какими-либо действиями против правительства. Если же в видах Петрашевского произошла перемена, то, по словам Спешнева, это должно было случиться с конца 1848 года, т. е. с тех пор, как у Петрашевского появился некто Черносвитов, отставной офицер, одаренный умом, познаниями и красноречием. Он старался внушать мысль, что либерализм и социализм — одно и то же, рассказывал, что Восточная Сибирь (где он, кажется, имеет постоянное местопребывание) совсем отдельная страна от России, богатая, прекрасная, которой верно когда-нибудь

[1]) Во время заточения своего в крепости, Петрашевский нашел способ отломанным от вентилятора кусочком жести писать на обломках верхнего клеевого слоя стенной штукатурки. Обломки эти у него отобраны, и посредством увеличительного стекла открыто, что на них написаны разные подозрительные слова и фразы, как-то: courage, patience, требовать очных ставок, не верить письменным показаниям и т. п. Петрашевский об'явил, что слова эти имели целью предостережение других содержащихся в крепости в описании их и его личности.

суждено быть отдельной империей, и вообще даже первыми разговорами своими породил в слушателях свое мнение, что он или шпион, или глава какого-нибудь тайного общества.

На последующих свиданиях Черносвитов, между прочим, говорил: «Ну, вот, посмотрите, господа, не может быть, чтобы в России не было тайного общества — все пожары в 1848 году, да то, что в низовых губерниях было, — все это доказывает существование тайного общества, только люди они осторожные, молчащие», а в другой раз: «Что все сосланные в Сибирь глупы, что они на той точке и остались, как были, что о фурьеризме и социализме и слышать не хотели», и потом спросил Спешнева: «Какая бы, по его мнению, была самая теперь полезная реформа в России». На это Спешнев ответил: «Реформа крепостного состояния», а Черносвитов сказал, что и он то же думает.

Кроме того, однажды на слова Спешнева: «Ведь вы же сами говорили, что должно быть общество», Черносвитов возразил: «Ну да, я это так по соображению из'яснил, вы же только намекните мне, где оно. Здесь или в Москве». И когда Спешнев сказал: «Ну, разумеется в Москве», Черносвитов промолвил: «Не знаю, Москва тоже мне немного известна, а впрочем, может быть».

При новой встрече Черносвитов спрашивал Спешнева про план действия и на отзыв, что плана собственно еще нет, стал намекать, «что восстание должно ожидать не на Волыни, ибо там войска много, разве будет заграничная война, а на Пермских заводах, где 400 тысяч народа, оружие под рукою и все только и ждет первой вспышки, что сначала, однако же, надобно, чтобы загорелось возмущение в Восточной Сибири, что если туда пошлют корпус, то едва он перейдет Урал, как Урал восстанет, и тогда весь корпус останется в Сибири; что затем с 400 тыс. заводских людей можно кинуться на низовые губернии и на землю Донских казаков, что на потушение этого потребуются все войска, если же к тому присоединится бунт в Петербурге и в Москве, так и все кончено; что для приготовления всего к восстанию нужно по крайней мере год; но что, впрочем, можно в теперешнем положении продержать это еще лет пять-шесть».

Наконец, пригласив к себе Спешнева и Петрашевского, Черносвитов сказал им: «Ну господа, ведь теперь дело надо вести на чистоту», и затем, поворотив разговор на то, что ему говорено было Спешневым относительно тайного общества в Москве, спросил: «Не существует ли чего в гвардии» и на отрицательный отзыв присовокупил: «А это было бы очень важно».

Спешнев уверяет, что его собственные ответы Черносвитову не имели никакого основания, а клонились только к тому, чтобы разведать его мысли и что после последнего их разговора втроем с Петрашевским он с ним совершенно расстался.

Петрашевский подтвердил вполне показание Спешнева о Черносвитове и прибавил, что влияние, произведенное сим последним на него, было, как ему «кажется, более схоже с влиянием человека возмутительного и желающего возмущения». При том об'явил, что в продолжение последнего разговора, о коем выше сего упомянуто, Черносвитов, между прочим, также сказал: «Надобно всех запереть

и разом хватить»; он, на вопрос комиссии о значении этих слов, отвечал: «Что смысл их сам собою об'ясняется и не может быть другой, как относящийся к высшему правительству без исключения».

Насчет дальнейших замыслов и действий Черносвитова ни Спешнев, ни Петрашевский ничего не могли сообщить, и оба удостоверяют, что по от'езде его из С.-Петербурга, откуда он отправился в Москву и Ярославль, никаких с ним сношений не имели.

Об арестовании Черносвитова там, где его можно будет найти, распоряжение сделано. Такая мера принята и относительно студента Латкина, который ввел его в дом Петрашевского.

Независимо от выше прописанного, Спешнев из'яснил, «что в декабре 1848 года Момбелли предлагал ему у Петрашевского составить товарищество для взаимного поддерживания друг друга, так как авторитет — важная вещь в обществе, что на это согласился один Петрашевский, что через несколько времени Момбелли развивал свою мысль и предлагал образование капитала посредством вкладов, считая сии вклады нужными более для узнания числа членов, которые согласились бы поступить в товарищество; что кассу полагал Момбелли вверить комитету, а комитет составить из основателя общества, т. е. его самого, Петрашевского, Спешнева и приглашенных к совещанию об этом предмете Львова и Дебу 1-го; что в общество он думал приглашать социалистов вообще и людей передовых мнений, что после этого он, Спешнев, написал план тайного общества, коего главные основания суть следующие:

«Есть три внеправительственные пути действий: иезуитский, пропагандный и восстание, — каждый из них неверен и от того больше шансов, если взять все три дороги. Для этого надобно один центральный комитет, которого занятие будет состоять в создании частных: 1) комитета товарищества, 2) комитета для устройства школ пропаганды фурьеристской, коммунистской и либеральной, и, наконец, 3) комитета тайного общества на восстание».

Означенный план Спешневым сожжен и никакого исполнения не получил, но тем не менее, он почел обязанностью о нем комиссии об'явить и кончил об'яснение свое словами: «Теперь я исполнил свой долг. Вот моя полная исповедь. Я виноват, и меня следует наказать».

Обо всех обстоятельствах, относящихся до предложений Момбелли, допросы начнутся немедленно.

Кроме Спешнева, в комиссию представил об'яснение и студент Филиппов, которому отец его написал самое благородное и назидательное письмо, требуя, чтобы он об'явил о себе всю истину. Родительская воля тронула его глубоко, и он, как кажется, покорился ей чистосердечно, ибо показания его, хотя не новые для комиссии, вообще справедливы. Между прочим, как из его об'яснения, так и из об'яснения Спешнева оказывается, что они предполагали завести домашнюю типографию для распространения своих понятий и печатания запрещаемых цензурою статей. Все вещи для этой типографии были уже готовы и привезены к Спешневу, за несколько дней до его арестования.

Формальные допросы по пунктам произведены Бернардскому, Кузьмину 2-му, Берестову, Щелкову и Есакову. Они заключают в себе и обстоятельства уже известные и подают повод к убеждению, что между лицами, находящимися в крепости, есть и маловиновные. Так, например, отставной лейтенант Кузьмин был у Петрашевского один только раз, ни о чем предосудительном там не говорил и ничего преступного не писал, но комиссия не признает себя вправе ходатайствовать о дозволении освобождать даже и подобных людей впредь до положительного раз'яснения всех подробностей производимого ею следственного дела.

С 6-го по 13-е июня.

Комиссия, имея в виду показание Спешнева о предложении, сделанном в декабре 1848 года поручиком Момбелли насчет составления товарищества для взаимного поддержания друг друга, производила самые подробные допросы по этому предмету лицам, которые кроме Спешнева должны были участвовать в означенном товариществе, именно Момбелли, Львову, Петрашевскому и Дебу 1-му.

Из этих допросов оказывается, что мысль об образовании товарищества была действительно предложена поручиком Момбелли; но, по его словам, она первоначально имела основанием только взаимное вспомоществование друг другу в разных случаях жизни, обращение же этого товарищества в политическое общество внушено уже после Спешневым с той целью, чтобы воспользоваться переворотом, который должен будто бы сам собой произойти в России через несколько десятков лет, подобно тому, как это случилось в западных государствах Европы.

Что помянутое общество полагалось составить из «прогрессистов», которые могли бы двинуть гражданский быт вперед на новых началах; что для управления обществом предназначался комитет из учредителей оного, т. е. из Момбелли, Спешнева, Петрашевского, Львова и Дебу 1-го; что всякий член общества должен был делать денежный вклад, дабы из капитала, который таким образом, составится, помогать тому из членов, который бы по какому-либо случаю попался (это выражения Петрашевского и Дебу); что кроме плана Спешнева, о котором упоминалось в предшествовавшей записке, формы общества излагались и Львовым. Они состояли, между прочим, в том, чтобы сначала было принято в оное не менее 9 или 11 человек, и когда после составятся афильяции, то чтобы в каждой из них было по два главных члена; и что Петрашевский читал на собраниях у Спешнева о необходимости образования по системе Фурье, которая об'ясняет множество предметов и дает средства приготовить людей к тому времени, когда они будут нужны.

Дебу и согласно с ним Петрашевский присовокупили, что по предложениям Момбелли надлежало также порицать меры, предпринимаемые правительством, и превозносить как литераторов, так и других лиц, которые будут принадлежать к обществу.

Все эти совещания продолжались до февраля месяца текущего года, но так как участвовавшие в оных не могли совершенно согласиться ни в основных правилах, ни в способах действий общества,

то оно, по утверждению их всех, не состоялось, и суждения о нем прекратились.

Независимо от лиц, выше сего поименованных, формальные допросы производили Тимковскому 2-му, Достоевскому 1-му, Кайданову и Ястржембскому. Ответы их в общем об'еме не доставили комиссии никаких новых сведений, заключающих в себе особую важность, но подтверждают зловредное направление всех собраний, на которых бывали лица, содержащиеся в крепости, и преступность их, за исключением некоторых, в большей или в меньшей мере.

С 24-го по 31-е июля.

Главным предметом занятий комиссии в минувшие дни было дознание обстоятельств, относящихся до отставного поручика Черносвитова, арестованного вследствие обвинений, взводимых на него Спешневым и Петрашевским.

Обвинения эти, как уже об'яснено было прежде, состояли в том, что Черносвитов, явившись на вечер Петрашевского, разговорами своими вызывал всех на резкость; что он рассказывал о Сибири, как о стране, которой когда-нибудь суждено быть отдельной империей, и звал всех туда ехать, что он наводил Спешнева и Петрашевского на мысль о существовании в России тайного общества, доказывая это пожарами 1848 года; что он расспрашивал Спешнева о преобразовании, которое теперь было бы, по его мнению, наиболее полезным в России; и соглашался с ним, что преимущество должно быть дано уничтожению крепостного состояния, что он говорил о возможности восстания на Пермских заводах, о развитии, которое оно получило бы в прочих частях России, что он советовал Петрашевскому заводить тайные общества в высшем аристократическом кругу и даже внушал ему мысль о цареубийстве, и что вообще влиянием своим Черносвитов значительно усилил зловредное направление собраний Петрашевского.

Черносвитов в предварительных ответах своих показал, что, приехав в Петербург в сентябре 1848 года по золотопромышленным делам, он узнал о вечерах Петрашевского и стал их посещать, так как на них обсуждались социальные знания, в которых он чувствовал в себе недостаток. Вечера эти сначала показались ему занимательными, потому, что он нашел там свободную передачу мнений, тут же подвергавшихся критике, но потом убедился, что они мало заслуживают внимания, и бросил их, дабы не терять напрасно времени. О Сибири он, действительно, говорил, разбирая географическое и административное ее положение, рассказывал о всех происшествиях, случившихся с ним со времени определения его на службу в Пермскую губернию, и при этом, вероятно, как весьма часто случается в частном рассказе обиженного человека, мог выражаться довольно свободно, а, может быть, и дерзко о своем начальстве и даже о правительстве.

Вместе с сим Черносвитов представил в комиссию две особые записки, — одну о бунте, бывшем тому несколько лет в Пермской и Оренбургской губерниях, в прекращении которого он принимал самое деятельное участие, а другую — о видах на Сибирь в торговом и промышленном отношениях.

После того Черносвитов на формальном допросе об'яснил, что, хорошо владея русским языком, он всегда говорит резко и определительно, а в обществе Петрашевского это могло броситься в глаза и показаться вызовом на резкости; что говоря о Сибири, он часто называл ее Америкой, Калифорнией, Эльдорадо, Русской Мексикой и пр.; что Восточная Сибирь по географическому положению своему, действительно, есть страна отдельная от России и что он, Черносвитов, увлекаясь иногда в суждениях о будущности Сибири, не раз называл ее Великой империей, но не отдельной, и, любя Сибирь, как свою родину, мог приглашать туда других, но это было только шуткой, что об образовании тайного общества он не говорил, но действительно выражал свои подозрения, а не убеждение, насчет общества поджигателей, вследствие свирепствовавших в России пожаров; что если между ним, Спешневым и Петрашевским был разговор о крепостном состоянии, как о предмете, привлекавшем общее внимание, то весьма легко могло быть, что он подал голос за уничтожение этого состояния, ибо оно ему не нравится; что мысль о восстании на Пермских заводах могла родиться при рассказе его о бунте, бывшем в Пермской и Оренбургской губерниях, при котором из самолюбия, желая выставить собственные свои дела и мысли, он, как и всегда в подобных случаях, упоминал о последствиях, которые непременно бы произошли, если бы он не распорядился в то время так, как это им было сделано, что собственно в Восточной Сибири он, Черносвитов, зная и Сибирь и возмущения по опыту, полагает, что могут загореться леса, а не восстание людей, коими она так бедна, но что, может быть, это обстоятельство и было в числе прочих возможным при разговоре, что мыслей своих он вовсе не сообщал, как план к какому-либо действию, потому что никогда не носил в душе своей возмутительного начала; впрочем, если бы этот план и созрел в его голове, то он, Черносвитов, не мог бы предлагать его Спешневу и Петрашевскому, так как по его понятиям подобное предложение делается только вследствие убеждения в людях, и при том людям, которые в состоянии действовать или по положению служебному — высокому, или по влиянию на общество в моральном или даже социальном отношении; в Петрашевском же и Спешневе он ничего этого не подозревал, и выдумка об означенном предложении со стороны его, Черносвитова, вероятно, родилась у них только по инстинкту самосохранения; и что мысли о цареубийстве он не только никогда не имел, но гнушается ею, а поручать Петрашевскому заводить тайные общества в аристократическом кругу он не мог, ибо сам Петрашевский не имеет и не может иметь туда доступа.

Наконец, выходя из комиссии в последний раз, как он был туда призван, Черносвитов сказал: «Я кругом виноват, виноватее других, потому что я им сообщил такие мысли, какие самим им придти не могли, и это весьма естественно, ибо между ними и мною большая разница; они каждому моему слову давали большой вес . . . . . и буду виноват перед законом, но по совести же я не виноват».

Таковы в главных чертах об'яснения, данные до сего времени Черносвитовым. Они доказывают, что показания Спешнева и Петрашевского о его разговорах большей частью правильны, но он не

признает в них той преступной цели, которую должно было в них предполагать. Впрочем, по новым настоятельным расспросам комиссии, он просил позволения письменно изложить ещѐ с большей подробностью взгляд свой на разные предметы, по коим он оказывается причастным к делу Петрашевского, и обещался представить свою записку через несколько дней. Рассмотрев сию записку, комиссия увидит, нужно ли будет дать ему с кем-либо очные ставки.

Лично Черносвитов — человек с выразительной наружностью, мысли свои он из'ясняет с пылкостью, но нет часто определительности; вообще в нем заметны самостоятельность, способности, но более всего чрезвычайное самолюбие и уверенность, что он и познаниями и умом превосходил всех, коих встречал у Петрашевского.

XXI. Правительство, помещики и демократия об общине.

(Из книги И. В. Чернышева: „Аграрно-крестьянская политика России за 150 лет". Птр., 1918 г.).

I. Политическая защита общинно-мирского строя.

Накануне крестьянской реформы граф Киселев утверждал, что правительство и помещики были самыми убежденными друзьями общины. «Оппозиция против общинного владения, — писал он, — в пользу личной собственности идет не от помещиков и правительства, а от ученых и почитающих себя учеными, во имя так называемой науки» [1]).

В чем же заключались причины этой солидарности правительства и дворянства в защите общины, при общем признании убыточности и и для помещика и для казны общинного хозяйства? Классический ответ на это дал тот же граф Киселев в своей записке «Развитие сельского хозяйства», поданной им императору Николаю I-му в 1849 году. Суть этого ответа заключалась в том, что вопрос об общине не может быть решаем экономическими аргументами, так как это вопрос не экономический, а политический. «Душевой раздел земель, столь вредный для всякого коренного улучшения в хозяйстве, — писал Киселев, — имеет свою выгоду в отношении устранения пролетариев и потому составляет вопрос, которого решение выходит из пределов чисто экономических».

Какую «страшную» угрозу самодержавию и господству дворянства представляют эти «пролетарии», правительству было известно из примера Западной Европы.

Общинно-мирской строй давал правительству незаменимое средство управления народом и препятствовал обезземеливанию крестьян. Западная Европа, разрушившая общину, не может найти никаких средств для того, чтобы избавить себя от анархии и распада.

Вообще, вопрос об общине в истории русской «помещицкой» мысли в конце 50-х годов XIX-го столетия сливается с вопросом о русском мессианизме, т. е. об исторической миссии России — влить новые силы в

---

[1]) Намек на издававшийся при В.-Э. О-ве «Экономический Указатель» проф. Вернадского.

«умирающую» Европу. Что Запад погибнет, что он скоро сыграет свою историческую роль и сойдет с исторической сцены, что на смену ему для обновления мира придет здоровая, молодая Россия — эта идея была знакома России еще с XVI века.

В ходе развития учений об особой миссии России менялось только представление о силах, которые должны были погубить Запад.

В конце XVIII-го столетия и в начале XIX-го столетия такой силой был признан политический строй Европы — «вольность» Запада. Этой разлагающей Западную Европу «вольности» противопоставлялось русское самодержавие и крепостное право.

Затем в XIX в. было реставрировано старое учение о другой силе, которая неминуемо должна была погубить Европу — это ее католицизм и протестантизм, которым противопоставлялось русское «православие». Наконец, по последней версии, Запад должен был погибнуть от своего экономического строя, от частной собственности на землю, от капитализма. России же предопределено было безмятежно развиваться на основе своей патриархальной земельной общины и обновить ею Европу.

Защищая общину, дореформенные публицисты в XIX ст. часто противопоставляли ложным «вольностям» Запада нашу «патриархальность», и, таким образом, сближались и по тону, и по содержанию с защитниками крепостного права в XVIII столетии.

Публицистика XIX столетия отличалась тем же националистическим пафосом, что и публицистика XVIII стол.: мирная Русь и мятущийся Запад были ее любимыми темами.

«Вольный» строй Запада, по мнению дворянских публицистов XVIII столетия, принес народу только голод и нищету, а крепостной строй дал России «сытость» и «благоденствие».

Французская революция явила миру картину полного банкротства отношений, построенных на этих «вольностях», и вполне оправдывала самые мрачные предсказания о судьбе Запада.

В своих «Примечаниях на историю Леклерка» Ив. Болтин спрашивал: «те народы, кои называются вольными в Европе, вящими ли выгодами, лучшим ли жребием благосостояния пользуются, нежели мы?»

«Земледельцы государств, тщеславящихся изгнанием из пределов своих рабства, выгоднейшую ли жизнь ведут, меньше ли отягощены поборами и всякородными налогами, нежели наши? Если окажется по справке, что с названием свободы благоденствие не сопряжено, что народы, называющиеся вольными, не лучшей участью пользуются нас, признаваемых за находящихся в тяжкой неволе, что земледельцы сих государств, вольных по воображению, не меньше отягощены, как и наши, называющиеся рабами, то что-ж пользы в сей вольности пустой и мечтательной, толико проповедуемой и превозносимой».

На все эти вопросы Болтин давал ответы не в пользу Запада. «Земледельцы наши, — говорил он, — прусской вольности не снесут, германская не сделает состояние их лучшим, с французской помрут они с голоду, а английская низвергнет их в пучину погибели». Таков был обычный тон публицистов XVIII-го столетия. Те же мотивы повторяются и в начале XIX века.

Начавшееся с конца 30-х годов XIX столетия в Западной Европе движение пролетариата дало новые подтверждения мысли о том, что

«вольность» и бунт неразлучны. «Вольный» пролетарий грозил Европе переворотами еще более ужасными, чем французская революция.

В России нет революции потому, что в ней нет пролетариата, не могущего развиваться при наличности передельной общины. Но общину в России охраняют помещики, следовательно, помещики охраняют Россию от революции, а потому крепостное право, как оплот общины и «мира», должно быть всемерно охраняемо, — вот вывод, за который крепко держались дворянские до-реформенные публицисты.

Князь Черкасский указывал в 1856 году, что среди дворян еще были люди, которые в крепостном состоянии видели якорь спасения для современного государства и восхваляли «благодетельное влияние его на ослабление нищенства и пролетариата».

«Оно (крепостное право) есть и теперь единственно возможное нравственно отношение в обществе, не вполне еще развившемся, и доселе представляет такие ручательства народного благосостояния, каких не обеспечивают для низших классов народа другие европейские общества. В Европе существуют пролетарии, которых у нас при крепостном состоянии быть не может». «Для уврачевания зол пауперизма и пролетариата многие из европейских мыслителей, например, Сисмонди, предлагали, для низших классов покровительство патронов, похожих на наших помещиков», — писал Кошелеву его друг Свербеев.

Подобную защиту крепостного права, как оплота против пролетариата, с их разрушительными идеями и действиями, дал Друцкой-Сокольнинский в «Записке» 1849 года: «С освобождением крестьян образуется у нас неведомый класс пролетариев, который своими идеями и действиями нанесет гораздо более вреда, нежели сколько можно ожидать пользы от свободного труда».

Демократ, социалист Н. Г. Чернышевский, защищая общину, как основу будущего социалистического переустройства России, также предупреждал противников общины о том, что «возникновение пролетариата произвело много государственных бедствий в Англии и Франции и грозит этим странам новыми смутами, жесточайшими прежних, потому что, с одной стороны, требования пролетариев остаются все еще неудовлетворенными, а с другой стороны, — число пролетариев все увеличивается и, главное, возрастает их сознание о своих силах и проясняется их сознание о своих потребностях».

Характерна здесь заключительная часть приведенного отрывка, она в известной степени напоминает одно место из 1-го т. «Капитала» Маркса о росте числа и сознательности пролетариата в процессе капиталистического развития.

«Вместе с постоянным уменьшением числа капиталистов-магнатов, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого преобразовательного процесса, увеличивается масса нищеты, утнетения, рабства, вырождения, эксплоатации, но с другой стороны, увеличивается также и сопротивление постоянно возрастающего рабочего класса, вышколенного, об'единенного, организованного механизмом самого капиталистического способа производства» («Капитал» т. I, стр. 55).

Но пролетариат развивался вместе с ростом промышленности и ненависть дворянских публицистов к пролетариату распространялась и на промышленность.

Если пролетариат так опасен существующему строю, если его кадры растут с разрушением крестьянского общинного хозяйства и крестьянских промыслов, то России не нужно развивать и собственную обрабатывающую промышленность, Россия должна оставаться земледельческой страной.

Противники индустриализации России настаивали на том, что «нам» нужно совершенствовать свое основное занятие — земледелие на почве свободной торговли с Европой, которая в обмен на продукты сельского хозяйства даст нам свои фабричные изделия, товары. Политика таможенной защиты своей слабой промышленности и стеснения свободы торговли сулит нам развитие «несчастных и безнравственных» пролетариев».

В ходе нашей экономической истории вопрос о том, остаться ли России только земледельческой страной, более чем чрез полстолетие преобразовался в вопрос о том, быть или не быть в России капитализму. Несмотря на изменившуюся постановку вопроса, доводы публицистов, обсуждавших судьбы нашего экономического будущего накануне крестьянской реформы и даже после реформы, во многом повторяли споры о том, развивать ли свою промышленность или жить европейской промышленностью, которые велись в начале XIX столетия.

В органе помещиков, защитников свободы торговли, «Духе Журналов», был напечатан ряд статей, посвященных сравнению положения крепостного крестьянина в России и свободного крестьянина на Западе, а также сравнению положения русского крестьянина—земледельца и русского крестьянина—фабричного

В этих статьях наш «фабричный», из крепостных, выводился в качестве представителя нарождавшегося русского пролетария — «голодного», а потому — «развратного и буйного». Наоборот, русский крепостной земледелец выступал здесь в качестве домовитого, устойчивого и мирного хозяина.

«У крестьянина полная чаша, он спокоен, счастлив и потому нравственен; фабричный — голоден, а потому он развратен и бунтарь».

«У нас, в России, у мужичка в избе спроси молока, — тащит крынку, спроси яиц — целый кузов, но фабричные держат пост. Посмотри на крестьянскую девку или бабу — кровь с молоком, а сила, хоть какого парня свалит».

Подходя к самому опасному, с государственной точки зрения, качеству фабричного, к его политической неблагонадежности, сотрудник «Духа Журналов» спрашивал о фабричном: «Может ли такой человек быть счастлив и сохранит ли нравственность». И решил, что «такой человек» «поневоле должен предаться разгулу и злодеянию».

Сравнение российского крепостного крестьянина-земледельца с российским «фабричным» оказывалось более выгодным для крестьянина. Столь же выгодные для русского крепостного крестьянина результаты под пером крепостников получались при сравнении его с европейским «вольным» крестьянином.

«Взглянем на Англию, — пишет «Дух Журналов», в 1817 году, — народ там называется вольным и имеет право дышать и говорить безпошлинно. Но где более нищих, как в просвещенном сем государстве? Где народ более отягощен чрезмерными налогами?»

«А русские крестьяне в своей неволе благоденствуют».

Цитируемый публицист «Духа Журналов» уподобляет вольного английского крестьянина «вольному» зайцу в лесу, о котором никто не заботится, а русского крестьянина — домашней лошади, которая «хоть на привязи стоит и на нас работает», но зато хозяин о ней печется, кормит, поит, чистит и холит ее, она и тогда сыта бывает, когда поле покрыто снегом.

Положение немецких крестьян оказывалось столь же жалким, как и английских. Доля русского крепостного рейнскому крестьянину представляется недостижимым идеалом.

«О, несчастное слово «вольность». — Здешние (рейнские) мужики все вольны. — Вольны, как птицы небесные; но так же, как они, бесприютны и беззащитны, погибают от голода и холода. Как бы они были счастливы, если бы закон поставил их в неразрывную связь с землей и помещиками».

«Что привязывает их к родной стороне. И могут ли такие люди пламенеть любовью к отечеству? Его нет у них и последние годы показали сие неоспоримо.

«Было время, когда состояние крепостных людей в России почиталось от иностранцев рабским и самым жалостным. Теперь они узнали свое заблуждение».

Из всех этих параллелей публицисты «Духа Журналов» делали вывод, что крепостной строй является «древним патриархальным и самым естественным образом гражданского благоустройства».

Но если развитие «бездомного» пролетариата грозило России неисчислимыми бедствиями, то неразумно разрушать свои земельные порядки и отрывать крестьянина от земли и помещика. Наш земельный строй дает каждому крестьянину землю, ибо русский крестьянин рождается с правом на нее.

Русские публицисты открыли общину и признали огромную ее политическую роль, гораздо раньше немецкого барона Гакстаузена, будто бы открывшего нам общину. В своих «Studien», изданных в 1847 г., Гакстаузен повторил многое из того, что уже твердо было усвоено в дворянских и бюрократических кругах по вопросу об отличии наших поземельных отношений от европейских.

До появления Гакстаузена в России, славянофил А. С. Хомяков в 1842 г. определенно указывал на то, что община ограждает Россию от пролетариата. «В России право каждого члена общины на участок земли, — писал Хомяков, — удаляет возможность пролетарства»; «у нас пролетариат возможен в редких случаях, происходящих от чрезмерной глупости или неисцелимой лени».

И когда Гакстаузен писал, что в «русской общине лежит крепкая общественная сила и порядок, как нигде в других странах», и что общинный «порядок» доставляет России ту выгоду, что в этой стране до сих пор нет и не может образоваться пролетариата, пока существует общинное устройство, то для русских здесь не было никакого открытия, ибо в России это знали до Гакстаузена. Роль Гакстаузена, как «немца», открывшего в России общину, преувеличена самой русской публицистикой. Для того, чтобы придать больший вес защите общины и чтобы импонировать противникам, русские публицисты охотно ссыла-

лись на авторитет «об'ективного» немецкого ученого, высоко ценившего нашу общину.

Уже в 1845 г. Хомяков писал о Гакстаузене: «Еще недавно беспристрастный немецкий путешественник говорил о славянской сельской общине, об нашем русском «мире с его старинным единодушием, как о лучшем, святейшем остатке народной старины, которому должна бы подражать вся остальная Европа».

Известно, что этот «об'ективный» русский чиновник путешествовал по России на средства русского казначейства, и на русские казенные деньги издал свои «Studien». Нельзя отрицать, конечно, значения работы Гакстаузена: его «Studien» явились первой работой, дававшей подробное описание общинных порядков в России.

Но это описание ни по условиям собирания материалов (изучение общины происходило при содействии и под надзором провинциальной администрации), ни по задачам, которые ставил себе автор, не могло быть «об'ективным» и страдало односторонностью и тенденциозностью.

2. Учение об общине, как оплоте против социализма и революции.

Шансы общины особенно окрепли после 1848 года. После Европейской революции 1848 года официальная и дворянская пресса заговорила о нашей земельной общине с небывалым до того времени под'емом. Русский мессионизм в европейских революциях нашел огромное подкрепление.

Погрязшая в индивидуализме Европа в поисках утерянной «общинности» разрушает у себя троны и вековые учреждения и тщетно пытается заменить древнюю общину искусственными людскими союзами — ассоциациями.

Руси не страшен коммунизм — он родственен «духу» русского народа. Русь не знает и не будет знать революции. В России революции навсегда исключены, ибо коммунизм — это грозно ощетинившееся чудовище, грозящее пожрать Запад, у нас мирно пасется на крестьянских полях. Мысль о «прирожденности» коммунизма русскому духу развивали даже наши правительственные органы. «Журнал Министерства Народного Просвещения» отозвался на революцию 1848 года большой статьей, посвященной апологии русского общинного социализма. Журнал утверждал, что Россия навсегда застрахована от пролетариата с его разрушительными теориями и движениями, так как, благодаря «братскому» общинному владению в России, уже осуществлены коммунистические идеалы западно-европейских пролетариев и «мечтательная для Европы общинность существует у нас на деле».

«Европейские события 1848 года совершенно взволновали ход экономического развития во всех западных государствах, — писал «Журнал Министерства Народного Просвещения», — в Европе мыслители начали более и более заботиться об отыскании способов самого выгодного общественного устройства. Многие системы сменяли одна другую, но ни одна не имела столько защитников, как идея общинности. Миллионы пролетариев, наполняющих Западную Европу, составляют самую чувствительную язву всех стран и потому главное внимание всех изобретателей си-

стемы было устремлено на излечение этой язвы [1]). После долгих исканий Запад решил лечить свою «язву» переходом к «коммунизму», т.-е. к той же общине, но это тщетное старание. Для стран, уже однажды порвавших с «общинностью», возвратиться к ней крайне трудно».

«Общинность может почитаться лучшим устройством для такой страны, где общинное начало еще сохранилось, но там, где его надобно создавать усиленно, общинность остается одной идеей, если не навсегда, то, по крайней мере, на весьма долгое время».

«Всякое применение идеи общинности в Европе решительно неудобоисполнительно. В самом деле, каким образом изменить в стране весь порядок земледелия, уничтожить все права и переменить всю промышленную деятельность?»

«Россия счастливее Европы: мечта Запада у нас — это сама жизнь, это система отношений, признанных государством и поддерживаемая им».

«Имея такое братское общинное владение землями, каждая община обязана заботиться о призрении неимущих своих собратий, в вольных общинах—под надзором установленных на то властей, а в помещичьих—под надзором и ответственностью помещика».

«При нашем способе пролетариев нет, и все владение разделено уравнительно между всеми общинниками».

Россия не похожа на Европу, Россия есть единственное в мире царство. «Входя в ближайшее рассмотрение жизни нашего отечества, надлежит убедиться, что Россия есть особая часть света, в которой свои собственные стихии благоденствия. Так она доселе единственное в мире царство, в котором общественное благосостояние совершенствуется в самых прочных началах — вере, самодержавии и народности».

Здесь «Журнал Министерства Народного Просвещения» подошел к тем знаменитым трем устоям — «православие, самодержавие и народность», которые министр народного просвещения Уваров в своей записке Николаю I об'явил отличительными особенностями нашей истории.

Это противопоставление мирной общинной России революционному индивидуалистическому Западу было одной из популярнейших тем и в славянофильской журналистике того времени.

Накануне крестьянской реформы, в 1858 году, славянофил Кошелев, доказывая необходимость сохранения общины, также утверждал, что России не будет страшен европейский коммунизм, пока у нее останется община.

«В Западной Европе, — писал Кошелев, — личность и личная собственность развиты до крайности, а потому там социалисты и коммунисты опасны. Запад в своих передовых людях подходит к тому, что у нас существует на деле».

Но если наша община является осуществлением идеалов европейских пролетариев, то ясно, что быт крепостных русских общинников

---

[1]) В первой, и даже частью во второй половине 19 века о пролетариате всегда говорилось, как о «язве». О язве пролетариата можно прочесть у писателей самых противоположных лагерей, например, у Хомякова, у Гакстгаузена, у Чернышевского и т. д. Считалось, что пролетариат — это общественное зло, развитие которого грозит всякому государству неисчислимыми бедствиями и потрясениями. Такое отношение к пролетариату характерно для всех экономически отсталых стран.

представляется идеалом, сравнительно с бытом европейского пролетариата. Под пером идеологов крепостного права наше беспощадно секомое крестьянство, эта «крещеная собственность», превращалось в счастливцев, живущих под отеческим кровом общины, на положении «товарищей» помещиков.

«Где же в России пролетариат? Его нет. Русская община всех приютила под свой отеческий кров, наделила землей все крестьянское население: работник делит труды своего хозяина, он не поденщик, он товарищ. Чего же ищет Западная Европа со своими учеными? Если задача в России разрешена практически, то для чего же выдумывали коммунизм и ассоциацию, — писал «Журнал Землевладельцев». Эта маниловщина дворянских публицистов ставила на голову тяжкую крепостническую действительность, с безграничным произволом крепостников, с безысходной нищетой крестьянских масс, в особенности у мелкопоместных помещиков. Дворянские публицисты игнорировали многочисленный крепостной пролетариат [1]), составлявшийся из так называемых затяглых крестьян (т.-е. лишенных помещиком надела за недостатком земли), безземельных дворовых и обезземеленных «месячников», с тяжелыми работами и поборами. Но при всем неправдоподобии этих идиллических картин, изображавших «товарищеское» сожительство помещиков с их крепостными, — картины эти постоянно рисовались дворянскими публицистами и поэтами, несмотря на то, что угрожающий рост крестьянских бунтов наводил уже многих на мысль о близости развязки крепостного права.

Граф Бутурлин так рисовал настроение рязанской деревни в 1855 году: «Не знаю, как происходило в прочих губерниях, но в Рязанской, во время тамошней моей службы не проходило года, чтобы крепостные люди не расправлялись со своими барами убийством, или сечением, или побоями».

Что касается славянофилов, то они не были повинны в сознательной идеализации крепостного права.

«Я утверждаю, — писал Хомяков, — что крепостное право наших крестьян превращается в рабство по неизбежно вытекающим последствиям, которые должны были допустить и даже утвердить закон или, более того, которые закон не может ни выследить, ни обуздать, и которые через то сделались составными частями обычных прав».

В практической жизни помещики смотрели на русский коммунизм, т.-е. общину и «мир» у своих крепостных, более трезво и умели хорошо пользоваться доставляемыми этим «коммунизмом» реальными выгодами.

Даже славянофилы ценили в общине и мире не только национально-социальные возможности, в ней заключенные, но учитывали и ту материальную пользу, которую давала помещикам круговая порука, и ту гарантию порядка, которая являлась следствием «мирской» опеки над мужиком. Типичное изложение практических выгод, получаемых помещиками от «мирской организации», дал славянофил Хомяков, го-

---

[1]) «Вольнонаемный труд» на фабриках и в сельско-хозяйственных экономиях юга России в крепостную эпоху был трудом отпускаемых помещиками на заработки крепостных.

воря о преимуществах заключения выкупных сделок с целым «миром», сравнительно со сделками, заключаемыми с отдельными крестьянами.

Хомяков, по поводу условий освобождения крестьян по закону 1842 года о «вольных хлебопашцах», писал: «Под высшим надзором законов и властей государственных, ближайший надзор над поселянином принадлежит совокупной власти землевладельца и опеке мирской, в которой соединяется и благодетельное покровительство, и законный присмотр над каждым отдельным лицом».

«Обеспечение прав землевладельца должно находиться не в воле каждого поселянина, взятого порознь, но в обязанностях всей сельской общины и во взаимной ответственности всех ее членов».

«Земля, отдаваемая землевладельцем мирской общине, будет делиться между членами ее по тяглам, т.-е. по рабочим силам, точно так должна делиться и обязанность поселян в отношении к землевладельцу».

В этих словах прекрасно отмечено, какие стороны «мира» и «общины» особенно ценили помещики в эпоху крепостного права. Эти достоинства общинно-мирского строя впоследствии оценили и составители положения 19 февраля 1861 года.

«Мирская опека» над каждым отдельным лицом домохозяином и круговая ответственность всех за каждого давали наиболее прочное обеспечение «прав» землевладельца». С точки зрения этих прав уравнительный раздел земли по тяглам являлся уравнительным разделом обязанностей крестьян по отношению к дворянам, а периодические земельные переделы были лишь формой периодического перераспределения этих «мужицких» обязанностей.

Впоследствии дворянские деятели крестьянской реформы в общине и мирском строе, с круговой порукой, нашли наиболее прочное обеспечение интересов казны при взыскании с крестьян выкупного долга за покупаемую крестьянами у помещиков землю.

Но мы уже видели, что выгодность для помещиков общины и подворья определялись условиями места и времени. Если по местным экономическим условиям оказывалось, что «в наследственном владении» землей крепостные приносили помещику больше дохода, чем при переделъной общине, то помещик уничтожал переделы, оставляя нетронутыми «мирскую опеку» и «круговую поруку». Деятели крестьянской реформы, оставили целые районы освобожденной России на подворном праве, признав там в фискальном отношении эту форму землевладения более выгодной, чем общину.

Прозаические основы симпатий помещиков к «мирским» формам быта обычно прикрывались фразеологией. В цитированной статье Хомякова навязанная крестьянам круговая порука охарактеризована, как явление, обусловленное самой природой русского мужика.

«Во многих и именно лучших оброчных деревнях плата производится «миром» и недоимка взыскивается с «мира», — писал Хомяков.

«Нет сомнения, что учреждение такой взаимной ответственности способствовало и самому улучшению состояния и исправности поселян в тех деревнях, в которых мирская община тверже и лучше устроена. Самое же понятие о законности надзора всех над каждым связано с русским понятием о священном долге взаимного вспоможения. При первой не-

исправности каждого поселянина, за него отвечает «мир», за нерадивое и дурное исполнение обязанностей в работе отвечает точно также вся община». В заключение Хомяков перечислял меры, к которым должна прибегать община по отношению к недоимщикам, получившим мирское «вспоможение» на основании понятия «о священном долге». Этот перечень включал все способы взысканий, которыми пользовалась до-реформенная практика и которые впоследствии перешли в пореформенное крестьянское положение 1861 г. Это были: а) отдача неисправного плательщика в работу «миру», б) отдача его в батрачество, в) отдача его с семьей в распоряжение правительства, т.-е. исключение из общины [1]).

Все это предлагалось Хомяковым, как возмездие за неисполнение крестьянином «священной его обязанности» — своевременно платить помещику «положенные» взносы.

Приведенный проект Хомякова, с его мотивировкой, представляет один из характерных образчиков упомянутой выше идеализации крепостного быта. Обычная для рабского периода круговая ответственность раба пред господином превратилась у Хомякова в какое-то «русское понятие о священном долге взаимного вспоможения». И так писал тот самый Хомяков, который бичевал «клейменую игом рабства», «полную неправдой черной», Русь.

3. Учение об общине, как основе социализма.

На защиту общины, накануне крестьянской реформы, встала и демократическая печать, однако, по совершенно иным основаниям, чем печать дворянская.

Немногочисленные представители демократии того времени не имели оснований идеализировать режим Николая I, они достаточно трезво смотрели на крепостное право и настаивали на коренных политических и экономических реформах. Но один институт крепостного права — поземельную общину — идеализировала и демократия.

В типичном для отсталой земледельческой страны способе эксплоатации господствующими классами крепостных масс — путем равномерного наделения землей всех крепостных для получения с них «равного» дохода, — демократия увидела осуществление социалистического лозунга Запада — «права на труд».

Демократия полагала, что через существующее, по ее мнению, в России «право каждого на землю» Россия идет к тому же социалистическому строю, к которому стремилась Западная Европа путем осуществления лозунга пролетариев «право каждого на труд».

Считая, что в России каждый рождается с правом на землю, и что уравнительность в пользовании землей является основным принципом русских земельных отношений, — демократия не замечала, что в действительности далеко не все крестьяне и в то время имели землю, что с каждым годом все более значительная часть крепостных отрывалась от земли, а из тех, кто оставался крепким земле, далеко не все жили в «уравнительной» общине, так как многие помещики уничтожали переделы, а местами и сами крестьяне не желали этих переделов.

---

[1]) Исключенный из общины ссылался по закону в Сибирь на поселение.

Наиболее яркими выразителями идей демократии в 50 г.г. 19 столетия были Герцен и Чернышевский. При всем различии взглядов, этих вождей демократии об'единяло признание возможности для России — после уничтожения крепостного права, при сохранении общины и «мира» и при создании в стране демократических учреждений — выйти на иной путь исторического развития, чем тот, которым шла Западная Европа.

Оба эти вождя демократии считали, что Европа покупает свое развитие слишком дорогой ценой: в Европе крестьянин, обезземеленный и превращенный в бездомного пролетария, принужден добиваться права на хлеб и труд, посредством кровавых революций.

В своей борьбе за новый порядок имущественных отношений европейский пролетариат идет под знаменем социализма.

На этом знамени кровавыми буквами написан лозунг: «Возвращение производителю средств производства». Нужен ли России этот путь борьбы пролетариата и буржуазии? Нет. Россия не нуждается во всем этом, так как в России производитель неразлучен со средствами производства. А потому, если Россия в дальнейшем оставит крестьянам их земельный порядок, с «правом каждого на землю», то главнейшее средство производства земледельца — земля — никогда не будет отнята у нашего крестьянина и потому в России не будет условий для борьбы за возвращение земли производителю. Таков был ход мыслей у Герцена и у Чернышевского. Оба они считали, что Россия и Запад идут к социализму разными путями: Россия через землю, Запад — через капитал.

Герцен был убежден, что земельный порядок русских крестьян сам по себе уже близок к тому, чего добивается европейский пролетариат. «Само слово «социализм» неизвестно нашему народу, но смысл его близок душе русского человека, изживающего век в сельской общине, и в работнической артели», писал Герцен в письме к русскому дворянству.

С общиной и артелью путь России к социализму будет менее трудным и болезненным, чем путь Западной Европы. «При наших формах быта большинства населения, России не нужно проходить наиболее болезненные формы исторического развития, как не нужно ей строить сначала шоссе, а потом железные дороги, когда превосходство железных дорог очевидно». Так как Россия уже сознала превосходство русского пути развития перед европейским и теоретически пережила наиболее тяжкие фазы европейской истории, то ей не нужно переживать эти фазы практически.

Зло западного пути, приводящего человечество к тупику, признано в России, и «мы можем обойти это зло». В идее, в меньшинстве мыслящих людей, в литературе, в казематах — мы прожили западную историю.

Но Герцен не отрицал целиком «всю Европу», он далеко не считал, что Россия должна отказаться от всего, что идет от ее опыта, науки и искусства. Наоборот, он доказывал, что без науки и опыта Запада Россия не сумеет сознательно построить форм новой жизни из положительных элементов своей общественности.

«Артель и сельская община, раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости — все это краеугольные камни, на которых созидается храмина нашего будущего свободно-общинного быта».

Но эти устои нуждаются прежде всего в «оплодотворении» их западной наукой.

И только при содействии западной мысли свободно-общинный быт может вырасти из нашего патриархального строя. «Одна могучая мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в нашем патриархальном быту», — писал Герцен.

Отсюда задача, решение которой предстояло России заключалась по Герцену в том, чтобы «на основании науки сознательно развить элемент нашего общинного самоуправления до полной свободы лица, минуя те промежуточные формы, которыми по необходимости шло, плутаясь по неизвестным путям, развитие Запада».

«Новая жизнь наша должна так заткать в одну ткань эти два наследства, чтобы у свободной личности земля осталась под ногами, чтобы общинник был совершенно свободное лицо», вот по Герцену те условия, при которых России возможно было миновать промежуточные к социализму фазы.

Страдания Запада и принесли России громадную пользу: они заставили Россию познать себя — убедиться в том, что элементы, из которых Россия может создать для себя новый строй, у нас под руками: это — наши «стародавние элементы», теперь только приходящие к сознанию, и «встречающиеся с западным стремлением экономического переворота». Эти элементы, — «право каждого на землю, общинное владение ею, мирское управление». «На этих истинах и только на них может развиться будущая Русь», — говорил Герцен накануне крестьянской реформы.

Герцен считал современную ему общину не тем, чем она была в действительности—сравнительно молодым институтом, выросшим на почве крепостнической эксплоатации крестьян; он видел в ней остаток земельных овношений, существовавших у всех народов на низших ступенях развития. Счастье России, по Герцену, заключалось не в том, что у нас была община, а у других народов будто бы ее не было, а в том, что у нас община сохранилась в государственный период и «благополучно дожила до развития социализма».

В своем отрицании происхождения общины из мистических глубин русского духа Герцен резко разошелся с славянофилами, искавшими корней общины в «особых» свойствах натуры славянина.

Герцен не сразу пришел к такому пониманию судеб социального развития России. В начале 40-х годов он крайне скептически относился к славянофильским увлечениям «общинным» духом русского народа. «Наши славянофилы, — писал он в своем дневнике 1844 года, — толкуют об общинном начале, о том, что у нас нет пролетариев, о разделе полей, все это хорошие зародыши, но они основаны на неразвитости, — так у бедуинов право собственности не имеет эгоистического характера европейского, но они забывают, с другой стороны, отсутствие всякого уважения к себе, глупую выносливость всяких притеснений, словом, возможность жить при таком порядке дел. Мудрено ли, что у нашего крестьянина не развилось право собственности в смысле личного владения, когда его полоса не его полоса, когда даже жена, дочь и сын не его. Какая собственность у раба?»

Но пережив заграницей крушение революции 1848 года, Герцен пришел к совершенно иной оценке общины. Вместе со многими европейскими социалистами того времени Герцен признал, что начинавшееся в Западной Европе движение пролетариата принципиально враждебно европейским «гражданским» формам и европейской «цивилизации» и что осуществление идей «равенства, братства и свободы» в пролетарском смысле будет неминуемо полным отрицанием современного европейского быта, будет смертью этого быта.

Герцен ясно видел, что современный ему «Запад» не может удовлетворить социальных требований пролетариата, не разрушив своих основных государственных форм, он видел, что «Запад срезался» пред задачами, поставленными ему историей, в лице революционного пролетариата.

Сравнивая отношения земельной собственности в России и у «срезавшегося» Запада, Герцен все более убеждался в том, что Россия «бытом своим ближе всех европейских народов находится к новому социальному устройству, к которому стремился пролетариат».

Ведь у живущего общиной земледельческого народа «право на труд» которого добивались пролетарии Западной Европы, означает право «на землю».

Но это право на землю, говорит Герцен, «у нас гораздо более, чем право, оно факт, оно более, чем признано, оно существует. Крестьянин на нем стоит, он мерит его десятинами». Отсюда Герцен делает свой знаменитый вывод: «Социализм, эта революционная идея на Западе, у нас может сделаться народной идеей» (1854 г.).

Герцен считал вполне естественным, что европейцам трудно было поверить в русскую общину. Европа так отвыкла от общинных отношений, что она вправе была видеть в описаниях русского общинного быта продукт фантазии русских радикалов. «С удивлением слушали у вас наши рассказы о русской общине, разделе полей, мировых сходах, о работничьих артелях, избранных старостах. Многие думали, что все это мечта, социальный бред. Но Европа должна была поверить, когда об этой общине написал три тома прусский барон, католик, агроном и до такой степени радикальный монархист, что для него прусский король слишком либерален».

Став в вопросе об общине на эту точку зрения, Герцен совершенно изменил и свою старую оценку славянофилов. Теперь Герцен с чувством признательности говорил о великом значении открытия славянофилами общины. «Для понимания общины, труды славянофилов дали материал — и славянофилам принадлежит честь и слава почина».

Герцен не задумывался над вопросом, почему помещики и казна поддерживали систему земельных отношений, построенных будто бы на «социалистическом» праве на землю.

Он видел всю суровость отношений помещиков к крестьянам и высмеивал Гакстгаузена, пытавшегося доказывать, «что в России помещики представляют патриархальную главу общины, нечто вроде старинных шотландских кланов или аравийских эмиров».

Герцен глубоко чувствовал все варварство крепостнической действительности и не находил в ней ни атома патриархальной идиллии.

«Крепостное право, — писал Герцен, — дает помещику безграничное право собственности на человека. Помещик владеет гораздо больше человеком, нежели землей; он берет оброк не с десятины, а с вышц, с дыхания, он заставляет платить за право работы, движения, существования».

Он считал, что в оценке крепостнического строя Гакстгаузен более был прав, когда видел в нем не патриархальную пастораль, а сен-симонизм на-изнанку.

«Оброк дворовых, ходящих по паспорту, основан, по превосходному выражению, невзначай сорвавшемуся у Гакстгаузена, на обратном сен-симонизме: чем больше способности, тем больше требует барин».

И тем не менее, Герцен не заметил, что крестьянское «право на землю» было вовсе не земледельческой формой европейского права на труд, а крепостнически земледельческой формой права помещика и казны на труд крестьян.

Власти помещика и казны в деле сохранения общины Герцен не придавал значения; ему казалось делом крайне легким снять с общины налет крепостничества и дать ей возможность свободно развиваться.

«Помещичья власть,—писал Герцен,—как нечто совершенно внешнее, поддерживаемое одним насилием, легко снимается с сельской жизни».

В этих словах ясно чувствуется славянофильское представление о помещичьей власти, как о «стеклянном колпаке», сохраняющем общину от разрушительных влияний.

У Герцена старое учение об особенности русской истории и о русском мессионизме получило впервые социалистическую интерпретацию. Россия расчистит Западу путь к социализму.

Имея прочную земельную общину, Россия не будет переживать болезненного процесса экономического развития Европы: без капитализма она прямо приведет Россию, а за ней все человечество, к социализму.

Те же мысли об особых путях развития России развивал и Чернышевский.

Исходным пунктом суждений Чернышевского о роли общины в России был общепризнанный в то время взгляд что русская община представляет институт, сохранившийся с первобытных времен.

Чернышевский не разделял убеждений славянофилов, что община особенно сродна славянскому племени и, в особенности, великороссам. Чернышевский считал, что общинная форма землевладения есть «принадлежность» «известного периода в жизни каждого народа». Сохранением этого остатка первобытной древности, — писал Чернышевский, — гордиться нам нечего, — как вообще никому не следует гордиться какой бы то ни было стариной, потому что сохранение старины свидетельствует только о медленности и вялости исторического развития.

Правда, этот остаток старины в нашей истории может сыграть огромную роль, как экономическая основа для социализма.

Доктрине об особых путях развития России Чернышевский дал обоснование в духе философии Гегеля. В своих логических построениях, он исходил из двух гегелианских формул развития: 1) по форме высшая ступень развития сходна с началом, от которого она отправляется, и

2) при известных условиях «логические моменты развития не переходят за границу идеального или логического бытия».

В применении к русской экономике это означало, во-первых, что исторический процесс, начавшись с земельной общины, на высшей ступени развития придет к этой же форме земельных отношений. История Запада началась также с общины и теперь Запад дошел до идей коммунизма, реализация которых и даст опять общину, но общину в высшей форме.

«В рабочем классе Западной Европы все более и более развивается убеждение в «droit du Fravail», «ateliers nationaux», растет стремление к общинному началу, говорил Чернышевский.

К коммунизму в его высшей форме с необходимостью должна притти Россия и переход ее к этой форме «будет облегчен существованием прежнего обычая, представляющегося сходным по принципу с порядком, какой тогда понадобится для нас, дающего удобное просторное основание этого нового порядка».

Запад пришел к признанию выгод общинной собственности на землю через среднюю ступень — представляющую отрицание первой ступени — через режим частной собственности.

Эта средняя, переходная ступень была полна величайших бедствий и страданий, благодаря образованию огромных масс пролетариата.

В Западной Европе оказалось, что если вся земля, принадлежащая нации, будет обращена в частную собственность, то большинство землевладельцев превращается в пролетариев.

Должна ли Россия пройти эту фазу развития в отношениях собственности?

Опираясь на второй тезис Гегеля, Чернышевский давал отрицательный ответ на этот вопрос.

«Гегель положительно говорит, что средние логические моменты чаще всего не достигают об'ективного бытия, оставаясь только логическими моментами».

Но пропуски «средних» моментов в общественном развитии могут произойти только при сближении отсталого народа с передовым. Только при таком сближении опыт и наука народа, находящегося на высшей ступени развития, дадут возможность народу низшей культуры теоретически пережить фазу развития, уже фактически пережитую народом высшей культуры.

Русские увидели бедствия Западной Европы, допустившей у себя развитие пролетариата, и поняли, каким сильным «противоядием» против этой «болезни» владеет Россия в своей общине.

Поземельная община есть такое благо, которому могут позавидовать и опередившие нас в развитии народы, оно в наших руках и может в будущем предохранить от язвы пролетариатства — миллионы русских людей.

Но если не было сомнения в том, что Запад воплотит в жизнь стремление рабочего класса «к общинному началу», то условия возможности для России пропустить среднюю фазу были на-лицо: русский—отсталый народ—пришел в соприкосновение с передовыми народами Европы, уже переходящими к высшей фазе своей истории.

Зная историю Европы, мы поступили бы очень нерасчетливо, если бы вздумали отступить от общины [1]).

Также «счастливое» для России сочетание условий— социализирующийся Запад рядом с общинным Востоком — давало Чернышевскому уверенность, что Россия очень недолго будет ждать начальных моментов перехода к социалистическому строю.

«Через 30—25 лет, общинное владение,—писал он,—будет доставлять нашим поселянам другую, еще более важную выгоду, открывая им чрезвычайно легкую возможность к составлению земледельческих товариществ для обработки земли».

Рассматривая общину, как готовое основание для будущего социалистического строя в России, Чернышевский горячо защищал ее от нападок противников. Здесь он шел об руку с славянофилами, хотя политические воззрения славянофилов были очень далеки от демократических взглядов Чернышевского.

Славянофилам очень не нравились такие попутчики, как Чернышевский, и они старательно отмежевывали себя от демократии.

Особенно резко сделал это Кошелев в 1857 г. в «Русской Беседе»:

«Чернышевский,—писал Кошелев,—защищает мирское пользование или владение землей, — в этом мы с ним вполне согласны, но г. Чернышевский смотрит на нынешнюю общину, как на ступень к другой, где явится общинный труд со всеми принадлежностями: туда мы за г. Чернышевским следовать не расположены».

---

[1]) В 1893 г. Фридрих Энгельс так писал о возможности для России прямо перейти к социализму: «ни в России, ни в каком другом месте невозможно развить из первобытного земельного коммунизма более высокую социальную форму, если эта более высокая форма не существует уже в действительности в какой-либо другой стране и не является таким образом, как бы образцом, для подражания... Если бы Запад Европы был достаточно зрел и 1860—70 гг. для такого преобразования, и если бы это преобразование было предпринято тогда Англией, Францией и т. д., тогда русские были бы действительно призваны показать, что может быть сделано из их общины, которая в то время оставалась еще более или менее нетронутой. Но Запад пребывал в застое, а капитализм, напротив того, развивался все быстрее и быстрее... Итак, России не оставалось никакого иного выбора, кроме следующего: или развить свою общину в такую форму производства, от которой ее отделяло еще много промежуточных исторических ступеней и условия осуществления которой не созрели еще тогда даже на Западе—задача, очевидно, невозможная, или же развиваться в направлении капитализма». (Письма к Н-ону). Здесь у Энгельса видно недостаточное знакомство с русской общиной. Он ошибочно считал нашу общину «первобытной». История насильственного насаждения передельной общины у некоторых разрядов крестьян происходила еще на глазах поколения, пережившего эпоху крестьянской Реформы. С другой стороны, ошибочно было считать общину 1860—1870 г.г. более или менее «нетронутой». Дифференциация деревни в то время была и в общинной России уже достаточно велика и противников переделов среди крестьян, даже там, где крестьянам дали надел на обязательном общинном праве, было и в то время уже такое значительное количество, что требуемых законом $^{2}/_{3}$ голосов сходов для составления приговора о земельном переделе во многих местах не находилось.

БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА
Об'единенного клуба
Г.Д.У.В.И.И.В.и П.У.Р.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Предисловие 3

I. Хозяйство, общество и государственная власть в России накануне XIX века. (Из статей М. Н. Покровского: «Россия в конце XVIII в.», «Павел Петрович» и «Александр I», помещенных в «Истории России XIX в.». Изд. Гранат. Т. I). 5

II. Экономическое развитие России в I-й половине XIX в. (Из ст. Н. А. Рожкова, под тем же заглавием, в т. I вышеуказанного издан.) . . 26

III. Промышленность в дореформенной России. (Из книги М. И. Туган-Барановского. «Русская фабрика»). 48

IV. Сельско-хозяйственное предпринимательство в I-й половине XIX в. (Из «Очерков аграрной эволюции России». П. И. Лященко) 63

V. Внешняя и внутренняя торговля России в I-ую половину XIX в. (Из «Истории народного хозяйства в России XIX—XX в.в.» В. И. Пичета) 72

VI. Статистические данные, характеризующие социально-экономическую эволюцию России в крепостническую эпоху:

I. Население России по 1, 3, 5, 7 и 9 ревизиям 89
II. Рост городского населения 90
III. Население земного шара в I-й половине XIX в. 91
IV. Количество казенных и крепостных крестьян по 3, 8 и 9 ревизиям . . . . . —
V. Движение количества крепостных м. п. по 5—10 ревизиям . —
VI. Движение количества разных категорий крепостных крестьян мужск. и женск. пола по 8, 9 и 10 ревизиям 92
VII. Рост количества дворовых перед «волей» 93
VIII. Распределение крепостных по 8-й и 10 ревизиям между разными категориями помещиков 94
IX. %-ное отношение числа оброчных и барщинных крестьян в 40 губерниях Европ. России и Области Войска Донского накануне воли и в XVIII в. 95
X. Географическое распределение крупного землевладения накануне реформы 61 г. 96
XI. Преобладание крупного землевладения в южных губерниях —

Стр.

XII. % отнятой помещиками у крепостных земли за первую половину XIX в. 97
XIII. Средняя величина наделов крепостных в XVIII в. и в 1858 г. —
XIV. Величина оброка крепостных в XVIII в. и в 1-ю полов. XIX в. 98
XV. Преобладание помещичьей земли над крестьянской накануне «воли» . . . . . —
XVI. Ценность населенных и ненаселенных имений в половине XIX века 99
XVII. Стоимость крепостного и вольного тягла и их доходность . —
XVIII. Ежегодный урожай хлеба в России в 40-х и 50-х г.г. XIX века 1
XIX. Превращение помещичьего хозяйства в хлебную фабрику . . —
XX. %-ное отношение хлебного вывоза к валовому сбору хлеба в России за 1802—60 г.г. 101
XXI. Вывоз хлеба из России и хлебные цены на берлинском рынке в 1820—60 г.г. . . . . —
XXII. Цены на главнейшие хлеба в Великобритании за 1801—60 г.г. —
XXIII. Вывоз всего хлеба из России в 1802—60 г.г. 102
XXIV. Вывоз отдельных хлебов за тот же период в среднем за год. —
XXV. Выкурка спирта в России за 1754—1860 г.г. 103
XXVI. Сахарная промышленность в России в XVIII и 1-й п. XIX в. 104
XXVII. Привоз заграничного сахара за тот же период . . . . . —
XXVIII. Крестьянские волнения в 1762—1861 г.г. 105
XXIX. Распространение отхожих промыслов по количеству выданных паспортов 106
XXX. Выплавка чугуна в XVIII и 1-й пол. XIX в.в. 107
XXXI. Отпуск железа из России за тот-же период . . . . . —
XXXII. Производство в России и вывоз меди за тот-же период . 108
XXXIII. Развитие русской промышленности по числу фабрик и рабочих и по сумме производства за 1765—1850 г.г. . . . . —
XXXIV. Подневольный труд на фабриках в 1825 г. . . . . —
XXXV. Процент вольнонаемных рабочих в различных производствах в 1804—1825 г.г. 109
XXXVI. Значение тарифа 1819 г. для русской промышленности . . 110
XXXVII. Конкуренция с фабрикой кустарной избы в исходе 40-х и начале 50-х годов . . . . . —
XXXVIII. Производство шерстяных тканей и пряжи в России. . . . 111
XXXIX. Полотняное производство 112
А. Количество фабрик в 1762—1861 г.г. . . . . —
Б. Средний вывоз фламских, парусных полотен и равендука. . —
XL. Вывоз и ввоз шерсти в 1802—60 г.г. . . . . —
XLI. Вывоз и ввоз шерстяных изделий . . . . . —
XLII. Производство в России хлопчато-бумажных материй в 1805—60 г.г. 113
XLIII. Привоз в Россию хлопчато-бумажных изделий в 1802—60 г.г. . —
XLIV. Механич. заводы в России. 114
XLV. Привоз в Россию различных инструментов. . . . . —
XLVI. Привоз в Россию машин 115
XLVII. Осуществл. указов 1801 г., 1840 г., 1842 г. и 1847 г. . . . —

Стр.

XLVIII. Обороты по внешней торговли в XVIII в. 116
XLIX. Обороты по внешней торговли в 1-й пол. XIX в. . . . . —
L. Обороты внешней торговли гл. государств Европы и Америки . 117
LI. Главные статьи ввоза и вывоза за 1653—1853 г.г. 118
LII. Предметы ввоза и вывоза за 1726 г. 119
LIII. Предметы годового вывоза и ввоза за 1793—95 г.г. . . . . —
LIV. Эволюция русск. вывоза и ввоза за 1-ю пол. XIX в. 120
LV. Привоз и вывоз текстильных изделий за 1802—60 г.г. 122
LVI. Общий вывоз из России и вывоз в Англию в 1842—46 г.г. . . 123
LVII. Вывоз из России льна, пеньки, пакли, веревок и канатов в 1801—60 г.г. . . . . —
LVIII. Преобладающая роль иностранцев во внешней торговле России 124
LIX. Развитие русского и иностранного судоходства в наших портах за 1802—53 г.г. 125
LX. Рост торговых оборотов в портах Балт., Черного с Азовским и Белого морей . . . . . —
LXI Таблица государств. доходов за 1680—1850 г.г. 126
LXII. Таблица главных статей госуд. расхода в 1680—1850 г.г. . . 127
LXIII. Дефициты в государств. бюджете России в XVIII и I-й пол. XIX в. . . . . —
LXIV. Выпуск ассигнаций и кредитных билетов. 128
LXV. Сумма таможен. дохода главн. государств Европы и Америки . 129

VII. Александр I и русский правительств. либерализм начала XIX в. (Из статьи В. Н. Сторожева, под тем-же заглавием, в т. V сборника «Три Века»). 130
VIII. Манифест Александра I по случаю окончания «войны за освобождение Европы». (Из II т. «Записок» адмирала Шишкова) 146
IX. Декабристы. (Из III т. «Русск. Истории», М. Н. Покровского). . . . 151
X. День 14 дек. 1825 г. (Из статьи В. Я. Богучарского, под тем-же заглавием, в т. VII сб. «Отеч. война и русск. общество»). 164
XI. Проект конституции Никиты Муравьева 173
XII. Из «Русской Правды» П. И. Пестеля 181
XIII. Правящий класс в 30-е годы. (Из статьи Н. А. Рожкова: «Тридцатые годы», помещ. в № 12 «Совр. Мира» за 1916 г.). 188
XIV. Теория Погодина о своеобразии русск. историч. развития. (Из статьи Г. В. Плеханова: «М. П. Погодин и борьба классов») 205
XV. Славянофильство и западничество. (Из статей Н. Ветринского: «Сороковые годы XIX в.», в т. II «Истории рус. литературы XIX в.», под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского). 221
XVI. Мировоззрение «кружков 30-х годов». Моя метафизика. Два письма Н. В. Станкевича. 243
XVII Из произведений славянофилов:
I. «О характере просвещения Европы и его отношении к России» (Из статьи Киреевского). 247
II. Из записки К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России» . 260
III. Из показаний И. Аксакова в 1849 г. 263
IV. Добрая воля спорее неволи (Из ст. А. И. Кошелева) 264

Стр.

XVIII. Из сочинений западников:

I. Письмо В. Г. Белинского к Гоголю 265
II. Письмо В. Г. Белинского к В. П. Боткину 271
III. Речь Т. Н. Грановского 21 февр. 1845 г. к студентам 273
IV. Письма В. П. Боткина к П. В. Анненкову . . . . . —

XIX. Первые русские социалисты-утописты (Из книги К. А Пажитнова: «Развитие социалистических идей в России») 275

XX. Из материалов о Петрашевцах:

I. Речь Ахшарумова на обеде в честь Фурье 287
II. Из записки о действиях следственной комиссии 288

XXI. Правительство, помещики и демократия об общине. (Из книги И. В. Чернышева: «Аграрно-крестьянская политика России за 150 лет») . 299

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Издательство
ПРИБОЙ
Петроград

Проспект 25 Октября, 52

Вышли из печати

К. Маркс. Теории прибавочной ценности, ч. I и II.
Г. Плеханов. Очерки по истории русск. общественной мысли XIX в.
К. Каутский. Возникновение семьи и брака.
Н. Ленин. Аграрный вопрос в России в конце XIX века.
Н. Бухарин. Мировое хозяйство и империализм.
Н. Бухарин. Пролетарская Революция и культура.
Г. Зиновьев. IV Конгресс Коминтерна.
Г. Зиновьев. Вопросы XII С'езда Р. К. П.
Н. Батурин. Очерки по истории с.-д. в России.
К. Шелавин. 1 Мая в России.
К. Шелавин. Рабочий класс и его Партия (история Р. К. П.).
К. Шелавин. Очерки истории Русской Революции 1917 г. Февральиюльские дни.
Г. Сафаров. Долой буржуазное мракобесие.
Г. Сафаров. Тактика большевизма (2-ое изд.).
А. Бубнов. Основные моменты в развитии Коммунистической партии в России.
А. Бубнов. Буржуазное реставраторство на 2-м году Нэп'а.
М. Покровский. Очерки по истории русской культуры, часть I и II.
М. Покровский. Франция до и после войны.
М. Покровский. Борьба классов и русская историческая литература.
Н. Херасков. Англия до и после войны.
С. Канатчиков. „На темы дня". Страницы пролетарской идеологии.
С. Канатчиков. За 25 лет (История Р. К. П.).
С. Канатчиков. Рабочая партия и крестьянство.
П. Лященко. Очерки аграрной революции в России.
Ф. Мюллер-Лиэр. Формы семьи и брака.
А. Слепков. Классовые противоречия в 1-й Государственной Думе.
Э. Мейер. Экономическое развитие древнего мира.
Э. Мейер. Рабство в древности.
А. Тюменев. Теория исторического материализма.
А. Тюменев. Капитализм в древней Греции.
Э. Толлер. Эуген несчастный. Драма.
Епископ Браун. Коммунизм и христианство.
А. Герасимович. У истоков религии.
Д. Кудрявский. Как жили люди в старину.
Хрестоматия классовой борьбы, ч. I-я. „Крестьянство и пролетариат". 2-е издание.
Хрестоматия классовой борьбы, ч. II-я „Революция на Западе".
„ „ „ ч. III-я „Революция в России".
Хрестоматия материализма, ч. I-я. „Французск. материал. в XVIII в.".
Путь к Коммунистическому Интернационалу.— Сборник статей и докум.
Р. Арский. Рур—могила капитализма.

Витфогель. Наука в буржуазном обществе.
С. Ковалев. Курс Всеобщей истории. Том I.
Павлов-Сильванский. Феодализм в Древней Руси.
Татьяна Григоровичи. Теория ценности Маркса и Лассаля.
Адам Смит. Исследование о богатстве народов.
И. Андреев. История первобытной культуры.
В. Буштедт, А. Покровский и А. Харнас. Древний Восток.
В. Князев. Ржаные апостолы.
В. Сорокин. Юные пионеры (популярное руководство).
С. Драницын. Конституция СССР и РСФСР в отв. и вопр.
„К. Маркс". Сборник.
С. Минин. Отец Игнатий. Трагедия в 3-х действиях.
С. Гарин. Отасу. Социальная пьеса в 4-х действиях.
И. Книжник. Что читать по общественным наукам.
Спутник рабочего. — Календарь на 1924 г.
Материалы XII С'езда Р. К. П.
Методическое пособие для пропагандистов и лекторов.
На под'еме — Сборник рассказов для молодежи.
Смычка с деревней. — Сборник материалов по работе в деревне.
Я. Никулихин. Как и почему мы победили.
„Звенья. — Альманах".
„Р. К. П.—Вождь пролетариата".—Сборник материалов, посвященных 25-летию Р. К. П.

В печати

К. Маркс. Теории прибавочной ценности, 3 тома (в 4-х вып.).
В. Невский. Очерки по истории Р. К. П. ч. 1-я.
Протоколы II-го с'езда Р. С.-Д. Р. П. (стеногр. отчет со вступит. ст. и комм. П. Лепешинского).
М. Ольминский. Из эпохи „Звезды" и „Правды".
Г. Зиновьев. Полоса великих битв.
А. Тюменев. „Очерки экономической и социальной истории древней Греции". том I „Революция"
том II „Расцвет и кризис демократии".
том III „Упадок".
Грант Аллен, Эволюция понятия бога.
Хрестоматия французз. материализма XVIII в. 2-й в.
С. Дубровский. Столыпинская реформа.
Гобсон. Империализм.
Фробениус. Детство человечества.
П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюции в России (3-е изд.)
К. Бюхер. Работа и ритм.
Геркнер. Рабочий вопрос.
Проф. К. Вейле. „Первобытная механика".
Проф. К. Вейле. От бирки до алфавита.
Проф. К. Вейле. Первобытное общество и его хозяйство.
П. Заволокин. Совр. рабоче-крест. поэты в автобиогр. и образцах.
Проф. А. Пинкевич. Основные проблемы современной школы.
Хозе Инженерос. Принципы биологической психологии.
И. Оленев. О „кризисе" марксизма.
Пионтковский. 9-е января.
Пионтковский. Февральская революция.